

Мой 20
бук

Мой 20
бук

Татьяна Окуневская

Татьянин ДЕНЬ
Татьяна Окуневская



ВАГРИУС

TABLETS
OF
MARI
AND
ASSUR

Mottek

Май 20
БЕК

**ТАТЬЯНА
ОКУНЕВСКАЯ**

**Татьянин
день**



ВАГРИУС

**ТАТЬЯНА
ОКУНЕВСКАЯ**

**Т
АТЬЯНИН
ДЕНЬ**

МОСКВА · ВАГРИУС ·
1998

УДК 882-94
ББК 84.Р7
О—49

העמותה לקליטת עולים ותיקים
רח"י ל. פרץ 20 תל אביב

ספרייה מס' 3944

5394/1

ISBN 5-7027-0420-7

*Охраняется законом РФ
об авторском праве.*

*Воспроизведение всей книги или
любой ее части запрещается без
письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном
порядке.*

© Издательство «ВАГРИУС», 1998
© Т.Окуневская, автор, 1998
© Е.Вельчинский, дизайн серии, 1998

«В горстке праха — бесконечность»
Уильям Блейк

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка, маленькая, беленькая, похожая на крутолобого бычка. И любила эта девочка выковыривать пальчиком варенье из сладкого пирога, и гордо стояла в углу, когда наказывали несправедливо, а когда справедливо — редела во все горло, забывшись, замолкала, вспоминая, редела в три горла, а обидевшись, лезла под стол и зловещим шепотом вещала: «Пусть я больше никогда не вылезу из-под стола», а однажды, это было сразу после революции, был голод, имение на Волге у родителей еще не отобрали, приехали гости, и все сидели на террасе, Танечка, вертя носочком туфельки, обрадовала гостей: «А у нас есть варенье!..» — услышав, что из дома ее зовет Мама, побежала... «Танечка, зачем же ты сказала гостям, что у нас есть варенье, его ведь совсем немного, и теперь придется поставить варенье на стол...» Танечка стрелой выбежала обратно на террасу и громко сказала: «Нет, у нас нет варенья!» Когда ее спрашивали: «Как зовут тебя, девочка?», ласково отвечала: «Танечка», и уж с таким веселым и хитрым личиком, что и не найдешь такого второго, быстроногая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Только не было у нее девчачьих косичек — вместо волос был пух, тоненькие щелковинки как льняное сияние вокруг головы...

Молча стоим шпалерами по семь человек у лагерной вахты. Нас много, старух, девочек, женщин — черная масса в черных тяжелых бушлатах, в черных ватных штанах, в непомерных валенках.

Рассвет еще не скоро. Проектор выхватывает конвой, рвущихся собак. Мороз. В фашистском государстве все это называется концентрационным лагерем, а в нашем коммунистическом — исправительно-трудовым.

Вчерашняя пурга опять замела дорогу на лесоповал, дорогу каторжников, пять километров вытягиваем ноги, хватаясь за сугробы, — исходящее мужество, но за нами остается что-то похожее на дорогу, все-таки полторы тысячи ступней, а над головой звезды... Огромные северные звезды...

Хоть бы пургу, бешеную, сатанинскую вьюгу, чтобы замело и небо, и землю, и лагерь, и вахту, чтобы все смешалось в ад, чтобы вернуться в барак, упасть на нары, в чем есть и как есть, и не шевелиться.

Лес валят мужчины. Их уже перевели на следующий участок. Мы, женщины, не должны их видеть, мы должны обрубить сучья и складывать лес в штабели. Между нами и уголовницами идет битва не на жизнь, а на смерть за место под сосной. Выжить можно только под верхушкой, мы, интеллигенция, оказываемся под основанием. Приемов не знаем. Когда взвалили на плечи сосну, у одной учительницы хлынула из ушей кровь. Выручили нас, как и всю послевоенную страну, «работяги», простой народ, арестованный миллионами, чтобы здесь работать бесплатно за пайку хлеба. Они нам показали, что и как надо делать, но это стало началом конца: голодные, обессиленные мы через день-два — в больнице.

Перед лесом, справа от дороги, в открытом поле стоит тоненькая стройная береза, ни пурга, ни вьюга не могут прижать ее к земле, гордая, живая, она опять выпрямляется. Издали ищу ее глазами.

Трижды в лагере меня спасал мой народ. Как себя помню, глубокая, проникшая в душу любовь к народу всегда была со мной, а здесь я его узнала, здесь, где все рассчитано на то, чтобы человека превратить в животное, чтобы мать могла вырвать хлеб у дочери, чтобы дочь могла толкнуть мать в беду.

В тяжкий для меня день, когда и береза моя мне уже не помогает, ко мне подходит женщина с глазами русской иконы и тихо говорит: «Вот бабы прислали тебе платок. Закрой лицо, отморозишь». Сказала коряво, смотрит мне в глаза как из вечности, молча кладет платок на сосну и уходит, и когда становится совсем невыносимо, также молча подходят незнакомые женщины и встают вместо меня под бревно.

А один раз показали глазами на сосну. На ней надпись:

«Камрады! Мы, советские офицеры, валим для вас лес голыми руками. Мы погибаем в своих же советских лагерях от голода, холода». Адрес лагеря. В сторонке несколько терпких слов в адрес вождя. Надзиратели не досмотрели, и сосна уехала за границу.

Кто, в какой благополучной стране прочел эти выжженные кровью слова?

Жив еще мой народ-курилка! Он вместе — скрытая сила, даже здесь, в лагере, и, несмотря ни на что, делает свое дело во спасение. А меня за что спасает, что я ему, моему народу, сделала хорошего? До лагеря они также каторжно работали, фильмов моих, конечно, не смотрели и вообще про кинозвезд слыхом не

слыхивали! Значит, здесь, в лагере? А что я для них могла сделать в лагере? Ничего! Поставила человеческий концерт, и души их немного оттаяли.

В пургу нас бояться выводить на работу. Разбежимся. Если неожиданно снимают с участка, значит, будет пурга, а тут пурга налетела по дороге в лагерь. Проревела команда:

— Внимание! Шаг сбавить! Кто из рядов откачнется — стреляем!

А сбавлять некуда. Одну ногу вытащишь, на другую сил нет. Ряды начали разваливаться. Но, памятую выучку конвоя и легкость, с которой они убивают, взялись под руки, сильные встали по краям, слабых поставили в середину и тащили их. Я не с краю, с меня катится холодный пот. Оставалось уже немного, уже качнулись в пурге лагерные лампочки. Свет всех Бродвеев мира, что ты значишь по сравнению с этими мигающими волчьим глазом лампочками? Тут все и случилось.

В нашем ряду была недавно прибывшая в лагерь со сроком 25 лет за шпионаж двадцатитрехлетняя служащая нашей послевоенной оккупационной комиссии в Берлине. Хороша собой, как ни странно, интеллигентна для своего круга, скромная, не похожа на прифронтовую шлюху. От потрясения она немного «сдвинута». Поэтому мы ее не тревожим расспросами. Да и все давно уже понимают: либо вещи ее кому-нибудь приглянулись, либо сошлась, с кем не надо, либо не сошлась, с кем надо. К срокам мы тоже относимся как к выигрышу по лотерейному билету...

И вдруг она вырвалась из наших рук, выпрямилась и, увязая в снегу, рванулась в сторону от строя. Пургу разорвал душераздирающий крик: «Мама!.. М-а-моч-ка!.. Ма-моч-ка, спаси!..»

Оглушила автоматная очередь. Она упала и затихла черным комком на белом снегу. Очередь дали в сторону. Боялись попасть в своих или в собак, но все заметалось, зарыдало, упало на снег. Конвой осатанел:

— Встать! Идти! Уложим сейчас всех!

На автоматную очередь в лагере дали тревогу. На нас направили прожектора. Появилось еще несколько взводов конвоя с собаками, и нас поволокли в лагерь, хватая за что попало.

Пурга кончилась, и в окошко барака вплыла луна... Огромная... Здесь все огромное... Звезды огромные... Солнце огромное... Луна огромная... Мозг чугунный... По нему бьют железкой... Подъем... Неужели я когда-нибудь была ребенком... Слезть с нар не могу... Больница.

— Боженька! Миленький! Сделай, чтобы Папы не было дома!

Как все случилось? Почему меня держит милиционер? Какой-то мужчина вкладывает мне в руку мокрый платок. Кофточка на мне разорвана, замазана кровью... Только что я бежала счастливая, вприпрыжку, по нашему бульвару... Встретила виолончелиста. Он играет в фойе нашего маленького кинотеатра «Великий немой» у Пушкинской площади, они сидят втроем в углу под пальмой и играют перед каждым сеансом, а я улетаю и прилетаю обратно на землю, когда они складывают инструменты. Я бегаю туда всю зиму на деньги для школьных завтраков. Виолончелист ничего обо мне не знает, я прячусь за зрителями... Почему же тогда сейчас, на бульваре, он мне улыбнулся и поздоровался?

Милиционер меня ведет мимо нашего дома. Уже виден наш подъезд. Парадное с треском открылось — навстречу бежит Папа. Значит, он уже все знает. Не будет же он пороть меня здесь при всех?! Он меня уже больше не порет. Он говорит, что я — великовозрастная. Папа выхватил меня у милиционера.

— Беги домой, умойся, приведи себя в порядок и спускайся на нашу скамейку!

«Наша скамейка» — это скамейка на Никитском бульваре, напротив нашего подъезда. Мы недавно переехали из большой квартиры на Лесной, где я выросла, сюда, в восьмиметровую комнату на девятом этаже. Папа, Мама, Баби — это я так прозвала Мамину маму, пес Бишка и я. И если все дома, ни сесть, ни даже говорить невозможно, и «наша скамейка» превращается то в кабинет, то в гостиную, если к нам приходят в гости, а звонить нам надо семь звонков, столько у нас соседей.

Привела себя в порядок, лифта в доме нет, молниеносно съезжаю по перилам и подсаживаюсь к Папе на скамейку. Молчит. Тоже молчу. Сердце разрывается.

— Ну что молчишь? Рассказывай.

— Папочка! Я бежала по бульвару, я встретила того виолончелиста, про которого я тебе рассказывала, на углу нашей площади что-то случилось, было много народа, я подбежала, Папочка, милый, дорогой, ты должен меня простить, ты бы поступил так же, нагруженная телега, на земле лежит лошадь, в глазах слезы, совсем, совсем беззащитная, ломовик хлещет ее по глазам, по животу, страшный, огромный, красный, бешеный, ругается при маленьких детях, я прыгнула ему на грудь, вцепилась в волосы и начала его кусать за лицо, он замер, а потом не мог меня оторвать, а потом я увидела, что меня ведут, а потом ты из подъезда...

Молчит.

— Я нарочно воспитывал тебя мальчишкой, чтобы ты могла себя защищать, но я не учил тебя безрассудно нападать самой, этот ломовик мог убить и тебя, и твою лошадь! Ты должна понимать это, тебе уже пятнадцать лет.

Папа встал, подал мне руку, мы идем по бульвару. Сердце поет, Папа простил меня.

— Расскажи мне о твоём виолончелисте. Он знает, что ты в него влюблена?

Счастье, что Папа не смотрит на меня, от меня закреслились деревья.

— Нет, не знает! Во-первых, я в него не влюблена! Во-вторых, я от него прячусь за зрителями.

— Наверное, свет твоих влюбленных глаз освещает все фойе!

— И вовсе я не влюблена в него! Мне нравится больше Иден! Ты видел Идена?! Английский министр!

— Интересно! Чем же тебе нравится Иден?

— Элегантный! Красивый! Стройный! Благородный! Какие манеры! В последней хронике он достает из заднего кармана брюк сигареты! Этот жест забыть невозможно!

— Должен тебя огорчить, ты не одинока, в него влюблена женская половина земного шара!

— Виолончелист очень похож на Идена!

— А почему тебе не нравятся твои друзья-мальчишки или кинозвезды — красавец Рамон Новарро, Рудольф Валентино? А сколько твоему виолончелисту лет?

— Он совсем взрослый! Как Иден! А мои мальчишки — лоботрясы! А артисты какие-то жалкие, совсем некрасивые, любят себя как женщины!

— Ах вот как! А все-таки кто же лучше? Виолончелист или Иден?

Смотрю сбоку на Папу, совсем как будто со стороны: стройный, подтянутый, глаза добрые-добрые, светлые вьющиеся волосы, чистый, промытый насквозь. Соседи по квартире терпеливо ждут, пока Папа плещется в холодной воде у единственного умывальника, руки тоже не как у всех, тоже добрые, тоже чистые, честные, ногти аккуратно подрезаны. Когда улыбается, все вокруг начинают улыбаться! По-моему, все мои подруги в него влюблены.

— Ну, так все-таки кто лучше, Иден или виолончелист?

— Ты, Папа.

Идем молча.

— Успокоилась? Забудь о ломовике, и идем домой. Сегодня у нас царский обед! Баби где-то раздобыла говяжью ножку и сотворила твой любимый холодец!

С Баби у меня совсем другие отношения, чем с Папой. Если на Папу я смотрю, как мой пес Бишка на меня, влажными влюбленными глазами, и хорошо, что у меня нет хвоста, потому что Бишка при встрече со мной так виляет хвостом, что иногда падает, — с Баби мы «на равных».

Для Баби я придумываю всяческие всячести. Тихонько ночью встаю, закутываюсь в белую простыню, мажусь ее же пудрой и карандашом для бровей «под смерть» и встаю над ней, пока она не проснется. А так как она долго не просыпается, то я начинаю шипеть или посапывать, потому что смерть позвать не может, она разговаривать не умеет. Баби просыпается, немеет, я повизгиваю от восторга, а потом она меня наказывает, но никогда не выдает ни Папе, ни Маме, за что я ее очень уважаю. Все это было в той квартире на Лесной. Баби с Мамой совсем не похожи. Глаза у Баби серые, лучистые, высокая, стройная, волосы темные. Как Папа, веселая, молодая, добрая, живая, быстрая, талия такая тонкая, что я еще маленькой могла обхватить ее руками. А Мама — всегда спокойная, голубоглазая, светлая, маленькая, пухленькая. Мама, наверное, похожа на моего Дедушку, ее Папу. Я его никогда не видела, и о нем почему-то никогда в доме не говорят, а он жив, и недавно в нашей семье было событие.

Оказывается, мы — волжане, из Саратова, в Москву переехали до моего рождения. Баби с Дедушкой разошлась еще в Саратове и вышла замуж за другого дедушку, о котором тоже ничего не рассказывают, которого я тоже никогда не видела, он еще до революции умер. Вдруг в доме все заволновались: в Москве появился мой настоящий Дедушка. И он тоже, оказывается, женился на другой бабушке. И у него есть сын, значит, мой дядя и Мамин брат.

Все начали готовиться к встрече. Мне Баби сшила из своей старинной юбки красивое платьице... Но выясняется, что Мама к ним приглашена одна, даже меня Дедушка видеть не хочет. Мама уехала к ним, а когда вернулась, сказала, что дядю пе-

ревели из Саратова на работу в Москву, и мы все обязательно познакомимся, но Мама хоть и скрывала, было видно, что она расстроена, и ночью тихонько плакала. Больше о Дедушке никогда никто не говорил.

За Дедушку Баби отдали замуж шестнадцати лет, и она переехала к Дедушке со своей куклой. Баби была в семье старшей. Они жили бедно, и Баби должна была выйти замуж, чтобы помочь семье. Папа говорит, что у Баби мужской ум, что если бы не она, мы давно умерли бы с голоду. Это она придумала фиктивный развод, это она придумала, когда было совсем плохо, домашние обеды: купила кулинарную книгу и начала по ней готовить. А теперь она шьет — и такие красивые платья, лучше самых дорогих портных, у нее шьют даже важные кремлевские заказчицы. Но когда Баби начинает раскраивать дорогой материал, Мама уходит из комнаты, у нее от волнения начинается мигрень.

У одной из этих заказчиц на приеме платье разошлось по швам — Баби забыла его прострочить, узнав об этом, она залилась таким смехом, что вместо скандала заказчица смеялась вместе с Баби. Папа говорит, что Баби шьет вдохновением и мужеством. Как только Баби получает деньги за работу, я тут как тут, потому что она всегда достает для меня что-нибудь вкусное и дает деньги на кино. Поэтому я с нетерпением жду, когда платье будет готово. Вот какая у меня Баби!

С утра Папа сам не свой, замкнутый, нервный. После обеда он обнял меня.

— Пойдем на скамейку. Мне надо с тобой поговорить.

Лихорадочно вспоминаю, что я могла натворить, о чем он мог узнать...

При Папе я не съезжаю по перилам, пришлось чинно шагать рядом с ним по лестнице. Что могло случиться? Папа редко бывает таким, как сегодня. На скамейке он повернул меня к себе лицом, взял мои руки.

— Девочка моя! Ты стала совсем взрослой, и я должен тебе все рассказать... Сейчас я уеду надолго...

Неужели Папа хочет уйти от Мамы? Я знаю, я понимаю, ему скучно с Мамой — она совсем-совсем другая, чем он... А я? Как же я? Без него?..

— Ты что-нибудь слышала о лишенцах?

— Нет. Что это?

— Я не совершал преступлений, но я до революции был офицером, как теперь говорят, царским офицером. Я не хотел бежать за границу... Я верил в гуманность... Я был лоялен... Ты знаешь, что из университета меня исключили за бунт... Я не хотел скрываться. И когда объявили, что все «бывшие» должны прийти отметитья, я отметился... Вскоре пришли и арестовали меня, вывели на расстрел, завязали глаза...

— Папочка, Папочка!

— Тише, детеныш, прохожие смотрят на нас... Я же здесь с тобой! Мне потом развязали глаза и прочли об отмене расстрела. Я вернулся домой, а потом вышел закон, по которому все оставшиеся в живых, нерасстрелянные «бывшие», их семьи, их дети становились «лишенцами». Нас лишили права голосовать. Из квартиры нас выселили, с работы меня и твою Баби уволили, продовольственные карточки отобрали, нам грозил самый обыкновенный голод... Тогда и тебя из школы исключили, как дочь лишенца, и только с помощью добрых людей удалось устроить тебя в другую школу. Я даже уже не помню, что я тогда

тебе сказал, почему мы тебя переводим в другую школу, ты очень плакала...

Папа не помнит, но я-то помню отлично! Папа тогда все свалил на меня: и что я дерусь с мальчишками ранцем, и что я дерзкая, и что «отпетая заводила в классе», и что ботиночки не чищу, и что не всегда аккуратно причесана, и что учителя от меня стонут!

И я тогда плакала от обиды: почему же учителя от меня стонут, когда они меня любят, это же предательство с их стороны так сказать обо мне, почему же я «отпетая заводила», когда мы с моими мальчишками боремся за справедливость! И ботиночки я чищу, только они почему-то очень скоро становятся нечищенными. И причесать мой пух невозможно, сам же Папа потом решил косы не отращивать, а подстричь меня.

В новой школе я уже не дралась ранцем, а научилась драться кулаками, и ботиночки были всегда чистыми...

— С твоим будущим тоже было покончено. И тогда на семейном совете порешили фиктивно с Мамой разойтись, Маму суд восстановил в правах, но она, как ты знаешь, работать не умеет, что она бы смогла делать на заводе, фабрике? А нужна была рабочая профессия, чтобы получить рабочую карточку, иначе мы не прожили бы. Тогда тоже добрые люди помогли нам устроить Маму надомницей с легкой работой, мы все клеивали ей диапозитивы, это считалось рабочей профессией. Мне пришлось из квартиры выписаться. Я уехал. Теперь закон о лишенцах отменен, но дома я живу нелегально, чтобы у вас не было опять каких-нибудь неприятностей... Ты все это должна знать, ты еще не понимаешь, какими люди могут быть злыми.

— Ты потому вздрагиваешь, когда раздаются наши семь звонков?

— Любой из соседей может донести, и за мной придут в третий раз. Когда что-нибудь кажется подозрительным, я уезжаю.

Папа вскочил.

— Меня угнетает наша нищета. Я берусь за любую работу, я умею делать все, но я не умею комбинировать, а сейчас это имеет первостепенное значение, я прямолинеен, и это тоже не помогает жить. Я не могу себя изменить даже ради вас.

Моего веселого, спокойного Папы нет, на лице мука.

— Наша жизнь кончена. Но что делать с тобой? С Левушкой? Что? Ты уже не дочь лишенца, но в вузы принимают только по комсомольским путевкам или детей, внуков, правнуков, праправнуков, четвероюродных братьев и сестер вышестоящих! Остаться без образования невыносимо. И выхода нет.

Вчера я был у Астровых. Там был и Бухарин. Это люди чистые, делавшие революцию, это вожди, и они в таком смятении,

они мне посоветовали сейчас же уехать совсем и пока не возвращаться. Они спросили про Левушку, знает ли кто-нибудь, что вы двоюродные брат и сестра и что вы выросли вместе, и как хорошо, что Левушка с Мамой прописаны у них, а не у нас, а то и они бы стали лишенцами. Помнишь архитектора Парусникова, их друга, того, который посоветовал Левушке пойти на стройку десятником? Его специально пригласили, чтобы поговорить о вас, и он пообещал через год, может быть, через два все-таки протащить вас в архитектурный институт, где он преподает. Я начал говорить ему, что вы ничего не знаете, необразованны, он засмеялся и сказал, что сейчас все необразованны, все ничего не знают и они, преподаватели, делают все возможное, чтобы хоть несколько студентов были из интеллигентных семей.

Папа опять сел, опять повернул к себе.

— Теперь самое главное! О тебе! Я клянусь тебе, казнию, что я неправильно тебя воспитал, но я не мог иначе, я верил, что человеческие ценности останутся прежними, вечными! А теперь все будет против тебя! Нельзя быть непосредственной, искренней, открытой — тебя всю изранят, нужно себя переделать, уйти в себя, не выражать никаких мыслей, чувств, эмоций, нужно быть осторожной, чувствовать беду, не лезть с открытым забралом в бой, помнить, кто твои враги. Нужны ум, сила, выносливость, выдержка, чтобы жизнь не раздавила. Это все тебе надо постичь! Понять! Даты революций! Вы ничего не знаете о мире, да что о мире, о своей стране, о своей родине, о своем народе несчастном, многострадальном, трагическом, прекрасном, с великой духовной энергией, смешном, доверчивом, могучем, добром, талантливым, сбитом с толку. А если и знаете, то понаслышке или, еще хуже, искаженно. Семь лет, семь классов ничегонезнания! А еще эти два класса со строительным уклоном! Ну, как родители девочек могли пойти на это?! Левушка, мальчик, в ужасе от мата, от всего, что творится на стройках... И это называется практикой! А тебе? Зачем тебе эти чертежные курсы?! Я нарочно не разрешал читать тебе газет, ничего не рассказывал о политике, чтобы ты потом взрослой имела свою собственную точку зрения, ненавязанную. Мы прятали от тебя с Левушкой все беды, чтобы не изуродовать ваше детство! И вдруг так счастливо сложится, что вы в институт поступите?! А что дальше?.. Левушка откровенно одарен. В его рисунках, в том, что он лепит, есть настоящий талант. И что?! Чтобы потом прорваться через бездну темного, тупого, нужно все вокруг рвать зубами, чего ни он, ни ты не умеете, не сможете по своему воспитанию, складу, мышлению! Таланты развивает среда, сами по себе они без ухода не вырастают, а чахнут, даже если их не убивают, не арестовывают! Все предреволюционное поколение в искусстве уничтожено, раз-

давлено. Остались единицы, которые сами дочахнут, не родив ничего. Таланту нужен век, страна, народ, при котором родиться! Даже Пушкин мог воскликнуть: «И дернул же меня черт родиться с душой и талантом в России!» Что мне теперь делать?! Что с тобой будет без меня? Что будет с твоей и Левушкиной юностью? Я ее даже скрасить не могу! Книг нет. Один раз я смог повести вас в Большой театр! Один раз! Какое счастье, что в твоей жизни был детский театр! А если не было бы и его? Не было бы твоего «Великого немого»?.. Не было бы твоего Идена?! Ты бы даже не знала, что он существует, этот другой, большой мир! Я не могу вас даже прокормить!

Я понимаю, что должна утешать Папу, а мне душно! На меня валится наш огромный дом! Внутри стонет от несправедливости, от обиды за Папу, за Баби! Они же такие добрые, честные, умные!..

— Девочка моя! Родная! Золотая! Чудушко мое! Умоляю тебя, успокойся, а то я тоже заплачу! Я же надолго не уеду. Я буду тихонько приезжать. И туда, где я наконец устроюсь на постоянную работу, ты сможешь тоже приехать!

Я высморкалась.

— А почему ты никогда не рассказывал мне про революцию?! Это всем, как нам, после нее плохо?!

— О Боже! Вот так ты бабахнешь, где угодно и кому угодно! О чем я тебе битый час толкую?! Чтобы ты подумала, прежде чем бабахать... Не рассказывал потому, что раньше ты ничего не поняла бы.

Я думаю, что революция — это очень плохо, примеры — в людской истории. Плохо потому, что рушится все настоящее, глубинное, сердцевина страны, нации. С водой выплескивается ребенок. Потому, что только гений может найти в этих развалинах ту единственную тропинку, на которой страна может возродиться. Этого не получилось. Страна идет к катастрофе. Революцию сделала интеллигенция. Ни крестьянам, ни рабочим она не нужна была. Им просто надо было сделать жизнь более отрадной. Теперь эти рабочие и крестьяне не знают, не понимают, что с этой революцией делать. Террор. Внутрипартийная борьба. К власти пришел человек недостойный, неинтеллигентный, с лицом неумным, неталантливым, без искры мысли, жалкий, никчемный, едва ли полноценный психически, а ведь после революции прошло уже тринадцать лет... Голод. Разруха. Что будет — непостижимо. Революция! И не где-нибудь — не во Франции, не в Германии, а в патриархальной стране! В России! Революция по книгам, по теории, не созревшая, чужая стране! У меня такое ощущение, что мы и есть тот корабль, который несется без руля и без ветрил. Вот и все, мой краснобай! Дай только клят-

ву; что ты не бабахнешь все это на общем собрании или в лицо кому-нибудь из вождей, ум у тебя какой-то дерзкий, а язык и того хуже.

— А почему ты сказал, что за тобой могут прийти в третий раз? Тебя же один раз арестовывали?

— А потому, Почемучка, что после того как меня освободили, через месяц за мной пришли опять и отвезли в Ярославскую тюрьму. Когда Мама привозила тебя и Левушку ко мне в «командировку», это и была Ярославская тюрьма. Меня выпускали на свидание с вами, чтобы вы, дети, тюрьмы не видели, за нами следили издали, и я не имел права выйти из поля зрения, я дал клятву. Это не было гуманностью с их стороны, просто начальник тюрьмы увидел, что я порядочный человек, честно работаю, поверил мне.

— Это когда ты научил меня плавать?!

— Помнишь? Ты же была козявкой!..

Мы переплыли в лодке на другую сторону большой реки Волги купаться, и Папа увидел, что ни я, ни Левушка плавать не умеем. Тогда на обратном пути Папа взял и выбросил нас из лодки в воду. С Мамой плохо, а Папа спокойно наблюдает, как мы захлебываемся. Левушку он выловил со словами: «Ну, этот бурбон не поплывет», а глядя, как я захлебываюсь, сказал: «А эта ящерица еще будет чемпионом». Я очень рассердилась на Папу и поплыла.

— Папочка, дорогой, любимый! Теперь я знаю, что мне делать! Я не хочу учиться! Я выйду замуж за богатого-богатого!

— А если за бедного?! А если богатого ты не будешь любить? Быть с мужчиной без любви — это предел падения, предел безнравственности! Хуже чем потерять невинность за углом.

— Тогда я пойду работать, и нам станет легко.

— Нет, и так не будет.

Папа стал прежним.

— Не будет! Мы будем воевать до конца. Жизнь начнет затягивать нас в свои жернова, а мы не дадимся!..

Какая грустная, жалостная осень! Мои деревья стали голыми и стонут. Дождь... Мы с Папой сидим на нашей скамейке, промокли, замерзли, голодные. В квартире скандал, и мы здесь отсиживаемся.

Наш дом такой странный, он тянется на целый квартал, в девять этажей, громадина без лифта. Лестница тоже странная, комнатки в доме маленькие, мрачные, а лестничные площадки как большие комнаты, с двумя окнами...

А сама наша квартира — длинный коридор. В конце которого большая ванная комната без ванны, с каменным полом, маленький туалет и маленькая кухня с большой плитой. С кухни и начинаются все скандалы, в ней хватает места, чтобы поставить крохотный столик, на него керосинку или примус, семь семей, шесть столиков, мы новые жильцы, седьмые, наш столик не умещается. и наша керосинка стоит на плите. Все знают, кто что ест, пьет, на что живет, кто кого любит, кто кого ненавидит! Папа говорит, что никакая гражданская война сравниться с нашей квартирой не может. Здесь битва и национальная, и социальная, и партийная, и политическая...

Один холостяк, интеллигентный человек, какой-то служащий, немолодой, солидный. С него обычно все и начинается: его комната в самом начале коридора у входной двери, приходя с работы, он ставит в кухне что-нибудь разогреть, потом идет за чем-нибудь в комнату и, пока снова доходит до кухни, все у него убегает и заливают столы. Тут я скорей увожу Папу на скамейку.

Рядом с интеллигентом живет рабочий с тремя детьми. Как только этот интеллигент приходит домой, этот рабочий, всегда пьяный, выпускает своих троих детей под его дверь, и начинается светопреставление: этот рабочий хочет выселить интеллигента и занять его комнату.

Есть партийный работник, который кем-то был в революцию, теперь больной, пожилой, злой, на пенсии, жена из деревни. В квартире он высший класс и верховный судья.

Есть еврейская семья, муж и жена. Она очень красивая, ти-

хая, безропотная, у нее никого на свете нет. Он — маленький урод, на кривых ногах, с крохотными глазками, с огромным носом, лысый, рот с кривыми зубами. Его ненавидят за то, что он издевается над женой, устраивает ей сцены ревности, запирает ее в комнате неделями, бьет, все это слышно и видно, после скандала она выходит в синяках, он даже на кухне при всех начинает ее шипать. Один раз, когда раздалась ее стоны, Папа вскочил с криком «половой маньяк» и ринулся к двери, все повисли на Папе и схватили Бишку, Бишка тоже рвался вместе с Папой. Я боюсь спросить у Папы, что такое «половой маньяк», а вскоре в ванной комнате, когда никого не было, этот «половой маньяк» схватил меня за грудь, я дала ему пощечину и Папе, конечно, не рассказала, потому что стало бы меньше на одного жильца. Но теперь я этого «полового маньяка» боюсь. Папа правильно всех их опасается. Они уже откуда-то знают, что Папа выписан из квартиры, и хитро выспрашивают, где он живет и разошелся ли с Мамой.

Как только какой-нибудь скандал начинается, я хватаю Папу и Бишку и увожу на нашу скамейку, теперь я Папина защитница, потому что Папа не может сидеть за закрытой дверью и спокойно слушать, что творится в коридоре. Папа совсем не выносит несправедливость, подлость, когда обижают слабого, он закипает и кидается защищать. Я сегодня как услышала крик в коридоре, схватила с вешалки, что попало, и мы выскочили. Я-то хоть немного разогреваюсь, взлетая на девятый этаж, чтобы послушать, кончился ли скандал, а Папа сидит неподвижно, сжав зубы, и не слышит, о чем я ему говорю. Представила нас со стороны — точно как в заграничных фильмах бездомные: дождь, скамейка. Я, Папа и между нами Бишка. Бишку я тоже всегда хватаю под мышку, потому что Бишка похож на Папу, начинает метаться как бешеный, лаять, и ни ремень, ничто на свете не может его успокоить. А если в квартире еще и драка, то Бишка просто сатанеет. Сейчас он нас немного согревает, хотя тоже промок и мелко дрожит.

Умоляю Папу пойти погреться в парадное, но он не идет. Помоему, из гордости.

Так вот как кончается детство!.. Это и есть взрослая жизнь...

В той большой солнечной квартире на Лесной перед тем, как нас выселили совсем, к нам поселили рабочего с женой. Он возвращался с работы всегда пьяный и всегда скандалил. Меня до вечера из комнат не выпускали, я могла выйти только, когда он засыпал и храпел так, что качался дом. И тогда я видела только что вымытые Баби туалет, ванную комнату, кухню...

Теперь я все это начинаю понимать...

Я взлетела наверх и прислушалась... Скандал кончился, в квартире тишина, только чьи-то всхлипы...

Снег, как горящие блески! Солнце! День моих именин! Татьянин день. Двадцать пятое января. До революции это был знаменитый студенческий праздник, в который студентам разрешалось делать все, даже полиция не имела права к ним подойти, могла только ласково увещевать. Праздник смешной, веселый. Папа рассказывал, как студенты, взявшись за руки и распевая свои студенческие песни, шли во всю ширину тротуара по Невскому проспекту, а дамы и господа должны были сойти на мостовую... На столе — сохранившаяся Папина и Мамина свадебная скатерть! Две настоящие свечи. Баби их всегда достает к Татьянинному дню! И досыта горячей картошки с селедкой! Сейчас здесь только взрослые. Сверстники придут после них. Всех, даже стоя, уместить невозможно. Все здесь саратовские, нас, детей, они уже не считают волжанами — мы родились и выросли в Москве. Бишка обезумел от счастья, прыгает до потолка и лижет всех в лицо. Я похожа на Бишку, только я сейчас ни прыгать, ни бегать не могу, даже быстро ходить не могу, стараюсь сидеть, чтобы Папа не заметил, что я хромаю: я увидела в заграничном фильме героя с такой красивой походкой, глаз оторвать невозможно, и решила ходить так же. Я несколько раз посмотрела фильм, поняла, что герой ставит ногу от бедра, и начала тоже ставить ногу от бедра, и теперь очень болит, не пойму где. Я — в центре стола в красивой вязаной кофточке, подарок Мама. Мама очень хорошо вяжет, играет на рояле, на гитаре, вышивает, поет старинные романсы — ее так воспитала Баби, так до революции нужно было воспитывать будущую хозяйку дома. Баби смеется и говорит: «Кто же думал, что будет революция, если бы мне подсказали, я бы научила Женю колоть дрова, заливать асфальтом мостовые, ругаться матом, ездить на крышах теплушек или хотя бы, как тебя научил Папа, драться с мальчишками и убирать квартиру».

У меня уши на макушке. Я ничего не должна пропустить во взрослом разговоре: Достоевский это хорошо, Панферов плохо, какого-то Карамзина нужно во что бы то ни стало достать для детей, к власти приходят люди, которые уже мало имеют отношения к революции, Екатерина Вторая, оказывается, ничего не только распутница, а еще и великая государыня, голод не самое страшное, самое страшное — полное одичание, теряющаяся культура, Петр Первый тоже был царь ничего, зачем надо добивать оставшуюся русскую интеллигенцию, есть какие-то Волошин. Хлебников — очень хорошие поэты...

Семь звонков! Пришли мои мальчишки! Девчонок только две — школьные подруги, я как-то лучше дружу с мальчишками — они мужчины, на них можно положиться. Нет только Яди — моей первой, любимой подруги, она меня предала. Папа приказал всем собраться у двери и позвонить только раз семь звонков, чтобы соседи не подняли скандал. Левушка и Яша несут мне подарок, который давно мастерам, что только я ни делала, пытаюсь узнать, но Левушка тверд, как скала, единственно, что я пронюхала, — они собирают какие-то винтики, пружинки. Наверное, приводят в порядок старый патефон. Яша — наш с Левушкой самый старый друг, его привели к нам маленьким. Только он старше нас на два года, а мы с Левушкой — ровесники, я родилась в марте, а Левушка в мае.

Яшин папа был саратовским купцом, у него были зерновые лабазы, они после революции остались в Саратове. Папу вскоре арестовали, требовали золото, которое они же сами при аресте забрали. Папа из тюрьмы не вернулся, а мама, схватив маленького Яшу, кинулась к своим друзьям в Москву. Яша очень симпатичный, настоящий волжанин, веселый, голубоглазый, открытый, теперь я не кидаюсь как раньше ему на шею, стала с ним осторожна, он, по-моему, в меня влюбился, как-то совсем по-другому смотрит на меня, стал сдержанным и, хоть и круглый пятерочник, не может поступить в институт уже два года и очень от этого страдает, он работает на стекольном заводе, на его руки без слез смотреть невозможно, страшные, истерзанные.

Левушка и Яша ставят на стол какой-то ящичек... шелчок... и небо разверзлось... Франция! Италия! Где-то рыдают! Хохочут! Поют! И еще кроме радио они принесли патефон с пластинками Вертинского, а сосед опять пьян, выпустил свою троицу под дверь интеллигента, и в коридоре Содом и Гоморра, и мы можем слушать, не приглушая звука!

В синем и далеком океане,
Где-то возле Огненной земли,
Плавают в сиреновом тумане
Мертвые седые корабли...
Их ведут слепые капитаны,
Где-то затонувшие давно.
Ночью их немые караваны
Тихо опускаются на дно...

Это я слепой капитан! Это я опускаюсь на дно в синем
и далеком океане! И именно возле Огненной земли!

Я работаю курьером в Наркомпросе, а вечером учусь на ненавистных мне чертежных курсах рядом с моим «Великим немым», в котором теперь редко приходится бывать. Сажу, вычерчиваю прямые линии... а сама шагаю с самолета в голубую пропасть... а то вдруг чудятся мне тайны человеческого тела... Думать, делать, что угодно, только не сидеть за этим столом. А что будет со мной и с Левушкой, если Парусников не поможет, если мы так и не сможем нигде учиться? Кем мы будем?..

Левушка работает помощником десятника на стройке — так сказал Парусников, а в мои обязанности входит разносить бумаги и документы по Комиссариату и иногда отвезти их в гостиницу «Метрополь», где живут все вожди. Я растерялась, когда приехала туда в первый раз: старинная дореволюционная шикарная гостиница с коврами, хрусталем, номера из нескольких комнат. Я замерла у массивной двери, не решаясь позвонить, я показалась себе такой букашкой в своих тапочках и майке.

На этот раз хозяин пакет из рук не взял, а повел меня в кабинет, усадил, распечатал пакет и стал его долго читать.

— Ты, наверное, устала, голодная... Перекуси, у меня все стоит на столе!

В его голосе что-то противное, и сам он старый, тоже противный. Он обнял меня за плечи и подвел к столу, как в сказке заставленному всем самым-самым вкусным. Ударило в голову воспоминание, как я с подругой пошла слушать к ее знакомому, взрослому мужчине, пластинки, он послал подругу за чем-то в магазин, а на меня набросился... Но это была коммунальная квартира, я начала кричать, он меня выгнал, и я, рыдая, ждала подругу у подъезда. Здесь кабинет от коридора через две комнаты, кричи, не кричи, никто не услышит! Я сбросила с плеч ему руку.

— Я таких яств никогда не ела! Мне от них будет плохо!

Он опешил.

Что же он ожидал, что я начну все хватать со стола, брошусь ему на шею?! Быстро, гордо я пошла к двери. Сердце выпрыгивает. До двери уже немного. Около уха его сопение... А если сейчас собьет с ног... А если дверь заперта... Хватаюсь за ручку. Заперта.

— Откройте дверь!

Он повернул ключ, и я почти вывалилась в коридор

— Ты как сюда попала?! Ты что здесь делаешь?! Что с тобой?!

Меня подхватил дядя Коля Бухарин. Я начала что-то лепетать... Сверкнув глазами на дверь, из которой я вывалилась, дядя Коля повел меня по коридору.

— Боже, как ты выросла, я бы тебя и не узнал в нормальном состоянии, а сейчас ты опять похожа на ребенка, только обиженного!.. Как папа? Как Парусников? Я его давно не видел...

Он нарочно болтает, чтобы я пришла в себя. О случившемся ни одного слова. Он все понял... Как стыдно! Что он может подумать?!

— Я провожу тебя. Где ты живешь? Я посажу тебя на трамвай!

У подъезда он повернул меня к себе и, смотря прямо в глаза, спросил:

— Ты только одно скажи, как ты попала в «Метрополь»?

Я рассказала. Он бросил меня и побежал обратно в гостиницу. А я тихо пошла домой.

С Папой об этом говорить ни в коем случае нельзя — он ворвется в «Метрополь», вышвырнет всю эту требуху на улицу, это тараканье гнездо, этих жаб, этих мокриц!.. Но ведь не все же вожди такие?! Дядя Бухарин другой... Он отомстит за меня... Он убьет этого старикашку!.. Как он смел!!! Как он мог!!! А может быть, меня кто-то специально послал к нему?.. Да, да! После рабочего дня!.. А может быть, он и не старикашка, а такой, как Папа?..

Меня чуть не переехала машина, надо успокоиться...

Когда я попадаю в «Метрополь» с бумагами, я домой на трамвае не езжу, а иду пешком мимо «Гранд-отеля», по улице Герцена, к нашему бульвару, это совсем близко, и улица Герцена — моя любимая, красивая, старинная, мимо университета, консерватории...

Нам с Левушкой очень нравится дядя Коля Бухарин.

Кроме наших саратовских друзей, у нас есть еще смоляне, это друзья Тети Вари и Дяди Коли, Левушкиных родителей. Тетя Варя, моя родная, любимая Тетя — Папина се-

стра, а смоляне — семья Астровых. Они давно уже переехали из Смоленска в Москву, и они — тоже вожди, но совсем не такие, как в «Метрополе». Дядя Бухарин у них в доме как родной. Для нас с Левушкой праздник, когда нас приглашают в гости к Астровым. Таких других симпатичных людей больше нет на свете. Трое их девочек — наши ровесницы. Один раз дядя Бухарин довел всех нас до слез. Мы играли в прятки. Тетя Аля Астрова в эту игру играть не может, она такая большая, что ей негде прятаться, а дядя Бухарин всегда с нами играл. Водила я, всех нашла, а дядю Колю найти не могу. Ну нет — и все. Мы уже ищем все вместе. Дядя Коля мог уместиться, где угодно, — он маленький, быстрый, — перерыли все шкафы, искали под столами, под диванами. Нет! Тетя Аля глдит белье и давится от смеха... Не мог же он нарушить клятву и выйти на лестницу!.. Вдруг на потолке что-то фыркнуло. Дядя Коля лежал на шкафу и, не выдержав, фыркнул... Мы еле его стащили и смеялись до слез... А сейчас дядя Коля мстит за меня этому противному старикашке.

Я вечером никогда не проходила мимо «Гранд-отеля»: парадное сияет, на машинах подъезжают красиво одетые мужчины и женщины... Швейцар в галунах... Ядя! Моя любимая подруга Ядя, предавшая меня... Веселая, разодетая, с Эстер. Она смотрит мне в глаза, не видит меня и проходит мимо.

Мне было шесть лет, ей — семь, когда мамы привели нас в музыкальную школу для одаренных детей. Я ее сразу углядела и начала по возможности чаще дергать за косичку, которой у меня не было, она не жаловалась и этим покорила мое сердце. Оказалось, что мы близко живем друг от друга, учимся в одной школе, только она в параллельном классе. Они — литовские поляки: мама и четыре девочки, старшие уже выросли, Ядя — самая маленькая, беленькая, тихая. Папа умер. Мама простая, тоже очень тихая, работает швеей, еле сводит концы с концами. Ядя стала часто бывать у нас, а потом просто жить, и только изредка уходила домой на день-два. Все, кроме Баби: и Папа, и Мама, и я — полюбили ее, а Баби она чем-то не нравилась, может быть, потому, что Баби умчая, все видела и видела, как Ядя начала надо мной мудровать и вить из меня веревки: чуть что не по ней, она начинала собираться домой, и я ей уступала. Она стала в доме родной. Яде даже отдавали все лучшее, чтобы она не почувствовала себя неродной. Впервые за все детство со мной не было моего Левушки, я тосковала о нем до слез и теперь свою неж-

ность и преданность перенесла на Ядю. Левушка остался с родителями в Кардымове, его отдали учиться в деревенскую школу, в которой преподавала Тетя Варя, а Дядя Коля тяжело болел астмой, очень себя плохо чувствовал, и о переезде в Москву речи быть не могло. Мой любимый Дядя Коля умер, и Левушка с Тетей Варей переехали жить к нам.

Теперь мы втроем. У Левушки с Ядей дружба не получилась, и он всегда радовался, когда Ядя уходила домой, но мы куролесили, веселились, играли.

И вдруг Ядя стала не приходиться по неделям, потом перестала заскакивать даже на часок, потом исчезла совсем. Мне было стыдно, что она исчезла. Папа и Баби молчали, и Мама терзала меня и все допытывалась, что произошло. В это время меня из школы выгнали как дочь лишенца, и я Ядю совсем потеряла. Из гордости домой к ней идти не хотела, а тихонько пришла в старую школу и тут же в упор наткнулась на Ядю за руку с какой-то девочкой. Девочка эта Эстер, дочь портного, приехавшего со всей семьей из лондонского гетто. Девочка странная, потому что на нас не похожа, какая-то взрослая, выражение лица жалкое, униженное и такая же улыбка, говорит с некрасивым акцентом.

А потом я встретила с Ядей у ее дома, разодетой во все заграничное в свои шестнадцать лет, уже тоже взрослой. Как ни в чем не бывало она начала уговаривать меня зайти к ним: мама будет очень рада, мама все время спрашивает обо мне. И я к ним пошла, и я узнала: у Яди роман с молодым афганцем. Он работает в посольстве. Комнату узнать тоже нельзя: новая мебель, ковер, благополучие.

Сама Ядя к нам так и не зашла, ей, наверное, было стыдно. И вдруг на удивление моим Ядя пригласила меня в ресторан на день своего рождения. Баби меня приодела, Ядя одолжила украшение и туфли, и я отправилась на свой первый бал. Была Ядя со своим Хафизом, Эстер с каким-то японцем и еще молодой красивый афганец, друг Хафиза, — он тоже работает в посольстве. Ресторан был в той самой гостинице «Метрополь», из которой я сейчас иду. Ресторан тоже шикарный, с фонтаном, с иностранным оркестром во фраках, и я увидела много красивых, разодетых русских женщин, и все они были с иностранцами, и со старыми, и с уродливыми, и с черными, и даже я поняла, что они у этих иностранцев на содержании, а уезжая, эти иностранцы передают своих дам приехавшим... У Эстер

до японца был итальянец. Белая ворона — это все-таки белая ворона, а я была среди этих львиц жалким крольчонком, мышонком в своем опять перешитом Баби платье. Я молчала. Я так танцевала с этим другом Хафиза, что он удивленно на меня посмотрел, хотя я танцую хорошо. И наконец домой... Когда мы все вышли, Ядя сказала, что мы зайдем к Хафизу, он хочет поздравить ее по-домашнему. Посольство помещалось в старинном особняке на улице Воровского. Мы спустились в подвальное помещение, где было много дверей. Эстер сказала, что она устала, у нее разболелась голова, и уехала со своим японцем, не заходя в посольство. Японец был военным атташе, пожилой, тучный. Мы вошли в одну из дверей, Хафиз и Ядя сказали, что идут приготовить кофе и позовут нас. Этот друг тут же на меня набросился, но здесь все было слышно, я хотела закричать, позвать Ядю, он зажал мне рот и вышвырнул из комнаты. Не зная, как выйти из посольства, я несколько раз у каких-то дверей шепотом позвала Ядю, везде была тишина, и наконец увидела лестницу, по которой мы спустились сюда.

Папе, конечно, об этом тоже не сказала, потому что разгромить посольство хуже, чем «Метрополь», могла начаться война! Больше я Ядю не видела, и сейчас она прошла мимо, сделав вид, что меня не узнает. Ну и денек!

Иду по бульвару, шурша большущими желтыми листьями клена. За мной давно идет мужчина, я взрослая, мне уже исполнилось семнадцать лет, и я должна делать вид, что я его не замечаю, а так хочется показать ему язык...

— Извините, пожалуйста... Я ассистент режиссера... Мы сбились с ног, разыскивая героиню в наш фильм... Я хотел проследить, где вы живете, но боюсь вас потерять...

— Я бы на вашем месте придумала что-нибудь менее тривиальное.

— Но все, что я сказал, это действительно правда.

Я изобразила на лице великое безразличие.

— Все зависит не от меня, а от Папы, и он к такому предложению отнесется отрицательно!

— А можно мне поговорить с вашим папой?

Папа не был так мудр, как я, и у него радостно, удивленно раскрылись глаза. Папа знает всех, с кем я знакомлюсь, и к моим мальчишкам-сверстникам относится спокойно, а взрослых мужчин всех считает подлецами, и когда я его спросила: «И ты тоже?», ответил: «И я тоже».

Мне этот ассистент Гога сразу не понравился, хотя он интересный, глаза красивые, зеленые, но почему-то противные, фигура тоже ничего, но плечи маленькие и покатые, тоже противные, и противный пухлый рот бантиком, и он старый, ему двадцать восемь лет... А Папа сказал:

— Наконец-то в твоём окружении появился достойный человек! Бывают же еще порядочные люди!..

Студия огромная, мрачная, неудобная, как катакомбы, совсем не такая, какой я ее придумала. Меня водят по длинным коридорам, гримируют, одевают, дали заучить текст и должны снять на пленку. Это называется «проба», и от нее зависит, возьмут меня сниматься или нет. Я должна изобразить школьницу-немку, вскочить на парту и сказать пламенную речь. В примерной долго возились с моими волосами, они еще не отросли, только причешут, а хвостики

опять вскакивают. В фильме «Артисты варьете» у артистки Лиа де Путти очень красивая прическа: коротко подстриженные волосы, а спереди полукруглая челка до самой переносицы. Я отправилась в парикмахерскую, но только в четвертой уговорила мастера сделать мне такую же прическу. Полукруглой челки не получилось, а получился острый клин между бровями на переносице. Маму отпаивали валерьянкой, Папа бегал по комнате, заламывая руки, и стонал: «О Боже! О Боже!», Баби бегала между ними и все время повторяла: «Успокойтесь, волосы скоро отрастут». Хвостики мои наконец чем-то приклеили, и меня повели на съемку. Вспыхнуло много света, я прыгнула на парту, начала пламенную речь и сразу не заметила, что свет погас, режиссер, оператор и этот ассистент Гога куда-то уходят, а я стою на парте с раскрытым ртом. Мне объяснили, пленка кончилась и меня снимут на фото, а дома Гога рассказал, что оператор хочет в этой роли снимать свою жену и отказался тратить на меня пленку как на недостойную кандидатуру...

Через неделю эта киногруппа уезжала на съемки в Тбилиси, и Гога уговорил Папу отпустить меня в гости к его семье, под его ответственность. Он, оказывается, грузин и живет в Тбилиси. Ура! Я уезжаю на незнакомый таинственный юг, впервые одна!

На вокзале Папа поцеловал Гогу:

— Только на ваше попечение!

Встречать приехала вся семья: папа и мама — глубокие старики, пять сестер, Гога — шестой и младший. Они дворяне. Я думала, что дворяне бывали только до революции и в книжках, а здесь не боятся говорить об этом открыто. Мне приготовили комнату в зубном кабинете старшей сестры. Когда я после ужина вошла в эту комнату, вслед за мной вбежал Гога, запер дверь на ключ и бросился целовать мои тапочки.

— Я люблю вас. Я жить без вас не могу. Я покончу с собой, если вы не будете моей женой!

Вскочил с колен, схватил меня, хочет поцеловать, сопит, дышит в лицо вонючим ртом.

— Я хочу вас, хочу. Мы будем богато жить, я кончаю институт, я талантлив, я буду великим режиссером, я буду вас снимать, я сделаю из вас артистку, звезду!

— Вы выдали меня за свою жену?!

— Да, да, вы тоже любите меня, мы завтра же поженимся, вы не смеете открыть мой обман, отец не переживет, потом из Москвы я напишу им, что мы разошлись.

Что делать? Папа ничего не должен знать, он убьет Гогу.

Денег на дорогу домой нет. Папа должен их прислать. И как же его старые папа и мама... От страха у меня застучали зубы... Он отстранил меня...

— Больше я к вам не прикаснусь! Клянусь честью! Только вы не выдавайте меня!

Гадина! Гадина! Гадина!.. Впереди целый месяц! Как всех обманывать! Сестры меня на руках носят!

Я увидела, что в комнате поставлены две кровати. И теперь мы ночами как звери караулим друг друга, когда я не выдержала и задремала, он бросился ко мне, он знал, что я не закричу. Я молча дралась как кошка, он испугался, что шум могут услышать, швырнул меня на пол и обругал.

Через два дня я выбежала из дома в булочную и лицом к лицу столкнулась с режиссером фильма. В группе никто не мог знать, что я в Тбилиси. Гога увез меня раньше общего выезда. От удивления он не мог сразу заговорить.

— Вот так история! Мы же вас разыскивали для съемки, получились очень хорошие фото. Гога выяснил, что вы куда-то уехали. Ах, если бы мы с Гогой знали, что вы уехали в Тбилиси, мы бы не взяли актрису, а снимали вас! Где вы живете? Вы в гостях? Дайте ваш адрес, мы сейчас же приедем с Гогой к вам в гости! Гога так горевал, что вас нельзя найти и снимать!..

Он посмотрел на наш дом.

— Так это же квартира Гоги!

Я побежала вниз по улочке. Вскоре подъехал на машине Гога.

— Умоляю вас не портить мне карьеру, мне пришлось сказать, что мы поженились, нас ждут на студии, поедете, это в последний раз, клянусь, больше я никогда ни о чем не попрошу. Я спрятал вас от съемок, боясь потерять!.. Будьте доброй еще раз!

Я даже покончить с собой не могу. Как же Папа будет без меня? Это ведь не босыми ногами стоять на балконе, это ведь навсегда! А босиком я встала на лед, чтобы Папе стало жалко меня, когда я заболела. Он выдрал меня и поставил в угол за то, что я опять дралась с мальчишками ранцем! Я дождалась, когда все заснут, и босиком в ночной рубашке тихонько выскочила на черную лестницу на балкон и встала на лед! Не было даже насморка, пришлось просить прощения.

Теперь Гога уезжает на весь день, на съемку, и приставил ко мне своего друга Митю, чтобы он сторожил меня. Они оба студенты, последнего курса режиссерского факультета института кинематографии. Митя тоже тбилисец и здесь на практике.

Митя совсем не похож на Гогу. Искренний, простой,

скромный, с ним, как с Левушкой, спокойно, ему тоже уже двадцать шесть лет, но он не такой старый, как Гога. Мы ездим за город, поднимаемся и спускаемся на фуникулере, бродим по узеньким мощенным камнем улочкам, улочки бегут вверх-вниз, вверх-вниз... Над городом корона из желтых листьев, они медленно падают, кружатся, тепло, пахнет айвой, из окон плывут звуки рояля. Мы возвращаемся только к ужину. Вдруг Митя исчез. Просто не приходит. Я жду, жду, его нет. Гога теперь не страшный, он приезжает и валится от усталости в постель, но кровать свою в другие комнаты не переносит... Они снимают с утра до ночи. Мити нет уже третий день. Бежать к ним?! Я не знаю, где они живут. Где-то на горе за нашим домом... Когда он к нам приходит, спускается откуда-то сверху. Я верчусь у окон... Митя появился только на четвертый день. В дом, как всегда, не вошел.

— Что вы делали эти три дня?.. Где были?.. Что видели без меня?.. Я должен знать о вас все. Я за вас отвечаю!

На этот раз он какой-то натянутый, фальшивый. Куда подевался прежний Митя?

— Я пришел попрощаться, через день уезжаю в Москву.

— А вы не могли бы под каким-нибудь предлогом увезти меня с собой домой, к Папе?

Он даже испугался:

— Что вы?! Что вы придумали?! Зачем?! У вас еще столько дней вперед!

— Я не могу все объяснить, но это было бы очень хорошо!

— А вы говорили с Гогой? Он вас отпустит?

— Вам обязательно надо ехать послезавтра?

— Да. Я уже опоздал в институт на пять дней.

Он повернулся ко мне спиной.

— И мне необходимо уехать!.. Вообще! Отсюда!.. И как можно скорее! Прощайте!

Больно! Обидно! Неужели он такой же, как Гога? Почему такая перемена?

На следующий день в группе выходной день, и режиссер пригласил всех к себе в гости. Мити нет! Я его больше никого не увижу!.. Когда все сели за стол, вошел Митя. Веселый, шутит, меня не замечает, а уходя, пригласил всех на завтра к себе на прощальный ужин...

День бесконечный, тягучий, скучный, Митя живет совсем не так, как семья Гоги. На крутой горе обыкновенный южный дом с галереей, маленький дворик, соседи. Очень симпатичные мама и сестра. Как бы невзначай спрашиваю:

— Вы ночью уезжаете?

— Нет, я получил разрешение из института остаться еще на десять дней, и мы как раз вместе можем поехать, чтобы вам не было так страшно одной. — Он замолчал и тихо добавил: — А мое желание скорее уехать — просто трусость.

К нам подошла мама.

— Приходите к нам с Гогой на обед. Я его так давно не видела.

— Мама, Гога занят на съемках, я приглашу одну из его сестер... Я найду за вами.

Ни одна из сестер пойти не смогла. Мы обедаем вчетвером: Митины мама и сестра, он и я. Я не могу поднять глаз на Митю. У меня падают из рук ложки, вилки. У Мити тоже. Мы отвечаем невпопад. Раздался такой удар грома, что все вскочили. Началась гроза. Мы выбежали на галерею. Вода рекой понеслась вниз с горы. Все почернело. Страшно.

Гроза, не кончайся!!! Гроза, не кончайся!!! А она как началась, так вдруг и кончилась, и опять все засияло. Нужно уходить.

Вода звенит, сияет, несется, сшибает с ног. Мы босиком шагнули в воду. Митя взял меня на руки... и загудели колокола как в детстве, когда Папа нес меня на руках из церкви в Пасхальную ночь, после заутрени, домой. Сладко. Страшно. Колокола торжественно гудят. И вдруг опять все почернело, опять хлынул дождь, опять гром, молния, можно оглохнуть, ослепнуть! Митя прижал меня к груди, его сшибает с ног... И все! Мы летим вместе с водой, меня вымыло из Митиных рук, я не могу удержаться, схватиться за него, Митя поймал меня за волосы, но нас уже пронесло мимо Гогиного дома, от хохота мы не можем встать на ноги. Теперь надо пройти обратно три дома против течения! Митя опять взял меня на руки, и, хватаясь за стены, мы добрались до подъезда. Нас не убило, мы целехоньки, только в грязи и мокрые-мокрые с ног до головы. Вся семья стояла у окон. У Мити нет телефона, и они волновались, ничего о нас не зная. Гога уже вернулся со съемки, и Митя протянул меня ему:

— На, бери свое сокровище в целостности и сохранности.

Гога злобно повернулся и вышел, хлопнув дверью. Всем стало неловко, все кинулись переодевать нас, сушить, поить горячим чаем.

На следующий день меня начало знобить, а к вечеру температура тридцать девять. Опять началась гроза, опять как из ведра льет дождь, и врач еле добрался к нам. Он сказал,

что это не может быть обычной простудой, и спросил, не беременна ли я. Гога быстро ответил «нет».

— Тогда, может быть, у вашей жены нервное потрясение?

К ночи у меня началась горячка. Все около меня. Гога мечется, он боится, что я потеряю сознание и в бреду все расскажу. Раздался звонок в дверь, на пороге все увидели Митю, босого, с него ручьями льется вода, в руках — малиновое варенье.

Я поправляюсь, а Митя опять исчез. Не мог же он уехать без меня! Гога молчит, и между слов ни у кого ничего узнать не могу. От Папы пришли деньги, и мне заказали билет вместе с каким-то знакомым семьи. Где же Митя? Что опять происходит?.. Звонит со студии Гога и говорит, что мы вечером приглашены к Мите на прощальный ужин... Входим. Митю нельзя узнать, осунулся, глаза потемнели.

— Вы больны, вы простудились из-за меня?

— Нет, я совсем здоров.

— Почему же вы молча так странно исчезли?

— Я не исчез... Вы поправились, и я больше не смею бывать в доме у Гоги...

— Что-то случилось?

— Случилось то, что я — подлец по отношению к нему.

— Но ведь вы не настоящие друзья, а так, по соседству!

— Но он доверил мне вас как другу.

— Вы и были больше чем настоящим другом! Ах, поэтому вы бросаете меня одну в поезде?! Вы действительно трус, а по отношению ко мне предатель!

У него побелели губы. Его позвала мама. Он вернулся с чашкой чая.

— И зачем тогда вы устроили этот вечер?

— У меня не хватило сил уехать... не увидев вас еще раз близко... разговаривать с вами... В последний раз! Я ходил у вашего дома... видел вас... слышал вас...

— Я не жена Гоги.

Чашка выпала из рук.

— Если хотя бы чувство дружбы у вас ко мне есть, не бросайте меня... я должен вас видеть... быть около вас... я больше ни о чем не прошу... не гоните меня... я вас люблю...

Колокола... Колокола... Как тогда, в детстве... Мой друг... Мой муж...

Папа, мой Папа, чуть не на коленях умоляет меня передумать, не выходить замуж, что это еще не любовь, что потом я буду горько сожалеть, что еще очень рано. А я понимаю, что есть только одно «что» — сам Митя. Он сразу же не понравился ни Папе, ни Баби, ни Левушке.

— Понимаешь, он может быть и хороший человек, честный, и я его совсем не знаю, но он, как бы тебе сказать... человек не нашего круга, с другими понятиями, убеждениями, воспитанием, ты еще не в том возрасте, чтобы помочь ему осознать это, и вместо радости начнется страдание, брак есть брак, и уже ничего вспять повернуть нельзя будет. Может быть, он и любимый ученик Эйзенштейна, но нет в нем интеллекта, и, помяни мое слово, он никогда ничего не сможет создать, не из чего ему создавать, пустота, а он уже взрослый человек... Ты помнишь одну из твоих невероятных, как всегда, неизвестно откуда приходящих идей: замуж не выходить, ребенка родить от умного, талантливого, красивого человека... Что, эта идея растаяла, как мороженое?

Папа встал и ходит около скамейки.

— Я не сплю ночей... где вы будете жить? На что? Как вы будете жить? Общежитие ужасное, я там был несколько раз: грязь, полное отсутствие удобств. Наша комнатка покажется тебе раем!

Я тоже была в этом общежитии. Это большая грязная комната, вход прямо из коридора, отопление печное, туалет и кухня в другом коридоре, далеко, далеко. Это мужское общежитие Митинового института, и там еще живут студенты, их только еще обещают переселить...

Сажу, не дышу.

— Митина стипендия — гроши... Чем мы с Баби сможем тебе помогать? Я знаю, что юность жестока, дерзка, непослушна, легкомысленна, безответственна, и знаю тебя, и знаю, что при всем при этом против моей воли ты не пойдешь, но я не могу, не смею нанести тебе рану! Значит, так тому и быть. Аминь.

В марте мне исполняется восемнадцать лет, и на апрель назначили свадьбу.

Тося всегда без передышек взлетает на девятый этаж и вихрем врывается, ее семь звонков ни с чьими другими спутать невозможно. Она учится вместе с Митей, только на актерском факультете, тоже на последнем курсе. У нее лучистые серые глаза, такие же как у Баби. Интересно, вот такими лучистыми бывают именно серые глаза... у нее белозубая улыбка, а сама она тоже лучистая, и обаяния у нее человек на десять, походка стремительная, поет, танцует, играет на гитаре. Они недавно всей семьей вернулись в Советский Союз из китайского Харбина, и, несмотря на то что ее увезли совсем маленькой, ничего эмигрантского в ней нет, наоборот, все лучшее русское, что мы растеряли, — в ней. Ей 25 лет. У нас в доме она сразу стала старшей сестрой.

— Скорей, скорей! Ты будешь сегодня сниматься в картине. Замечательный эпизод слепой цветочницы. Я уговорила режиссера снимать вместо меня тебя. Я рассказала режиссеру, что это должна быть трогательная девочка, а не такая старая пройдоха, как я, и у меня есть такая девочка. Ты только, пожалуйста, не дрейфь. Режиссер — старый хрыч, но я буду рядом с тобой. Это студия «Межрабпромфильм», помнишь, рядом с нашим институтом? Фильм об Америке — на улице стоит слепая девочка-цветочница с лотком фиалок. Когда выйдем из автобуса, я с тобой все отрепетирую. Все они хамы и дураки, и режиссер тоже, и могут вообще не обратить на тебя внимание, мол, делай, что хочешь, а ты делай, как я тебе скажу, и никого больше не слушай. Будет большая массовка — смотри только на меня. У тебя должен быть свой туалет, и я послала нашу студентку за моим харбинским платьем.

В Тосином платье, загримированная, причесанная, я превратилась в американку. Тося от меня не отходит. Съемка должна быть на улице на фоне студии, это здание знаменитого до революции ресторана «Яр». Фасад разукрасили рек-

ламой на английском языке, зажглось много огней, начала собираться разодетая толпа. Только теперь я поняла, что происходит, как это все случилось.

— Тосенька, милая, уговори режиссера снимать тебя, а не меня. Я ничего не смогу, я осрамлюсь.

Раздался крик:

— Антонина! Где твоя девочка? Показывай!

К нам идет режиссер: старый, хромой, злой. Он осмотрел меня:

— Ничего, годится, трогательно, похожа на гусенка!

Началась репетиция. Я все делала, как мне сказала Тося: ко мне подходили люди, покупали фиалки, я улыбалась, потом произнесла свой текст. Режиссер сказал:

— Очень хорошо, но мне надо, чтобы улыбались только губы, а глаза были мертвыми, слепыми!..

Как же так, отнять глаза ото рта?

Тося издала молча на меня смотрит, не отвечая на мой умоляющий взгляд, режиссер и вся толпа тоже смотрят на меня и ждут, наверное, подсказать этого нельзя, я должна сама догадаться, как это сделать. От волнения у меня скопилось глаза... Режиссер закричал, чтобы я перестала валять дурака... А потом меня расцеловала Тося и сказала, что съемка очень хорошая. Вторая половина сцены совсем другая: гаснут огни, фиалки не проданы, все бегут мимо, у меня катятся слезы. Теперь мучительно соображаю: как же так, ни с того ни с сего заплакать? Началась репетиция, слез нет. Опять с мольбой смотрю на Тосю. Она подбежала и зашептала:

— Вспомни что-нибудь грустное — и заплачешь.

Я вспомнила нашего Бишку, как он попал под трамвай, и слезы действительно полились, но режиссер уже отвернулся и закричал на всю улицу:

— Антонина, что за тупицу ты мне привела? Ей не на съемке надо быть, а торговать за прилавком! Дура какая-то!

Я бросила лоток, ничего не видя перед собой. Подбежала Тося:

— Умоляю тебя, потерпи немного. Сейчас снимут, и все кончится. Я говорила тебе, что все они — хамы, я убью потом этого старого хрыча, но если ты уйдешь, будет большой скандал. И главное — неустойка. Это значит, что тебе не только не заплатят, а еще заставят выплатить стоимость съемки. Сделай это ради меня, ради себя. Ведь это единственный шанс вырваться, если ты в архитектурный институт не попадешь!

Я поняла только, что не смогу принести домой первые

заработанные деньги, и я вернулась на место. Съемка состоялась. Только я теперь так плакала, что меня не могли успокоить...

Мы вышли на пустую улицу. Была уже ночь.

— Тебе этого не понять. Ты еще не знаешь, что все бездарные режиссеры, ничего не умеющие и не могущие, вот так добиваются результата, он нарочно тебя оскорбил, чтобы ты заплакала, и ты не огорчайся, ты же видела, как все к тебе ласково отнеслись, как тебя успокаивали...

У меня слезы лились до самого дома.

Семь звонков. Бегу по коридору, открываю. Стоят мужчина и женщина. После разговора с Папой чужие люди на пороге вызывают тревогу.

— Мы с киностудии, нам хотелось бы с вами поговорить.

Шикарно приглашаю на скамейку.

— Режиссер Мачерет очень просит вас сыграть в его фильме эпизод.

Сию минуту, внутри все поет, со мной разговаривают, как с настоящей артисткой. От волнения Тосе ничего толком рассказать не могу. Она едет со мной на студию, она в восторге, от меня не отходит.

— Эпизод неинтересный! Но ты видишь, как в павильон заходят люди на тебя посмотреть?! Вот увидишь, тебя еще пригласят куда-нибудь! Это значит, на той съемке тебя уже кто-то приметил!

И действительно, вскоре меня вызвали на пробу в фильм «Отцы» режиссера Садковича. Героиня — шахтерка, откатчица угля. Я делала все, как говорила мне Тося. Митя не поехал на пробу, сказав, что это неудобно, и был почему-то рассержен и недоволен и за что-то отчитывал Тосю.

И вот мы всей семьей во главе с Тосей едем на студию смотреть меня на экране. Митя оказался чуть ли не другом Садковича. Они вместе учились, только Садкович окончил институт раньше Мити. Они были связаны партийной работой.

Когда мы шли по двору студии, Тося сжала мне локоть:

— Тебя специально вышли посмотреть! Они тебя разглядывают! Значит, проба очень хорошая! Значит, удача! Тебя еще пригласят куда-нибудь! Обязательно пригласят!

А я ничего не вижу, не слышу. Поднимаемся по лестнице, заходим в совсем маленький кинозал — меньше моего «Великого немого». Погас свет. На экране появилось какое-то существо, убогое, тоненькое, незнакомое, с измазанным лицом, в больших сапогах, в измазанной кофте, и потом это же существо появилось, раздетое в украинскую шитую

рубаху, в бусах, с лентами в косе, и запело... Пело ничего... Зажегся свет. Все сидят, не шелохнувшись. Тишина отвратительная...

Ни жива ни мертва ловлю Папины глаза. Папа как-то не так, как всегда, с любопытством посмотрел на меня. Он доволен. Он от меня и этого не ждал, потому что он не видел моих дебютов в искусстве ни в школе, ни под тремя березами.

Это было в Кардымове, под Смоленском, у Тети Вари и Дяди Коли. Я жила у них до самой школы, потому что был голод и в Москве меня нечем было кормить. Тетя Варя работала в детском доме учительницей, а с нами занимался Дядя Коля. Теперь мне Папа рассказал, что Дядя Коля был царским полковником и, чтобы после революции его не расстреляли, скрывался в Кардымове, несмотря на то что стал выборным командиром Красной Армии. Он очень красивый, голубоглазый поляк, стройный, высокий, с офицерской выправкой, голова белая. Он как-то сказал, что голову-то с войны он умудрился принести, но она почему-то побелела. Дядя Коля задыхался, кашлял, и нам объяснили, что это называется «астма» и что Дядя Коля весь изранен. От любви и нежности к нему у меня придумалось вместо Дядя Коля — Дяколь.

Все, что делал Дяколь, вызывало восторг. Он учил нас маршировать как солдат, с надлежащей серьезностью в пять лет мы бодро распевали «Мальбрук в поход собрался, но тут же обкакался». Тетя Варя, как только мы демонстрировали ей свои познания, как-то странно раскрывала на Дяколя глаза, выходила из комнаты, тот шел за ней, и мы слышали, как они шепчутся, а после этого Дяколь добавлял нам еще какую-нибудь игру, и мы решили, что Тетя Варя помогала ему придумывать для нас игры. Все слова из этой песни были для нас обыкновенными, других в деревне мы не знали, и когда нас привезли в Москву и мы иногда ими пользовались, сразу наступала странная тишина... Дяколь научил нас читать, считать и громко декламировать всюду, даже когда он шел в туалет, мы ждали его на крылечке. Мы его обожали.

Дяколь рассказывал нам, как он, только тогда его звали Гарун-аль-Рашид, изъездил все страны, какие есть на белом свете, а когда его звали Синдбад, то плавал по всем морям и океанам, и мы Дяколя любили еще больше, потому что он такой герой. Вот тогда Дяколь и придумал театр под тремя березами, которые росли перед домом: сделал настоящий занавес из простыней, поставил табуретки, пригласил

соседей. Мы с Левушкой и пели, и танцевали, но когда я начала декламировать монолог «Леди Макбет», во-первых, все начали падать с табуреток от смеха, во-вторых, от волнения со мной что-то случилось, и Тетя Варя прямо во время действия схватила меня и понесла меня на штанишки.

Первым заговорил режиссер:

— Ну, как вам ваша дочь?!

— Хорошо, но мне кажется, что она совсем не подходит к образу шахтерки, я скорее вижу в этой роли Тосю, она могла бы сыграть ее отлично.

И действительно, крепкая, ладная, она очень подходила, но режиссер как-то странно засмеялся и сказал, что он трактует героиню именно в моем плане...

Значит, все, значит, я буду сниматься.

В доме переполох. Тося уговаривает Папу разрешить мне сниматься. Папа не соглашается. Он считает, что артистка — не профессия, что надо во что бы то ни стало добиться поступления в институт. Тося даже свадьбу предлагает отложить до осени. Свадьбу она вообще почему-то старается оттянуть. Тося убежденно рассказывает Папе о моем могучем таланте, и Папа сдается. После свадьбы меня должны отправить в Донбасс на шахту, где снимается почти весь фильм.

До свадьбы остаются считанные дни, все закружилось, завертелось. Мне купили первые модные туфли на каблучках. Баби сшила из своих бывших платьем костюм и, хотя она требовала носить даже старые тряпки, как королевские одежды, костюм получился красивым. Из комнаты вынесли кровать. Баби достала начинку, Мама испекла свадебный пирог. В загсе Митя еще раз попросил сменить мою фамилию на его, он не понимает, что это невозможно, что этого никогда не будет, я от Папиной фамилии никогда ни за что не откажусь. На восьмом этаже Тося запела венчальную. Левушка разбрасывает по лестнице цветы, Баби обсыпала овсом, и наконец все повезли нас в наш первый дом на Остоженке. Папа распахнул дверь, я заплакала от счастья: Папина и Мамина свадебная мебель, которая стояла у друзей, после того как нас выселили из той, большой квартиры: кровать, на которой я родилась, ободранный пол покрыт ковром, при входе отгорожена маленькая кухонька с новой керосинкой, не надо будет бегать на общую кухню, - и цветы! Цветы! Цветы!

А за окнами! До революции это был знаменитый Зачатьевский монастырь, как и все после революции, разгромленный, от храма остались одни руины, но стоит монастырская стена, высокая, широкая, в ней маленькие уютные ворота и

место над воротами, где висела икона, входишь в эти ворота как в благодать, а наше общежитие помещается в кельях монахинь, и прямо перед окном — сохранившаяся маленькая часовня.

Митя проводить меня в Донбасс не смог, не было денег. и меня отправили одну, вся группа давно уже выехала.

Пошел дождь, и, сойдя с поезда, я увидела маленькую станцию и стоявшую в грязи лошаденку с телегой, на которой приехали меня встречать. Унылая дорога, унылый, черный шахтерский поселок, ни одного деревца. крошечная мазанка с никогда не открывающимися окнами, за занавеской пожилые хозяева.

Садкович — шупленький, юркий, бесцветный, наглый, самодовольный, с красным курносым носом, совсем нетворческий, неинтеллигентный, попал на режиссерский факультет по комсомольской путевке, как и Митя. они «выдвиженцы».

— Что же вы не приглашаете на новоселье?! Как вы устроились? Вам выбрали лучшую хату и лучших хозяев!

Делаю вид, что намека не понимаю.

Через два дня, в десять часов вечера, раздался стук в окно. Хозяева испугались: весь поселок уже спит. Хозяйка вбежала ко мне за занавеску.

— Режиссер к тебе. Ему нужно с тобой говорить!

Я вскочила, оделась, пригласила.

— Извините, что так поздно, но я решил сам сообщить, что завтра съемки не будет.

Не знаю, что говорить. Смотрю на него. за занавеской замсрли хозяева.

— Ну, что же вы не приглашаете к столу?!

Хозяева забежали, убирают постели. Я молчу. Садкович отдергивает занавеску, подходит к столу, вынимает из карманов водку, вино, консервы, белый хлеб. В стране голод, и бедные хозяева не могут оторвать глаз от даров. Сели за стол. Хозяева едят и пьют. Садкович что-то беспрерывно говорит, смеется... Отвратительная сцена длилась до полуночи. Садкович напоил хозяев. Я их еле подняла утром на шахту.

Как только за хозяевами закрылась дверь, я увидела под окнами выбритого, разодетого Садковича. Он быстро, без стука вошел, накинул на дверь крючок и побежал к окну задергивать занавеску. Я успела сбросить крючок и выскокить. Он не смог втащить меня обратно. Он стоял в двери бешеный, в разодранной рубашке.

— С Гогой ты вела себя по-другому.

Ожог. Жгучий. Гога. Еще раз он появился в моей жизни. Он вернулся из Тбилиси в институт злобный, ревнивый и начал поливать меня грязью, Тося публично надавала ему пощечин и сказала, что если она еще раз что-нибудь услышит из его поганого рта, то все расскажет Папе и Мите. Гога — трус, он замолчал, но липкое тянется, и вот теперь Садкович.

Группа взволнована событием: приезжает жена Садковича Рива. За ней посылают на станцию лошадь. Он, оказывается, женат, и не просто, а по любви, он Риву развел с мужем, у них медовый год... Со мной он наглый, как будто вчерашнего и не было. Хорошо, что все это кончится с приездом Ривы. Вечером, ложась спать и взглянув в окно, я обмерла: в сумерках быстро шел по направлению к моей хате Садкович. Я успела набросить крючок на дверь, молчу, не дышу.

— Да откройте же, мне нужно отрепетировать с вами страшную сцену, а то из-за вашей неопытности мы тратим съемочное время!

Хозяева на шахте. А если это правда? Не может же он быть таким негодяем! Молчу.

Через три дня Садкович появился снова, я дрожа, но твердо и громко сказала:

— Если вы придете еще раз, я все расскажу Риве и Мите.

Больше он не появляется, но на съемках стало невыносимо, изводит меня, грубый, злобный. Съемки идут вяло, материал неинтересный, фальшивый, совсем не такой, каким мог бы быть, сроки затягиваются, к осени мы не успеваем отснять натуру. Начались дожди, поселок потонул в грязи. Внутри меня что-то происходит. Я другая. Я беременна. Мечусь в отчаянии. Узнаю от хозяйки, что врача в поселке нет, машины не ходят из-за грязи, лошадь достать так, чтобы никто не узнал, невозможно, аборт запрещены, можно сделать только подпольную операцию в Ростове за сто километров, съемки — каждый день. Папу вызвать не могу. Он аборт делать не разрешит. Рива единственная, с кем можно посоветоваться, она ко мне отнеслась тепло, как старшая. Увязая в грязи, бегу к ней. Садкович — на съемке. Рива сразу перебивает:

— А как же будет с картиной?

— А что с картиной?

— Да если съемки затянутся, будет видна беременность! Вы же сорвете картину!

Глотая слезы, прибежала домой, и в окошко вижу Риву.

Несмотря на данное слово, она все рассказала Садковичу. Садкович отпускает меня на три дня в Ростов для аборта. Рива поедет со мной и все поможет сделать. Скороговоркой она бросила:

— Телеграмму домой давать не надо. Ваши об этом могут и не знать.

Трясемся в телеге, в рабочем поезде душно, тесно, курят махорку, мне плохо, и думаю, думаю... аборт — это убийство... настоящее убийство... Сама Рива сделала много абортов. Ей тридцать лет.

В Ростове Рива ходит из дома в дом, звонит, шепчется, я плетусь за ней, все безрезультатно, и только пол вечер нас впустили в какую-то квартиру. Вхожу в кабинет, врач — мужчина. Я никогда еще не была у врача, от стыда я выскочила из кабинета. Рива сразу сделалась сухой, нервной. Совсем поздно нас впустили еще в одну дверь. Седая, с добрым лицом женщина просит Риву посидеть в коридоре, а меня ведет в кабинет, сажает, берет мои руки.

— Дитя мое! Что вы надумали? Этого делать нельзя! Родители ваши, муж знают о вашей беременности? Это радость родить ребенка. У вас будет прелестный малыш. Кто эта женщина с вами?

Молчу.

— Я операции делать не буду.

И совсем к ночи подвал. В комнате, где стоит стол, грязь, сама женщина неопрятная, не похожа на врача, суетится, просит Риву сразу же после операции увести меня из квартиры.

— Извините, Рива, я операцию делать не буду.

Митя... Митя... Моя первая любовь... На свадьбе я сломала каблук, и кто-то сказал, что это плохая примета.

Первая брачная ночь. Мита и терпелив, и мягок, и нежен, когда мой страх прошел и это все случилось, Митя, вытащив из-под меня простыню, куда-то исчез. Ошеломленная жду Митю. Может быть, так и надо — сразу куда-нибудь исчезнуть. Уже прошло часа три, а Мити все нет, и спросить, что делать дальше, не у кого, у Папы теперь об этом тоже не спросишь... Митя появился только к вечеру сильно выпивший и сказал, что они с братом «обмывали мою невинность».

Я постепенно осознаю тот разговор с Папой на нашей скамейке: «человек не нашего круга». Папа говорил о воспитании. Митя вообще не знает, что это такое, и приходится нам к нему приспособляться, ломать себя в дурную сторону... И дела мои плохи. Парусников не может протащить в институт без комсомольской путевки, будь ты даже семи пядей во лбу. Что будет со мной, с Левушкой? Моя карьера в кино тоже закончилась печально: съемки фильма затянулись, беременность стала видна, нашли в Прибалтике похожую на меня девушку, стали снимать ее, а меня оставили только на общих планах в больших массовых сценах, снятых на шахте. А потом был какой-то пленум ЦК по идеологии и почти готовый фильм закрыли как не отвечающий линии партии на шахте. Заработанные деньги кончились. Пока Митя учился в институте, Папа и Баби, как мышки в норушку, несли нам все, что могли, а после окончания института Митю по партийной линии оставили деканом режиссерского факультета, он уже получает зарплату, но часто эта зарплата остается в ресторане или на пирушке, когда появляются тбилисские друзья, а я тащусь с ребенком к своим пообедать. Мои, конечно, видят все, но молчат, и только раз, когда я завязала шею платком, Папа платок снял и увидел синяки, мне пришлось рассказать, что Митя душил меня из ревности.

— Надо терпеть, теперь у вас ребенок, и о разводе не может быть и речи.

И ревность-то эта беспричинная, неумная и к вещам, и ко всему живому, я ни о ком не думаю, я его еще люблю, я сделала бы все, чтобы спасти нашу любовь, а он ведет себя, как может вести распоясавшийся человек, знающий, что ему все дозволено. Так стыдно перед Папой.

Сегодня четверг... сумрачный... я вообще не люблю четверги... все неприятности у меня по четвергам... Мама, и Папа, и я устраиваемся кормить Малушку грудью: Папа сделал для меня специальную маленькую скамеечку, они усаживаются по бокам и умиленно наблюдают. Митя пришел раньше обычного, выпивший, еле поздоровался и, не обратив на нас внимания, сел за стол.

— Ну, и сколько же еще будет длиться это зрелище?! Я тороплюсь! Где обед?!

Мы вздрогнули от его слов и тона. Митя вскочил, схватил с моих колен Малушку и бросил на кровать. Девочка соскользнула на пол. Все произошло в мгновение. Папа дал Мите пощечину.

— Быстро соберите вещи!

Топор опустился.

Я молю глазами Митю попросить прощение, но он опешил от отпора и стоит у печи, растерянный, жалкий.

Вот и все. Я снова вернулась с моей маленькой девочкой в нашу маленькую комнату.

Как-то я побежала в булочную и вижу — двое мужчин ищут наш дом. Это меня! Меня! Из кино! Я быстро обежала их и влетела по лестнице. Семь звонков... Меня приглашают сниматься на студию «Мосфильм» в мопассановскую «Пышку» на роль юной жены старого фабриканта Карре-Ламадона. Режиссер Михаил Ильич Ромм, мой нечаянный спаситель! И все встало на свои места, и мое положение, и деньги! Деньги! Я извожусь, что теперь нас двоих кормят Папа и Баби. Митя ничего не присылает, ну просто хотя бы игрушку для Малушки, а о том, чтобы подать в суд на алименты, Папа и слышать не хочет.

И надо же так случиться, что почти год, каждую ночь, фильм снимается по ночам, потому что днем для студии не хватает электроэнергии, я среди первоклассных артистов. Это, наверное, единственный фильм, в котором все артисты все время вместе в дилижансе. Я одна не артистка, ничего не умею, и я не смею этого показать. У Ромма тоже первый фильм, он сам учится у этих же артистов.

Но у меня есть мой горячо любимый детский театр! Тог-

да, в той большой квартире, мы сдавали комнату, и в ней поселились две молодые подруги, они работали в детском театре, я не сводила с них глаз, я стерегла, когда они выйдут из своей комнаты, я старалась делать все, как они, я знала их платья, туфли, духи. Они-то и водили меня с собой в театр. Если меня почему-либо в театр не брали, я плакала, я вымаливала, я могла съесть манную кашу, хотя мне всегда казалось, что до меня эту кашу кто-то уже ел, и училась я хорошо из-за театра, мне не нравилось в школе всегда что-нибудь заучивать. В одном спектакле действие шло в зале, я сидела в боковой ложе бельэтаж, надо было смотреть вниз, я увлеклась, перегнувшись через барьер, меня спасли, поймав за ноги.

И конечно же, я знала всех, кто бывает у наших жилищ в гостях, и однажды я увидела Ее, ту, которая творит все это волшебство, ее зовут Наташа Сац, она ласковая, веселая, с красивым-красивым голосом, и она взяла меня участвовать в спектакле, где должны были появляться настоящие школьники...

И еще! Когда у нас бывали гости и меня укладывали спать, то Мама пела старинные романсы, а ее подруга — цыганские, я, конечно, и не думала засыпать, а пристраивалась к замочной скважине и все слышала и видела, а когда шли проверять, сплю ли я, я мигом была в постели и очень старалась, чтобы у меня не дрожали ресницы. Я знала все модные песни, романсы и распевала их тоже: «Только раз бывают в жизни встречи» и всякие другие.

А один раз я была в Большом театре. Папа повел нас с Левушкой на балет, мне очень понравились люстра и ложи, но Папа все время молча поворачивал мою голову к сцене. Потом дома, по требованию всех, я все-таки смогла под свое пение станцевать кое-что из балета, только меня обижали все, потому что лопались от смеха, но я не обращала внимания и продолжала танцевать.

Такой я шагнула в «Пышку».

Семь звонков. На пороге знакомый мужчина объясняет, что я должна явиться в Реалистический театр под руководством народного артиста Николая Павловича Охлопкова. Лечу. Некрасивый, разглядывает меня и приглашает артисткой в свой театр. Оказывается, он дружит с Роммом, и Ромм пригласил его на первый черновой просмотр «Пышки»... и передо мной приказ о зачислении в труппу! А я при смерти от счастья!

Моя первая роль — Наташа в спектакле Горького «Мать». Это называется «ввод», потому что премьера спектакля была

и кто-то уже эту роль сыграл. И вот я, одетая, загримированная, стою у кулисы перед своим первым в жизни выходом на сцену...

Мои новые друзья по театру волнуются тоже, но они, как и Охлопков, не знают, что я вообще не артистка, они думают, что я киноактриса и только в театре новичок. Они стоят чуть в стороне от меня. Я услышала свою реплику, наверное, пошла, наверное, сделала и сказала все, как надо, вышла за кулисы, спокойно повернулась, пошла обратно на сцену и еще раз повторила все с начала до конца. Актеры на сцене замерли, раскрыли рты, а я, не сказав ничего слова, повернулась и пошла обратно за кулисы, где меня и подхватили. Андрей Абрикосов, играющий главную роль, очень смешливый, — так его потом отливали водой.

Охлопков, талантливый, безумный, одержимый, кидает нас из огня в полымя: то мы занимаемся биомеханикой по Мейерхольду и частенько педагог швыряет нас мимо матов, так что искры из глаз сыплются, и это для нежного спектакля «Кола Брюньон», в котором нет ни одной широкой мизансцены, то по системе Станиславского полгода сидим за столом над «Трактирщицей» Гольдони, где все вихрь, все движение; а в спектакле «Железный поток» он всю массовку сделал персонажами и, увидя меня в тельняшке с гранатой за поясом, придумал сцену с поцелуем, которая кончалась взрывом аплодисментов: играли мы не за сценой, а среди зала были проложены трапы, по которым и двигался этот самый «Железный поток», и сцены по очереди выхватывались ярким лучом света. Охлопков усаживает меня в этой тельняшке и с гранатой за поясом на пригорок с гармонистом. Он играет, а я, положив ему голову на плечо, блаженно слушаю... вдруг он неожиданно поворачивает ко мне голову, долго целует, гармонь замирает, и когда он отрывается от поцелуя, гармонь начинает играть с полуноты, на которой замерла.

Один спектакль талантливее другого! Яркие, разные, необычные! Успех театра настоящий, не придуманный, не заказанный сверху! «Разбег», «Мать», «Железный поток», «Кола Брюньон», «Трактирщица», «Отелло»... В первый международный театральный фестиваль наш спектакль «Аристократы» становится лауреатом. И хоть времени совсем уже не стало хватать, осуществилась моя мечта — я в спорте. Я чемпион по плаванию в нашем профсоюзе работников искусств! Вот тебе и Папа! Вот тебе и ярославская тюрьма! Вот тебе и Волга! И первая посвященная мне поэма, которую написал на репетициях «Железного потока» мой партнер артист Ан:

Полна изящества и неги,
Она сидела на телеге.
И глазки шурила свои
На малахольного Аи.
Он с обреченностью во взгляде,
Телегу и судьбу кляня,
Молил смиренно о пощаде:
«Оставь в покое хоть меня!»
Итак, она звалась Татьяной,
Наружностью была на ЯТЬ,
Но говорят, что с обезьяной
Была готова флиртовать!
В лице всегда ни капли гнева,
Улыбка вправо, глазки влево.
И, побросавши прежних дам,
Валились все к ее ногам.
В таких делах мужчины тупы.
Казалось всем, что без конца
Все будут трупы, трупы, трупы
И побежденные сердца.
Слова и взгляд лова как милость,
За ней мужчин полсотни шилось.
Она ж брыкалась, как коза,
И усмехалась всем в глаза.
Но наконец пришла расплата —
Такого встретила Кита,
Что наша Тата, Тата, Тата
В него тати, тата, тата!
Ну вот и все, когда б желали
В стихах сих поискать морали,
Мораль нашлась бы без труда:
Татьяна в общем ерунда,
И неудачник пусть не плачет,
Ее фасон немного значит:
Появится какой-то «Он» —
И лопнул весь ее фасон!
Лишь я остался без изъяна.
Меж мной и ей была черта.
Лишь я!.. Но кажется, Татьяна
И я — тати, тата, тата...

Я от страха перестала опаздывать, отучил Николай Павлович! Я мечусь, Левушку Парусников в институт устроил, и меня тоже, только пока вольнослушательницей, я тихонько, неофициально хожу в институт в его мастерскую на лекции,

кормлю Малышку грудью и в спектаклях мы, молодежь, заняты в массовых сценах ежедневно. И как-то летом я подлетела к театру, когда зазвенел третий звонок. Николай Павлович каждый спектакль был к началу в театре, и стало ясно, он меня убьет. Тогда я влетаю в аптеку, покупаю бинт и, несясь по улице Горького, к вящему удивлению прохожих, забинтовываю себе голову: ни забинтованная рука, ни забинтованная нога спасти меня не смогла бы. Николай Павлович ждал меня у входа в театр и, увидя мою забинтованную голову, обомлел. А я твердо и убежденно сказала, что я упала с трамвая и разбила себе голову. Я была отпущена домой, но совесть меня сгрызала, и я дала себе слово больше, чего бы это мне ни стоило, никуда никогда опаздывать не буду, но сразу это как-то не получилось, и я, опять опаздывая, влетела в театр, моля Бога, чтобы не было Николая Павловича. Я сбросила пальто и ринулась в гримерную, а театр крохотный, наш актерский гардероб и буфет в подвале, в гримерные ведет крутая длинная лестница шириной в человеческое тело и забранная в фанерные стенки — получается узкий коридор. Я кинулась к лестнице, подняла глаза и увидела стоящего наверху Николая Павловича с широко расставленными ногами, бешеного до белизны, ноги упираются в стенки лестницы. Принимаю решение: со скоростью самолета взлететь по лестнице и успеть проскользнуть между его ногами. Он поймал меня за попу, но руки у него соскользнули, и я успела влететь в гримерную. Крючок там слабый, и все мы навалились на дверь. Что было с Николаем Павловичем!!! Он поранил руку, дверь в гримерную треснула, он так кричал, что зрителям наверняка было слышно, а со сцены разрываются безумные звонки помощника режиссера к началу спектакля, все выскочили из гримерной, а я забила в угол под гримировочный столик и мелко дрожу, влетает помрежка и говорит, что Николай Павлович ушел из театра, и я, надевая на ходу костюм, бросаюсь на сцену. А вскоре над Николаем Павловичем был общественный суд: он в бешенстве на репетиции «Кола Брюньона» ударил героиню каким-то железным прутом по плечу и сломал ей ключицу. Теперь я уже больше никогда никуда не опаздываю...

А еще история со спектаклем «Бравый солдат Швейк»! Швейка отлично играл замечательный актер Плотников, добрый, хороший иисусообразный человек. В спектакле есть сцена: Швейк заходит в трактир, трактир пуст, и только одна проститутка заснула на столе. Я играла эту проститутку, ни единого слова в роли нет. Швейк трясет меня, бу-

дит, я спросонок понимаю, что будят не для работы, а знакомый Швейк, машу на него рукой и выхожу на улицу. Плотников условно потряс меня за плечо, я не шевелюсь, он потряс по-настоящему — не шевелюсь, тогда он тряхнул меня, как следует, и поставил на ноги. Я открыла глаза, посмотрела на Плотникова и сказала: «А, Швейк!» — и, не проснувшись до конца, покачиваясь ушла со сцены. Зал решил, что я гениально сыграла, и проводил меня хохотом и аплодисментами. Охлопкову, конечно, доложили, он очень смеялся, вызвал меня и сказал, чтобы мы с Плотниковым так и играли эту сцену, но чтобы я не засыпала больше на сцене по-настоящему.

А после премьеры «Пышки» на двери моей гримерной появился шарж, отлично нарисованный нашим художником: я в космосе, среди звезд, в профиль, вся в полете с развевающимися волосами, в своем единственном черном выходном костюме, и надпись:

«Кинозвезда чуть-чуть лишь тлеет,
Да только светит, а не греет!»

Ленинград! Какой он? Красавец? Город на болоте? Меня утвердили на главную роль в фильме «Горячие денечки» на студии «Ленфильм». Снимают фильм два молодых режиссера. Проба была в Москве. Теперь я приехала на съемки.

Прекрасный, торжественный Невский проспект! Только мне не нравится, что Петр I построил в конце Невского Адмиралтейство, лучше бы сияла Нева, голубая, тревожная, моя Москва нежная, тихая, мы хлебосольны, а ленинградцы гостеприимны, они мягче, интеллигентнее во взаимоотношениях, а может быть, и холоднее, мы проще.

Сама студия тоже не такая, как «Мосфильм», уютная. И режиссеры совсем другие. Кроме братьев Васильевых, здесь все евреи, но тоже не такие, как на «Мосфильме». Наши совсем русские, а эти как иностранцы, особняком, и уж даже чересчур интеллигентны, я не знаю правильного значения слова снобизм, но, как я его понимаю, они снобы. Я здесь как совсем взрослая. Я в новой для меня жизни.

На встречу Нового года меня пригласили в Дом кино. Я впервые встречаю Новый год в общественном месте, я впервые в шитом из нового голубого шелка платье, я королева, от меня не отрывают глаз, оба режиссера в меня влюбились. При входе в Дом кино не надо никаких пригласительных билетов, а есть пароль: сверху лестницы громко кричат: «Как живете, караси?» Надо ответить снизу так же громко: «Ничего себе, мерси!» Сверху: «Как дела у вас в кино?» Снизу: «Ничего себе, говно». И все это надо пролетать совершенно серьезно. Я не удержалась от смеха. И все-таки, сравнивая мой детский театр и мой Реалистический с «Мосфильмом» и «Ленфильмом», я чувствую в кинематографе какую-то неприязнь, фальшь, холодок, за тобой как будто наблюдают, следят, чтобы ты не вырвалась, чтобы не пришлось потесниться, может быть, это оттого, что все режиссеры снимают своих жен и боятся конкуренток.

А я в моей новой жизни глазам своим не верю. Все трогаю руками. Гостиница «Астория» роскошная, как «Метрополь»! У ме-

ня своя ванна, я по несколько раз в день плаваю в ней! С ногами устраиваюсь на диване и читаю, читаю, читаю! Папа удивится, какой я стал умной! Живопись! Музыка! Храмы! Брожу по каналам! По набережным! И я увидела знаменитую Грету Гарбо в фильме «Королева Кристина». Осиянное чудо. Это не красота, это свет души, это глубина таланта, ума. Я такая жалкая! Что я играю, кого, зачем, хочется кричать, плакать. Может быть, лучше ничего прекрасного не видеть, не слышать, не сравнивать?! Нет! Нет! Нет! И нет! Видеть! Слышать! Сравнить! А интересно, от счастья умирают?

И еще у меня роман. Я никогда не видела, чтобы человек был так влюблен. Он не ест и смотрит, как я ем. Он стирает мои носочки, в которых я снимаюсь, и оставляет записку в моем номере: «Ваши носочки сохнут на батарее центрального отопления, а я сохну у себя в номере».

Институт пришлось бросить, но зато мы живем теперь как крезы: Папа на постоянной, хоть и непонятной для него, работе: он инженер по снабжению в огромном степном совхозе на Кубани, его устроил туда саратовский друг. Раньше Папа и не слыхивал о такой профессии, она оказалась сложной, но Папа постиг и эту профессию и наладил работу, им очень довольны, и он может часто приезжать на день, на два в командировки. Я тоскую по Папе! И кино мне не кино, и театр мне не театр... Папа топает ногами, кричит, не позволяет мне тратить ни рубля на дом, он все привозит с Кубани, там не так голодно, как у нас, а к моей грошовой зарплате в театре прибавился заработок в кино, так что мы скопили деньги, и у меня теперь шикарная шуба из кролика под «шеншель», у Левушки теплая шапка.

Семь звонков, вскакиваем. Папа вчера тихонько приехал на три дня на премьеру «Горячих денечков». Восемь часов утра! Знаем же, знаем, что арестовывают по ночам, но сердце разрывается на куски. Бегу. Открываю. Яша! Наш Яша! Он прямо с вокзала, он теперь живет в Горьком, ему удалось поступить там в институт.

— Скорей! Не умываясь! Бежим на Пушкинскую площадь!

Не переводя дыхание, бежим по нашему бульвару... В центре Пушкинской площади настоящие качели, и на них я во весь рост. Очень хорошо сделанная кукла! И вот это, наверное, и есть слава: на улицу нельзя выйти, здороваются, улыбаются, приветствуют, поздравляют. Гордо расхаживаю по Москве! Восторг! Охлопков недоволен и сказал, что куда больше меня сниматься не отпустит. Отпустил, и я снимаюсь на «Мосфильме», и мы теперь уже просто миллионеры. И Папа меня выгоняет в первый мой в жизни отпуск! На курорт! В Кисловодск!

Телеграмму из Кисловодска о приезде решила не давать, появиться на пороге комнаты неожиданно, загоревшей, счастливой с букетом знаменитых черных кисловодских роз. Тихонько открываю входную дверь ключом, бегу по коридору к нашей комнате, распахиваю дверь и падаю в бездну: вещи вывернуты, разбросаны, Мама на стуле посреди комнаты в оцепенении, смертельно спокойная, Малюшка в кровати, лекарства. Мама безучастно разжала рот, безучастно уронила:

— Папу арестовали четыре дня назад, двадцать четвертого августа, в три часа ночи, Баби — двадцать шестого августа в пять часов утра, ребенка при обыске простудили.

Удар с размаху, в темноте, лбом о рельсу... Шагнула по упавшим розам, раненым криком кидаюсь к Маме, трясусь, привожу в чувство, говорить не можем.

В моей памяти осталась семейная фотография на вокзале, когда все провожали меня в Кисловодск, тихий, теплый вечер, на перроне мои любимые, дорогие моему сердцу... Поезд тронулся, и поплыли они от меня все дальше, дальше. Почему я тогда не выпрыгнула из вагона?

А потом закружилось, покатилося. Как дочь врага народа меня уволили из театра, сняли с фильма, в котором я только что начала сниматься... Себе теперь я тоже больше неподвластна, на моих руках Мама и дочь.

Потекли все приобретенные вещи в скупку за гроши. Куда идти? Что делать?.. Мне двадцать три года, девочка, Мама никогда не работала. Меня стали бояться, сторониться, ждать от кого-нибудь помощи бессмысленно — начался страшный, жуткий, знаменитый 37-й год. Над страной черная туча, за несколько месяцев арестовали тысячи людей, и все от страха закрылись и слушают по ночам, за кем идут. Осталось два-три друга дома, но они могут поддержать только морально, материально они сами нищие.

Тося, которая теперь живет прекрасно, почти прекратила общение. Она года два назад вышла замуж за большого военного,

брата члена правительства Куйбышева и стала странно себя вести. Не то чтобы она совсем исчезла, но приезжает в нашу убогую комнату редко, неожиданно, роскошно одетая, на машине, привозит еду и подарки и так же неожиданно исчезает, не приглашая к себе, не оставляя никаких координат. А сейчас исчезла совсем. Самое невыносимое — душевная мука... неотступная... без сна... Папа, Баби! Баби, Папа! Где они?! Как?! Папу уже ведут на расстрел... От этих видений мечусь по бульвару. Горе, как огромная черная туча.

В знаменитых очередях на Лубянке к окошку для справок я услышала, что в подвалах расстреливают! Что суда не бывает! Я бросилась к железным воротам Лубянки.

— Убийцы! Негодяи! Отдайте Баби! Папу! Что вы с ними сделали?!

Из-под земли вырос человек в штатском, больно схватил меня за руки, трясет, шипит мне в лицо:

— Дура, замолчи! Успокойся! Заберут и тебя! Беги! Беги скорей! — И толкнул меня в сумерки.

Запомнилось лицо: напряженное, серое, с черными глазами. Я побежала. Если меня арестуют, погибнут и Мама, и Малюшка. Маму успокаиваю: все обойдется, денег еще очень много...

Левушка, брат мой, кровинушка моя, половинка, друг мой верный! Он не оставляет меня одну. Он уже на последнем курсе архитектурного института, он после занятий бежит к нам!

Родились мы в одном году, я в марте, он в мае. Наше духовное общение началось на заре нашего умения разговаривать, когда нас сажали на горшки. Он у нас Лев Николаевич в честь Толстого. Потом революция. Потом голод, и мы оказались в Кардымове. Какое счастье, что Дяколь умер от астмы, его бы тоже сейчас арестовали, и он задохнулся бы в тюрьме. Левушка маленький был солидным, несмотря на голод, застенчивым, медлительным, выговаривал вместо «чемодан» «чемордан» и вместо «шоколадка» «шерлохладка», я худюшая, хитрюшая, быстрая. Пока Левушка соображал, я успевала все проделать. Как-то Тетя Варя дала нам кусочек сахара, разломив его пополам, я быстро съела свою половинку, а Левушка зажал сахар передними зубами и посасывал его. Я внесла предложение: один только разочек лизнуть его сахар, и, когда Левушка потянулся ко мне, я зубамихватила его половинку, ревел Левушка тоже солидно, громко, басом, на что получил ответ Дяколя: «Надо было крепче держать».

На праздники или когда мы совсем тощали, за нами из далекой деревни приезжал на розвальнях Тети Варин кум. Нас закутывали в одеяло, оставляли только щелочки для глаз и укладывали рядом в розвальни: лошади несутся, мухорденькие от инея, дорога от мороза трещит, звезды несутся быстрее лошадей, мы

подкатываем к крыльцу, нас вносят в жарко натопленную избу, много-много детей, раздевают, мы сразу лезем за печку целовать теленка, он хорошенький, с теплым черным носом, потом нас сажают за стол, и мы едим белые блины со сметаной, объедаемся, млеем, засыпаем за столом, просыпаемся на печке и на улице — в снежки!

Удивительное лицо было у этой кумы: с бело-розовой прозрачной кожей, покойное, умное, с высоким лбом, чуть скуластое, с чуть приплюснутым широковатым носом, с глазами глубокими, ясными, понятливыми — лицо таинственное, вековое, ключевой водой омытое, с нее можно было писать икону, она запоминалась навсегда.

А один раз зимой, когда мы ехали к ним, за нами гнались волки. Мы, конечно, ничего об этом не знали и были в восторге от быстрой езды, но кум, когда мы влетели в деревню, поседел, а одна лошадь пала! Говорим с Левушкой, вспоминаем, а в глазах рана. Вспомнили историю с сажелкой: во дворе нашего дома была сажелка, я придумала сделать плот и переплыть на другую сторону. Я связала три бревнышка и прыгнула, Левушка долго не решался, а когда решился, то плот уже поплыл. Сажелкой на Смоленщине называется небольшое озерцо, грязное, с тинной. Когда я выплыла на середину, мне стало страшно, что я упаду, увязну в тине, ко мне присосутся пиявки, и я подавлюсь головастиками. Только я так подумала, как плот перевернулся. Кричать и звать на помощь нельзя, накажут. Я вылезла сама, а Левушка уже обежал сажелку и, стуча зубами от страха, смотрел на меня во все глаза: я в тине, потеряла сандалик. Я уговорила Левушку пробраться тихонько в дом, принести мне воды и переодеться, а сама спряталась за сараем. Вместо Левушки из-за сарая появилась Тетя Варя с ремнем. Левушку выпороли тоже, нас всегда и пороли, и ласкали вместе... А зимой я смастерила всем ребятам деревянные дощечки, чтобы кататься по реке сверху вниз, и поехала первая, а внизу была прорубь, и я с размаху в нее въехала. Дяколь никогда нас не наказывал и всегда меня защищал! Так захотелось посмотреть Кардымово. Когда все беды кончатся, обязательно туда поедем и найдем наш дом — он был бо́льшой, красивый, наверное, помещицкий, а Левушка по памяти нарисует портрет кумы.

В Кардымове я научилась отлично драться. Надо было защищать Левушку — он пока поворачивался, ему разбивали нос. А рядом с нами жила семья Петуховых, огромная, много детей, богатая, рыжая, в двухэтажном, самом лучшем в Кардымове доме, лошади, коровы, они были кулаками. Самый младший гаденыш-Петька все время делал нам с Левушкой гадости. Он был старше нас, ему было семь лет, он уже ездил верхом на лошади, и, когда я вымолила хоть разок посидеть на лошади, он посадил

меня на самую дикую, и она сбросила меня. Этот Петька Левушку везде дубасил и Дяколь показал, как защищать нас двоих. Кроме того что Петька лез в драку, он обзывал нас «нищими», «голодными» и ел на наших глазах ватрушки, за что получал от меня в нос, и, конечно, я за все это дразнила его «рыжим», и ему это тоже не нравилось.

Встретила Тосю, она ехала в машине, увидела меня, не остановилась и сделала большие глаза, показывая, что со мной общаться не может. Откуда она могла узнать, что Папа и Баби арестованы?

Дела наши совсем плохи, кончаются деньги и вещи, теперь друзья приносят крупу, хлеб, все, что возможно. Выхода найти не могу. Могу пойти грузить, там не требуют трудовую книжку, но что я наработаю и если свалюсь, то даже с протянутой рукой некому будет стоять. Сказали мне, что на периферии меня могут принять в театр, несмотря на запись в трудовой книжке, потому что героинь нет нигде. Но я не могу уехать из Москвы — у окошек на Лубянке нет ответа ни о Баби, ни о Папе, и стоять надо днями. И с Левушкой плохо. Когда умер Дяколь, Тетя Варя с Левушкой переехали в Москву и жили у нас в той большой квартире, а когда мы стали лишенцами и нас выселили, то им негде было жить, и Тетя Варя разыскала своих друзей по Смоленску Астровых, и они перебрались к ним. Это русская интеллигентная семья, тогда еще сохранившаяся, доброжелательная, открытая, дружная, мы с Левушкой были там как родные.

Астров учился в знаменитом институте Красной профессуры, где учились все коммунисты, пришедшие к власти после революции. Астров был другом Бухарина, с которым мы детьми играли в прятки. Бухарина расстреляли, начался разгром и этой семьи. Астрова арестовали и тоже расстреляли. Тетя Аля заболела сердцем и молодой умерла, трое девочек остались с совсем старой бабушкой. Левушке там жить больше нельзя, его могут выбросить из института, и он ночует, где придется, иногда и просто на нашем бульваре, а к нам приходит тихонько со своим ключом.

Бедная Тетя Варя, она тоже не ночует у Астровых, боится, что это может отразиться на Левушке, и мечется по друзьям, к нам приходит тоже тихонько, в определенный час и ждет на лестнице, когда мы ей откроем дверь, чтобы не звонить. Я бегаю по знакомым и ищу, куда можно Левушку и Тетю Варю пристроить, хотя бы ночевать, а Левушка нашел жилье сам и стал даже приносить то сахар, то что-нибудь Малюшке, и я как-то шутя спросила:

— Брат мой дорогой, уж не начал ли ты ради нас продавать себя дамам?! С каких доходов ты покупаешь?! Твоей стипендии не хватает даже на завтраки!

На что он, улыбнувшись, ответил:

— Продавал бы, сестра дорогая, да нет покупательниц!

Смотрю на Левушку с гордостью и умилением: мой «чемордан» превратился в статного молодого человека, интересный, высокий, особенно красивый у него рот, вычерченный, благородный, кожа смуглая. лоб высокий, лицо серьезное, вдумчивое, доброе, интеллигентное, а глаза и выражение лица остались детскими. У меня волосы как палки, а у него вьющиеся, в дядю Кирилла, так Левушка называл Папу. Он такой же мягкий, рассудительный, каким был в детстве, и женщинам очень нравится. Он все так же загребает правой ногой, но это его не портит, и я шучу, что он никогда не потеряется с такой приметой.

Профессор Парусников говорит, что Левушка очень талантлив и у него большое будущее. Он интересно рисует и лепит, а над моим рисовальным творчеством все смеются, зато я отлично черчу, и в институте он за меня рисовал, а я за него чертила...

Я стала замечать, что Левушка, разговаривая со мной, дремлет, а один раз, ожидая еду, заснул на столе. У нас в семье не принято расспрашивать, если человек сам не говорит, и я молчу, но про себя решила, что у него появилась женщина и ему по ночам не до сна, он возмужал, плечи раздались. Когда он сидел совсем сонный, я не выдержала и спросила, что он все-таки делает по ночам. С враньем у нас в семье дела обстоят плохо. И Тетя Варя, и Папа больше всего пороли за вранье, и Левушка смешно врет: глаза опускаются долу, один уголок рта начинает дрожать, и за километр видно, что он говорит неправду. Я сразу сказала:

— Говори правду, а то будет очень длинно!

Он смешно улыбнулся. Он меня называет или Татъяшкой, или Татъянкой, а когда подлизывается — Татъянкой-обезьянкой или Татъяшкой-обезьяшкой.

— Понимаешь, Татъяшка-обезьяшка... Ты только не сердись... Я по ночам разгружаю дрова... Работа чистая... А сплю я на лекциях. У меня с учебой все хорошо...

Смотрим друг на друга, прозрачный колодец глубокой любви, дружбы, души...

А Митя? Я ведь вернулась к нему. Когда он понял после моего ухода, что произошло, начал просить у всех прощения, стал опять нежным, внимательным, сказал, что переделает себя, никаких скандалов, никаких попок, никаких сцен ревности. Он поклялся честью, дал слово коммуниста, что больше никогда ничего не повторится, и все началось сначала, только теперь я ушла сама, без Папы, совсем. Митя из комнаты не уходил, пришлось, как и в первый раз, уйти мне. Как и в первый раз, денег не давал, рассчитывая, как всегда, на Папу, а когда Папу арестовали, единственного человека, который мог меня защитить, стал меня преследовать, опять клясться, а когда понял, что это безвозвратно.

стал диким, поступки стали необъяснимыми — подстерег Маму, когда она вышла на бульвар гулять с Малюшкой, подкрался, схватил ребенка и побежал. Малюшка билась, кричала, с Мамой тяжелый сердечный приступ, Малюшка от испуга заболела, а потом он пошел в партком и каялся, что не разглядел врагов народа. Меня с картины сняли. Я поняла, что он — не просто неумен, а подл, и отрезала навсегда.

Меня начал поедать червь сомнения: а может быть, нельзя и не надо жить своими принципами, а ряди близких чем-то поступиться... Я стала взрослой, женственной, у мужчин успех... Может быть, обратиться к одному из них за помощью или даже выйти замуж, и мы будем спасены... Но Папа, мой бедный, мой чудесный Папа, он же сам вложил в меня «драться за жизнь надо до конца, быть честной в чувствах»... Он же сохранил мою невинность до первой любви... он же сказал, что сойтись с женщиной, не чувствуя к нему ничего, — падение... что жизнь оценивается не словоблудием, а поступками!

Боже! Боже! Арестована Наталия Сац! Та самая Наташа Сац, которая создала мой детский театр. Она арестована, театр разгромлен. Что же это такое?! Что же это такое?! Какое горе! Знает ли она, понимает ли, сидя в тюрьме, что она сделала для русской культуры, как владела нашими маленькими сердцами!

Невозможно осмыслить, постичь понятие «расстрел». Убить человека за то, что он не там работал, не так сказал, не так мыслил...

Уеду на периферию, как только что-нибудь будет известно о Папе и Баби. В голове от непонимания сумбур: что творится в стране, теперь уже почти в каждой семье есть арестованные и, если Папу арестовали за то, что он «бывший», то Баби?! Почему Баби?! Просто женщина. Мама и Баби родом из Саратова, и у нас было много саратовских друзей, и они не были «бывшими» — их тоже арестовали... Чем больше думаю, тем все непонятнее...

Семь звонков. На пороге Борис Горбатов. Я с ним познакомилась в летнем кафе журналистов — там иногда появлялись большущие вкусные раки, и все любители туда сбегались полакомиться. Меня в кафе привел мой симпатичный и добрый друг сценарист Илюша Вершинин. Он знал, что я страстный ракоед. Бориса пожирала та же страсть. Илюша нас и познакомил.

Семья Илюши была, как и моя, на даче. Квартира на Никитском бульваре утопала в клопах, и я ночевала у Илюши. Борис оказался тоже у Илюши, ему как будто бы негде ночевать. Квартира большая. Я легла в той комнате, в которой спала раньше. Только все затихло, дверь в мою комнату тихонько открылась, и на пороге появился Борис. Кроме любви к ракам, я не обнаружила ничего с ним общего — он просто решил не упустить возможное, тем более с засиявшей на небосклоне «звездой». Я сказала ему что-то нелицеприятное, и он мгновенно исчез.

Меня разбудил знакомый запах. Было еще рано. Я подошла к двери и в шелку увидела, как Борис и Илюша молча, тихо накрывают на стол, а в центре стола дымятся огромные раки. В детстве я мечтала: когда разбогатею, буду с утра до вечера есть раков, Папины картофельные польские пляшки и чечевицу! За столом я разглядела Бориса: уже расплывший в двадцать девять лет, почему-то наголо бритый, наверное, из-за лысины, небольшого роста, плохо одет, да не просто плохо, а в косоворотке, в сапогах — это революционная одяная интеллигенция уже давно перестала носить, близорукий, в очках, с грязными ногтями и руками, с запахом дешевых папирос и немытого тела, походка смешная, нелепая для мужчины, мелкими семенящими шажками, речь сбивчивая, скороговоркой, но лицо симпатичное, доброе, честное, глаза без очков хорошие. Он журналист газеты «Правда», недавно вернулся с зимовки в Арктике, когда-то написал какую-то книгу о комсомоле.

Он перестал ночевать у Илюши и провожает меня в театр и из театра. Когда я собиралась к своим на дачу, он попросил взять его с собой. Это было в июле, а в августе арестовали Папу и Баби, Борис исчез и вот сейчас стоит на пороге.

Борис сказал, что ничего не знает об аресте, что у него были неприятности: он потерял орден «Знак Почета», который получил за зимовку в Арктике, теперь у него все хорошо, и может ли он бывать у нас. Они с Илюшей часто приходят, а вскоре Борис подарил мне свой только что напечатанный рассказ об Арктике и предложил написать вместе сценарий: у него много интересного материала, но он совсем не знает кино, и как написать роль, которую я могла бы и хотела сыграть, он тоже себе не представляет. Борис в разводе, детей нет, живет по друзьям, возникает идея поехать в загородный Дом творчества писателей в Переделкино, куда он может достать путевки.

В Переделкино все ко мне хорошо отнеслись, и не из сочувствия — они не знали, что у меня арестована семья, — отношение возникло само по себе, наверное, потому, что я была единственной женщиной во всем доме. Дом уютный, двухэтажный, деревянный, нас совсем немного, к трапезе собираемся внизу за большим столом, почти все мои ровесники, только еще начинающие «творцы», и Борис оказался старшим, по вечерам собираемся в гостиной, спорим, читаем свои творения, а потом все вместе идут провожать меня на электричку. Борис стал называть меня как невестку Горького Тимошей — так я и стала здесь Тимошей, а шумная, полная, добрая, восторженная директриса Мария Львовна, влюбившаяся в мою гимназистку в «Последней ночи», полюбила и меня. Она женским чутьем угадывала, что у меня что-то не так. Она видела, как я съедаю за обедом первое, а второе и сладкое под каким-нибудь предлогом уношу в комнату, чтобы отвезти домой, и в моей сумке стали появляться пирожки, куски торта, котлеты, а к моему приезду подаваться такие обеды, что появилась коллективно созданная поэма «Как Тимошкины проделки разорили «Переделки». Узнав, что я бываю в Переделкино, тоже плененные моей гимназисткой, пришли познакомиться драматург Афиногенов с очаровательной женой-американкой, солнечная, любящая семья.

Странное происходит со мной: из театра меня выгнали, а фильмы и «Пышка», и «Горячие денечки» идут. И главная странность с «Последней ночью»: премьера была незадолго до ареста Папы и Баби, а фильм продолжает идти во всех кинотеатрах, и даже здесь мы всем домом ходили его смотреть в туберкулезный санаторий.

Семья Афиногеновых живет здесь круглый год, и они часто приглашают меня с Борисом в гости, в свой, такой же, как и они сами, теплый, уютный, светлый дом. Они незабываемые, удивительные, красивые, счастливые, я еще таких семей не видела.

Работаем много. Наша железобетонная героиня потихоньку оживает, движется, разговаривает, становится близкой, у нее, оказывается, есть характер. Это увлекает. С Борисом работать трудно. Он действительно ну совсем ничего не понимает в кино, да и его приоткрывшийся мир какой-то пустой и совсем неинтеллигентный, но искра в нем есть: когда он пишет без фантазий о том, что знает, — это уже становится приемлемым, и непонятно, откуда он хорошо владеет диалогом. Жаль, что Борис влюбился в меня. Это уже видно всем, и это может помешать работе. Нужно как-то тактично удалить из наших отношений эту тему. Но теперь, когда я не могу вырваться в Переделкино, он тут же под каким-нибудь предлогом приезжает в Москву, хватает Илюшу, и они приходят на Никитский бульвар. Тогда-то они с Илюшей и сотворили первую оду.

Конечно, это все не то —
С лицом сияюще-болванским
По лестницам мотаться без пальто
За кубиками и вином шампанским.
Но что мне делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Когда любовь, как неземной покой,
Укладывает жизнь стихами?

Борис:

Поймите, граждане, и трижды пейте с нами!
За счастье острое и колкое, как нож!
За девушку, звучащую стихами,
Единственную из земных Тимош,
Нет, мне не стоило на этот свет родиться.
Остынь, пропитанная водкой кровь. —
Мне в этом доме предлагают чечевицу,
А мне нужна безумная любовь!

И Илюшино четверостишие:

Горбатова только могила исправит —
Не знаю, помогут ли тут чудеса.

Он Танин талант незаслуженно хвалит
И ходит за водкой четыре часа.

Но в отношениях Борис сдержан: никаких пылких объяснений, трагедий, сцен. Работать иначе было бы невозможно. Он это понимает.

После Москвы, Лубянки здесь тишина.

Мария Львовна достала мне где-то сапоги, и я брожу и брожу по лесу, и все тогда легче, выносимее. Надолго я в Переделкино приезжать не могу, мы с Левушкой Маму одну ни на минуту не оставляем, как будто, если придет беда, мы сможем ее остановить.

Приехала в Переделкино в солнечный день, захотелось хоть пятнадцать минут побродить по лесу. Борис попросил пойти со мной. Он совсем не любит природу, никогда не гуляет, он взвинчен, и я интуитивно сжалась. В лесу он вдруг упал на колено и залепетал своей скороговоркой, чуть не плача:

— Сил больше нет... Я люблю вас, одну, навсегда. Я еще никогда никого не любил... Будьте моей женой... Я сделаю все...

Зачем, зачем он это говорит?! Остановить его! Все рушится! И наша работа, и моя почти влюбленность в его мужскую сдержанность!

Смотрю на него сверху, он такой жалкий в своих сапогах, в кепке, на колене, в луже... Какое чувство подсказало ему эту оперетту? Почему он не заговорил серьезно, просто?

— Я стану писателем, я достану комнату, буду зарабатывать. Все будет так, как вы захотите. Я знаю, что вы меня не любите. Я сделаю все, чтобы вы меня полюбили.

— Меня тоже могут арестовать.

— Я поеду, я пойду за вами, куда угодно. Я вас никогда ни в какой беде не брошу... даю вам клятву!!!

Я подняла его с колен. Мы побрели, не видя, куда ступаем. Я не знаю, что сказать, как его не обидеть...

— Вы молчите! Я понимаю, что не имел права говорить, пусть признание вас ни к чему не обязывает, но возьмите у меня в долг деньги, я же вижу, что иногда вы не приезжаете из-за того, что у вас нет денег на дорогу. У нас уже почти готово либретто сценария, мы получим двадцать пять процентов от договора, вы сразу же сможете отдать мне долг!

Так не хочется и трудно объяснить чужому человеку свое сокровенное, понятное мне одной.

— Борис! Мы с вами никогда не касались этой темы...

Я не хочу замуж... никогда не хотела. И я не смогу вам объяснить, откуда ко мне пришло это. Когда я вижу свадьбу, когда открыто под руку появляются на людях муж и жена — и это значит мужчина и женщина, — мне всегда не по себе. Мне кажется, что печать в паспорте, дающая на это право, выдумана людьми для фальшивой морали, для прикрытия, может быть, даже цинизма, нельзя вот так напоказ идти с близким мужчиной, потому что тебе в паспорте поставили эту печать. Отношения мужчины и женщины должны быть скрытыми для глаз, тайными... Я не могу сказать близкому мужчине «ты». Я стесняюсь быта, живя в одной комнате...

Борис ничего не понял, перебил:

— Пусть будет так, как вы хотите, но только станьте моей, пусть даже тайной женой!

Я не могу, не смею сказать ему, что если бы и согласилась, то только из чувства благодарности.

— Дайте мне подумать до следующего приезда.

Я приехала через два дня. Борис так взволнован, что это видно всем, никого не слушает, не видит, отвечает невпопад, заглядывает в глаза, чтобы прочесть мое решение. А меня не отпускают, тянут в гостиную. Я поднялась к себе и тихонько постучала по батарее. Комната Бориса на первом этаже прямо под моей, и я стуком по батарее обычно вызываю его для работы. Через секунду Борис стоял в дверях, не дал сказать ни слова, бросился обнимать, целовать, хотел лечь в постель одетым, в сапогах, когда он их снял, в комнате стало удушливо от запаха, а потом из его горла вырвался мат...

Как я не умерла за завтраком от невероятности произошедшего и от стыда. Все смотрели на меня по-другому, все всё знали, в нашем маленьком доме все всё знают друг о друге. Борис сияет, сказал, что у него в городе дела, поехал со мной в Москву. Я провела день у окошка на Лубянке, а когда вернулась домой, застала накрытый стол, цветы, раки, шампанское. Борис торжествен, вымыт, выбрит. Он сказал Маме, что мы поженились.

Какое это несчастье все повторить сначала, как с Митей! Силой водить мыться, учить чистить ногти, соблюдать чистоту в туалете, не носить засаленные воротнички. Костюм и ботинки Борис надел как вериги, прося ни за что не выбрасывать сапоги. Папа в тот единственный раз, когда он видел Бориса перед своим арестом, сказал:

— Знаешь, у него есть что-то общее с Митей! Все это

поколение идейно, но без интеллекта, без культуры, без духовности, без широты понимания, видения...

— Папочка, но ведь люди, наполненные идеей, интереснее пустых!

— Ты права, но иногда идеи просто прикрывают духовную пустоту, и, может быть, в идее есть все-таки корысть... Ну кем бы эти люди были без партийности? И получается, что, кроме партийности, у них нет ничего. Почему они под защитой идеи не образуют себя?! С детства существует единственная идея: босиком, в голоде, в холоде стать человеком и приносить людям пользу. Так почему же они так рвутся к положению, даже незаслуженному?.. Тот же Садкович, Митя? Значит, в этом есть корысть?! Без корысти их путь был бы иным. В юности обязательно должна быть идея, и пылкая, и страстная, и какая угодно, но потом ею надо переболеть и должно начаться умное осмысление своей идеи, иначе она становится фанатизмом!.. А что у этого поколения?! Фанатично разрушать старое? Но в таком виде, как они есть, они не смогут создать новое. Страшнее убивать друг друга. Так было с христианством, так есть во всех революциях... Бедный ты мой ребенок, не увидать тебе не только твоего Идена, а просто русского интеллигента, с душой, с порывами, с глубиной... А что было бы вообще с тобой, если бы меня тогда расстреляли?..

Слава Богу, либретто закончено, читали в гостиной и у Афиногеновых, понравилось. Афиногеновы пригласили Маму и Малышку погостить у них несколько дней. Хоть несколько дней на воздухе, хоть несколько дней поедят досыта.

Семь звонков... На пороге молодой человек из Переделкино, начинающий поэт, зовут его, кажется, Костя. Неужели опять что-нибудь случилось?!

— Не волнуйтесь, мне нужно с вами поговорить...

Входим в комнату. Стоит. Молчит. Глупо улыбается. Взволнован. Неужели он посмел воспользоваться тем, что я одна...

— Вас прислал Борис? Вас зовут Костя?

Из всех в Переделкино он самый несимпатичный, грубый, резкий, сухой, неопрятный, как, впрочем, почти и все, руки даже за обедом грязные, лицо некрасивое, совсем без обаяния и как-то подкожно, скрыто — не русское, взрослее своих двадцати с лишним лет, не выговаривает буквы «Л» и «Р», но не такой косноязычный, как Борис. Я в Переделкино отломила костью кусочек зуба и уехала в город к зубному врачу, а вечером этот Костя прочел «послание Есенина»:

Черный ворон каркал громко...
Черный дым валил из труб...
Русь моя! Страна-сторонка!
Окаянная коронка
На больной Тимошкин зуб!!!

— О чем же вы хотите со мной говорить? Вы, конечно, сказали Борису, что едете ко мне?

— Да, сказал!

Нагло смотрит на меня, стоит, ноздри раздуты.

— Ну, спасибо, а то без его разрешения я не знаю, как себя вести.

Он сделал шаг и попытался меня обнять. Я отстранилась, растерялась от его наглости.

— Вы, может быть, влюбились в меня?!

— Да.

— А теперь повернитесь и выйдите из комнаты!

Снова сделал шаг ко мне.

— Убирайтесь вон!

Борису я, конечно, не рассказала, но остальные, кроме Бориса, все поняли. Костя сидел за столом мрачный, злой, но не выйти к столу не решился.

На Лубянке раньше года никто ответа не получает, передач не принимают. Мне надо ехать устраиваться на работу, деньги за либретто кончились. Борис просит не ехать, жить пока на его деньги. Он добивается комнаты. А я задумала, раз все равно мне надо уезжать из Москвы, попасть к одному из старых русских мастеров театра, пусть они скажут, надо ли мне вообще быть артисткой или мой успех случаен.

Их осталось два: Синельников в Харькове и Соболевский-Самарин в Горьком, в прошлом знаменитые русские артисты, теперь режиссеры и художественные руководители. Выбор решился просто: до Харькова денег не хватит. Схожу в Горьком, старинном, милом сердцу русском Нижнем Новгороде, узнаю, как добраться до театра. Театр тоже старинный, красивый. Спрашиваю: где кабинет Соболевского-Самарина и в театре ли он? Все должно решиться сегодня же, ночевать негде. Вхожу. Здравуюсь.

Я придумала заранее, что обману его, скажу, что я еще только хочу быть артисткой, — тогда он, может, и имеет право сказать мне: милая, займитесь чем-нибудь другим! Волнуюсь очень. Может быть, придется снова ломать жизнь.

— Я приехала из Москвы, именно к вам, чтобы вы сказали, могу ли я стать артисткой?

— А почему вы вдруг решили ею стать?

— Не вдруг. Я работала в театре Охлопкова.

— Тогда расскажите о себе.

— Меня недавно принял в театр Охлопков на третье положение, но я боюсь, не ошибся ли он...

— А что вы будете показывать? Вам нужны партнеры, костюм?

Я смутилась. Я забыла, что мне, как начинающей артистке, придется художественному совету показываться. Сцену из сыгранного спектакля показывать нельзя, такой мастер сразу заметит, что я что-то уже умею.

— Нет, мне не нужно ничего. Я выходила только в массовых сценах.

— Где вы остановились? У знакомых?

— Нигде, я впервые в вашем городе.

— Сейчас я распоряжусь о гостинице.

Он потянулся к звонку секретарши.

— Нет, не надо... А сегодня вы не сможете меня посмотреть?

Николай Иванович догадался.

— Не смогу, ведь нужно собрать художественный совет. Я даже не думаю, что это возможно сделать завтра. Я распоряжусь, чтобы вам оплатили гостиницу. — Он встал. — Посидите здесь. Я сейчас приду.

Я встала тоже.

— Николай Иванович, извините меня, я не сказала вам самого главного... У меня арестованы папа и бабушка, и меня из театра за это уволили...

Николай Иванович сел. Стук сердца громче тиканья часов. Рука потянулась к звонку секретарши... Распорядился о гостинице и попросил сказать главному режиссеру театра Бриллю Ефиму Александровичу, что он к нему сейчас зайдет.

Я осталась в кабинете одна. Я никогда раньше не думала, не знала о русском театре, о русских артистах... Николай Иванович величав, жесты, манера говорить, держаться, выражение лица — все величаво, его нельзя назвать стариком, ему больше восьмидесяти лет, он по-юношески строен, голос глубокий, сильный, львиная голова с красиво причесанными седыми волосами — русский барин. Я представила его на сцене... Он был знаменитым Понтием Пилатом в модной тогда пьесе «Камо грядеши». Его приезжали смотреть из других городов! Когда я шла к кабинету Николая Ивановича, увидела огромный полутемный зал с красными бархатными креслами, как в Большом театре... Невозможно, чтобы я была причастна к этому залу, стояла на этой сцене... Наш Реалистический театр помещался в маленьком двухэтажном доме. Наверху фойе и зрительный зал, кулисы внизу, в подвале.

Вошел Николай Иванович.

— Номер в гостинице вам уже есть. Гостиница рядом с театром, подойдите к портю. А вечером вам позвонят и скажут, когда и где будет просмотр.

Он бегло, лукаво посмотрел на меня.

— А еда у вас есть?

— Да-да, я взяла с собой!

— Проводите меня. Я один уже не хожу.

Ему подали палку с серебряным набалдашником, он подал мне руку. С еще бьющимся сердцем положила ему на рукав свою руку. Мы вышли из театра. И вдруг мое бьющееся сердце остановилось: театр на главной улице, я шла в театр, не смотря на противоположную сторону тротуара, а сейчас мы вышли — и прямо перед нами в высоту двухэтажного дома на нас смотрела я,

довольно прилично нарисованная из «Последней ночи», не дышу, молюсь, чтобы Николай Иванович не поднял глаза, с ним здороваются, он кланяется, мимоходом взглянул на меня, на ту, что на плакате, спокойно шагнул и вдруг резко остановился.

— Да-да, это я. Простите меня. Я не хотела обманывать вас. Я хотела унать у вас, имею ли я право быть артисткой. Я уже снялась в трех фильмах, в театре я уже играю роли, но мне показалось, что это все случайно! Поверьте мне! Я хотела, чтобы вы проверили меня! Простите меня!

Я не знаю, что еще говорила, но я не могла его потерять. Николай Иванович должен был мне поверить.

Просмотр назначен на завтра в репетиционном зале в 3 часа 30 минут. Конечно, не спала. Конечно, есть не могу. От трусости поползли мысли: зачем я все это опять придумала? Попросилась бы просто на работу, пользуясь успехом в фильмах, да и вообще могла бы теперь не ехать из-за Бориса... Я же обо всем этом думала, прежде чем принять решение! А вдруг теперь не примут?! А вдруг я и есть ничто?! Что тогда будет?!

Все это до 2.30. В 2.30 ринулась головой в прорубь.

Зал огромный, у стены большущий стол, покрытый скатертью, стулья с высокими спинками. Николай Иванович в центре. Торжественное средневековое судилище.

Заговорил Николай Иванович:

— Вы знаете пьесу «Человек с ружьем»? Мы хотим, чтобы вы сыграли сцену из этой пьесы, когда к герою — солдату Шадрину приезжает из деревни его жена и останавливается в барском доме, где служит горничной сестра Шадрина. В доме скандал, пропала любимая кошка хозяйки, и вся прислуга ищет эту кошку. Вот, пожалуйста, и вы тоже ищите со всей прислугой эту кошку.

Как человек живуч! Что я начала делать! Я видела себя со стороны, я слышала себя, я глупо ходила по залу и бессмысленно произносила: «Кис-кис-кис-кис», — и это нестерпимо долго. Откуда-то издали донесся голос Николая Ивановича:

— Вы не хотите найти кошку, мы вам не верим, кошка не сидит в центре зала, и вам надо не поймать ее, а найти!

Я жалкая, ничтожная, бездарная, как я посмела собрать этих людей, мое «кис-кис» стало совсем неслышным, что же это такое, кроме позора, мне надо еще и жить и поступить на работу. Зал наполнился креслами, диванами, столами, я лазаю, я ищу под ними кошку, «кис-кис» стало отчаянным, я ищу кошку под столом худсовета — там кошки тоже не оказалось...

Сижу у секретарши, жду. Николай Иванович просит войти. Он опять лукаво смотрит на меня.

— Молодец! Взяла себя в руки. Я боялся, что вы не одолеете волнения!

Он засмеялся.

— И вообще потеряете сознание... Конечно, профессионализма в вас еще нет, но, может быть, это и хорошо, он никуда не уйдет, а непосредственность уходит!.. Артисткой вы можете быть. Вы понравились художественному совету, и в театр мы вас принимаем.

Почему же люди не говорят всего, что хочется, что рвется из души?! Какие бы слова я сказала Николаю Ивановичу, а вместо этого:

— Большое спасибо.

— Еще пару месяцев у нас не будет штатной единицы. Сейчас мы уезжаем на гастроли в Ленинград, но приказ о вашем зачислении после гастролей уже вывешен... Вы продержитесь?

— Да-да, конечно!

Подхожу к доске приказов: «Зачислить артисткой первого положения...» Вбегаю в кабинет Николая Ивановича, но там люди, и опять вместо того чтобы целовать ему руки, встать перед ним на колени:

— Большое спасибо.

Борис надеялся, что меня не примут, а теперь решил ехать со мной в Горький спецкором «Правды», не спрашивая даже, хочу я этого или нет. Он ведет себя после импровизированной свадьбы как муж.

Семь звонков. Срочная телеграмма из Ленинграда: «Немедленно выезжайте, заболела артистка, завтра у вас спектакль. Соболев-Самарин».

Мне опять повезло с театром, такой же дружный, как и предыдущий. Я столько наслушалась о театральных интригах, а здесь мне опять помогли все. Прямо с вокзала на репетицию в театр, в декорации, актеры без грима, но в костюмах. Пьеса «Год девятнадцатый» Иосифа Прута. Я играю связную фронта. В спектакле есть сцена: в штабе у командующего фронтом Ворошилова идет военный совет, за кулисами раздается цокот приближающихся копыт, затихает, я влетаю на сцену, козыряю, вынимаю из кармана гимнастерки пакет с донесением и с соответствующим текстом отдаю Ворошилову, он прочитывает, рвет, говорит мне: «Вы свободны», — я убегаю. Цокот удаляющихся копыт... раздается цокот приближающихся копыт, я влетаю на сцену, лезу в карман гимнастерки и... реквизиторы от волнения за меня забыли положить пакет, я во второй карман — пусто, без этого пакета дальше в спектакле бессмыслица, с лицом утопающей хлопаю себя по карманам. Актеры впились в меня глазами.

— Извините, товарищ Ворошилов, пакет в седле. Я сейчас!

Вылетаю за кулисы, ко мне кидается Бриль, он лихорадочно ищет по карманам какую-нибудь бумагу, находит, я хватаю, влетаю на сцену, все хорошо, вылетаю за кулисы! Бриль в обморочном состоянии, кидаюсь к нему:

— Что, я плохо сделала, нельзя было так?

Он застал:

— Нет, спасибо. Вы спасли спектакль, но я отдал вам свои путевки в санаторий.

И смех, и слезы! Потом всем театром собирали обрывки, актер, играющий Ворошилова, от волнения рвал и рвал путевки. Все же что-то собрали, и местком заменил эти клочки на новые путевки.

А я поступила в театр! Здесь все было по-другому, не так, как у Охлопкова. Какое счастье, что я застала и увидела этот послед-

ний отголосок русского театра. Никакой студийности, суетности, высокий профессионализм, отличные актеры, на уровне лучших мхатовских, по амплуа, и комедийная старуха не играет из новаторства или по знакомству Джульетту, комик — Гамлета. Широкий, тоже отличный по вкусу, репертуар. Культура актерская, режиссерская, культура человеческих взаимоотношений. В театре царит суровая справедливость без сюсюканий, без жестокости, без глупости — это личная черта самого Николая Ивановича, и театр по его образу и подобию. И даже директор, как всегда, человек совершенно вне искусства, партийный, смешной, пузатенький, тоже старается подладиться, идти в ногу с театром. Когда в Москве мои старшие друзья узнали, почему я пропала из поля зрения и что я в Горьком, то приехал Михаил Аркадьевич Светлов и привез свою новую пьесу в стихах «Сказка».

Я не имею права называть писателя Юрия Карловича Олешу, поэтов Асеева, Светлова, режиссера Арнольда своими друзьями, но они удивительно ко мне относились, внимательно, оберегали меня, как Папа, и не бросили меня после его ареста. Они пришли ко мне, девчонке, за кулисы после премьеры «Железного потока», после этой знаменитой сцены с поцелуем и гармонью, и с тех пор то приходят на спектакль, в котором я участвую, то пригласят в кафе «Националь», а Михаил Аркадьевич написал в шашлычной, куда они меня привели, стихотворение «Монолог мужа». Это было уже после окончательного развода с Митей, а меня для фильма выкрасили блондинкой.

Ты, когда была каштановой, —
Ты легендой была.
Я хотел бы вспомнить заново,
Как со мною ты жила...
Мы расстались. Мне толкаться
Надоело средь людей.
Будь каштаном, будь акацией,
Будь чем хочешь, будь моей.

Храню как зеницу ока его рукой написанное.

Я еще живу в гостинице, ремонтируется для меня комната в общежитии театра, и Николай Иванович решил, что будет уютнее устроить читку пьесы у меня в номере. Набилось битком и народных, и заслуженных, и молодежи, все хотели познакомиться со Светловым. Михаил Аркадьевич начал читку, увлекся, прошло уже больше часа, и вдруг на полуслове раздается голос директора. Он сильно окает, как все волжане.

— Одну минуточку, прервемся. Хочется покурить и в туалет. Светлов растерялся.

— Да, да, конечно, извините, пожалуйста, я увлекся...

Николай Иванович покраснел. Все выбежали в коридор. Было так стыдно. На бегу курили, бегом в туалет, бегом вернулись, тихо сели на свои места, не было только директора. Не дышим, ждем. Наконец послышались медленные шаги, и вперед животом вплыл директор. У Михаила Аркадьевича такие бесинки в глазах:

— Ну что? Отмочили штуку?!

Все покатались со смеху, невзирая на чин директора.

Борис приехал ко мне в Ленинград, это получался наш медовый месяц. У него оказался очень хороший характер: мягкий, ровный, без сумерек, без скандалов, без ревности, без сцен. Памятую Митю, я благодарна ему за это.

И сам Ленинград! И ленинградцы! Они не перебегают, завидя меня, на другую сторону улицы, но были и такие, как в Москве, делающие вид, что не узнают меня, были и хуже. Одна, правда, бывшая москвичка, Митина сокурсница, вышедшая замуж за ленинградского режиссера, вызвала меня из гостиницы на улицу, долго объясняла, почему она не может заходить ко мне в номер, а закончила речь тем, что и я не должна встречаться с людьми, потому что их могут арестовать.

К нам же приходили другие, отчаянно смелые, добрые. Приходили, несмотря на поголовные аресты. Приходили, читали стихи, водили на выставки, приглашали в гости: пленительная, мягкая, умная Зоя, жена писателя Козакова, писатель Михаил Зощенко, артист Черкасов, мои знакомые по первому приезду в Ленинград.

И снова дома. Соскучилась. Бегу по бульвару. Еще издали увидела на нашей скамейке тетю Варю. С Левушкой что-то. Не могу шагнуть, ноги пудовые. Тетя Варя бежит сама мне навстречу.

— Утром в институте арестовали Левушку. Меня нашли его друзья.

Еще одна бездна. По-че-му! По-че-му! По-че-му?! По-че-му аресты происходят без меня! Я бы не отдала ни Баби, ни Папу, ни Левушку! Я бы этих убийц, негодяев рвала зубами, топтала, била, кусала!

Теперь, на этой Богом и людьми проклятой Лубянке, у окошка справочного стоит Тетя Варя, а я везу свое окровавленное сердце в Горький, на работу. Начались репетиции юбилейного спектакля «Человек с ружьем», в котором я играю ту самую жену Шадрина.

Живу еще в гостинице. Мою будущую комнату все еще ремонтируют. Борис устроиться здесь на работу не смог — для этого нужно уволить давнишнего корреспондента «Правды» — горьковчанина. Приезжает каждые четыре-пять дней. Тетя Варя неделями на Лубянке, очереди по буквам, теперь у нас их три, и все в разные дни.

Боженька! Миленький! Помогите! Мне так трудно, я же никогда не играла крестьянок да еще и где! В театре с великолепными актерами, волжанами с сочным окающим говором!

А Шадрин актер и играть не надо. Он сам и есть Шадрин — огромный волжанин, обаятельный, с ямочками на щеках, и говор! Говор! Широкий, певучий. Я рядом с ним акающая фитюлька. Переучиваюсь говорить, надели толщинки, убрали с лица гримом все городское, живу жизнью моей солдатки. В монологе о сне обливаюсь горячими слезами. Премьера. Борис приехать не смог. Публика на ура приняла спектакль. Горьковчане — патриоты своего театра.

Спектакль действительно получился и, несмотря на тему, набившую всем оскомину, волнует. На следующий день рецензия. Решила ее не читать до конца сегодняшнего спектакля. На спектакле ни один актер и бровью не повел, уже прочитав рецензию. В рецензии хвалят всё и всех, и только небольшой абзац, как бы извиняясь, в очень мягких тонах, корректно, что, мол, прибыла в театр такая киноартистка, ждали от нее многого, а ей не веришь, не смогла она мастерством пересилить свои данные и все сцены Шадрин с женой серые, скучные, и почему эту роль не играла артистка Ювенская, исполняющая такие роли отлично. Провал. Бегу к Волге. Сползла с крутого берега — черная дыра проруби. Нет, скорее обратно в гостиницу — повешусь, там светло, тепло. Яша, он же был здесь совсем недавно, был, жил, он перед моим приездом защитился, а теперь уехал в Москву искать работу. Одна, одна на всем белом свете. Наш милый Яша... когда ему негде было ночевать, он спал у нас под столом с Бишкой, больше негде было... милый, смешной Яша... Совсем одна... со-

всем одна во всем мире. В коридоре из номера слышны телефонные звонки. Влетаю в номер, голос Николая Ивановича:

— Где вы были? Мы с Антониной Николаевной ждем вас, только теперь уже выключено в городе освещение, город пустой, одной страшно, но вы бегом! Адреса не нужно, как вы в темноте будете искать нас, мы зажжем во всех окнах свет, идите на свет, от гостиницы бегом десять минут до набережной, а там третий дом от угла.

Поворачиваю за угол, в крошечной тьме сияют пять окон. Пусть Николай Иванович скажет мне еще более горькие слова, все равно все, что со мной происходит, невероятно.

Открывает дочь Николая Ивановича, тоже артистка нашего театра, интересная, пожилая, хорошо сохранившаяся и такая же величественная, как Николай Иванович.

Усадили в кресло, накрыли ноги пледом.

— Где были? Бегали топиться в Волгу? Ведь оглично сыграли, искренне, собранно. К этим борзописцам не всегда надо прислушиваться, мало кто из них разбирается в искусстве! Не мог я иначе пригласить вас в театр. Город высланных. Да, это роль Ювенской, но мы собрались, и Ювенская в том числе, и порешили, что для театра и для спектакля это не потеря, как бы вы ни сыграли, а в управлении культуры я сказал, что только вас вижу в этой роли и хочу пригласить в театр, я знал, что они не будут возражать, спектакль юбилейный, с Лениным. Я поэтому на просмотре и дал вам сыграть сцену из этой роли. Трудовую книжку вашу никто не видел, мы ее спрятали. Живите и работайте! Я вам всего этого не говорил до спектакля, хотел еще раз проверить, не ошибся ли я, хотел увидеть, как вы будете выкарабкиваться, для вас это прекрасная школа, на героинях вы уже набили руку... Да, профессионализма вам еще не хватает, но вот так, по ступенькам, вы и придете к нему!

В глазах Николая Ивановича свет, как из окон на набережной.

Сию в большом кресле, гостиная, рояль, на столике ужин, ноги накрыты пледом... Позор! Я заснула, и хозяева не стали меня будить. Как уйти теперь тихонько, невозможно беспокоить их еще и утром! Ужин... Я так давно не видела такого вкусного! Ужин съела. Хорошо, что у них простой английский замок, без цепочек, без секретов, как в мешанских домах. И вот я на набережной! Мороз! Теперь увидела, что город действительно пустой, звезды редкие, далекие-далекие, как ночники, мне совсем не страшно... А я... Когда, где я была не чуткой, не доброй, не справедливой?!

Переехала в огромную полупустую комнату в общежитии. Борис привез Маму и Малюшку, и я уже не москвичка. Друзья не бросают меня, шлют письма. Борис привез «Послание к Тимо-

ше», они сочинили его с Илюшей в пивном баре, уплетая все тех же раков, а с посланием — пакет, в нем раки из этого бара.

Послание к Тимоше (28 октября 1938 г., 12 ч. дня, бар на Страстной).

Илья:

Мой обожаемый Тимоша
(Увы — не мой он, а чужой!),
Проступок очень нехороший
Свершил я и скорблю душой...
Вослед мечтательному Борьке,
Глотая слезы, я глядел.
Он уезжал (мммерзавец!) в Горький,
А я (дурак...)... в Москве сидел...
Мой быт — как прежде — одинаков,
Но мне не мил Господен свет:
В пивной и в баре нету раков
И... Тимофея тоже нет...
И, заливая горе пивом,
С Борисом мы в пивной сидим.
А жизнь могла бы быть красивой,
Но все прошло (как с белых яблонь дым),
Мой друг — единственный и близкий
Венец мечты и снов моих.
Я ем трагически сосиски
И запиваю пивом их!
О, что другое мне осталось?
Жизнь без Тимоши столь горька,
Что сердце мне сдавила жалость —
Нет Тимофея-едока!
Над каждым блюдом вздыхая,
Никак ответа не нашел.
Моя любимая, родная,
С кем побегу я на футбол?
Что ж... Стоя у суфлерской будки
И смехом золотым звеня,
Вы улыбнетесь милой шутке —
И вновь забудете меня.
Я не хочу! Я не согласен!
Я вас, как сто Отелл, люблю!
И в железнодорожной кассе
Я что ни ночь в мечтах стою!
Пусть жизнь моя сложна и гадка,
Но я поеду. Ветер, дуй!

И сразу Горький станет сладким,
Как мой влюбленный поцелуй!
Пока же Вас в письме целует
И, жизнь нелегкую кляня,
О Вас мечтает и тоскует
Вас крепко любящий Илья.

Борис:

Расстроен, пьян, убит, влюблен
С душою, как бутылка, гулкой,
Сии стихи писал Вийон
С Козихинского переулка.
Муж восьмерых зубастых жен,
Он одиноким был на свете.
В его душе — нетрезвый ветер,
В его карманах — тихий стон.
Таков приятель мой беспечный,
Таким он был и будет вечно!
Но Вы, прекрасная, но Вы!
Что общего у Вас с бродягой?
(Пусть не сносить мне головы,
Его предаю я чище Яго!)
Его причуды не новы,
Смешны его нам передраги.
Чужих забот плохой начальник,
Он даже... — никудышный спальник,
За что был вовремя смещен.
Но до сих пор, как пес, влюблен.
Таков наш Франсуа Вийон —
Поэт, пьянчуга и охальник.

Конечно, в баре на Страстной они назюзюкались — последние строки на папиросной бумаге карандашом... Они оба хорошо попивают, но не так, как Митя, а спокойно, весело, с юмором, никогда не напиваются.

Мой первый Татьянин день не дома, без Баби, Левушки и Папы. Приехала Тетя Варя, так было заведено с детства, что в этот день собирается семья и много-много гостей. Борис на севере в командировке. Мама испекла именинный пирог, Малюшку уложили спать, сели, глотая вместе с пирогом слезы, за стол, и тогда Тетя Варя, побелев, сказала, что Левушка нашелся — он в лагере на Медвежьей Горе в Карелии, статья «антисоветская агитация», срок — пять лет.

Ура! Левушка жив! И такой маленький срок! Я к нему поеду!

Я его увижу!.. О Папе и Баби ничего, как будто земля разверзлась и поглотила их, в окошке все тот же ответ: «Ждите известий». Принесли фототелеграмму от Илюши:

Обычай старый вспомнить странно,
Но мы — работники искусств.
И в день единственной Татьяны
Я полон самых нежных чувств.
Позвольте фототелеграммой
Коснуться Ваших милых уст.
Я вас люблю, почти как мама.
Илья Вершинин-Златоуст.

Какое противное щемящее чувство оторванности от близкого, дорогого.

Борис наконец получил комнату на Калужской улице в трехкомнатной квартире. Соседи военные: один — семейный, халхинголовец, второй — какой-то герой-пограничник, холостяк, кутила, бабник, и Борис, не спросив меня и хорошо заплатив этому пограничнику, обменял нашу комнатушку на его хорошую большую комнату, так что у меня и моей комнатушки не осталось. Борис убеждает меня переехать в Москву и расписаться. И теперь я смогу поступить в любой театр, тридцать седьмой год уже забыт. Но здесь моему сердцу тепло, хорошо ко мне относятся, пришли и признание, и успех. Язык не повернется заговорить с Николаем Ивановичем об отъезде. И Малышка: к отцу она безразлична, а Бориса не любит, не идет к нему на руки, плачет, дерется. Он, как и Митя, совсем не умеет обращаться с детьми. Обломается ли это со временем?

А театр? С Охлопковым тоже случилось несчастье: вскоре, после того как меня выгнали из театра, театр закрыли. Был очередной пленум ЦК по вопросам идеологии, и как тогда положили на полку фильм «Отцы», так закрыли и наш театр. Весь творческий состав не выбросили на улицу, а слили с Камерным театром под руководством Таирова: более разных театров и режиссеров придумать невозможно — это издевательство над ними обоими.

И сам Борис: моя благодарность ему искренна, он скрашивает мою ссылку сюда, и если даже не расписываться, все равно это уже настоящий брак.

И существовать без театра я теперь не могу. Теперь, когда я выхожу на сцену, мне хочется принести людям радость, успокоение, счастье, они должны просветлеть, тогда и я счастлива. Борис этого не понимает.

Как снег на голову — телеграмма из Киева: «Начинаю снимать на студии Довженко гоголевскую майскую ночь, не приглашаю

требую на правах режиссера открывшего вас сниматься в роли Панночки искренне Садкович».

Противное поднялось в душе, но прошло семь лет от съемок «Отцов», может быть, Садкович изменился...

Вызывают к Николаю Ивановичу.

— Извините, Танечка, дали прочесть вашу телеграмму, но и без нее вызвал бы вас поговорить... Засиделись вы у нас. Прошло достаточно времени, вам надо вернуться в Москву, чтобы вас не забыли. Такой передышки не прощают даже уже состоявшимся «звездам», а вы — только еще робко засияли на небосклоне... Больно мне вас отпускать.

Прощай, Горький! Прощай, русский город на Волге, спасший меня, может быть, от безвозвратной катастрофы! И кровь моя, моя волжская кровь заговорила! Внутри все переворачивается от волнения, от тоски.

Антонина Николаевна и Николай Иванович устроили для меня настоящий бал. Пришли минуты прощания. Стоим в кабинете Николая Ивановича, смотрим друг на друга, я молюсь, я дала себе слово не проронить ни одной слезы. Смотрю в душу Николая Ивановича... в ней необъятная Русь... неподвластная осознанию... широкая... глубокая... сердечная... неизбежная... как бы ее ни били, ни уничтожали...

Николай Иванович поцеловал меня в лоб, благословил, и, как землетрясение, как лавина, из меня хлынули слезы.

Конечно, все не так, как мне говорили в Горьком. Конечно, не хотели огорчать. Теперь я узнала на Лубянке, что все все-таки получают какой-то ответ. Самый страшный: «В лагере без права переписки». Говорят, что это значит: нет в живых.

О моих — ничего. Подхожу к окошку на букву «О» и столбенею: из окошка на меня смотрели те два черных глаза, которые были перед моим лицом тогда, в сумерках, у железных ворот Лубянки. Он, конечно, не узнал меня, «ту», нас сотни тысяч, но, видимо, смотрел мои фильмы и узнал «эту», и опять, глядя мне в глаза, мягко тихо сказал: «Не волнуйтесь, ждите». Неужели даже в этой мрази есть что-нибудь человеческое?

А главное потрясение — арестована Тося. Ее мужа расстреляли. Как я могла усомниться в ней? Как могла подумать, что она перестала у меня бывать из-за моих арестов?! Она же умная, взрослая, она все понимает. Значит, судьба ее для нее была ясна! Тося прикрывала меня от беды, видя, что творится в стране. Тося и от брака с Митей меня отговаривала, зная Митю и зная, чем этот брак может кончиться.

Встала к окошку на Лубянке по ее девичьей фамилии. Ответ: «Сведений нет», а когда встала на букву «К» и произнесла: «Куйбышева», — у этой мрази отвалилась челюсть. Я расплачиваюсь за неверие в Тосю мукой. Со мной навсегда останутся ее лучистые глаза и сияющая улыбка.

Со всем скарбом переехали на Калужскую. Опять, как с Митей, нужно создавать дом, только теперь самой, без Папы и Баби. Опять собрала стоявшую по друзьям все ту же Папину и Мамину мебель, обставила Мамину комнату, а у нас с Борисом «модерн»: тахта, радио и стол, стульев пока нет. Добро Бориса состояло из фанерного ящика, в котором было несколько книг, подушка, сапоги и гимнас-

терка. Теперь к нам три звонка, не могу привыкнуть и жду еще четыре.

В театр пока устраиваться, конечно, нельзя, несерьезно, съемки «Майской ночи» в экспедиции на Украине, и глупо прийти в театр и тут же отпрашиваться на съемку. А главное — начала собираться к Левушке, и пока его не увижу, ни в каких «Майских ночах» сниматься не буду.

Общий вагон. Напоминает тот из города Шахты в Ростов, на аборт. Так же накурено, так же копошатся немытые люди, сейчас, правда, захрапели. Глубокая ночь. Сидеть не могу. Ходить негде, везде торчат ноги, мешки, сумки. Смотрю в черноту ночи, ни звездочки, ни всполоха. Остается час. Как пересаживалась в Ленинграде, до сих пор не могу поверить: чьи-то добрые руки бросали мои котомки, тащили сумки. Прямого поезда из Москвы в Медвежьегорск нет, есть скорый и курьерский на Мурманск, они в Медвежьей Горе не останавливаются, это полустанок, даже наш поезд стоит две минуты. А если меня никто не встретит? А как я успею сбросить свои неподъемные сумки? Поезд замедляет ход. В тамбуре оказался еще один человек, совсем пожилой, седой, благородной внешности, болезненно бледный, может быть, не от болезни, от волнения, тоже с сумками... Как он-то сойдет, я все-таки молодая, здоровая. Проводница открывает дверь: пахнуло морозом, где-то внизу белеет земля, дальше ни зги не видно. Чьи-то сильные руки подхватывают меня, кто-то сбрасывает мои вещи. Прошу снять старика, гудок — и поезд застучал. Вглядываюсь в лица. Их двое.

— Ну, Татьяна-обезьянка, с приездом! — Голос тихий, спокойный, лицо доброе, открытое.

— Василий Иванович!..

Бросаюсь ему на шею.

— Ну, ну, ну! Видите, как все хорошо, и поезд не опоздал, и вагон мы точно высчитали, и все уже позади! А у старика есть куда прислонить голову?

— Не знаю, я не успела с ним слова сказать.

— Ничего устроим, не бросим его.

Здесь же рядом похрустывает лошадь. Все усаживаемся в розвальни. Куда-то завозим старика, он плачет от волнения, а в моей голове понеслось вихрем — такие же розвальни нас с Левушкой, маленьких, укутанных, несут перелесками, полями в деревню к куме... Левушкин рев басом. Мысли рвутся, наплывают...

— Ну, приехали!

Выскакиваю из саней, влетаю в избу, в углу под иконами Левушка, стою, как во сне, шевельнуться не могу, голоса нет.

— Братец мой... Левушка...

— Сестрица... Татьяна...

И ноги мои, и голос, и сила, и счастье, и я на руках у Левушки, кричим, плачем.

— Лев Николаевич, нам пора...

И уехали. А я, не вытерев слез, падаю на скамейку и засыпаю. Жена Василия Ивановича раздевает меня, укладывает...

Открываю глаза и не понимаю: сплю я или это явь — изба, иконы, стол, накрытый скатертью, заваленный, как в сказке, яствами, за ним сидят пять мужей, причесанных, выбритых. Уселись и ждут, когда я проснусь сама.

Знаю, что мешаю Левушке есть, знаю, знаю, едят-то руками, и все равно держу его руку в своей и лицо глажу, и волосы... Как он изменился! У него и у взрослого и улыбка, и выражение глаз детские. Теперь в глазах печаль, улыбка горькая и виски седые в 24 года!

Начала потихоньку всех рассматривать: старший друг Левушки, начальник, наставник, сидит уже пять лет, крупный инженер, лет сорока, красивый, даже в этой одежде — «экономическая контрреволюция, срок — 15 лет». Здесь он прораб, Левушка числится его помощником, а Василий Иванович — вольнонаемным десятником. Двое других за столом тоже славные, симпатичные: химик и экономист, ничего в строительстве не понимающие, но всеми правдами и неправдами, в основном взятками, устроенные в эту же стройбригаду, чтобы спастись от уничтожения на общих работах. Строят особняки начальникам, баню, клуб...

«Дело» Левушки: оказывается, весной 38-го года арестовывали во всех институтах самых талантливых, умных, смелых студентов. Лестно, конечно, что Левушка подпал под эту категорию, а «дела» и не нужно было и не было его — он в институтской курилке рассказал какой-то смешной анекдот, донос написал однокурсник. И действительно, это счастье, что срок дали пять лет, а не десять, не пятнадцать.

Слушаю, смотрю — я в аду. Какие они голодные... Как они ожили, раздумянились, посветлели, повеселели, отошла горечь... Как мало нужно человеку... Тепло, дружба, быть сытым. Сердце разрывается от жалости, скорби, от невозможности ничего изменить, помочь... что же будет с русской интеллигенцией дальше... у этого первого поколения после революции есть еще и честь, и честность, и родина, а семья... а как же будет с их детьми, выращенными комсомолом, детскими домами, а дети детей? Что же, вообще уже не будет интеллигенции?... Интеллигенция осталась без мыслителей, без учителей, без примеров... Ведь и

прораб, и Василий Иванович проявили величие души, рискуя собой, подкупая всех подонков, вплоть до начальника конвоя, иначе мое свидание с Левушкой было бы невозможным...

Три дня... нет не дня... вечера... девять часов... Еще я могу увидеть Левушку в шелку занавески, когда их проведут на работу мимо избы Василия Ивановича. Сажу у окошка с шести утра... ночь не спала... и как в плохом фильме, в котором все должно быть совсем плохо, началась пурга... Договорились, что Левушку поставят крайним к моему окошку: слышу, какой-то страшный, нет, не лай, рев собак, там на свободе они так не лают... наконец пошли... пошли... пошли... тысячи... рядами... рядами... рядами... они не сказали мне, как, где искать Левушку... Вдруг в пурге рванулись к окошку те детские сияющие глаза, улыбка! Села на лавку счастливая от видения, мыслей собрать не могу... может быть, это было действительно только видение... что же это происходит... я ведь думала, что в лагере сто, ну двести человек, а здесь же тысячи...

Задремала, и то ли действительно видение, то ли сон: в пурге Папа, Баби, Левушка и я идем, взявшись за руки под конвоем... а потом сразу солнце, нет, я одна с котомкой в нишей одежде стою у «кукушки», на которой приехала... Скорей бы вечер, сегодня мы с Левушкой будем одни и будем говорить, говорить, говорить, говорить... а завтра прощание...

За окошками Карелия, так я ее и не увижу. Это очень красивая северная страна — не увижу, я тоже в заточении: если кто-нибудь узнает, что я в избе у Василия Ивановича, он может сам попасть в лагерь за связь с заключенными.

Целый вечер вместе! Смеемся... вспоминаем... плачем... мечтаем... Василий Иванович увел Левушку к отбою в лагерь, а завтра его привезут только попрощаться со мной перед поездом.

Как представляю, что он сейчас входит в барак, ложится на нары, ничего не соображаю, мечтаю по избе... Глаз не сомкнула...

Все! Воля моя рухнула! Реву в голос, цепляюсь за моего «чёрмордана», за «шерлохладку». Дверь за ним захлопнулась, и что-то захлопнулось во мне.

Борис встретил, соскучился, спрашивает, а я ему и рассказывать-то не хочу. Мало того что он не проводил меня до Медвежьей, он даже письмеца Левушке не написал. Так стыдно за него! Все отговаривал ехать, а письмо почему не написал? Боялся, что меня обыщут и узнают его почерк?!

Война. Ударило по голове, и я, как в цирке клоун, завертелась в обратную сторону. Война с Польшей, мы опять кого-то «освобождаем», от кого, от чего, это же близкая нам страна, зачем же мы там с оружием. Все больше накапливается непонимание того, что творится вокруг. И Борис! Он с восторгом влез в военную гимнастерку, забыв крахмальные воротнички, и отбыл на фронт. Возвращение как с настоящей войны — помпезный, с трофеями, туфли, шляпки, платья, сумки, детские платица... одеванные?!

Стою, смотрю на все это, на Бориса.

— Откуда это?..

— Я все покупал на свои деньги...

— На какие?! На жалкие офицерские крохи?! У кого?..

— Меняли на сигареты, на табак, на кофе, в комиссионных магазинах, вещи красивые, у нас таких нет...

Дальше начался его лепет, в котором никогда нельзя понять, где «да», где «нет», где правда, где ложь.

— Это же грабеж! Самое настоящее мародерство! И это делали все?! И офицеры?!

Как он мог подумать, что эти вещи не вызовут во мне гнев, негодование, отвращение?! Как же сам-то он мыслит?!!

Доблестное, благородное советское офицерство!!! Не знаю, куда он дел эти чемоданы, наверное, отослал маме в Донбасс. Чем больше я узнаю Бориса, тем непонятнее для меня его сущность. А такие вот непостижимые для меня поступки, как при вспышке магния на фотосъемке, вдруг высвечивают его нутро, его сущность, несовместимые с его жизнью на людях. Борис до предела, по-шекспировски скрытен, он, по-моему, даже от себя скрывает свои мысли. О нем говорят «хороший парень», это превратилось уже в кличку. Так хочется спросить у говорящих, а что это такое — «хороший парень». Борис при его мягкости тихо, удивительно настырно добивается всего, чего хочет и именно как ему надо, не считаясь ни с кем и ни с чем. Оба моих мужа для меня марсиане. Оба какие-то двойные, фальшивые... Ведь Митя

«в женихах» был добрым со мной, порядочным, и как же он мог побежать в партком с доносом, оскорблять меня, душить, бросить своего ребенка, бешено ненавидеть всё и всех, жить и кутигы за чужой счет, не возвращать долги? Забыть невозможно, как он после ареста Папы и после своего доноса прибежал к нам на Никитский бульвар, сильно выпивший, занять денег, думая, что я уже получила зарплату за его фильм «Друзья из табора». в котором он умолил меня сняться. Зарплату я еще не получила и дала ему доверенность на получение этих денег, он их получил и мне их не вернул.

Митя добился своего первого фильма «Друзья из табора». Фильм из цыганской жизни. В этой цыганской жизни Митя ничего ни сном ни духом не ведает. Прибежал ко мне, начал умолять после всего, что он мне сделал, сыграть в фильме русскую девочку, это единственная русская роль, говорил, что я украшу фильм, что я уже в славе, а ему надо помочь показать себя, что он даже намеком не вспомнит о нашем личном. И я опять согласилась, пожалела его, несмотря на то что мне, взрослой женщине, трудно сыграть пятнадцатилетнюю девочку. Было это летом перед арестом Папы. Картина снималась под Звенигородом в дивной красоты местах.

У реки раскинулся настоящий цыганский табор, с песнями, с танцами, я жила тоже в палатке среди них. Первые несколько дней Митя вел себя как и подобает, но после первой же съемки, когда табор заснул, он появился и снова в тысячный раз стоны, слезы, заклинания, клятвы. Цыгане, конечно, видели, как он входил в мою палатку, конечно, думали обо мне Бог знает что, они понятия не имели, что это мой бывший муж. Только теперь я даже не боролась с собой, не призывала память, Митя выжег во мне все своими поступками. Когда я ему об этом сказала, то, как и с Гогой, и с Садковичем, на меня полился поток брани. Уехать я уже не могла, снята моя главная сцена, Митя все это учел. Его за меня наказал Бог. Его чуть не исключили из партии и чуть не разорвали люди. Одним из героев фильма был медведь. Он прибыл с дрессировщиком и был, как все цирковые животные, спокойный, симпатичный, добрый, совсем еще молодой, с ним целыми днями играли цыганята. В одной сцене маленькая, хорошенькая цыганеночка лет шести должна была перед ним танцевать, трясти плечиками. Медведь стоял на задних лапах, девочка танцевала лицом к нему, у его брюха, под передними лапами... И случилось ужасное. Медведь протянул лапу и снял с девочки скальп. Меня не было, я гуляла по лесу, услышала крики и побежала к табору: мимо без телеги, верхом проскакал цыган с окровавленной девочкой. медведь ревет, рвется с цепи, Митя в толпе бледный, растерянный.

Пришлось мне же за него вступить, чтобы цыгане его не разорвали.

И что! Фильм получился жалкий, беспомощный. И неправду Митя говорил, что он любимый ученик Эйзенштейна: когда я познакомилась с Эйзенштейном, он Митю вспомнил с трудом, горько улыбнулся и сказал: «Сколько сил, ума израсходовано на этих людей, и ведь знали, что никогда, ничего из них не выйдет». Ну, режиссеры — дело темное, можно не угадать талант, ошибиться... Но актерский факультет! Лица для паноптикума. Институт набит такими лицами. И так это все и продолжается, несмотря на очевидность! Почему? Почему? Кто ведает искусством?! Все тот же ЦК?! Миллионы денег, сотни плохих фильмов, «боевики» созданы старшим поколением — все они пришли в революцию интеллигентными людьми. Почему мне Папа тогда не рассказал все про революцию, про политику? Чтобы я, родившаяся с революцией, приняла ее как что-то прекрасное? Оберегал мою психику, пока я не вырасту и не пойму сама? Я выросла, я поняла — нет ничего безобразнее революций, когда народ сам, своими руками, крошит и уничтожает все лучшее, что создано, а потом сам создать ничего не может. И через бездонную пропасть поколений, веков надо все создавать заново. Хочется закричать кардымовское деревенское нежное: «Папаня! Папаня! Где ты? Слышишь ли ты меня? Жив ли ты? Мне так без тебя тоскливо, одиноко! Мне так тебя не хватает!»

На Лубянке ответ: «Сосланы в лагерь, ждите известий».

Певучая, плавная Украина. Да не просто Украина, а настоящие гоголевские места. От железной дороги километров пятьдесят вглубь, к Диканьке, к Сорочинцам, на реку Псел. Село на горе, утопает в зелени, такой красоты! Снова лошади, снова я в хате, и снова Садкович. Только теперь хата белоснежная, веселая, в вишневом саду, перед окошком вместо унылой шахты — ветряная мельница. Вся «Майская ночь», за исключением нескольких павильонов в Киеве, снимается здесь. Садкович без Ривы... Неужели он опять задумал преследовать меня? Он не знает, что ко мне едет Мама с Малюшкой и на сей раз муж, правда, уже другой! Берегу для Садковича эти два сюрприза.

На пробе в Киеве я придумала играть в фильме и Ганну, и Панночку. Левко так влюблен в Ганну, что когда к нему во сне приходит Панночка, она ему кажется похожей на Ганну. Крестьянка Ганна и сказочная утопленница Панночка. Лучший гример студии сделал меня чернобровый, с черной косой в лентах, смуглой, румяной Ганной, а Панночку в маленькой короне, светлой, бледной, в нежных голубых тонах. Очень интересно получилось, но Садкович испугался и решил снимать по традиции.

Мы с Мамой подружились со всем селом, и по утрам под нашей дверью стоят крынки с молоком, сметаной, кошелочки вишни, малины. Малюшка и Мама порозовели, впервые за все годы после ареста Папы сыты, а я глотаю слюну, боюсь пополнеть. Начались съемки массовых сцен. Из сундуков появились настоящие с ручным удивительным шитьем костюмы, рушники, венки, поплыли хороводы вокруг мельницы, полились старинные песни. И снова, как в «Отцах», первый проявленный в Киеве материал неинтересный, актеры фальшивые, нет гоголевской сочности, сказочности, все размазано! Мои сцены еще не снимали. Когда приехал Борис и появился на съемке, крестьянки стали расспрашивать Маму, кто он, и Мама ответила: «Мой зять», а когда с тем же вопросом обступили Малюшку, она с торчащими в разные стороны косичками гордо ответила: «Это наш зять». И тоже, как в «Отцах», Садкович опаздывает отснять натуру, листья желтеют,

оператор отказывается снимать, вся группа на нервах бегает, обрывает желтые листочки.

По ночам начались заморозки, а моя сцена утопления еще не снята, и когда наконец дошли до нее, вода стала ледяной. Художница нашла высокий крутой берег, река подмыла его так, что обрыв нависает прямо над омутом, я должна подойти к обрыву и красиво шагнуть в омут. В руке у меня газовый шарф, который тянется за мной шлейфом, и оператор попросил, когда я скроюсь под водой, выбросить этот шарф, чтоб он всплыл, покружился в омуте, поплыл, и только тогда я могу выплыть наверх. Дубль невозможен, второго костюма нет. Съемка началась, все идет хорошо, я вся в переживаниях утопленницы, прыгаю, ледяная вода схватила дыхание, шарф выбросила, не выплываю, и вдруг какая-то сила выбрасывает меня на поверхность. Под крики, стоны, что я испортила такой кадр, выбралась синяя, дрожащая на берег и, стуча зубами, объясняю, что я не всплыла, что меня что-то силой вынесло, что я могла бы еще посидеть под водой, и тогда догадались, что меня вынесли юбки, их на мне было четыре. Оператор требует во что бы то ни стало съемку повторить сегодня же, потому что нужного ему света мы можем уже не дожидаться. Меня положили в телегу, погнали лошадей в село, кинулись обогревать, оттирать, сушить утюгами костюм, и я снова в кадре, только теперь к моим юбкам прикрепили несколько тяжелых камней, чтобы все не повторилось снова. Съемка началась: я опять в переживаниях, все опять хорошо, я прыгнула, пошла под воду, выбросила шарф, сижу под водой до последней секунды, пока наконец уже необходимо вздохнуть, делаю рывок наверх... меня что-то держит железными когтями, рванулась еще и еще, вдохнула воду и утонула. Когда поняли, что со мной что-то случилось, в омут бросились, вытащили меня, откачали, хорошо, что не было на съемке Малышки и Мамаы. Оказывается, на дне омута была огромная коряга, и камни на моих юбках за нее зацепились.

К нам в село приехал из Киева Луков, он художественный руководитель «Майской ночи», я с ним познакомилась еще на съемках «Горячих денечков». Натуру этого фильма мы снимали в Киеве и прожили там все лето. Луков влюбился в меня, ухаживать он не умеет и начал добиваться меня угождением, шумным восхищением, цветами, раками. Каждый день мне в гостиницу приносили мои любимые пармские фиалки. Все это открыто, при живой жене. Любопытная личность: способный, наглый, самоуверенный, свято верящий в свою безнаказанность, неумный, старше меня, еврей с русской фамилией, крупный, ожиревший, с животом и подбородком, полное отсутствие культуры, интеллигентности, простой воспитанности. Он влез в наш дом, и надо и не надо бесконечно приезжал в Москву в командировки, потом трид-

цать седьмой год, он, конечно, исчез и теперь подкатил на бричке прямо к нашей хате. Когда вечером все собирались у нас, я попросила Маму сказать, что от Бориса пришло письмо и он со дня на день приезжает. Из хаты я выскочила потому, что сдержаться от смеха, видя лица Лукова и Садковича, невозможно. Через день, даже не зайдя на съемку, Луков отбыл, сказав, что его срочно вызывают в Киев. Тем не менее я получила официальное письмо с приглашением играть в его фильме «Александр Пархоменко». Я затрепетала, узнав, что моя героиня не слезает с коня. Тогда еще, в Кардымове, — я смотрела на рыжего Петьку, скачущего на лошади, когда он меня в минуты перемирия впускал в конюшни, погладить коня, посмотреть в глаза — тогда еще загорелась по мне эта любовь. Если бы мне нужно было сыграть в этом фильме крокодила или тарантула, но верхом на коне, я бы согласилась. Боже, какого красавца ко мне подвели! Коричневый, как шоколадка, носочки белые, во лбу белая звезда, белая грудь, грива белая, холеный, трепещущий, глаза ума и красоты нечеловеческой! Конюх тоскливо протянул уздечку: «Марсом кличут... Ты береги его... люби... он грубости не понимает...» Конюх запнулся. Ну, что там прыгнуть в омут! Ерунда! Здесь от страха челюсти свело — впервые в жизни взять в руки уздечку. Марс следит за мной кровавым глазом.

— Да ты не бойсь... он добрый... Это он разглядывает, какой ты человек... Страсть не любит плохих...

— А если Марс не поймет, что я хороший человек, и укусит?!

— Да ты ранее когда подходила к коню?

— Да! Конечно!

— Ну давай подсоблю!

Он сложил ладошки, как я видела в фильмах, и я, не помня себя, очутилась в седле. Теперь я сама беру Марса из конюшни, и мы гарцуем с ним по Киеву на студию. В этот день съемка была во дворе студии, в конце знаменитого довшенковского сада. Я задержалась с гримом и костюмом. Марс стал нервничать, не говоря уже о том, что когда я появляюсь перед ним загримированная, в папахе и царском офицерском романовском полушубке, он тарашит на меня глаза и я ему не нравилась, ему в кино еще не все понятно. Я прыгнула в седло, пустила Марса в карьер и еще издали увидела, что вся группа, повернувшись к нам, что-то кричит, прыгает, машет руками, я ничего и подумать не успела, как вылетела из седла и повисла в стремени, а Марс остановился как вкопанный. Луков бледный, запыхавшийся, что-то пытается сказать, моя папаха валяется метрах в двух, в стороне, Луков тычет пальцем в папаху: вот там, где валяется ваша папаха, могла валяться ваша голова!.. Оказывается, на место съемки протянули электрический провод и естественно выше человеческих голов, но

все забыли, что я на коне, и провод получился на уровне моей шеи.

А второй раз Марс спас меня от бешенства Лукова. Мы, как всегда в нашем кино, опаздывали отснять натуру — в средней полосе везде уже наступила весна, а все сцены боя махновцев с Пархоменко исторически происходили крутой зимой, и мы всей нашей огромной группой, вплоть до коней — замена их в фильме была бы видна, — едем, летим за снегом в Новосибирск, а весна весело шагает по нашим пятам и сюда.

Я счастлива, мой Марс со мной. Только я летела самолетом, а он ехал в товарном вагоне, и когда распахнули двери вагона и он увидел меня, растолкал всех коней и собрался прыгнуть без трапа на землю, а когда я ему запретила, бесился, укоризненно глядя на меня, первым соскочил с трапа и сбил меня с ног.

С Борисом даже попроситься не смогла, но в Новосибирске меня ждали от моего «великого утешителя» Илюши стихи:

Наказан я жестоко,
Брожу, судьбу кляня, —
В Сибирь из Белостока
Ты едешь без меня...
Душа натерта луком,
Рыдания текут,
Тебя увозит Луков,
Ужасный алеут.
Видать, любви не стою,
А сердце так болит —
Связалась ты с Махною,
Который есть бандит.

С трудом нашли поляну, на которой снег еще не растаял, прибыло несколько эскадронов, настоящих военных, начали готовить съемку, а мы репетировать на поляне рядом, где уже вместо снега — грязная каша. Наконец нас начали осторожно расставлять на месте съемки, кони должны стоять, не шевелиться, иначе будет видно, что снег измят, — я впереди эскадрона, который по команде Лукова я должна повести в атаку. Крики, рвутся снаряды, хоть и пиротехнические, все равно очень страшно, а я должна еще прокричать текст «За родину, за царя, за отечество вперед в атаку», и самое страшное, что я должна еще выхватить из кобуры револьвер, который я вижу и держу в руках впервые в жизни, и выстрелить в воздух! Ну и что, что пули тоже холостые, а вдруг они взорвутся у меня в руках. Да еще чуть не тоненькую ниточку положили на снег, чтобы ее не было видно и чтобы я не смела за нее перескочить и именно на этой ниточке сойтись с красными, и еще

команды Лукова совсем не слышны с пригорка, откуда идет съемка, и нацепили красную тряпку на палку, по сигналу которой должна начаться съемка и за которой также надо следить. Дубль невозможен, целого чистого снега больше нет. Все замерло. Метнулась красная тряпка, я прокричала текст, выстрелила, и мы с Марсом рванулись в атаку. Внутри задрожало — нет за мной эскадрона, мы с Марсом скачем одни. Незаметно, из-под руки оглядываюсь назад — весь эскадрон спокойно стоит. Кони, наверное, привыкли к мужскому голосу, и в первых рядах эскадрона не кавалеристы, а актеры. Что делать?! Что делать?! Не своим голосом реву: «В атаку!» Стоят! Вдруг мой Марс круто разворачивается, зарываясь в глубоком снегу, подскакивает к эскадрону, я уже неизвестно каким голосом прямо в морды ору: «В атаку», — Марс вскакивает на дыбы и, храпя, рвется вперед... эскадрон за ним. Съемка получилась даже интересней задуманной. Целую Марса, а он, довольный, тихий, жмурится.

Ко всем прелестям у Лукова оказался еще и отвратительный характер, наглый, вспльчивый, грубый, и все это на съемках. Фильмы снимаются год, а то и больше. И столько же придется его терпеть. Последняя сцена, которую учинил Луков на съемке, возмутительна: съемка в павильоне ночная, в кадре я и Махно, Махно пытается взять меня за лицо, я отбрасываю его руку и говорю: «Я замужем, Нестор Иванович». Луков с начала съемки бешеный, в плохом настроении.

— Почему это «замужем», когда надо сказать «замужняя», не переделывайте текста.

— Я не переделываю, в тексте «замужем», дворянка, интеллигентная женщина не может сказать «замужняя», это язык горничной.

Луков заревел:

— Дайте сценарий.

Ему подали уже открытый на этом месте сценарий.

— Что вы мне все тут мозги морочите! Здесь опечатка!

Я отвела его за декорацию и говорю как можно мягче:

— Леонид Давыдович, может быть, и опечатка, но дворянка действительно не может так сказать, вас на экране не будет, останусь я, и такой фразой мы зачеркнем весь образ, поверьте мне, я хорошо знаю русский язык...

Он налился кровью, на меня не смотрит, ворвался на площадку с криком:

— Перерыв! Соедините меня с Всеволодом Ивановым!

Все замерли, знают, что если Луков «зашелся», бессмысленно объяснять, что сейчас ночь, что соединиться с Москвой можно всю смену, что автор живет на даче и спит. Ко мне подошел бледный, тоже неинтеллигентный директор картины:

— Ну скажите, как просит Леонид Давыдович, какая вам разница, зрители даже не заметят.

— Мне трудно вам объяснить, но я хочу, чтобы вы поняли, что это не каприз, не личное, что эта реплика важна для образа...

Он подошел к Лукову, что-то долго говорил ему, группа молча наблюдает весь кошмар. Все вздрогнули от крика:

— Съёмку отменить. Списать за счет героини.

Приехал директор студии, бегал от меня к Лукову, от Лукова ко мне. Предлагал снимать другую сцену, Луков отказался. Я пойти на компромисс не имею права. Директору студии я смотреть в глаза не могу, боюсь рассмеяться, только что на художественном совете была такая сцена: кто-то подал заявку на экранизацию «Мадам Бовари» Флобера, и директор кричал на худсовете: «Читал я эту вашу «Мадам Бровары», кому она нужна», — а под Киевом есть дачное место Бровары. Теперь вся студия за глаза называет его «мадам Бровары». Дозвонились Иванову, и тот сонный, ошарашенный вопросом ответил: «Конечно, «замужем». Боялись, что с Луковым будет insult. Мы сыграли с Чирковым сцену, Луков только скомандовал «мотор» и «стоп». В гостиницу привезли, когда уже светало, только я сняла грим, вбежал Луков...

— Простите меня, простите, простите, я безумный, отвратительный сумасшедший, я знаю, я ничего не могу с собой сделать, я люблю вас, люблю, когда вас кто-нибудь берет под руку, я теряю сознание, я схожу с ума от ревности, когда на вас смотрят...

И действительно, и плачет, и целует ноги.

— Почему вы перед съёмкой ходили гулять в сад с этим идиотом, ничтожеством польским жидом, почему он имеет право доставать вам мои фиалки...

Как он узнал, что режиссер из Варшавы, бежавший от Гитлера и теперь работающий на Киевской студии, тоже разыскивает где-то фиалки для меня и посылает мне?

Как могло случиться, что я сошлась с Луковым? Невозможно, чтобы это был один и тот же человек, здесь у моих ног и час назад на съёмке.

Интересно, что и у стен, и у городов, как и у людей, есть своя стать, свой характер, даже повадки — Киев пышный, сочный, гостеприимный, а украинцы ласковые, певучие и мои пармские фиалки, те самые пармские фиалки, которые я продавала там на первой съемке у «Межрабпромфильма»... Только в Москве их выращивали специально, а здесь Луков каждое утро присылает их мне в номер — малюсенькие, нежные, дивно пахнущие, они мне каждое утро приносят радость и примирение с Луковым. Он странный, дикий, околдовал меня своей влюбленностью.

Теперь, когда я стала взрослой женщиной, меня поражают мужчины вот такой безумной влюбленностью, меня это делает безоружной, я не влюбляюсь, но меня захватывает...

С Луковым нестерпимо из-за общей работы, мало того что я сама выдерживаю его сцены, я должна еще защищать других в группе, потому что одна я могу поставить его на место не как женщина, а как героиня — ко всем остальным от относится по-хамски, почти ежедневно на съемке слезы или заявления об уходе из группы.

Знаменитый киевский «Континенталь», в котором мы, москвичи, все живем. Это тоже дореволюционная гостиница, богатая, купеческая, со старинной мебелью, со смешными ключами от дверей: чтобы живущие не уносили их с собой, маленький ключ висит на огромной деревянной груше, которую никуда не положишь, никуда не спрячешь.

Я после ужина в ресторане пришла к себе в номер, умылась и легла спать. Проснулась от того, что в номере кто-то есть, я похолодела, глаз не открываю, сделала вид, что продолжаю спать. Вор! Он открывает дверцу платяного шкафа... задел стул... Я же заперла дверь и ключ не вынимала, значит, из коридора он не мог открыть... Он вынимает мои вещи из шкафа, загремела вешалка... Мой номер длинный: маленькая прихожая, сразу слева моя кровать, за высоким изголовьем стол, стулья, шкаф... вскочить мгновенно, броситься в коридор, он же дальше меня от двери на несколько шагов... я успею... а если он запер дверь... тогда он уда-

рит меня сзади... невидимо приоткрыла глаз... заледенела... груша качается из стороны в сторону... сорвалась с кровати... дверь заперта... успеваю повернуть ключ... с криком выскакиваю в коридор... много людей, тоже голых, как и я, тоже орущих, бегут как безумные вниз... Землетрясение в Карпатах. Около гостиницы разверзлась огромная трещина, потом все стихло, и мы голые, сгорая от стыда, не глядя друг на друга, возвращаемся в номера. Стулья сдвинуты с места, дверца шкафа открыта, вешалки с платьями съехали, люстра качается из стороны в сторону и груша от ключа тоже.

У меня в Киеве появились два друга, мои ровесники, Петя Алейников и Борис Андреев. Они снимаются вместе со мной у Лукова. Актеры-самородки, отличные люди, чистые, сильные, веселые, честные, цельные, непосредственные, заводилы, очаровательные хулиганы и пьянчуги, но никогда не напиваются, не сквернословят, не дерутся, верные мужья. Они придумывают смешные шутки и мило уничтожают ими всяческую дрянь: Садкович после сдачи «Майской ночи», фильма серого и унылого, устроил для «великих мира сего», в основном для партийного начальства, роскошный банкет в ресторане нашей гостиницы и как всегда глупо — «смешались кони, люди»: рядом с гоголеведческой профессурой во главе с академиком и его старушкой женой в бриллиантах сидят партийные жлобы в полосатых рубашках. Скука все-ленская... Петя и Борис попросились у Садковича на банкет, но тот, конечно, отказал и даже в грубой форме. В «разгар веселья» с треском открылись двухстворчатые континентальские, как царские врата в церкви, двери, а на пороге Петя и Борис в трусах, в незашнурованных огромных ботинках на босу ногу, облитые в полоску ярко-фиолетовыми чернилами, падают на колени и, биясь лбом об пол, от имени гоголевских виев и чертей поздравляют Садковича с созданием выдающегося, почти гениального произведения искусства! Ресторан разверзся от хохота.

А еще, проснувшись на рассвете, Крещатик был умилен открывшейся перед собравшимися нежной картиной: в универмаге, в витрине с мебелью, среди кружев и накидок, на роскошных кроватях сладко спят Петя и Борис с блаженными лицами, в одних трусах. Начальник милиции Киева, тоже влюбленный в эту пару, простил возмутителя спокойствия и эту проделку.

Мне Петя и Борис заменяют и Левушку, и Яшу, они мое утешение. Часами и на съемке, и в гостинице говорим о Папе, о Баби, о Левушке. Левушку они ждут, как своего брата, у Левушки прошла половина срока, и мы теперь считаем даже прошедшие сутки. Они не любят ни Лукова, ни Садковича, ни Бориса.

Борис приезжал в Киев ко дню моего рождения и долго пробыл. Но к моему огорчению, не понравился моим новым друзь-

ям, несмотря на то что он был ко мне внимателен и нежен. Не помогло Борису и посвящение ко дню рождения:

Тимоше через десять лет.
Читать 3 марта 1951 г.

Птички прыгают на ветке...
Бабы ходят спать в овин...
Как сегодня нашей детке
Снова стукнул год один!
Ах, проклятый счетчик рока,
Беспощадный, как такси!
Хоть моли его, проси,
Он отстукивает сроки,
Как его удары метки!
Как укусы злы годин!
Птички прыгают на ветке...
Бабы ходят спать в овин...
Не вчера ли юной крошкой
Ты русалочкой была?
В «Майской» кушала окрошку?
Называли все Тимошкой
И боялись, точно зла,
Глаз твоих обманно-ясных,
Губ твоих проклято-красных,
Брови, что как взмах крыла!
(Был для всех наш общий дом
под уютным каблуком.)
А улыбка, что дразнила,
Надувала, вновь сулила,
А ресниц смертельный яд!
...Это было, было, было,
Было десять лет назад!
Ты смеешься, дорогая?
Смейся громче, бог с тобой!
Что ж тебе я пожелаю,
Именинничек ты мой?
На серебряном на блюде
Ну, каких даров принесть?
Чтоб прекрасное: «Все будет!»
Стало скучным: «Ах, все есть!»
Пожелать в делах удачи,
Чтоб квартира... чтоб клозет...
Чтоб была машина, дача...
И десятка на обед?

Чтоб сердитый пан Строжеско
Отменил в тебе порок?
Чтобы вдруг Комиссаржевской
Объявил тебя пророк?
Чтоб роскошной ролью, главной
Мир на веки озарить?
Чтобы Вера Николавна
Превратилась в Бовари?
Чтобы мир был с режиссером,
С мужем тишь и благодать?
Все заманчиво, нет спора.
Как тебе не пожелать?
Но, поспоривши с собою,
Бескорыстию учась,
Пожелаю я другое:
Будь по-прежнему шальнойю,
Бесноватой, молодою.
Будь несчастной, но такую,
Но такую, как сейчас.
Птички прыгают на ветке...
Бабы ходят спать в овин...
Разрешите вас поздравить
И с днем ваших именин.

Стихотворение понравилось, а сам Борис нет и нет. Не помогли и мои уговоры — симпатии не получилось.

В эту зиму еще в Новосибирске у меня что-то случилось с сердцем: оно вдруг, как безумное, начинает колотиться. Борис отвел меня к знаменитому в Киеве кардиологу, профессору Строжеско, и тот сказал, что у меня сильнейший невроз. Вот тебе и на, вот тебе и первая болезнь.

Война. Теперь уже настоящая, с немцами. Все куда-то колыхнулось, двинулось, заметалось, понеслось. Семь часов утра, позвонил из Москвы Борис, а я только что вошла в номер. У нас была ночная съемка, и когда мы вышли со студии, где-то очень далеко слышали то ли канонаду, то ли рев самолетов, подумали, уж не землетрясение ли опять.

Борис уже мобилизован. Домой не вернется. Взволнован очень. Уйма наставлений. Он переаттестован из командира в политрука. Все журналисты-командиры переаттестованы в политруков. Никогда Борис таким не был, даже голос совсем другой. На польскую войну он уходил припеваючи, финская была уже настоящей, нас хорошо потрепали, несмотря на всю нашу «мошь», и Борис вернулся растерянным, но больше похожим на мужчину. Сейчас в его голосе нет энтузиазма, есть страх, он по проводам приполз и ко мне.

Без стука влетел Луков, на сей раз безумный не от любви, а от страха. Страх в глазах, в словах, его большая жирная фигура сотрясается. Ему позвонил Борис и сказал, чтобы он немедленно отправил меня домой в Москву, любым способом, любой ценой. Неужели все окружающие меня мужчины окажутся такими потерянными трусами? Неужели начнется паника?

Вши. Омерзительные, белые, хуже крыс, они везде, начался сыпной тиф. Ташкент, как насосавшаяся пиявка, вот-вот лопнет — некуда больше селить, нечем кормить. Я без военного аттестата Бориса, он пропал без вести. Ни денег, ни квартиры, ни еды, живем в подвале без единого окошка, в узбекском дворе. Я получаю зарплату по фильму «Пархоменко», но что она значит для рынка, если молоко для девочки стоит 300 р. за литр — это четверть моей зарплаты.

Нас теперь четверо. Меня нашла мама Бориса — Елена Борисовна. Она жила с младшим сыном в Запорожье, и так я и не поняла, как получилось, что когда немцы вошли в город, сын остался на работе, а она побежала из дома к железной дороге и по-

пала на какую-то отходящую платформу. Переспрашивать не стала, потому что она рассказывает точно так же, как и Борис, и понять «где Киев, где макароны» невозможно. Откуда-то узнав, что я в Ташкенте, она начала пробиваться ко мне. Путь ее страшен: на юг через Каспийское море, через Туркмению, два месяца голодная, немытая, во вшах. Долго мы с Мамой ее отмывали, отчишали, приводили в чувство. Сейчас она немного пришла в себя.

Живем на студийные пайки, которых добился Луков, и на «затирухе» — вода с хлебными крошками, с невидимой картофельной. Ездить за этой затирухой нужно в студийную столовую в старый город полтора часа. Жара нестерпимая. Моих спасает этот самый подвал, из которого они носа не кажут.

Самое невероятное, странное, что мама Бориса оказалась еврейкой, совсем темной, из местечка, со смешным акцентом. У ее родителей была какая-то палатка, а отец Бориса из семьи выкрестов-кантионистов, и поэтому у Бориса русская фамилия. Невероятно, странно — почему Борис скрыл от меня это, зачем? Он же знает, что я отношусь к людям не по национальности, а по их достоинствам, и как он не боится лжи? Неужели он думал, что я никогда об этом не узнаю? Опять «вспышка магния», высветившая его нутро.

Многое еще я узнала, поняла. Елена Борисовна на все мои приглашения приехать к нам в гости в Москву ни разу даже не поблагодарила, оказывается, Борис об этих приглашениях не писал ей, а писал, что пока нет возможности познакомиться с новой невесткой, оказывается, старший сын Елены Борисовны, о котором Борис никогда не рассказывал, был в Донбассе, где они тогда жили, комсомольским вожаком, его в тридцать седьмом году арестовали и расстреляли, и неприятности у Бориса тогда, когда он исчез после ареста Баби и Папы, были не из-за ордена «Знак Почета», который он якобы потерял в кутеже на пароходе, а из-за брата, и теперь, когда я многое понимаю, удивлена, как он выскользнул сухим из этой ситуации, не будучи даже исключенным из партии. Оказалось, что отец Бориса был не гримером, а парикмахером и умер от пьянства. Зачем для меня, для жены, вся эта ложь? А может быть, и своей партии он так же лжет, а меня не считает своим другом и боится, что я могу его выдать?.. Когда Елена Борисовна поняла, что Борис о многом мне лгал, закрылась, как улитка, и больше ничего не рассказывает. Она умная, скрытная, как Борис, сухая, недоверчивая, за мной молча наблюдает, и так мне ее жалко. Из трех сыновей нет ни одного. Стараюсь ее согреть, уверяю, что Борис жив, что он попал в окружение, что все будет хорошо, и сама в это искренне верю, я не представляю себе Бориса воюющим смельчаком.

Город являет миру нечто безобразное, какую-то сплюсненную эмиграцию. Забыто про войну — рвем, достаем. Если бы не Луков, мы бы пропали — при гнусном характере, при том, что он обожает лесть и за лесть может сделать что угодно, даже тех, кто не льстил, не бросил и всю группу привез в Ташкент. Я бы точно пропала, почти у всех или есть мужья, или сами все могут, а я осталась на зиму без дров, в сыром подвале. Луков через студию достал ордера на дрова, получила и я ордер. Наняла в обмен за вещи ослика с тележкой и приехала на склад. Что там творится! Крик, ругань, чуть не драка, не могу, не могу я влезть в эту толпу интеллигентов, которые убивают друг друга за полено. Умолила узбека с осликом подождать, молча встала в очередь, дождалась, протягиваю ордер: «Ваши дрова только что получил сценарист Спешнев, бегите к нему, вон он накладывает их на грузовик...» Подбегаю к Спешневу, сказать от волнения ничего не могу, он нагло смотрит на меня: «Луков отдал ваш ордер мне», — а ордер я так и держу в руках. Я должна спасти своих от холода, я должна вырвать у него поленья, а я стою как вкопанная, ошалевшая от его наглости, из глаз брызнули слезы. Спешнев же знает, что я одна, что у меня семья, что Борис на фронте. Потом на студии был скандал, Луков ударил Спешнева, потом все забылось, а я не знаю, что я буду делать в этом сыром подвале без дров.

А сама студия?! Убожество! В старом городе, три сарая, огороженные глинобитной стеной. Ничего нет, и если бы Луков не взял из Киева наши костюмы, фильм мы кончить не смогли бы, но коней было взять невозможно.

Мой Марс! Киев уже бомбят, прибегаю в конюшню проситься, целую, реву, он понимает, что я прошаяюсь с ним, дрожит, смотрит мне в глаза, тычет мордой в лицо, успокаивает меня. Господи! Господи! Сделай так, чтобы бомба не попала в конюшню, пусть даже немцы возьмут его под седло.

Снова, как в «Пышке», съемки ночью, днем нет электроэнергии, да еще распоряжение из Алма-Аты снять короткометражный фильм, как бы подарок фронту, параллельно с «Пархоменко» и очень быстро. Так как мы эвакуировались первыми, то попали в Ташкент, а весь кинематографический Уолл-стрит, как я его прозвала, хозяева кинематографа, мастера, снимающие своих жен, и все начальство прибыли в Алма-Ату. Так что мы оказались как бы на отшибе. Фильм называется «Ночь над Белградом», я играю диктора в радиостудии: в городе фашисты, студию занимают партизаны, отстраняют меня от микрофона, читают воззвание к народу, быстро уходят, а я, воспользовавшись свободным микрофоном, пою гимн партизан, врываются фашисты, убивают меня. Конечно, очень волнуясь, я никогда не пела с оркестром. Кроме того, для заучивания мелодии Луков дает три дня, хоро-

шо, что у Мамаы абсолютный слух, нам певица напела мелодию по нотам, и мы с Мамаой ее заучиваем. Бог послал мне перво-классного музыканта со своим оркестром. Это польские евреи, бежавшие от Гитлера в так называемую «польскую войну», тогда у нас оказались два джазовых оркестра: Генриха Варса и Эдди Рознера, и так как свои джазовые оркестры были уж совсем провинциальными, то оба эти оркестра быстро завоевали славу. Бежали тогда из Польши и кинематографисты, и мы тоже их приняли и распределили по студиям Союза. Тогда-то мы их с барского стола приняли, а теперь, убегая сами, их бросили, и все они, как и Елена Борисовна, во вшах, в голоде, сами добрались до Ташкента. Генриху Варсу лет сорок, умный, интеллигентный, милый человек. Я ему сразу сказала, что никогда не пела с оркестром, и он терпеливо возится со мной. Дрожа, начинаю потихонечку репетировать с оркестром.

Волнуюсь и по поводу сыпного тифа. Если я заболею, мои пропадут, и Елена Борисовна придумала, чтобы я надевала черную бурую накидку, когда вхожу в трамвай или в общественное место, это в сорокаградусную-то жару, но это выход, выход потому, что вши заползают в мех, и Мамаы их нам находят. Они так смешно обыскивают мех, как будто ищут в голове.

Я сама укус не почувствовала, но Мамаы сразу увидели на шее большое красное пятно и нашли вошь. Тиф начинается на двадцать первый день. Делаем вид, что забыли про укус, что не ждем этого двадцать первого дня. На двадцать первые сутки у меня взлетела температура, меня тошнит, мне плохо. От своих скрыла. мчусь в больницу, и когда доехала и вбежала — все прошло. Вот тебе и психика!

Что дрова! А еда? И понесла я свои вещи, только что приобретенные в том же Киеве в комиссионных магазинах, еще и ненадеванные, на рынок менять на продукты, и за английское платье дали три килограмма муки. Ура! Мы спасены! А дальше... Что дальше, когда кончатся вещи из чемодана? А вещи эти впервые в моей жизни — красивые, заграничные, дорогие, так их жалко отдавать, я же еще и не успела поносить красивые вещи, негде было их доставать да и не на что. И вдруг в Киеве в комиссионных магазинах появились эти вещи из «освобожденных» Польши и Прибалтики. Бежали по комиссионным все, и Петя Алейников, и Боря, и Борис Андреев, и Луков, очень они хотели меня одеть — доставали деньги, брали в долг, а потом заставляли примерять и любовались ими, а я впервые поняла чувство хорошо одетой женщины. Так мечталось поносить их, а теперь, завязав в узелок, несусь с ними на базар. Единственное, что узбеки не схватили у меня, — черную бурую накидку, они не понимают, зачем она, и теперь эта накидка спасает меня.

Прибыли первые эшелоны с ранеными. Я пошла их встречать, а что еще можно сделать для войны здесь, в этом эмигрантском аду... Я сломалась — я ничего не могу: ни бегать на рынок, ни ездить за затирухой, ни сниматься, ни разучивать песню. Я ничего не могу. Я спряталась от своих под каким-то чахлым деревом и сижу там, сижу, сижу, сижу... Война перед глазами, рядом, подошла вплотную... Забыть невозможно счастливые глаза этих развороченных страданием, нестерпимой болью раненых мальчиков, счастливые от того, что они навсегда «оттуда», что они ничего «этого» больше не увидят, их рассказы.

Сразу же после последнего дня съемки «Пархоменко» я вылетаю на фронт, я должна быть там и нигде больше.

Вышла на экраны и уехала на фронт «Ночь над Белградом», второе рождение моей «звездности». На улице выйти невозможно, целуют незнакомые люди, песню распевают на улицах. А могло этого и не быть. Перед самой сдачей фильма и к нам наконец пожаловал могикинин из кинематографического Уолл-стрита — режиссер Михаил Ромм со своей женой артисткой Кузьминой, пожаловал в качестве художественного руководителя студии, заменив на этом посту режиссера-узбека. Некрасиво это, но так сделали. Ромм тут же потребовал у Лукова показать материал «Пархоменко» и готовую «Ночь». Похвалил и материал, и фильм, но сказал, что мой эпизод в «Ночи» надо вырезать. Луков вызвал меня на студию и с пеной у рта рассказал об этом. Луков все-таки не Садкович, человек творческий, понял, что здесь пахнет чем-то нехорошим, тем более что Ромм меня фактически и открыл, и что без моего гимна в фильме вообще нечего смотреть. Тогда Луков вызвал из Новосибирска, где было в эвакуации наше министерство, художественного консультанта, который без единой поправки фильм разрешил, а когда Луков заикнулся о том, чтобы выбросить мой эпизод, он посмотрел на него как на сумасшедшего и задал вопрос: «Что же тогда остается там смотреть?» И это все, когда за окнами бушует война.

Все, что я могу сделать здесь, — петь в госпиталях. Без музыки, а капелла. Кроме песни из «Ночи», которую раненые слышали, я пою по палатам все, что знаю, даже Вертинского, и читаю стихи. Мамы недовольны, боятся, что я могу заразиться.

Варс обжился, обрел былую славу, начал работать, на его концерты ломятся, и он вдруг пригласил меня в свои концерты, объявленные в Доме офицеров. Я должна выходить последней и спеть этот самый гимн из «Ночи». Как мы с Варсом уцелели? Зал стонал, кричал, хватал меня за платье, не отпускал со сцены, на каждом концерте мы бисировали и бисировали. А потом жена Варса Елижбетка, очень смущаясь, заговорила со мной о том, что мы с Варсом без оркестра смогли бы выступать на фабриках, в уч-

реждениях, в обеденные перерывы или прямо в цехах за продукты. Он будет петь свои польские песенки, а я «Ночь». Резануло, но виду я не подала и с благодарностью согласилась. Ах, каким это оказалось спасением — я стала приносить домой то сахар, то макароны, то консервы, а один раз с кондитерской фабрики даже конфеты «подушечки». Самое, самое смешное получилось с ташкентским мясокомбинатом: всегда, прощаясь, нам вручали довольно тяжелые пакеты, и здесь тоже вручили, раскрываем... а там кости! Костный бульон — это тоже праздник.

Как-то раз подходит ко мне на студии странный молодой человек, неприятный, и говорит, что меня вызывают в органы госбезопасности в таком-то часу, в такой-то кабинет и чтобы я никому, повторил, никому об этом не говорила, поэтому они и не вызвали меня повесткой.

Неужели что-нибудь о моих?! Неужели нашлись?! Главное о Левушке, пропал и он. Сразу после начала войны перестали принимать посылки, и Тетя Варя прибежала с Лубянки черной — Медвежья Гора на границе и всех заключенных расстреляют. Я в это не поверила, потому что там в лагерях тысячи, если не десятки тысяч, это же рабочая сила. Но порешили: Тете Варе не ехать со мной в эвакуацию, а остаться и ждать известий дома, иначе потеряется связь. Открытки от нее из Москвы отчаянные, куда она ни пишет запросы — ответа никакого.

Зарешеченный, двухэтажный особняк, на меня уже выписан пропуск. Вхожу. Навстречу встает какой-то офицер, на вид большой начальник, в знаках отличия я ничего не понимаю. Аккуратный, подтянутый, даже интересный, приветлив.

— Здравствуйте, Татьяна Кирилловна! Тата, как вас зовут близкие...

— Здравствуйте.

— Вы удивлены, что мы вас вызвали?..

— Нет, я так надеюсь, что что-то выяснилось о брате, Бабушке, Папе...

— А разве они у вас арестованы?..

— Да.

— А я не знал, мы, конечно, поможем их разыскать, но сейчас речь пойдет о вас...

Вглядываюсь в него, чем-то он противен: русский, светлый, в глазах блудливое, наглое, фальшивое.

— У вас такой успех, на улицах распевают вашу песню, поздравляю вас, это талантливо... Вы могли бы оказать нам небольшую услугу... все-таки мы русские в чужой стране... к вам хорошо относятся на студии, доверяют вам свои тайны... вы могли бы помочь нам предупредить какие-то выпады против нас, какие-то настроения...

— Я не общаюсь с узбеками.
— Не обязательно с узбеками, русские тоже разные бывают, в их головы не влезешь...
— Вы хотите, чтобы я стала стукачкой?
— Ну, ну, ну, зачем же так уж...
Он искренне рассмеялся.
— Откуда у вас такие познания в жаргоне...
— Я была в лагере на свидании с братом.
— Ах вот откуда! — Черствым голосом: — Настоящему гражданину совесть должна подсказать помочь нам в такое тяжелое время, как война...

— Чем?! Доносить на своих друзей, близких!
— Ну, ну, ну, зачем же быть такой агрессивной, вы же мягкая, красивая, молодая, талантливая женщина, никому и в голову не придет, что мы с вами связаны... у вас все впереди, я понимаю, что у вас есть основания быть настроенной против нас из-за родителей, но это несправедливо, мы можем быть вам друзьями, к вам-то мы относимся хорошо, вы нас знаете с чьих-то чужих слов. Мы рискуем многим, работая на отечество, и вас просим быть не стукачкой, как вы сказали, а просто, если вы что-нибудь заметите вредное нашему обществу, сказать нам, никто знать об этом не будет. Кроме того, на вас семья, видите, что у вас получилось без защиты со сценаристом Спешневым из-за дров, а мы все-таки в более благополучном положении в быту...

Я начала звереть.

— Ну, ну, ну! Я не требую от вас ответа сейчас, вы подумайте обо всем, и через несколько дней мы увидимся еще раз.

Молчи. Молчи. Беги. Скорей! Беги. Вылетаю ошпаренной. Что я наделала! Что я наделала! Что я наговорила! Безумная! Я должна была сделать вид, что этот разговор для меня пустяковый! Папа, Папочка, он же говорил мне, что язык мой — враг мой! Гнусность! Подлость! Как они смеют! Неужели они подумали, что я могу быть стукачом. Что же это такое! Что делать! Что теперь может быть! А я не пойду больше к ним. Что тогда будет?! Не пойду, и все!

Потекло томительное ожидание. Надо взять себя в руки, Мамы заметили, что со мной что-то происходит, беру себя в руки.

На сей раз уже под вечер меня у ворот нашего двора ждал тот же молодой человек, который подходил ко мне на студии, теперь он в обыкновенной военной форме, как все фронтовики.

— Сергей Александрович решил не вызывать вас официально, а распорядился привести в частный дом.

Идем молча. Разрываюсь в догадках. Этот Сергей Александрович не понял, что тратит на меня время зря. Этого никогда не будет.

Особняк, окна плотно завешены, нет даже намека на свет. Этот молодой человек открывает дверь английским ключом. Когда он открыл внутреннюю дверь, ударило в лицо веселье, свет, много людей, женщин, накрытый стол, все пьяны. На нас никто не обратил внимания, и только когда кто-то узнал меня, начали приветствовать, но как-то странно, как будто мне здесь не место. Спутник подвинул мне стул:

— Меня зовут Леней... садитесь вот здесь.

Озираюсь — никакого Сергея Александровича нет, в огромной комнате одна молодежь, кто в штатском, кто в военном, женщины совсем девчонки и невысокого пошиба. Этот Леня действительно противный, каким и показался мне на студии, наглое лицо и глаза, точно такие же, как у Сергея Александровича, мне двадцать семь лет, он немного младше, уже ожиревший. Начинает накладывать мне на тарелку еду, наливать вино.

— Немедленно объясните мне, что происходит?!

— Я пригласил вас лично на нашу вечеринку, никакого Сергея Александровича, как вы понимаете, здесь не будет, я хочу приобщить вас к нашему миру, чтобы вы нас не пугались, здесь все хорошие ребята, и я в том числе.

Он осклабился, я увидела, что он пьян.

— Это что, задание Сергея Александровича?

— Нет, это моя инициатива!..

Задыхаясь, встала. Спокойствие. Спокойствие.

— Выведите меня отсюда!

— Ну уж нет! Раз вы сюда пришли, уйдете, когда я этого захочу!

Меня спас Бог: в прихожей прогремели выстрелы, девицы завизжали, все повыскакивали из-за стола, кинулись туда. Я в общей сутолоке выскочила на улицу, через минуту за мной погнался «Леня» и начал громко угрожать, что он в меня и выстрелить может. Ни этого Леню, ни Сергея Александровича я в Ташкенте ни разу больше не встретила.

Борис жив! Сегодня узбечка прибежала и принесла «Правду» с его корреспонденцией. Елена Борисовна ожила, стала выходить во двор из нашего подвала подышать воздухом. Ждем вестей.

Кончаем «Пархоменко» и вообще остаемся без какой бы то ни было зарплаты — узбекская студия не может нас взять на свое содержание, тем более артисток. «Узбекфильм» снимает одну картину в год, в которой нет ни одной русской женской роли.

Общими усилиями находят выход: создать при студии театр, это значит штат, это значит зарплата.

Теперь началась битва за художественное руководство театром, две кандидатуры, два конкурента — Ромм и Луков, все были убеждены, что будет назначен Луков, поскольку Ромм — художе-

ственный руководитель студии, но тем не менее именно Ромм назначен художественным руководителем и театра... и он сразу выбрал американскую пьесу с замечательной женской ролью, на которую назначил артистку Кузьмину, свою жену, а я получила вторую роль, совсем не своего амплуа, и мне ее будет трудно сыграть — как в Горьком жену Шадрина. Но в этой круговерти все становится неважным.

Выхожу из нашего подвала со своей чернобуркой, чтобы ехать на студию, и вижу — в конце длинного двора, у ворот, военный о чем-то расспрашивает соседей. Бросаюсь к нему. Плачем оба. Когда опомнилась, Борис ошалело смотрит на мою чернобурку. Потом внимательно заглядывает мне в глаза, не помешалась ли я, и мы хохочем от счастья.

Бедные фронтовики, они, конечно, не должны приезжать в тыл; после крови, тысячей смертей, после позорного отступления Ташкент поразил Бориса. Поразила наша животная борьба за жизнь, потеря человеческого, достойного, ничтожность существования! А тут еще при Борисе прибыли первые вывезенные из Ленинграда. *Те* остались защищать Ленинград, а эти... режиссер Герасимов все с той же своей красивой женой, плохой артисткой Тамарой Макаровой, шеголяют по Пушкинской в роскошно сидящем на них новеньком обмундировании, а тут же на тротуарах сидят, лежат беспризорные дети во вшах, в тряпье, страшные, их выплевывают и выплевывают эшелоны. Еще тогда, когда я снималась в «Горячих денечках», эта пара производила неприятное впечатление — холодные, себе на уме, умеющие приспособиться к чему угодно, — они тоже ленфильмовские уоллстритовцы.

Борис добился комнаты в четырехэтажном доме на Пушкинской и перевез нас, это бывшая Академия наук Узбекской республики, которую освободили для эвакуированных ученых. Теперь Мама мечтают о нашем темном подвале, здесь два огромных окна смотрят прямо на солнце, и в пик жары Мама заворачиваются в мокрые простыни и лезут под кровати. Борис добился и повышения на одну лесенку ранга пайка. Оформил свой военный аттестат, так что я теперь «кум королю».

Говорить с Борисом о войне бессмысленно, или ничего не скажет, или так скажет, что до истины не докопашься. Коротко бросил, что отступление было страшным, бежали, бросая все — танки, орудия, людей, — до самого Ростова, чудом не попали в окружение.

Маму свою встретил удивленно, но безразлично, не смутившись за ложь о ней — впрочем, он считает это нормальным явлением.

Когда я заикнулась о фронте, заволновался — ни в коем случае, сослался на семью, что никакие артистки на фронте не нуж-

ны, не пойду же я медсестрой, это хождение в народ очаровывало в Севастопольскую войну, в первую мировую, а сейчас ни к чему.

Привез поразившую меня весть: при первой же бомбежке Москвы бомба попала в ЦК партии и убит Афиногенов, захвативший туда на несколько минут по делу. Убито прекрасное, светлое!.. Что же будет теперь с его женой-американкой, с двумя девочками в чужой стране.

Присутствие Бориса десять дней — мгновенье, осталась горечь, горечь, которая жжет непониманием происходящего. Что же это такое?! Как же так?! Лозунги «Враг будет уничтожен на его же земле», «Самые могучие», «Самые сильные», «Ни шагу назад», а когда немцы подошли к Москве, у меня появились седые волосы.

О вызове в органы Борису не сказала — зачем же ему везти эту тяжесть на фронт.

Начались репетиции американской пьесы, возмутительно не имеющие никакого отношения к тому, что творится в стране, и весь Уолл-стрит ставит фильмы для своих жен. нимало не считаясь ни со зрителями, ни с успехом, ни со временем, ставят — и все тут, тем более за счет государства. У Кузьминой ну совсем ничего не получается, она, как все наши чисто кинематографические актеры, не умеет разговаривать. Ромм это видит, внутри сердится, понимает, что это моя роль, но вида не подает, а без героини пьеса разваливается, и в меня вселился бес: я должна сыграть отлично свою роль! И получилось, что я героиню совсем заиграла — хоть выкидывай мои сцены. Пришел на репетицию Луков, захихикал и сказал мне: «Молодец!» Громко он это сказать не может, он зависит от Ромма.

Дети-беженцы, сироты так и валяются на тротуарах, на скамейках, узбекам не под силу построить столько детских садов, приютов. У интеллигенции наконец вспыхнуло чувство долга — и решили снять огромный оперный узбекский театр и сделать несколько благотворительных концертов-балов. Назначили баснословные цены за билеты, но ведь деньги теперь ничего не стоят, я знаю по себе: я пристрастилась к покеру, играем у нашего звукооператора, на столе куча денег, а фактически я играю на бутылку водки, которую получаю в пайке и которая на рынке стоит двести—триста рублей.

Лихорадочно готовимся к концертам. Я должна петь с оркестром Варса в конце второго отделения свою «Ночь», а в антракте продавать в фойе цветы по ценам, которые сама должна называть.

Первое отделение — смешная, фарсовая пьеса, в которой участвуют все звезды, находящиеся в Ташкенте. Пьесу написал Алексей Толстой. Я играю кинозвезду, моего примера играет комедийная прима Фаина Раневская; сам Толстой играет дворника в белом

фартуке, с бляхой; он под гром аплодисментов и хохота подметает сцену там, где не надо; знаменитая Русланова поет остроумные, скабрзные частушки — фейерверк звезд и выдумки.

Слухи по городу от людей, которые проникли на репетиции, да и каскад имен сумели сделать аншлаги на все десять концертов; а мы от жадности стали скорбеть, что не назначили цены на билеты еще выше.

Торжественный день премьеры. Я в очень красивом, последнем вечернем платье из алого панбархата, уцелевшим у меня потому, что узбеки не носят длинных европейских платьев.

Первое отделение — на ура. Жду цветы, которые я должна продавать в фойе. Несут громадный лоток, протягиваю к нему руки и от волнения не могу его взять... пармские фиалки! Пармские фиалки моей первой съемки, пармские фиалки цветущего, еще довоенного Киева... они опять пришли ко мне... таинственная круговерть жизни... зарываюсь лицом и вдыхаю, вдыхаю...

Выхожу в фойе. Справа мальчик с лотком, слева девочка с сумочкой для денег. Толпа, разодетая, сияют ордена и звезды фронтовиков, их теперь в Ташкенте много — вырвались к семьям, к родным, просто опомниться от войны. Слушаю комплименты, излияния! К лотку потянулась первая рука — оцениваю... молодые, красивые, у него «Золотая Звезда» на груди, явно не муж и жена. Он берет букетик с сияющей белозубой улыбкой:

— Сколько я вам должен?

Не моргнув глазом:

— Сто рублей.

Секундная пауза обалдения, но улыбка не дрогнула — все-таки Герой Советского Союза достает из пачки сто рублей.

И так через все фойе. Сумочка уже набита деньгами. Я, конечно, совсем уже обнаглела — муж не муж, жена не жена, сто рублей, и все тут. На следующем концерте буду идти по фойе быстрее, и надо приготовить два лотка.

Когда я за кулисами вывалила на стол деньги и рассказала, что я проделывала в фойе, от счастья прослезилась, а все вместе оказалось суммой для двух детских домов.

А в студии Ромм прекратил репетиции и взял другую пьесу, где Кузьмина опять играет главную роль, а я не получила никакой роли. Ромм же знает, что я могу остаться без пайка и зарплаты, не будучи занятой в пьесе. Он решил забыть, что он мой «первооткрыватель». Тогда, в «Пышке», он пророчил мне будущее и хорошо ко мне относился, правда, тогда он не был женат и решил действовать, как Бульба: «Я тебя породил, я тебя и убью!» Поистине пути твои, Господи, неисповедимы!

Наконец-то вывезли из Ленинграда Анну Ахматову. Она не разгуливает по главной улице Ташкента в роскошно сшитом об-

мундировании, а тихо помещена в какое-то общежитие. Разужнаю, что это общежитие эвакуированных из Москвы писателей-антифашистов всех рангов и национальностей, но в основном немцев — они у нас в Советском Союзе с момента прихода Гитлера к власти.

Нас несколько человек, захотевших выразить Ахматовой свои чувства. Находим общежитие, приходим. Ташкентский двухэтажный барак. Нам показывают куда-то под лестницу. Действительно, треугольник под лестницей отгорожен театральной, чуть ли не из парчи занавеской, за которой уместилась кровать, тумбочка и... Она! Порода, духовная интеллигентность, так принимать можно только в собственном дворце.

В разгар нашей беседы, ее жгучих рассказов о блокадном Ленинграде прямо над головой «взорвалась» граната, покатился по ступеням лестницы громадный бак, раздалась крики на всех языках...

Мы повскакивали с кровати, на которую нас усадила Анна Андреевна, а она с божественно спокойным лицом, посмотрев вверх таким непередаваемым божественным взглядом, поправив свою божественную челку божественным жестом, произнесла:

— Если это антифашисты, то какие же тогда фашисты?!

Скандал набирал высоту, мы вышли на улицу. Анна Андреевна, прощаясь с нами, с таким же божественным спокойствием сказала:

— Хоть бы испортился этот бак для белья, а то они его через день сбрасывают с плиты...

Как постичь духовный мир такого человека, поэтессы, женщины...

Тянутся наши омерзительные будни. Карты меня не спасают от тоски, от подвешенного в воздухе состояния. Пить я не умею, не пью. Поклонников уйма — роман заводить боюсь, а вдруг тогда что-нибудь случится с Борисом! «Пархоменко» кончили, фильм на уровне безвкусного, безграмотного, неинтеллигентного Лукова — смотрится, я там ничего. Малышка стала первоклашкой. Мама здорова. Еда есть.

А я схожу с ума! Я должна быть на фронте. Пропуск в Москву может достать только Борис, он категорически отказывается и даже пригрозил, что, если я каким-нибудь образом появлюсь в Москве, вышлет меня обратно в Ташкент.

Мне снится наше нежное, тихое, трогательное Подмоскovie, Переделкино, наш Дом творчества и в нем немцы. Немцы гуляют вокруг дачи Афиногеновых. Снятся Баби, Папа, Левушка в темных грязных камерах, потом Левушка пропадает, а Папа и Баби бродят по голубому лесу, и это так страшно, — совсем-совсем голубому, и я не могу проснуться.

Что будет с Россией?! Срезанные под корень, погибшие в первой войне, в гражданской, в теперешней два юных поколения?! Разбросанный, разметанный, уничтоженный в лагерях народ... Срезанная голова у интеллигенции... Как сможет все это выдюжить Россия? На лицо Сталина смотреть не могу, на это тупое, бессмысленное лицо с подкожной звериной хитростью, а когда оно «доброе», оно такое глупое, что делается не по себе. Папа, Папочка, ты уберегал меня от политики, а теперь я тону в непонимании. Почему, почему русским народом правит этот ушербный грузин, почему не японец, не француз, кто угодно?! А может, лучше будет, если придут к нам немцы... а может быть, Папа был прав: что было бы со мной, если бы мои глаза были раскрыты в семнадцать лет... если бы я знала, что до тридцать седьмого года было хуже, чем в тридцать седьмом — и голод, и расстрелы... может быть, сгорела бы на костре... подожгла бы себя...

Я опять притча во языцех — на сей раз из-за концерта, тоже благотворительного. Концерт должен состояться в том самом

Доме офицеров, в котором я впервые вышла с Варсом на эстраду. Теперь это концерт, составленный из песен из кинофильмов. Петь «Ночь», которую уже поют грудные дети, неприлично, и я решила срочно разучить новую песню, да еще такую, которой у меня даже на слуху нет. Нет и Варса, он на гастролях в районе, а аккомпанировать будет знаменитый Квартет классической музыки имени Бородина.

Выучили с Мамой текст и мелодию, волнуясь, жду репетиции и получаю ответ: «Отрепетируете за кулисами перед началом концерта». У меня раскрылся рот! Что же, они меня перепутали с Гали Курчи! Ну уж такого я не ждала, но виду не подавала и Маме ничего не сказала, чтобы у нее не было инфаркта... Сбежать... Заболеть...

Вхожу за кулисы, гомон, шутки, смех, в углу мой квартет с кем-то репетирует — скрипки, виолончель, смокинги. Сажу, жду. К квартету подбегают, что-то пропоют, смеются, убегают. Второй звонок, решаюсь, подхожу, солидный интеллигентный скрипач приветливо смотрит на меня, узнал:

— А, да, да, у вас песня из фильма «Таинственный остров»? Тональность ми-бемоль?

— Извините, я на одну минуту... — Нашла глазами Лидию Андреевну Русланову, шепчу ей: — Как выяснить, в какой тональности я заучила песню?

— Быстро напой мне.

Так же шепотом напеваю.

— Ми-бемоль.

Подбегаю к квартету:

— Ми-бемоль.

Третий звонок.

— Ну тогда и репетировать не надо!

И двинулись к выходу на сцену.

Второй седой волос появился у меня там, за кулисами, в ожидании своего выступления.

Поднимаюсь по лесенке на сцену, иду, как на заклятие, шаг, слышу аплодисменты, пою, чувствую, что сердце тоже начинает петь, голос льется, мне нравится петь под скрипки, это красиво...

Взяла последнюю ноту, гром аплодисментов, птицей вылетаю за кулисы, а там немая сцена из «Ревизора»: все стоят и смотрят на меня. Русланова бледная как полотно.

Что? Что случилось, почему они не рады моему успеху?! Русланова обняла меня:

— Ты, конечно, не понимаешь, что с тобой произошло, ты спела в правильной тональности, но на кварту выше. Изумленный квартет подладился под тебя, а мы замерли, ожидая, что с

тобой будет на высокой ноте. Такую ноту может взять только Гали Курчи! Как иногда хорошо ничего не знать и довериться Богу! — И она сочно высказалась.

Начался повальный хохот, а меня теперь называют «квартирой». Когда я Маме все рассказала и попыталась взять эту ноту, и мне, и Маме стало плохо.

Как когда-то к Охлопкову, вызывают в Театр имени Ленинского комсомола — Ленком — к художественному руководителю Ивану Николаевичу Берсеневу. Лечу.

Берсенева стал руководителем МХАТа, уйдя из дряхлеющего основного. Я еще застала этот театр, я видела в нем два замечательных спектакля — «Человек, который смеется» и «Мольба о жизни». Их театр разгромили одновременно с нашим охлопковским и так же непостижимо глупо, как нас слили с ничего общего не имеющим с нами по стилю Камерным театром — так Берсенева назначили художественным руководителем Ленкома. Это интеллигентный актер старой мхатовской школы, красивый даже в возрасте, хорошо сохранившийся, я его несколько раз встречала на улице в Ташкенте. Более того, в наших кругах восторгаются пожизненной дружбой и творческой, и человеческой — триумвирата: Берсенева, его жена героиня Софья Владимировна Гиацинтова и блистательная, острохарактерная артистка Бирман Серафима Германовна. Это уже театр в театре. Вся Тройка заслуженно народные артисты, все трое занимаются режиссурой.

Я приглашена Берсеневым в театр на роль Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак».

Бегу домой, натыкаюсь на встречных, ничего не видя перед собой. Но репетиции спектакля начнутся только в Москве, Берсенева добивается возврата театра из эвакуации.

Мечта о фронте сжигает меня. Как добиться пропуска? Как? Заговариваю со всеми, кто в этом что-нибудь понимает. Нет! Нет! И нет! Пропуск можно получить только через московское командование. И вдруг актер Кмит, рвущийся по каким-то своим делам в Москву, предлагает сделать шефский концерт на аэродроме. Приняли меня летчики с моей «Ночью» на ура, и Кмит, воспользовавшись этим, уговаривает летчиков взять нас в самолет без пропусков.

Подлетаем. Москву бомбят, посадку не дают. И когда наконец самолет приземлился, летчики повели нас к командиру и сказали, что мы «зайцы», чтобы снять с себя ответственность. К счастью, командир видел «Ночь», нас не арестовали и не отправили обратно, а выпустили с аэродрома с временными пропусками.

И не боюсь я вас, Борис свет Леонтьевич, никуда вы меня теперь не отошлете, у меня есть тыл — мой новый театр.

Реву! Реву, как в горе ревут русские бабы. Стенаю. Прочитаю. Бедная Тетя Варя не знает, что со мной делать, и такая она ласковая, как в детстве, и от этого не реву, а вою. Вою по нашим, о них ничего — земля разверзлась и их поглотила. Вою по Тете Варе — она спит на каком-то коврикe около батареи, которая еле теплится, мыться негде, голодная, состарилась. На скудные дары, которые я ей привезла из Ташкента, смотрит, как на чудо, не ест, оставляет мне. Вою по Борису — эта очередная «вспышка» высветила его душу до глубины. Ну он мог не поехать со мной в лагерь к Левушке на свидание; ну он мог рваться к своей карьере и ублажать свои желания; ну мог бесконечно, беспросветно лгать, где надо и где не надо, что угодно и как угодно, — но бросить Тетю Варю! Он забежал к ней сюда один раз, выпивший, принес банку консервов из военного пайка и исчез вообще. Исчез настолько, что она знает о нем только из публикаций в «Правде». Я написала ему на полевую почту и дала телеграмму в «Правду» о том, что буду в Москве. В нашей комнате на Калужской лопнула батарея, и в квартире каток, поэтому Тетя Варя и поступила сторожем в учреждение, которое хоть как-то отапливается. Тетя Варя говорит, что Борис на Калужской даже до того, как там лопнула батарея, ни разу не был, приезжая с фронта. Где же он обитает? Где живет? Конечно же, он появится здесь... теперь... сейчас... стук... в дверях Борис.

Москва! Моя Москва! Застывшая в холоде, жалкая, оскверненная, оскорбленная, поруганная не немцами — нами. Бог создал сердце вместительным для горя, иначе бы оно разорвалось. Мой Никитский бульвар мертвый. По городу бродят, как зачумленные, одиночки. Грязь. Черные дыры пустых окон, а ночью город страшный, как после чумы.

— Окаянные, негодяи, мерзавцы, преступники, что вы сделали с Россией! Вашего Сталина надо судить как уголовного! Как убийцу! Его надо расстрелять! Он истукан!

Борис больно рванул меня за руку и вытащил из номера в коридор.

— Тимоша, умоляю, успокойтесь, здесь в каждом номере встроены микрофоны, расстреляют меня и вас за такие разговоры в военное время!

— Ну вы хоть объясните мне, что происходит: почему война неожиданна, когда ему было ясно, что война шагает по Европе?! Как могло случиться, что немцы были в двадцати минутах от Москвы?! Кто командует на фронтах? Деревенские парни, и если они талантливы, интуитивно, у них иногда что-то получается?! Зачем ваш Сталин перестрелял всех настоящих командиров?..

— Тимоша... Тимоша... тише... вы же... вы же... никогда раньше не интересовались политикой...

— Я не понимаю политики, презираю ее и презираю людей, которые в ней копошатся! Один командует, а вокруг клика все исполняющих приспешников! И они решают судьбу России! Они с Россией обращаются как с девкой!

У Бориса дрожат губы — меньше всего я должна обращаться к нему с такими вопросами.

Мы живем в гостинице «Москва». Это огромная на целый квартал гостиница, построенная по европейскому образцу незадолго до войны в самом центре Москвы. Она для советских граждан, в отличие от роскошных дореволюционных «Метрополя», «Гранд-отеля», «Националя», «Савоя», которые сделались гостиницами «Интуриста», здесь тепло, светло, много людей — военных с фронта и не с фронта и нашей так называемой интеллигенции. У нас хороший однокомнатный номер, но вода чуть-чуть теплая только по субботам, и существовать в номере можно только в пальто. Отмыли, откормили Тетю Варю, она пригласилась около нас, ожила, зашебетала.

Нам дают талоны, по которым, как в былые времена, официанты приносят в номер щи или суп из крупы с картофелем на первое и либо закуску в виде куска селедки с винегретом, либо кусочек мяса или рыбы на второе. Борис приказал при официантах ни слова не говорить, потому что все они сотрудники госбезопасности. Так молча, сомкнув уста, и сидим, смотрим, как он или она собирает на стол. Тетя Варя уже сумела пристроить свою электроплитку, с которой она с начала войны не расстанется, и умудряется готовить из военного пайка Бориса нечто вкусное, как например, жареные кильки в томате из консервов, — если нас поймают, могут выбросить из гостиницы, пользоваться электроприборами категорически запрещено, но Тетя Варя все

продумала и уверена, что нас не поймают. Правда, один раз мы застали Тетю Варю в глубоком расстройстве, она готовила к нашему приходу какой-то «деликатес», и, несмотря на все ее предосторожности, запах пополз по гостинице. Раздался стук в номер. Тетя выбросила «это» вместе со сковородкой в открытую форточку... Представляю, какой восторг испытал прохожий от килек в томате у себя на голове!

Все, что происходит на фронте, в мире, в Москве, — в гостинице тут же известно. И я узнаю, что с моим приглашением в Ленком не просто.

Триумvirат, придя в Ленком после МХАТа 2-го, был в шоке от культуры, от нравов театра. Ленком — это бывший ТРАМ — Театр рабочей молодежи. Он начался с рабочей самодеятельности. Рассказывают, что Бирман стало плохо, когда она увидела и услышала, как актеры ходят по театру на полную ступню, громко топая, — сами они ступают тихо, еле касаясь пола, да и многое еще они воспринимать не могли: в театре были талантливые люди, ставшие профессиональными артистами, обтесавшиеся со времен создания ТРАМА, — эти триумvirат приняли, а все остальные остались за бортом и творческих, и человеческих взаимоотношений с Тройкой.

В театре с самого его создания появилась подающая надежды Валя Серова, и так получилось, что мы с ней и ровесницы, и одновременно шагнули на сцену и в кино. Валя снялась в нескольких фильмах, стала «звездой», но без таких зигзагов, как у меня. А познакомилась я с ней давно, в юности, на необычном семинаре, который организовало Театральное общество. Из всех театров художественные руководители должны были выбрать на семинар артистку и артиста: талантливых, начинающих, молодых. Страсти разгорелись невероятные в ожидании выбора. И дело не только в том, чтобы попасть на семинар, но и в том, что это открытое, бесхитростное отношение художественного руководителя именно к тебе и, значит, твое будущее. Это еще и проверка самих художественных руководителей — нельзя было себя скомпрометировать и прислать на семинар не по таланту, а по корыстным соображениям, или собственную жену, или любовницу. Выбор молодежи во всех театрах большой, несмотря на то что Охлопков сам пригласил меня в театр. Сейчас кажется, что большего счастья в жизни не было! Охлопков выбрал меня.

Семинар задуман так: никаких лекций, все «мастера», а для нас великие артисты Хмелев, Качалов, Рубен Си-

монов, Ильинский, Гоголева, Михоэлс, могли с нами делать все, что им заблагорассудится, заниматься, сколько они захотят, чем захотят, как захотят.

На открытие семинара пришли все «они» и все «мы». Для знакомства мы должны показать сцену из сыгранных ролей и сыграть заданные «ими» этюды.

Валя показывала сцену из спектакля их театра «Бедность не порок» и всех очаровала. Женственная, ни на кого не похожая, обаятельная, хорошенькая, маленькая, изящная, с серыми, теплыми глазами, со взглядом обиженного ребенка.

Мы все перезнакомились и подружились. Семинар длился весь сезон, а потом мы расплзлись по своим весям. Валя блистала у себя в театре, у меня что-то получалось в моем. Я снималась, она снималась, но конкретно встретиться нам больше не пришлось, начался разгром моей жизни. И теперь именно с Валею история в Ленкоме. Что было в действительности, знают только Валя и Тройка. Разговоры же вокруг, что именно с Валею Тройка не сошлась характерами. Говорят, что у Вали вздорный характер, балованна, малоинтеллигентна — все эти качества для Тройки неприемлемы. Более того, Гиацинтова по амплу героиня и поэтому играет все главные роли, а Валя уже признанная героиня Ленкома.

Возникновение спектакля «Сирано» связано с творческой личностью Бирман — роль Сирано ее пожизненная мечта, ставить спектакль должен был Берсенев, Роксана — Гиацинтова. Но Берсенев все перевернул: сам играет Сирано, ставит Бирман, и вот с Роксаны-то все и началось. Гиацинтова уже с натяжкой играет молодых героинь, а Роксана — юная парижанка, красавица, в обнаженных туалетах. И все-таки Гиацинтова решилась. Начались репетиции, второго состава у Тройки не бывает, и Валя начала сама приходиться на репетиции и сидеть на них, как теперь заведено в театрах. Одно это, мне кажется, могло вызвать у Тройки абсолютную неприязнь.

Война. Валя в эвакуацию с ними не поехала, а Гиацинтова все-таки играть Роксану побоялась, и Берсенев, воспользовавшись отсутствием Вали, решает от нее избавиться и приглашает меня на роль Роксаны, рассчитывая на то, что Валя «взорвется» и уйдет в другой театр.

Так ли все это, или не так, но вот в такой ситуации я встретилась с Валею в коридоре нашей гостиницы, она выходила из номера Кости, того самого начинающего поэта в Перedelкино. Если Валя будет драться за Роксану... во-пер-

вых, я умею драться только с мальчишками, во-вторых, ведь справедливости ради это ее театр и у нее большее право. Чем все это кончится?.. Неужели я опять провалюсь в никуда. Но просто из милости я в театре не останусь.

Мне кажется, что такое же противостояние, как у меня с Валей, — у Бориса с Костей. Оба стали известными в войну: Борис в прозе, Костя своим стихотворением, посвященным Вале. У них роман. Борис — военный корреспондент «Правды», Костя — «Известий».

Для фронтовой газеты Борис придумал очень хорошую форму — он как бы обращается прямо к солдату словами о доме, о родине, обо всем, что может поддержать на фронте, и эти письма печатались потом не только во фронтовой газете, но и в «Правде».

Я Костю не видела со времен Переделкино, и теперь, во взрослом состоянии, мы спокойно встретились, сделав вид, что не помним инцидента, происшедшего между нами. Мне кажется, что и Борис, и Костя — карьеристы и их противостояние состоит в том, чтобы идти нога в ногу по этой лестнице за славой. Между нами четырьмя замкнулся круг.

Завтра мой первый выезд на фронт, он еще совсем недалеко от Москвы. Завтра выезд в часть за девяносто километров. Борис меня одну не отпускает, сегодня специально приедет из своей части, чтобы ехать со мной.

За мной приехал «виллис» с офицером: и ведь только что он ехал сюда по этой лесной дороге, и вдруг истошный крик Бориса: — Куда вы едете?! Ты что, не видишь?! Немецкие каски между деревьями! Почему не смотришь на карту!

Матерная ругань, голос Бориса, визгливый, бабий, похож на его походку. Борис двулик — никогда за столько лет он не выругался при мне. Мат отвратительный, отборный. Стыдно перед шофером, перед этим сникшим молодым, из огня вышедшим лейтенантиком — Борис ведь старший по званию, подполковник, — он был таким веселым, он был так счастлив, что его послали за мной. Разворачиваемся и прямо по кочкам скачем на другую дорогу. Вот так, оказывается, все просто на фронте...

Борис был прав — я не нужна в этом аду. Не нужна потому, что я ничтожество! Жалкая фитюлька, не могущая принести этим людям даже маленькую радость! Грязные, измученные до оупения, они засыпают под мои поэмы, стихи, песни, и под «Письма товарищу», и под стихотворение Кости, и под «Ночь». Ташкент теперь вспоминаю как солнечный рай, как все относительно, как забывается все плохое, иначе от «плохости» можно умереть, возненавидеть мир.

Ищу «Лубянку». Ее нет. «Лубянка» эвакуирована. Ничего добиться невозможно. Говорят, что при эвакуации «Лубянки» пепел от сжигаемой бумаги затмил небо.

Переехали наконец выше двумя этажами в большой двухкомнатный номер, и Тетя Варя расцвела пышным цветом: появился и уют, и кастрюлька, и какие-то баночки, здесь есть куда все это прятать.

Но главное не это, главное — ее сердце, сердце русской интеллигентной женщины. Наш дом стал приютом даже для совсем малознакомых людей: и мои знакомые по фронту и Бориса, раз

побывав у нас, приезжают к нам как в свой дом, привозят с собой друзей.

Радушная, ласковая, помолодевшая Тетя Варя принимает всех, кто к нам постучится, даже если нас нет в Москве. Приезжают к ней на огонек черные, измученные люди и воскресают в ее руках, как от омовения в сказочном котле. Она во всех видит своего Левушку. Тетя Варя, победив в себе брезгливость, раскаленным утюгом выжаривает вшей из обмундирования, стирает портянки, неотстирываемые воротнички, чистит шинели, из военных пайков устраивает им пиры и укладывает спать в первой большой комнате на шинелях и сама с ними прикорнет на диванчике. А когда зазвонит будильник, первая в секунду вскакивает, маленькая, быстрая, худенькая, и начинается настоящий спектакль побудки: и уговоры, и покрикивания, и наконец пытаются поставить на ноги еще спящую громадину в чине подполковника или лейтенанта. Тут я не выдерживаю и убегаю хохотать в ванную комнату. Она так внешне похожа на Папу, что я иногда забываюсь и смотрю, смотрю на нее, она вздрагивает, поднимает на меня свои все понимающие глаза, и молча мы разговариваем друг с другом.

Из-за того что у нас в номере «второй фронт», я все знаю о войне лучше Генштаба. Немцы покачнулись, потеряли почву под ногами, откатываются к себе на запад с боями, дерутся за каждый хутор, за каждый кусок земли. Бои кровавые, и я плачу, когда объявляют, что наши вошли в такой-то город, не от радости — я вижу убитых, искалеченных, они собой, своей жизнью берут эти города.

С концертами меня возят теперь только в тыл, и теперь меня здесь ждут. Уже пошла по фронтам «Ночь». Встречают восторженно.

А в Москве все потихоньку оживает, в домах затопили, с пропусками легче, и поползла, как тараканы, нечисть. Как эти люди чувят запах наживы, как знают, где можно извлечь для себя пользу, — спекулянты всех мастей, аферисты, военные, не побывавшие ни разу на фронте, какие-то «дамы» и невесты еще что, а уж потом хлынула интеллигенция. Привезли мне адресованные на ташкентскую студию письма с фронта. Одно разорвало сердце: совсем юные ребята противотанкового взвода вымолили у кино-механика мой кадрик из «Ночи», сделали фотографию, вставили ее в лафет пушки, и теперь они будут умирать за меня.

Привезли весть о том, что декорации Ленкома уже грузятся и театр вот-вот прибудет в Москву. Валю давно не видела, а тут встретилась у лифта. Она заташила к себе, Кости не было, теперь, как я поняла, она не приходит в гостиницу крадучись, они, наверное, поженятся и, видимо, оба пьют, в горке, как в загра-

ничном фильме, полно разных бутылок, и от Вали пахнет спиртным. Валя предложила мне выпить, просто так, средь бела дня, а я и средь темна вечера не пью, чему Валя крайне удивилась. Только я раскрыла рот, чтобы сказать ей, что театр уже в дороге, как она перебила меня:

— Танечка, хочу рассказать вам о приятной и для вас, и для меня вести! Меня приняли в Малый театр, я уже хожу на репетиции, и никак у меня времени не хватало сказать вас об этом! Так что теперь Роксану будете играть вы, если, конечно, эта старая карга не задумает опять ее играть!

Вернулась из эвакуации Студия имени Горького, вернулся Луков, он не возвращается на Украину и устроился уже на этой студии, добивается квартиры. Борис тоже хочет добиться в суматохе реэвакуации отдельной квартиры и привезти наших из Ташкента.

И еще одно письмо привезли из Ташкента — от Яди. Она умоляет помочь ей выбраться из той деревни под Горьким, в которую она попала при эвакуации. Я ей помогла туда уехать и теперь, конечно, должна помочь вернуться.

Взрослыми мы почти с ней не виделись — так, случайно. Я знала, что она продолжает дружить с Эстер, что Хафиз уехал в Афганистан, что с ним она по каким-то причинам не уехала, знала, что вышла за кого-то замуж, родила сына, что жива ее добрая, тихая, всеейпрощающая мама. Она появилась на Никитском бульваре, когда на экраны вышла «Пышка», исчезла после ареста Папы и Баби и вновь объявилась, когда началась война: приехав из Киева и добравшись до своей Калужской, я застала за столом рядом с Мамой и Малюшкой Ядю. Она, оказывается, ждет моего возвращения уже два дня и ночует у нас. Она умоляет помочь ей эвакуироваться. Эвакуация началась с учреждений, а она никогда нигде не работала.

Только мы сели за стол, завыла сирена воздушной тревоги. Что было с Ядей! Я видела впервые на лице такой страх, такой ужас — греческая маска! Она вскочила со стула и побежала как безумная вниз по лестнице в бомбоубежище, бросив Маму и Малюшку.

Никто и ничто не может с тобой сравниться, о Бирман! О мой режиссер!!!

Охлопков одержим, но груб, криклив, Бирман одержима вдохновенно: мягкая, непредсказуемая, с мышлением наоборот.

Никакая диета не смогла бы так согнать вес, и никакие снотворные не смогли бы мне так помочь от раздумий по ночам!

Сегодня на репетиции мы сыграли в «Сирано» сотый вариант знаменитой любовной сцены на балконе. Что-то ей не нравится во мне, потом в Берсеневе, потом в актере, играющем Кристиана. Я уже на грани, я уже не испытываю никакой влюбленности ни в Сирано, ни в Кристиана... и вдруг снизу ее воркующий голос:

— Сейчас репетицию кончаем, а завтра, Танечка, вы мне, пожалуйста, сыграйте парашютистку! Понимаете, парашютистку!

...Нет! Конечно, не понимаю! Где семнадцатый век, где Франция, какая парашютистка?!

Под утро поняла — ринуться в бездну любви, чтобы дух захватило.

Молча начали репетицию, и я, лично я, не Роксана бросилась в бездну, ничего не зная, ничего не видя перед собой. Серафима Германовна ни разу не остановила, не перебила — с ней это редко бывает — и сказала тихо, мягко, грациозно:

— Вот так и будем играть эту сцену...

А я несколько дней опомниться не могла.

Кроме того что в театре разговаривать надо тихо, шагать мягко, абсолютно исключается еда в перерыве. К счастью, это произошло не со мной: перерыв, все пропустили Серафиму Германовну вперед, мы идем за ней, а какая-то артистка, играющая небольшую роль, видимо, голодная, уже села на диван и укусила бутерброд. В тишине раздался голос Серафимы Германовны:

— Скажите, пожалуйста, этот бутерброд с колбасой помогает вдохновению?..

Теперь у меня все бутерброды застревают в горле.

Приходить на репетиции надо, как на спектакль, за 30—40 минут, и Борис сочинил эпиграмму:

Нет! Не часовщика здесь виновата фирма,
А се пример тому,
Что с Окуневской может сделать Бирман.

Теперь, зная Серафиму Германовну, я поняла, что роль Сирано она сыграла бы молодой блистательно и Гамлета тоже — по духу своего творчества, по своему перевернутому мышлению, по таланту. Она удивительна: некрасива, но ты не замечаешь этого; голос, улыбка по-детски чистые и такие же глаза; открытая, приветливая, но уж когда увидит в человеке неприемлемое для себя, все — глаз на него не поднимет. Мне сказали, что артистка, которая ела бутерброд, подала заявление об уходе из театра, и дело не только в бутерброде, эта артистка *«не их»*.

На репетициях стало как-то тревожно, такое впечатление, что Иван Николаевич роль просто читает, а думает о другом. По разговорам вокруг узнаю, что театру приказали вместо премьеры «Сирано», которым Иван Николаевич хотел отметить прибытие в Великий град, поставить пьесу о комсомоле, юбилей которого близится.

Неожиданно меня вызывают с репетиции в кабинет Ивана Николаевича.

— Танечка, я узнал, что у вас с Борисом Леонтьевичем есть на студии Горького либретто о комсомоле «Отцы и дети», могу ли я его прочесть?

— Да, в принципе второй экземпляр должен где-то у нас быть.

Нахожу. Иван Николаевич просит Бирман репетировать сцены без него и уходит. Вскоре вызывают меня.

— Прочел. Во-первых, это хорошо, интересно, во-вторых, это спасение для театра. Вы можете написать по этому либретто пьесу?

— ...

— Успокойтесь, насколько я слышал о вас, вы не трусливого десятка. Давайте подумаем — Борис Леонтьевич часто приезжает с фронта, он сможет вами руководить, будет вашим консультантом. Есть я. За свои сорок лет служения театру я собаку съел. План пьесы уже есть в либретто, образ героини тоже создан, как я понимаю, он писался на вас...

Он весело улыбнулся.

— Остается пустяк — написать пьесу!.. Театр может пригласить любого драматурга, но не думаю, что это будет лучше, вы же уже в материале, да и Борис Леонтьевич, наверное, не согласится на это. Наше могучее трио не только может создать пьесу, но и мир

перевернуть!.. Вы сможете работать ночью? От репетиций «Сирано» я вас освободить не могу, а сроки нас душат!

Позвонила Тете Варе, сказала, что задерживаюсь, и зашагала к своему бульвару, на свою скамейку. Город веселее, многие окна отмыты и блестят на солнце, не замаскированы. Как быть, что делать... безумие... взять и написать ни с того ни с сего песю... Перед Иваном Николаевичем я в долгу, он спас меня от прозябания в Ташкенте... посоветоваться не с кем... с Борисом бессмысленно — я при нем духовная вдова... прохожу мимо «Великого немого»... пятнадцать лет назад именно на этом месте я встретила со своим виолончелистом... сестра на «нашу скамейку» не решилась — разрыдаюсь... я так часто слышу голос поющего Папы: «Ах, я влюблен в одни глаза, я увлекаюсь их игрою, как дивно хороши они, но чьи они я не открою» или: «О бедном гусаре замолвите слово, ваш муж не пускает меня на постой», и голос Левушки, он обожал оперу, а я так до сих пор ничего в ней и не понимаю, меня шокируют фальшь, помпезность не к месту, плохие голоса, неартистичность... Левушка был в курсе всех моих дел, моих влюбленностей и вдруг с хитрой физиономией, на полный голос запевал из «Фауста»: «Бог всеильный, Бог любви, ты услышь мольбу мою, я за сестру тебя молю»... И вдруг нахлынула отвратительная сцена... «Обыкновенная Арктика», как мы условно называли свое первое совместное переделкинское либретто по названию книги Бориса, получилось не просто либретто, а почти сценарий: нам выдали аванс, а дальше царило полное молчание. Не менее года либретто пролежало на студии, и неожиданно мы получаем вызов на «Мосфильм». За это время началась польская война. Борис в Польше. Я позвонила, и мне сказали, чтобы я явилась одна. За столом главный редактор Вайсфельд, вокруг синклит, человек восемь — судилище. Нагло разглядывают меня, как будто не знают моего лица по фильмам. Ощущение, что ты во вражеском стане. И началось: сцены переставить; образ изменить; идейную линию выправить — Борис, значит, меньше понимает в ней, чем они; ввести какие-то персонажи; выбросить лучшие сцены.

Невозможно поверить, что все это не шутка, что этим наемным убийцам чужого творчества, вдохновения дано такое право! Если они знают, понимают, как создавать сценарии, почему сами их не создают?

Конечно, они вели себя так, зная, что Бориса нет, с Борисом они не посмели бы так разговаривать. Я встала:

— Извините, но я не согласна ни с одним указанием. Дальнейшую судьбу либретто решит сам автор.

Все это всплыло в памяти... нет, с пьесой так быть не может... не может... в театре другие люди.

Я кричу, пою, танцую!

Левушка жив!

Я держу в руках маленький замусоленный, изорванный треугольник! Дошел ведь! Дошел! Человеческие сердца, руки переправили его!

Их в Медвежьей Горе не расстреляли, как в глубину души не только к Тете Варе, но и ко мне заползала эта страшная мысль: весь огромный многотысячный лагерь эвакуировали. Народ, детей, стариков бросили, а лагерников повезли в глубь страны. Теперь Левушка на Печоре, в Абези. Собираем к нему Тетю Варю, а мне так хочется заглянуть Левушке в глаза, дотронуться до него!

Немцы отступают! Мы воскресаем из мертвых!

Борис получил здесь, в центре, недалеко от нашей гостиницы в обмен на наши две комнаты на Калужской двухкомнатную квартиру. Более того, он каким-то образом умудрился не сдать Мамину комнату, и теперь наконец через столько лет у Тети Вари будет свой угол. Нашим в Ташкент уже написали, чтобы начали собираться домой.

Художественный совет принял пьесу. Назвали ее «Юность отцов». Конечно, Борис не мог ею заниматься, он иногда врывается в гостиницу всего на несколько часов. Берсенов! Он вел меня за руку в каждой сцене. Все, что он находил нужным, я исправляла, и если с Борисом я спорила до хрипоты из-за какой-нибудь сцены, доказывая, с Иваном Николаевичем, когда я вникала в то, что он предлагал, нельзя было не согласиться.

Берсенов тоже из последних могикиан русского театра, он следующе поколение за Николаем Ивановичем Соболевским-Самариным. Он не просто «знает театр», он слит с ним, он все в нем понимает, хозяин, антрепренер.

Хотя Иван Николаевич и партийный, теперь я знаю, что всех художественных руководителей заставляют вступать в партию, — я уверена, что он раньше ни разу не переступил порог нашего комсомольского театра, и тем не менее Иван Николаевич уже в нем: ищет, находит «комсомольских» драматургов; сколотил костяк

очень хороших актеров и актрис на все амплуа: к юбилею комсомола премьеры нашей пьесы. Правда, за счет «Сирано», да простит нам это господин Ростан! Кстати, пьеса эта тоже о юном горении, о мечтах, о непокорности!

Иван Николаевич рассказал, как все разузнавал, расспрашивал обо мне, вплоть до сплетен, прежде чем пригласить в театр; как трудно было Тройке решиться перевести Софью Владимировну, царившую на сцене тридцать лет, на возрастные роли, благодаря чему я здесь; и для него самого Сирано — тоже последняя молодая роль. О Вале ни слова, и я делаю вид, что ничего не знаю, а она на вершине Олимпа — в Малом театре.

Смешно... Театр Ленинского комсомола... а почему нет театра коммунистической партии... почему нет национал-социалистического театра... партии либералов...

Опять в моей жизни, вернее, в нашем номере возник Луков. Он получил роскошную квартиру в знаменитом высотном доме на Котельнической, в котором живут все плавающие на поверхности, и теперь и Костя, и Борис грызут себе локти из-за того, что поспешили с добычей своих квартир и не живут в «высотке». А мне почему-то это окружение становится неприятным все больше. К актерам моего поколения я не чувствую никакой теплоты — еще к женщинам более или менее, а к мужчинам у меня даже какое-то чувство неприязни. Только талант, призвание могут простить пребывание мужчин на сцене, а они и милые, и хорошие люди, но бесталанны, они попадают на сцену по знакомству, по родственным связям, по любовным, по каким угодно, много из них «выдвиженцев», они малоинтеллигентны, им нужен театр, чтобы безбедно, без усилий пройти по жизни.

Луков бывает у нас неспроста! Неспроста! Я застаю Бориса и Лукова взволнованными, а когда вхожу, они замолкают. Этот альянс мне противен — влюбленный в меня Луков и муж со своей беспринципностью: он же прекрасно знает, что Луков мне неприятен. Не могу понять, воспринять взаимоотношения, которые связывают людей.

Не может же быть, чтобы Луков гнуснейшим путем, через мужа возобновил свои притязания. Проводила Бориса, он уехал к себе в газету, поднимаюсь в номер, Луков сидит.

— У меня возникла гениальная идея! Мы с Борисом долго думали, решили: пьеса пьесой, а либретто «Отцов и детей» надо воплотить в жизнь! Можно сделать роскошный фильм! Мы напишем гениальный сценарий, а я сниму гениальную картину! Я уже говорил с директором студии!

От его постоянной наглости у меня сразу приступ бешенства:

— Кто это «мы»?

— Я, вы и Борис.

- Борис вам это пообещал?
- Да. А с вами я должен договориться.
- А почему не Борис?
- Он вас боится. Решили, что я лучше вас уговорю.
- А вы меня не боитесь?
- Нет!
- Ну и наглец же вы!

Как будто я его не оскорбила, он завопил на всю гостиницу:

— Более того, мы набросали даже план! И в кино вы у меня Елену и Аленушку сыграете в сто раз лучше! А какой размах по сравнению с вашим театром! Вы там у себя, изображая войну, бьете за кулисами железкой об железку, а мы снимем все по-настоящему! Настоящую войну! Я придумал гениальные вещи! Мы выедем на место событий! Я...

Нарочито смотрю на него, не отрываясь, прямо в глаза, жду, когда иссякнет эта лавина бахвальства. Он взвинул себя до состояния, в котором бросается целовать ноги.

— Я не буду у вас сниматься, и я не буду писать с вами сценарий, вообще для кино я никогда ничего больше делать не буду.

— Но, кроме вас, никто не сможет сыграть эти роли, и у вас ведь сделана пьеса, по которой...

— Нет! Извините, я тороплюсь.

Ах Борис! Борис! Ну почему же он, не поговорив со мной, решил отдать наше детище Лукову! Это все его патологическая лень, он согласился потому, что Луков «протащит» сценарий без него, и как все это продумано, чтобы именно Луков говорил со мной!

Борис кончил роман о войне «Непокоренные». Роман, как и очерки «Письма товарищу», подняли на шит, по сути роман и очерки на одну и ту же тему, с той же «свеженькой» мыслью — не сдаваться врагу. Роман плохой, и даже искры Борисовой, которая была в «Обыкновенной Арктике», в нем не видно. Как Борис будет писать дальше? Он мыслит себя писателем, а о чем он будет писать? Даже если и есть способность, даже если и талант — этого так мало! А что еще есть у Бориса? Какая-то странно заштампованная, заученная тема Донбасса. Борис совсем не наблюдатель... Не знаю, волнуюсь за него, он фактически только входит в литературу... Как Папа был прав, говоря о Мите и о Борисе.

И опять Борис шагает в ногу с Костей. У Кости тоже вышла книга стихов, тоже средних, тоже поднята на шит. Странно, почему именно их поднимают на шит, ведь много хороших и писателей, и поэтов на фронте. Их обоих выдвинули на Сталинскую премию. Валя с Костей поженились, я их встречаю счастливыми и всегда «подшофе».

Вот и пришел конец войне, а я не понимаю этого праздника! За фейерверками мне чудятся горы юных трупов, развороченная страна.

Четыре года! Какой кусок жизни, четыре года беспросветных тревог, мыканий, прозрений.

И складывается ведь все хорошо: «Юность» прошла с успехом, спасло меня, правда, кино, спасли все те же «Ночь» и «Пархоменко», все бы пришлось начинать сначала: ну кто запомнил начинающую девочку на подмостках театра Охлопкова!

«Сирано» взорвал Москву, я каждый спектакль утопаю в цветах и замуриваюсь от золота орденов, звезд, медалей, когда зажигается в зале свет и мы выходим с Иваном Николаевичем на поклон, нам долго и восторженно аплодируют.

Начали снимать «Отцов и детей». Луков — дрянь: как только появился отснятый материал и мы выехали в экспедицию, он возобновил свои ухаживания. Все началось, как раньше, — приступы отчаяния, истерики, бездумные поступки, кидание в ноги. Он невыносим, он отравляет жизнь.

Все хлопочем за Левушку. Все — это еще и жена Левушки. Левушка отсидел свои пять лет, срок кончился в 43-м году, но выезда из Абези не дают под предлогом войны, и это счастье, потому что многие освободившиеся получают второй срок.

А как женился Левушка! Левушка был влюблен с первого курса в студентку нашей мастерской Любу Врангель. Не знаю, имеет ли она отношение к цветку русской военной интеллигенции, знаменитому барону Врангелю, но сама она была очаровательной, нежной, воспитанной и даже Папу очаровала. Так Левушка стал безумно влюбленным женихом.

Но жизнь! Она все переворачивает... На их курс пришел молодой преподаватель, архитектор, очень интересный, чем-то даже похожий на Левушку, но уже зрелый, в блеске своего расцвета, Люба в него влюбилась, у них начался роман.

Левушка страдал молча, и именно в это время арестовывают Папу и Баби, а весной и его.

Но... с того же первого взгляда, с того же первого курса в Левушку влюбилась другая студентка. Эта Ирина — красавица, чего о Любе сказать нельзя, талантлива, тоже воспитанна и интеллигентна. Весь курс — это «происки» Парусникова, который из всех сил старался проташить в институт достойных студентов, дабы спасти остатки русской интеллигенции. Мой целомудренный брат даже глазом не повел на Ирину. После ареста Левушки Ирина все время поддерживала связь с Тетей Варей, а вернувшись из эвакуации, нашла нас и начала собираться вместе с Тетей Варей к Левушке.

Дальше уже все как в романе... Мой дорогой братец, лорд-гусар, не пожелал просто сойтись с Ириной, а предложил ей руку и сердце, а рука и сердце, то бишь ЗАГС, находились на другом берегу широченной Печоры, а лед уже тронулся, и они втроем, прибежав на берег, увидели огромные полыньи! Оставив Тетю Варю в полуобморочном состоянии на берегу, они, как зайцы, поскакали по льдинам, в ЗАГС.

Своему гусарству Левушка обязан не только Дяколю, а в большей степени своему любимому профессору Парусникову. Вот уж гусар, так гусар! Интересный, подтянутый, без возраста, умный, вызывающе смелый и, несмотря на это, ставший членом-корреспондентом Академии архитектуры, любящий Россию до самозабвения, барин, талантлив, обожает красивых женщин, застолья, кутежи, безумства, единственный человек, в устах которого я переносила мат и не могла удержаться от смеха — это не мат, а это эдакое российское краснобайство, цирковой номер, облеченный в классическую форму, преподнесенный на какой-нибудь пирушке и то в основном в отсутствие дам. О самых блистательных каскадах этого творчества мне рассказывал, захлебываясь от восторга, Левушка.

Никогда не забуду его реплики: он часто собирал всех нас и покорнить, и попойть, и, конечно, повоспитывать, на дому оно сподручнее, чем в институте, и в один из таких дней в разгар веселья к нам зашла жена Парусникова — такая чуть увядающая, писаная русская раскрасавица! Статуя! Когда она вышла, мальчишки застонали от восторга, и с непередаваемым выражением лица, с неповторимой интонацией он грустно произнес:

— Да! Жаль только, что она не чужая жена!

Когда Ирина привезла Парусникову из Абези Левушкины эскизы и рисунки Севера, а главное, проекты двух домов,

которые построил Левушка в Абези. клуба и бани, Парусников пробасил:

— Да, блистательно додумалась Советская власть, арестовала лучших студентов, и из барачных, жутких шахтерских поселков возникнут северные города.

И тут же выработал план: он высылает Левушке тему диссертации, по которой Левушка сможет защитить диплом, и все мы вместе будем хлопотать, чтобы Левушке разрешили въезд в Москву.

Каждый свободный в театре и от съемок вечер я выступаю в концертах и пою все те же Мамины старинные романсы и «Ночь». Может быть, мой успех этим и объясняется, что я не пою стандартных, навязших в ушах песен.

Теперь и материально мы зажили хорошо, правда, Борис смушен, что я зарабатываю больше, чем он, но мы договорились — это пока он солдат, а когда он станет великим писателем, я на свои деньги открою лицей благородных девиц и токмо благородных юношей, поскольку они все почти перевелись, и смеемся, а мне почему-то все не смешней и не смешней... Черт знает, что в Москве: «они» хлынули как из канализационной трубы, а москвичи коренные не могут получить после эвакуации обратно свои квартиры, москвичей можно высмотреть только в бинокль. И как снег на голову, магазины торговли с иностранцами «Торгсины», в которых все продается только за валюту и драгоценности. Иностранцев в Москве можно по пальцам пересчитать, значит, это для народа, чтобы выкачивать из него последние оставшиеся крохи! Такие же «Торгсины» были, когда я была маленькой, и Папа мне рассказал, как в их жерло ушло последнее свадебное серебро. Витрины магазина как издевка: в стране голод, в деревнях женщины до сих пор впрягаются в плуг вместо лошадей, а здесь все что только может присниться! Народ смотрит и глотает слюну! Хватило все-таки у кого-то совести и ума закрыть витрины шелковыми плотными занавесками.

И все казалось бы все-таки хорошо: перевезли наших в новую квартиру, правда, тесно — одна комната наша, в другой Мамы и Малюшка, которая так выросла, что превратилась в Зайца. Ту Мамину и Папину мебель всю оставила на Калужской для Тети Вари и Левушки, а здесь из пустой квартиры опять нужно создавать дом.

Выхлопотала Ядю, и она почему-то теперь перекинулась от Эстер к нам. Она, несмотря на тесноту, часто остается ночевать на диване в нашей с Борисом комнате, и когда нет Бориса, и когда он есть. Ну, да Бог с ней! Ни слова о

муже, о семье, и я, естественно, не спрашиваю, а когда заговорила, выяснилось, что муж — один из лучших переводчиков беллетристики с английского — тогда уже, когда она была у нас на Калужской в начале войны, был мобилизован, попал в плен и теперь находится в советском лагере, как все военнопленные. Сына воспитывает мама, на что живут, не сказала. Она не работает и никогда еще в жизни не работала.

Костя написал для Вали пьесу о молодежи, но Малому театру она не подошла, и Иван Николаевич взял ее для нас. Теперь Костя часто бывает на репетициях, стал членом худсовета, я в пьесе не занята, но мы часто идем вместе из театра. Между нами произошел еще один экзерсис, но мы делаем вид, что и его тоже забыли: я, выезжая для выступления в десантную часть с удивлением увидела у машины Костю, который, оказывается, тоже едет со мной и тоже для выступления. Ехать обратно было далеко и ночью страшновато, и нас оставили ночевать на командном пункте. Мы оказались в двух соседних каморочках. Просыпаюсь ночью, надо мной стоит в трусах Костя. Я попросила его удалиться, может быть, и не очень ласково, человек он наглаватый, но, к счастью, очень самолюбивый, до скандала не дошло, он вышел, хлопнув дверью так, что командный пункт мог рухнуть. Теперь, идя рядом, мы смеемся, шутим и делаем вид, что ничего не было, и я надеюсь, что теперь уже так будет до конца дней...

У меня есть еще одна родная тетя — Тетя Надя. Старшая сестра Папы и Тети Вари. Мои корни по Папе из Литвы. Когда Литва после революции осталась за кордоном, то ничего, кроме того, что о ней рассказывала Тетя Варя и то с чьих-то слов, я не знала. Знала, что Тетя Надя замужем за поляком Дядей Стахом, что он прокурор в буржуазной Литве, что живут в каком-то Паневежисе, детей нет.

Теперь Литву мы оккупировали окончательно, я нашла на карте Паневежис и поехала. Тетя Варя молчала, сказав только, что они могли уехать от Советской власти куда глаза глядят, а Борис опять, как и с поездкой к Левушке, начал отговаривать, убеждать, что эту затею надо отложить, потому что Литва разбита и я не смогу добраться до Паневежиса, что проводить он меня не сможет — занят да и вообще они могли быть при немцах коллаборационистами.

Да, минутами решала вернуться назад. В Вильнюсе гостиницы не нашла, пришлось ночевать на вокзале, к счастью, меня здесь никто не знает и не узнают, как в Москве. Дорога до Паневежиса еще полностью не восстановлена, и ходит через день одна куца «кукушка»! Померк вагон в Ростов на аборт и вагон к Левушке, в этом вагоне можно только стоять, сесть негде. Паневежис — печальный, разбитый город. Я начала ходить из дома в дом в надежде на положение и фамилию Дяди. И вошла в дом. Они сидели за столом и отшатнулись от меня, как от привидения, потому что сразу узнали. Видели они нас с Левушкой в последний раз, когда нам было по пять лет, но в буржуазной Литве шли «Горячие денечки», и на стене висит мой портрет, сделанный из кадрика.

Каким чутьем, какими генами, какой реинкарнацией вошла в меня Литва?.. Она моя, в моей крови, она моя прародина от далеких бабушек... А в сердце влилось теплое, родное — близкие, дорогие Тетя и Дядя.

И все в действительности хорошо: мне тридцать лет, я в

своем расцвете — мой конь быстро и незаметно примчал меня к этому сроку. Но... несмотря на то, что я верчусь как белка в колесе, откуда-то исподволь, из глубины вползает в душу горечь, непонимание чего-то главного, важного начинает давить, приходит ощущение жизни как будто ты в метро, если не опустишь пятак — створки захлопнутся. А что эти пять копеек? Роли, которые ты не хочешь, но должна играть? Да, я не хочу проводить на сцене партийные собрания, призывать к строительству социализма! Меня спасает мое амплуа, я в таких ролях «не убедительна», и меня на них не назначают. Ну а если? Отказываться? Вот створки и захлопнутся! И я знаю, что никогда не сыграю то, что мне хотелось бы сыграть: хочу сыграть прокурора, только, конечно, не нашего, не в нашей стране, у нас он лжец и пешка! Гедду Габлер!

Сегодня плохо играю «Сирано». Плохо. Театр маленький, на этом спектакле набит битком, переаншлаги, жара несусветная, течет грим. Я переделась к четвертому акту, в котором приезжаю к мушкетерам, это мой самый красивый костюм: серого мышинового цвета амазонка, жабо из белоснежных кружев, алый, как кровь, плащ, мужская прическа! Даже настроение начало поправляться. Выхожу проветриться в коридор и прямо на Ивана Николаевича. Уж от него-то ничего спрятать невозможно.

— Танечка, что-то вы сегодня не в форме! Вашу лучшую сцену на балконе сыграли плохо! А ну, возьмите-ка себя в руки!..

Хожу во коридору и беру себя в руки, и беру себя в руки... Открыта дверь в большую, мужскую гримерную, сидит один Арсюша, играющий мушкетера, все ушли вниз — там прохладнее. Беру себя в руки, захожу к Арсюше, он плохой, но интеллигентный, умный актер, сажусь к чьему-то столику, везде лежат мушкетерские усики, они отклеились от жары и сохнут, взяла и приложила к себе усики. Арсюша вскочил как ужаленный:

— На кого вы так похожи?! На кого?! На кого?! На кого?! Он впился в меня глазами.

— Ба! На Петра! Есть гравюра, где он еще юноша, с такими же маленькими усиками, точно с такой же прической и в таком же кружевом жабо!

Вызывают вниз во время репетиции, бегу через две ступени, не случилось ли что-нибудь, стоит человек шесть: группа фильма «Давид Гурамишвили», они разыскивают артистку на роль дочери Петра I цесаревны Елизаветы Петровны. Оказывается, Арсюша живет в одном доме с режиссе-

ром этого фильма, более того, именно с ним встретился в лифте и рассказал историю на спектакле с усиками.

Какая битва опять разыгрывается... Есть такой великий грузинский поэт Давид Гурамишвили, который служил при русском дворе, и цесаревна Елизавета Петровна спасла его от ареста. Это в истории. А в жизни! В фильме два режиссера, оба обрусевшие грузины, тот, который поднимался в лифте с Арсюшей, ищет артистку на роль Елизаветы Петровны, а второй категорически требует, чтобы снимали в этой роли его жену, артистку хорошую, но совершенно не похожую на цесаревну.

Начались бесконечные пробы, пока добились прической, гримом, выражением лица сходства, но главное, это победа того режиссера, который поднимался с Арсюшей в лифте.

А я! Сколько я пережила, пока меня утвердили на роль. Никогда же больше в жизни не придется мне сыграть русскую царицу, да и вообще просто хорошую роль. Я не понимаю, почему меня полюбили зрители? В «Пышке» у меня небольшая роль, в «Горячих денечках» я никто — так вообще, в «Последней ночи» и в «Александре Пархоменко» я дрянь — меня бросили на отрицательные роли, потому что в советской положительной героине не должно быть секса, который «они» во мне нашли, и только в жалкой и плохой «Майской ночи» у меня есть Панночка, есть попадание в гоголевскую сказку, а фильм прошел по окраинам, в колхозах, остается только эпизод в «Ночи над Белградом»...

Едем в Ленинград! Большого утешения, большей радости не бывает.

Дворцовые сцены снимаются не в декорациях, а в настоящем Зимнем дворце! Какое чувство меня охватит, когда я сяду за туалетный столик Елизаветы Петровны! Картины Эрмитажа еще не вернулись из эвакуации, и нам разрешили снимать дворец за то, что мы отремонтируем за счет студии зал, поврежденный бомбой. Иван Николаевич отпустил меня на съемки со скандалом, с мольбами — он еще ревнивее относится к кино, чем Охлопков.

Такого Ленинграда я никогда не смогла бы себе представить! Гордый, вдохновенный, взмывающий над Невой, над миром, и тишина, тишина огромного города, пустынно, людей на улицах совсем еще мало, они только начинают возвращаться, солнце над городом, как корона, и чудится: будет много, много хорошего, волнующего душу, неизвестного!..

Новая неприятность обернулась академиком Орбели, который уже вернулся в Ленинград, ведает Зимним и согласился

быть консультантом нашего фильма. Он заинтересованно стал расспрашивать, кто же играет царицу Анну — был очень рад, что это артистка МХАТа Шевченко, — кто Бирон, кто Ушаков, и наконец, видимо, его главное, личное пристрастие к дому Романовых — Елизавета Петровна. Кто она? Артистка Театра Ленинского комсомола... Орбели только спросил, не сошли ли они с ума, пригласив на роль царицы какую-то комсомолку! Никакие рассказы обо мне, никакие доводы его не успокоили. Фильмы мои он, конечно, не видел, совсем насупился и, уходя, просил, чтобы на утверждение грима и костюма меня к нему не приводили.

И тогда у режиссера, который поднимался с Арсюшей в лифте, возникла идея: на знаменитой дворцовой белой мраморной лестнице на каждой ступени поставить офицеров Преображенского полка в парадных ярко-зеленых мундирах, дать полный свет, зажечь огромную хрустальную люстру, и в этот момент нужно ввести Орбели, а я должна появиться из-за поворота лестницы в полном гриме, в белом парике, в черном платье в окружении фрейлин тоже в черном и начать спускаться вниз по лестнице прямо на академика Орбели!

Что с ним было! Орбели бросился целовать мне руки, он стонал от восторга. Камень с души упал, но чего это стоило мне и режиссеру.

Съемки оказались мучительными из-за холода во дворце. Дворец за войну промерз, и когда включили электричество, появились люди, мрамор стал оттаивать, по колоннам потекли ручейки, у нас от сырости и холода зуб на зуб не попадает, и хорошо, что фильм не цветной — сквозь грим просвечивает синева. Мужчинам еще ничего, они в мундирах, герой в черкеске, а я со своими фрейлинами с голыми плечами! Отогреться можно только на набережной, там солнышко, тихо, тепло, прохожие редки, а если кто-нибудь появляется, мы прячемся за колоннами.

Млеем, греемся и видим, что далеко на набережной появилась маленькая старушка с сумочкой... Так не хочется уходить с солнышка... Старушка, проходя, мельком взглянула на нас, сделала два шага, остановилась как вкопанная, обернулась, сумочка выпала из рук и побежала, не оглядываясь, за угол дворца к Невскому проспекту. Первым заговорил Осип Наумович Абдулов, играющий генерала Ушакова: — Боже мой! Что с ней будет дома, когда она начнет рассказывать, что видела у Зимнего дворца царскую семью! Ее же отвезут в сумасшедший дом!

В сумочке оказалось два разбитых яйца... Пришлось чуть не на коленях умолять нашего директора сейчас же, сию

минуту ехать в редакцию газеты и дать объявление о наших съемках.

С болью отрываю от себя Ленинград, Луков вызывает в Москву, что-то случилось с «Отцами» — фильм приняли, но приказали переснять какую-то сцену и заставили переменить название на «Это было в Донбассе». Я возмущена, ничего бездарнее, безвкуснее придумать невозможно. Мы же с Борисом название «Отцы и дети» не придумывали, а взяли у Тургенева, желая показать сегодняшнее поколение отцов и детей. В театре замена названия получилась по другой причине: не вмещалась в один спектакль судьба матери и дочери, Иван Николаевич придумал, чтобы пьеса шла в два вечера, отсюда и возникло название первого спектакля «Юность отцов». Так не хочется уезжать...

В Москве события!!! У Парусникова в руках пропуск Левушке на въезд в Москву — пока временный, но это уже неважно, пусть только будет здесь, рядом с нами! И Папа! Папочка! Он жив! Жив! Сослан на десять лет в лагерь без права переписки! Я поеду! Я его найду! Найду! О Баби по-прежнему ничего. И Яша! Мой верный друг Яша не вернулся из эвакуации. Разыскала его старенькую, несчастную маму, комнату у них отобрали, в ней живут какие-то отвратительные люди, но сказали, что Яша еще не вернулся из эвакуации, а мама оставила адрес. Маму-красавицу я не узнала — ко мне вышла из какого-то закутка в тряпье старушка. Яшу эвакуировали в тот же его Горький на автозавод, арестовали, и он умер в лагере от голода. Мой золотой Яша, друг мой Яша, рыцарь, так никогда и не сказавший мне о своей любви! А Тося! А все саратовские друзья! А соседи! А все сотни, тысячи! Где они?! Наше поколение — та самая червиха из страшного анекдота: из-под земли выползает червиха с маленьким червенком.

— Мама, мамочка, сколько света, тепла и солнца, почему же мы живем в сыром, холодном, темном подвале?

— Родина, малыш.

— А куда девался папа?

— А папа пошел на рыбалку.

Я же не знаю, что обо мне начались сплетни. Вот оно пришло! На студии в гримерной молодой человек, не видя меня, рассказывает в компании подробности моего с ним романа — скабрёзно, все хохочут, рассказывает, что я без мата слова сказать не могу... Мой гример, интеллигентный, пожилой человек, сорвался с места, чтобы дать ему пощечину, я удержала — ну драка, ну скандал, и что?! В другом месте он опять все повторит, только посмотрит, нет ли меня поблизости. Приезжаю домой, рассказываю Яде.

— А я знаю о тебе еще и не такие сплетни!

— Почему же ты мне не рассказала?

— А когда тебя поймаешь?!

Как же я никогда не думала о зависти, о злобе, они же убивают хуже удара. Люди завидуют страстно до ненависти, как будто ты вошел в рай, а они этих дверей открыть не могут.

А двери в «рай» действительно открылись, мы наконец-то удостоились приглашения в Кремль по случаю годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции.

Бедный царский дворец, взвизгивающий на это пиршество первобытных людей, переодетых во фраки и мундиры. Столы ломаются от яств. Бесклассовое общество тут же превратилось в классовое: несчастное русское крестьянство, теперь именуемое колхозниками, хорошие рабочие, именующиеся стахановцами, увидя это столпотворение, плюя на свою партийность, запрещающую им пить, как положено в деревне, на заводе, на шахте, выпивают первый стакан водки без закуски, второй... А дальше все продумано и поставлено блестяще: из-за штор, из-за дверей, из-за углов, из-за колонн возникает рядом с пьяным недремлющее око в военном, и пока лучший представитель своей прослойки не заснул на столе или пока его не вырвало, элегантно выволакивают его под белы ручки из зала. Сословие дореволюционной пожилой интеллигенции, писатели, артисты, ху-

дожники, слержанны. Нувориши шумны, крикливы, уродливы, подхалимны; а далее уже совсем невоспитанная новая волна, как Борис и Костя. Они стали лауреатами Сталинской премии и горды этим и не понимают, что получили ее за что-то, не имеющее отношения к творчеству, это правда не очень заметно, потому что в принципе все получают эту премию непонятно за что, и каждый раз награды вызывают искреннее недоумение...

Дорога домой: ни радости, ни счастья... нет и нет... а может быть, их в нашей стране и не может быть. Я никогда не видела правительство вблизи: убожество, уродливые, плохо одетые, неинтеллигентность написана на лицах, намек нет на духовность, интеллект, ум. Для меня они убийцы страшные, залитые кровью, они, наверное, мне ночью приснятся. Говорят, они сами не расстреливают, есть подручные, но Сталин в кого-то стрелял сам...

Теперь по мановению чьей-то волшебной палочки мы приглашаемся и на иностранные приемы в посольства. Лучше было бы не видеть, чтобы не с чем было сравнивать.

Сегодня приглашение на обед в югославское посольство. Посол красивый, вежливый, молодой, даже холеный. Я заметила, что европейские коммунисты все-таки более интеллигентны, более прилично выглядят. Оказывается, приглашены только я и Борис.

— Не удивляйтесь семейному обеду, я хочу, Татьяна Кирилловна, с вами поговорить не в сутолоке приема. Мы купили ваш фильм «Ночь над Белградом» и хотели, чтобы вы посетили нашу страну в дни премьеры.

Идиотское положение. Он же коммунист и знает, что я носа никуда показать не могу по своему желанию.

— Мы вышлем вам приглашение через Всесоюзное Общество культурной связи с заграницей — ВОКС как вы его называете. — только вы должны дать точные сроки и дату вашего прибытия, чтобы мы могли приготовить рекламу и премьеру.

На моем лице от счастья и изумления, наверное, идиотское выражение... Неужели я когда-нибудь смогу выйти за околицу своего села... Я за границу знаю только пограничными фильмам, которые, кстати, на экранах не идут, а изредка чудом показываются у нас в Доме кино.

Звонок по телефону, вызывают в ЦК партии к высшей власти по искусству, той самой, которая уродует и запрещает фильмы, спектакли и все на свете.

Вхожу... серый коммунистический стандарт, но лицо умное.

— Здравствуйте, Татьяна Кирилловна, вот я и увидел вас живую, и мы хотим, чтобы все видели вас не только здесь. Мы хотим, чтобы видели вас везде, где стоят наши войска, там идут три ваших фильма «Ночь над Белградом», «Александр Пархоменко» и «Это было в Донбассе»... Себя показать, да и самой посмотреть! Хотим, чтобы вы и иностранцам себя показали, они же, кроме фронтовых бригад, ничего и не видели. Слышал, вы поете, так тем более это интересно... Подумайте, составьте программу, покажите мне, в ВОКСе вам сделают оркестровки ваших песен... С Берсеневым я все улажу сам.

Сажу с раскрытым ртом. Он улыбнулся.

— Пока все. Кстати, что там за история в Малом театре с артисткой Серовой?

— Я ничего не знаю...

Мир странно устроен: ты можешь говорить только по установленным кем-то законам, а что, если взять и сказать все, что ты думаешь, все, что хочешь сказать... Я не член партии, для меня выезд за границу закрыт до конца моих дней... И сама идея послать за границу киноартистку со своими фильмами неожиданна, посылают только певцов, балерин, музыкантов... Если это его идея, то видеть на таком посту человека, хоть немного разбирающегося в искусстве, тоже «не фунт изюма»... Это война что-то сдвинула с места. Бориса нет, все журналисты в Берлине — разыскивают Гитлера для опознания.

О Вале я действительно не знаю подробностей, у нее были неприятности в Малом театре, то ли она пришла пьяной на спектакль, то ли начала спектакль, а потом чуть не упала со сцены, может быть, и то и другое сплетни, но факт остается фактом — она вернулась к нам в театр и репетирует второй состав Роксаны.

А на нас посыпались, как из рога изобилия, блага: прикрепили к больнице, не знаю, как она называется официально, а в миру «кремлевкой», где лечат правительство; прикрепили к снабжению продуктами, да такими, которых нет и в «Торгсине», и почти за гроши; скоро будет большая квартира, Борис каким-то образом то ли достал, то ли выхлопотал себе «мерседес», черную красавицу, сделанную в Германии по индивидуальному заказу; дача в Серебряном бору, где живут тоже все «они!» Только за что? Борис ничего стоящего еще не написал, а я всего лишь артистка.

И уже совсем чудо: я приглашена на кремлевский концерт, в который приглашаются только народные Союза, и то избранные, любимые «ими», одни и те же; бывают эти

концерты, как мне рассказывали, по ночам, после «их» совещаний, заседаний, в виде развлечения. Заехать за мной должен член правительства Берия. Бориса опять нет, теперь все журналисты на Нюрнбергском процессе.

Какое-то незнакомое чувство... боязнь провала... нет... что-то совсем другое... какая-то тревога.

Из машины вышел полковник и усадил меня на заднее сиденье рядом с Берией, я его сразу узнала, я его видела на том приеме в Кремле. Он весел, игрив, достаточно некрасив, дрябло ожиревший, противный, серо-белый цвет кожи. Оказалось, мы не сразу едем в Кремль, а должны подождать в особняке, когда кончится заседание. Входим. Полковник исчез. Накрытый стол, на котором есть все, что только может прийти в голову. Я сжалась, сказала, что перед концертом не ем, а тем более не пью, и он не стал настаивать, как все грузины, чуть не вливающие вино за пазуху. Он начал есть некрасиво, жадно, руками, пить, болтать, меня попросил только пригубить доставленное из Грузии «наилучшее из вин». Через некоторое время он встал и вышел в одну из дверей, не извиняясь, ничего не сказав. Могильная тишина, даже с Садового кольца не слышно ни звука. Я вспомнила этот особняк, он рядом с Домом звукозаписи, на углу Садового кольца, и я совсем недавно здесь проходила: Костя написал статью о том, как принимают мою песню из «Ночи» на фронте, и меня пригласили самой прочесть эту статью и заново спеть «Ночь» для радио... Огляделась: дом семейный, немного успокоилась. Уже три часа ночи, уже два часа мы сидим за столом, я в концертном платье, боюсь его измять, сижу на кончике стула, он пьет вино, пьянеет, говорит пошлые комплименты, какой-то Коба меня еще не видел живьем, спрашиваю, кто такой Коба...

— Ха! Ха! Вы что, не знаете, кто такой Коба?! Ха! Ха! Ха! Это же Иосиф Виссарионович.

Опять в который раз выходит из комнаты. Я знаю, что все «они» работают по ночам. Бориса в ЦК вызывают всегда только ночью, но я устала, снижаю. На сей раз, явившись, объявляет, что заседание у «них» кончилось, но Иосиф так устал, что концерт отложил. Я встала, чтобы ехать домой. Он сказал, что теперь можно выпить и что если я не выпью этот бокал, он меня никуда непустит. Я стоя выпила. Он обнял меня за талию и подталкивает к двери, но не к той, в которую он выходил, и не к той, в которую вы вошли, и, противно сопя в ухо, тихо говорит, что поздно, что надо немного отдохнуть, что потом

он меня отвезет домой. И все, и провал. Очнулась, тишина, никого вокруг, тихо открылась дверь, появилась женщина, молча открыла дверь в ванную комнату, молча проводила в комнату, в которой вчера был накрыт ужин. вплыл в сознание этот же стол, теперь накрытый для завтрака. часы, на них десять часов утра, я уже должна сидеть на репетиции, пошла, вышла. села в стоящую у подъезда машину, приехала домой, попросила Ядю уйти к себе, не подзывать к телефону, кто бы ни звонил, ко мне никому не входить.

Изнасилована, случилось непоправимое, чувств нет, выхода нет, сутки веки не закрываются даже рукой.

Взволнованный Берсенев. Ужаснулся моему виду. Оказывается, у меня сегодня спектакль. Только Борису могу все рассказать. Борис меня спасет... он сразу забегал мелкими шажками, затылок налился кровью, что-то залепетал... Он такой жалкий, что я его должна утешать.

Левушка! Братец! Держу его руки в своих, заглядываю в глаза, хочу, чтобы все, все ему на свете нравилось! Теперь смеемся, чтобы он не объелся после своей трески и не умер у меня на руках. Кутим уже пять дней. Жду-пожду его красавицу жену Ирину, нет как нет, но у нас в доме заведено не спрашивать, а я могу заболеть от любопытства.

Как хорошо ни о чем не думать, ничего не делать — я и не помню, когда такое со мной случилось. Я научилась пить, и это такое, оказывается, удовольствие: голова легкая, сладкая дымка, все кажется веселым, смешным, а Левушка, который раньше тоже в рот не брал спиртного, научился в лагере пить всякую гадость, в хорошем вине теперь не находит никакого вкуса и пьет, как мужик, стаканами. Ему я, конечно, ничего о Берии не рассказала, не могу рвать ему душу, он же, как и Папа, ни перед чем не остановится, он просто может убить подлеца — и снова тюрьма.

Я вот-вот выезжаю за границу, все документы уже готовы и оркестровки тоже, и я делала все, чтобы оттянуть выезд и встретить Левушку.

Первая страна — Болгария. Я понимаю, что это маленькая, провинциальная страна, но для меня, для деревенской, это Европа, и мне всегда интересна жизнь другого народа, тогда ощущаешь объемность мира.

До чего же красивы мужчины-болгары! Головы! Даже на некрасивом теле красивая голова. Таким бы я в живописи создала Иисуса: бледная кожа, удивительные длинные, лучистые золотисто-коричневые глаза, умные, добрые; нос, рот благородны, бледный высокий лоб, и волосы коричневые, под цвет глаз, ниспадают волнами.

Первое, куда я попросила меня отвезти, — монастырь, я ведь о монастырях знаю тоже только из литературы. В Родопях, высоко в горах, старинный мужской монастырь. Осмотрев все, что можно осматривать туристам, я расстроилась из-за того, что не смогу увидеть жизнь монастыря, людей... и.

как будто кем-то услышанная, вижу, что ко мне подходит монах и от имени настоятеля приглашает на трапезу.

Поднимаемся по узкой мраморной лестнице в широкий портик с мраморными колоннами, цветы магнолий касаются лица, на длинном столе персики, сливы, виноград. Группами стоят монахи в черных одеждах, приветствуют меня, и сразу же завязывается разговор, такой непосредственный, как будто я сестра, как будто родилась здесь, в монастыре, — никакого замешательства, натянутости, фальши, и глаза, они смотрят в душу, перед ними нельзя солгать, нельзя не ответить откровенностью. Нас, обыкновенных людей, смотрящих так глубоко, глубоко мыслящих, глубоко говорящих, уже почти нет... незримый другой мир... тишина человеческой души... лицо настоятеля такой высокой одухотворенности... сопричастности к неведомому... мне захотелось поклониться ему, и я поклонилась в пояс. На душе легко, светло.

В Болгарии стоят наши войска, и поэтому все плохо, все не так, как хотелось бы: есть только наш духовой оркестр, и петь пришлось под аккомпанемент нашей плохой пианистки.

Последняя поездка — старинный город Пловдив. Я еду в открытой машине рядом с шофером, сзади переводчик и сопровождающий из ВОКСа.

Когда я вышла из гостиницы, все уже сидели в машине, шофер вскочил, открыл мне дверцу, подал руку, заглянул в глаза... и со мной что-то произошло... я не могу оторвать от него глаз... я молю, чтобы дорога была длиннее... во мне пламя его глаз... его поданной руки... наверное, он некрасивый... но я с восторгом, не глядя, вижу его сильное, стройное тело... руки на руле... спокойные, мужские... ноги на педалях... профиль... выющиеся коричневые волосы, мятущиеся по ветру... Он через переводчика сделал мне комплимент — вчера он видел какой-то мой фильм... а я смысла не понимаю, я слушаю его голос, его интонации... вдруг всем существом я чувствую, что мы вместе, что он ловит мое дыхание, каждое движение... мы вместе в огромном пространстве...

Пловдив. Уже зажигаются фонари. Старинная гостиница. Я мечусь по номеру, он постучит... я пойду за ним на край света... я буду бродить с ним по улочкам... молча... ощущать его тепло... слышать его сердце... тонуть в этом неизвестном для меня чувстве... светает, я погасила лампу, и мгновенно погас свет в его окне... он со мной... он тоже не спит... что его держит... «звезда» и шофер... он же должен чувство-

вать, что сейчас не существует между нами никаких преград... а я... нет... сама я никогда к нему не постучу, он ведь, наверное, совсем обыкновенный мужчина и расценит мой приход слишком прямолинейно, а я этого не хочу. Не хочу. Пусть все останется так на всю жизнь...

Дунай! На другом берегу Румыния. Ну как устоять перед соблазном искупаться! Еле уговорила капитана теплохода разрешить с условием, что ко мне привяжут веревку. Прыгнула, и ужас!!! Дунай бешеный, меня колотит, кидает, как щепку, но помощи просить нельзя, как же я смею посрамить свое отечество, весь теплоход смотрит на меня, я даже пытаюсь улыбаться, подняли на борт, дрожу от страха, но улыбаться продолжаю.

На румынском берегу музыка, цветы, много людей. Оказывается, здесь в селе свадьба, и представитель ВОКСа предложил всем выйти мне навстречу. Меня подхватили, усадили за стол, потом все закружилось, понеслось в танце и я с ними! Кружились женские белоснежные крахмальные юбки, кружились мужские шапочки с перьями, кружилась, танцевала, пела земля!

А теперь меня везут в Трансильванские Альпы, к гуцулам. Переводчик рассказал, что село это столетиями славится шитьем и вышивками по сукну, по коже, что это — настоящее искусство. После ритуала встречи, знакомств, показа действительно чуда — великолепных вышивок — ко мне подходит мужчина и на чистом, правильном русском языке приглашает в гости, и я впервые вижу то, что с первого класса мне объясняли как «кулацкое хозяйство»: огромный двор с гумнами, сеновалами, постройками, все добротное, блещет чистотой, порядком, представить себе не могла, что такое существует, что такое можно увидеть не в кино и не в театре.

А конюшня? Какая упряжь, как она отчищена, с какой аккуратностью развешана по стенам! А кони! Ухоженные, сытые, лоснящиеся разглядывают меня своими маслинными глазами... Где мой Марс? Жив ли? Луков мне рассказал, что какой-то умный, добрый человек, когда начались интенсивные бомбежки Киева, открыл конюшни и выпустил всех лошадей, и, может быть, мой Марс жив и сейчас вот так же стоит, вот в такой же конюшне у какого-нибудь немца.

Рассматриваю этого князя, этого чародея, создавшего этот рай... а что, ведь, наверное, из таких мужиков тогда в исходе и начались во всем мире и князья, и цари, и дворяне, и лорды... У него прямые иссиня-черные с проседью волосы, такие же глаза-маслины, как у коней, ему, види-

мо, много лет, он большой, налитой, как спелое яблоко, смуглый, руки дивной красоты — не крестьянские, — как-то очень специфически ходит, может быть, от большого веса и роста, медленно, крепко ставит на землю большие ступни, он не гузул, не украинец, не румын, правда, венгров я еще не видела...

— Не мучайтесь, я таджикский цыган.

Вот так на! У меня распахнулся рот. Я где-то слышала, читала, что таджики и таджикские цыгане по одной из очередных теорий чистые арийцы, идущие непосредственно от индусов, глядя на его породу, можно в это поверить.

Проходим в третий двор и видим перед собой что-то уже совсем невообразимое: человек двадцать взрослых и как горох рассыпаны цыганята, все похожи на деда, прадеда, отца, только к маслинным глазам прибавились еще в кольцах кудри. Все они неприлично красивы, даже от двух старух с трубками веет красотой, мелюзга крепкая, как грибки-боровички. Одна из старух — первая жена хозяина, вторая умерла при родах, и он женат на третьей, молодой, которая стоит с грудным ребенком, а рядом с ней жена правнука, только уже голубоглазая, тоже с грудным ребенком! Никто не отбивает чечетку, не трясет плечиками, стол накрыт как для приема в «Гранд-отеле», только что нет салфеток...

Что-то тут не то, на сей раз я обязана узнать эту тайну... совсем меня добило поведение семьи за столом, и уж совсем наваждение — хозяин интеллигентный человек, а на столе я увидела блюдо из царского сервиза...

Пьем прекрасное домашнее вино.

— Я вижу, что ваше удивление разрастается с каждой минутой! Я петербуржец...

Я вскочила из-за стола под неприличным предлогом и попросила хозяина меня проводить...

— Извините за мой поступок, но то, что можно сказать мне, нельзя говорить при переводчиках, шоферах, представителях ВОКСа. Знаете ли вы советское слово «стукач»?

— Знаю! Знаю! Уже знаю, спасибо вам... Господин Распутин часто приглашал мой хор на балы и вечера, я тот самый цыган, который пел государыне и государю. Я уехал от большевиков в революцию, стал неоседлым цыганом, болтался в кибитках, попал в этот обетованный край и осел навсегда...

Пути Господни неисповедимы!!!

— Что же вы сейчас сделали? Почему не ушли с немцами?

— Вы видите, что я теперь себе не принадлежу, я заложник своей семьи, куда же я их дену?..

— Но вы не понимаете и не знаете, что и вас, и вашу семью арестуют, уничтожат, а все ваше добро, весь труд вашей жизни разграбят!

— Я обо всем этом догадывался и даже уже знал... У меня вся надежда, что сюда они не доберутся, гуцулы ненавидят Советскую власть, и они побоятся подниматься в горы...

— Я не смею советовать — ведь я по возрасту гожусь вам во внучки — но я пережила то, что вам и присниться не может, — у меня арестовали Папу, Бабушку, Брата, бросьте все и бегите, пока не поздно, куда глаза глядят, опять в табор к своим, куда угодно! Я ведь тоже рискую, разговаривая с вами, у нас и этого делать нельзя! Я умоляю вас, бросьте все! Все! В селе знают, кто вы?

— Нет. Они считают, что я обыкновенный цыган...

До ночи хозяин — и один, и со всей семьей — пел для меня, я такого цыганского пения больше никогда не услышу. Мы пили дивное вино. Выехали в темную звездную ночь. При расставании мы оба волновались, я благословила его глазами, он поцеловал мне руку, поклонился в пояс. Таким я его и запомнила. А теперь, когда я думаю о нем и о его цыганятах и представляю, что с ними сделает Советская власть, мне становится страшно.

В Югославии сразу же началось с невероятного! Меня с кем-то перепутали: на подъезде к Белграду у обочины дороги стоят люди и бросают в машину цветы. Я сжалась, но вдруг поняла, что цветы предназначаются именно мне... Я же не стою такой встречи! О чем же оповещает реклама в Белграде? Что я помесь Греты Гарбо с Марлен Дитрих??? А когда, въезжая в город, увидела в витрине какого-то магазинчика свой портрет рядом с портретом маршала Тито... чуть не потеряла дар речи, и тут мой спутник стал с гордостью рассказывать, что после премьеры «Ночи над Белградом» мой партизанский гимн распевает вся Югославия.

Белград уютный, гостиница уютная, в тупичке, в зелени, в центре города, с очаровательным номером. И самый уютный мой «чичероне», как он отрекомендовался, Лалич. Ничего себе гид: окончил Сорбонну и филологический факультет в Белграде, по-русски говорит лучше меня, со старинными оборотами речи, абсолютно интеллигентный человек, толстый, обаятельный, все понимающий про нас. Он сразу сказал: «Я буду оберегать вас от «сопровождающих», — и сразу же у нас сложились отличные отношения.

Первое, о чем мне «доложил» Лалич, что через пару дней прилетает из Германии Борис и нас теперь будут принимать вдвоем, поскольку Борис — известный военный журналист, его корреспонденции печатаются во многих странах и в Югославии тоже. Меня приезд Бориса не обрадовал, потому что будет стыдно перед Лаличем за невоспитанность и неинтеллигентность Бориса.

Мои гастроли начинаются со Словении, а закончатся в Белграде, чему я очень обрадовалась: осмотрюсь, узнаю публику. Все три мои фильма идут с аншлагами. Выступать я буду в концертах, с эстрадным оркестром. Лалич познакомил меня с дирижером, он партизан, полковник, еще ходит в военной форме, недоволен моими оркестровками, сделанными в ВОКСе, видимо, плохими.

В Словении все концерты прошли хорошо. Кстати сказать, Борис слышал меня впервые.

Следующая Хорватия — Загреб, все билеты проданы. Лалич рассказал мне о Загребе — город особый, самый европейский из всех югославских городов, здесь бывают гастролиеры всего мира, публика интеллигентная, разбираются в искусстве, снобы, русских не переваривают, и он крайне удивлен, что проданы все билеты — на русские концерты они демонстративно не ходят.

Подъезжаем к вилле Вайс. Это маленький рафинированный дворец в стиле национальных крестьянских домов, во дворце такая же в деревенском стиле мебель, дощатые полы, но отполированные до блеска, огромные залы, посуда, ткани — все, что видит глаз, в этом же едином стиле. Этот дворец создан миллионером, ушедшим с немцами. Теперь это дом для почетных гостей, за обедом обслуживают официанты. Лалич, когда мужчины ушли курить, тихо сказал мне, что Хорватия — родина маршала Тито, что он желает мне успеха и ждет мой концерт в Белграде.

После обеда ушли в предназначенную для нас с Борисом спальню, и я свалилась, какое-то неприятное самочувствие, и не усталость, и не волнение, не трудная дорога — а может быть, все вместе взятое, но я, практически не болеющая, чувствую себя плохо.

Проснулась рано, тоже что-то не так, и только когда проснулся Борис и заговорил со мной, стало ясно: у меня абсолютно пропал голос! Но не бывает же так в жизни! Это дьявольщина! Я, забыв обо всех приличиях, ворвалась к Лаличу, бужу его и каким-то диким хрипом хочу ему все объяснить, но объяснять не надо — на его лице ужас.

Я хожу по гостинной, жду, не знаю, что делать, я же не профессиональная певица, я даже не знала, что так может случиться. Борис, как всегда, мечется, нервничает, вмешивается и усугубляет и так уже критическую ситуацию, бегая от Лалича, который у телефона, ко мне и обратно, требует отмены концерта.

Не знаю, сколько прошло времени, входит Лалич:

— Концерт отменить невозможно, это грозит скандалом. Ларингологи в Загребе есть, но обычные, не знаю, не уверен, чтобы они смогли помочь. Но есть в Загребе профессор с мировым именем, он не уехал с немцами и теперь, увидя наш коммунизм, закрылся в своей вилле и ждет приглашения за границу. Никого к себе не пускает. Я ничего сделать не смог, еле умолил его подойти к телефону, но ни о чем больше он слышать не хочет.

Лалич везет меня к какому-то специалисту, который, мельком осмотрев мое горло, сказал, что помочь мне может только тот самый профессор и никто больше.

Уже 12 часов дня, надо отменить концерт. Но тут вбежал Лалич, схватил меня, и мы приехали к высокой ограде, за которой рвалась овчарка в человеческий рост. Калитку открыла горничная, в подъезде ждала сестра в белоснежном халате. Меня ввели как в операционную, так здесь было чисто, четко. Высокий, поджарый мужчина лет шестидесяти пяти в безукоризненном халате, и больше ничего не вижу, кроме его глаз: холодных, колючих, даже не взглянувших на меня, разговаривает тихо с Лаличем, на меня ноль внимания, как будто я тень, привидение, и, видимо, запретил Лаличу переводить их разговор.

Только бы не закричать, не разрыдаться, а слезы наворачиваются, я успела их вытереть, когда профессор отвернулся.

Прошла вечность, но, наверное, часа два, профессор спокойно, уверенно что-то делает в моем горле. Мы встали, я по-русски его поблагодарила, попрощалась, а в машине рухнула на сиденье. Лалич взволнован.

— Ну вот что: сейчас три часа вы будете проделывать точно, скрупулезно все, что написала нам сестра, потом профессор вас посмотрит и скажет, сможете ли вы вечером петь, а я беру всю ответственность отмены концерта перед началом на себя. Профессор сказал, что вы должны успокоиться и даже мысленно ни разу не напрячь за это время связки. Тогда можно надеяться, что голос появится. А на концерте все время будет дежурить сестра, которая в критический момент поможет вам.

Когда я заикнулась Лаличу, чтобы он умолял хоть на коленях, как угодно быть на концерте самому профессору, ведь только он знает, как можно спасти в критическую минуту, Лалич подпрыгнул на сиденье — профессор еще ни разу не покидал виллу после ухода немцев, он навсегда уезжает в Америку.

Я все проделываю по секундам, профессор сказал отключить мозг и не думать о концерте, и я думаю о том, что в эту минуту дома, в незнакомом Париже, в театре, на земном шаре...

Входим с Лаличем в калитку в 18 часов 15 минут. Быстрый, короткий пронзительный взгляд профессора мне в глаза, в меня. И началось все как утром: какие-то смазки, какие-то колбы, из которых надо что-то вдыхать ртом, шиплет, тошнит, и наконец вижу в его руках огромный шприц!

От страха перед профессором даже не пикнула, он сделал два укола, один точно в мозг, потому что в нем помутилось, второй в связки. Когда все встали и Лалич что-то еще начал говорить, профессор повернулся спиной и, не попрощавшись, вышел.

В машине где-то издалека до меня дошел смысл происходящего: концерт можно не отменять, ни единого звука до выхода на сцену не произнести, на крайний случай будет дежурить сестра, а когда Лалич в конце заикнулся, чтобы профессор сам пришел на концерт, он и вышел из комнаты, не попрощавшись.

Лалич вдруг начал бить себя по лицу, по голове:

— Дурак я! Дурак! Дурак! Я виноват во всем! Я не должен был везти вас на озеро Блэд! Такие случаи и раньше бывали с людьми после посещения этого чертова озера! Профессор сказал, что это от этого Блэда — люди снизу круто поднимаются на машине потные от жары, а там лед на воде...

Но красоту такую, как это озеро Блэд, даже представить невозможно: высоко в горах голубое озеро, гладкое, как стекло, по нему медленно плывет гондола, и гондольер, напевающий свои словенские песни!

Так вот откуда дьявольщина!

Время остается только одеться и стать красивой. В Югославии я придумала так построить концерт: после шапки концерта, которую объявляет Лалич, свет гаснет и на экране появляюсь я, поющая гимн из «Ночи», а когда меня на экране убивают немцы, зажигается свет, я выхожу на сцену и допеваю третий куплет.

Уже слышу со сцены второй куплет, встала и пошла к кулисе. Сейчас шагну на сцену, а звука в горле не будет. На экране немцы стреляют, я падаю. Полный свет на сцене, и чуть не вырвался крик: напротив в кулисе стоит в своем белоснежном халате профессор и смотрит мне в глаза. Потом прикрыл веки, благословляя, и я шагнула на сцену...

Это самый большой успех за всю мою короткую эстрадную жизнь. Это объясняется еще и тем, что публика каким-то образом узнала о моем голосе и аплодировала еще и за мою решимость, а когда после всех манипуляций профессора, уже на бисовках, я раскрыла рот, чтобы взять высокую ноту, а звука опять никакого не оказалось, зрители стоя устроили мне овацию.

У Бориса на следующий день встреча с интеллигенцией и писателями прошла плохо, было несколько человек. Вел встречу Лалич и по секрету сказал мне, что у Бориса пло-

хая разговорная речь, что говорит не то, что надо говорить, на вопросы отвечает невнятно и даже фальшиво. Лалич попытался переводом выровнять речь Бориса, но почти все понимали по-русски и от перевода отказались, и еще добавил, что Борису нужно немедленно здесь же в Загребе сшить костюм и вылезти из военной формы.

В Черногории и в Македонии концерты прошли хорошо, и теперь я всем существом в Белграде.

Настал этот день. Такой переаншлаг, как на премьере «Сирано», — зал набит битком, приставные стулья, сидят на ступеньках.

Ах, как мне мешает Борис — он мечется, нервничает, боится, что я провалюсь, я запретила ему входить ко мне в уборную.

Я в лучших своих платьях, наконец-то сшитых для меня. Интересна история с моей портнихой: когда я ехала из Паневежиса от Тети и Дяди опять через Вильнюс, в кафе ко мне подошла женщина, некрасивая, немолодая, очень худая, неуловимая печать какого-то наркотика — бесцветность лица, но элегантная, воспитанная, и сказала, что она лучшая портниха Прибалтики, но теперь без крова, без денег и не могла бы я ее взять с собой, а она превратит меня в красавицу. Все оказалось правдой: она первоклассная мастерица и с таким вкусом, что ей могла бы позавидовать любая европейская модельерша с мировым именем. Что с ней было при немцах, не рассказывает, а теперь хочет «всеми фибрами души встать на ноги». Она литовская полька и очаровательно и смешно говорит по-русски. Жила у нас долго, и счастье, что Борис днем дома не бывает, они бы вместе так курили, что наш дом в виде облака улетел бы в небо. Только пани Еньджа курит дивно пахнущие сигареты, которые благодаря спекулянтам появились у нас после войны, а Борис свой «Казбек» с невыносимым запахом невымытых ног.

Для концерта в Белграде я выбрала два лучших туалета, созданных пани Еньджей, — для первого отделения изумрудно-блеклое платье, сшитое как римская туника, с цветами из искусственных бриллиантов, а второе — платье из мягкой тафты, нежно-серое с еле видными размытыми разводами оранжевого, голубого и зеленого цвета, сшитое как смокинг, с широкой юбкой и с рукавами из собольего меха. Какая радость быть хорошо одетой и ничего не стыдиться, правда, туфель хороших у меня все-таки еще нет, но их не видно из-под длинных платьев.

Пани Еньджа мне ниспослана чьей-то доброй силой, я была после Ташкента опять совсем раздета и хотя купила

несколько отрезков у спекулянтов — сшить их некому, негде, мастеров нет, шить разучились. Пани Еньджа выбрала самые красивые материалы, а оставшиеся я привезла с собой сюда за границу, чтобы сшить их здесь — пол общий хохот всех друзей. Вообще-то, как я понимаю, они меня считают дурочкой, но я сознательно это сделала, потому что мне претит, переворачивает душу, когда начинаются все эти разговоры, кто, что, почему привез из-за границы. Дошло до того, что одна киноартистка, побывав в «освобожденных странах» с фронтовой бригадой и накупив всего до неприличия, попросила знаменитого поэта захватить один из ее чемоданов в Москву. По приезду оказалось, что этот знаменитый поэт этот чемодан потерял, и все было бы ничего, если бы эта киноартистка не увидела в общественном месте на жене знаменитого поэта, тоже знаменитой киноартистке, свою вещь! А дальше все уже было совсем безобразно и на всю Москву! Да, мне переворачивал душу чемодан, привезенный Борисом из «освобожденной Польши», да, мне переворачивали душу толпы интеллигенции, хлынувшие в сороковом году в «освобожденную Прибалтику» обирать, хапать, рвать, выменивать, а теперь пани Еньджа еще и рассказала мне, как все это было, как русские, ворвавшись в «освобожденно-оккупированные страны», забыли о том, что за ними, за их спинами стоит русская нация, забыли, что нужно быть даже лучше, чем мы есть на самом деле.

Я вспомнила о пани Еньдже и рада, что не думаю о концерте, до начала остается тридцать минут.

Здесь я изменила порядок концерта. В этом зале нет своей кинопроекции, и, осматривая зал, я увидела, что киноаппаратуру нужно будет ставить в бельэтаже, среди зрителей, аппаратура трещит, отвлекает и зал слишком торжественный, уютный с парадным царским рядом из красных с золотом кресел — плохо все это, тем более что за окнами так и продолжает идти «Ночь».

Концерт открыли увертюрой на мелодии «Ночи» в исполнении оркестра, дальше все идет по программе. Нужно поклонить колена перед Лаличем: программа напечатана и оформлена с таким вкусом и, как я понимаю, в таком блестящем переводе, что сама за меня будет петь. Я же никогда не была, не выступала за границей, я не знала, что в моем жанре зрители обязательно должны понимать, о чем я пою, ведь кто-то в Москве должен был знать об этом, приготовить переводы...

Последней я пою «Ночь», и я придумала в конце песни на словах «в бой, славяне, заря впереди» выхватить спрятан-

ный в рукав большой алый газовый шарф и взмахнуть им над головой! И не просто спеть эту фразу, а вложить в нее смысл.

Мне пришло это в голову потому, что я почувствовала в этой стране более сложное, интересное, чем то, что творилось у нас, почувствовала это и в разнице отношения окружающих ко мне и к Борису: меня воспринимают, как должно воспринимать артистку, а к Борису есть невидимая, внутренняя неприязнь и не почему-либо, а именно как к носителю советского. Я даже как-то, когда переезжали мост, вдруг бабахнула Борису: «А ведь Югославия коммунистическая страна не по-нашему». Борис метнул на меня огненный взгляд, но в машине никого, кроме Лалича, не было, а он сделал вид, что не слышит.

Вошел спокойный Лалич, торжественный, в смокинге, поцеловал молча в лоб и молча пошел на сцену. Какой он человек! Как бы я могла с ним дружить! Как с Яшей! Какой он молодец, что не влюбился в меня, что он семьянин, что любит как две капли воды похожую на него жену, что он умный, порядочный, тонкий.

Без стука влетел растерзанный, потный, бледный администратор:

— Ну, можно начинать! Чтобы для вас не было неожиданностью, я обязан сказать вам, что прибыл маршал со всем генералитетом, они сидят в царском ряду!

Последние звуки увертюры...

...я лучше всех на свете, лучше всех королей, царей, вождей, я сейчас осчастливлю их всех своим появлением... Бирман так учит нас мысленно говорить перед выходом на сцену...

Никогда больше в моей жизни не будет и не может быть столько цветов, все двенадцать песен пришлось бисировать, и наконец «Ночь» и мой шарф. Так на голову может обрушиться лавина: галерка, балконы ринулись вниз к сцене, схватили меня за подол платья, не отпускают, пришлось спеть три раза, и, если бы не Лалич, не знаю, чем бы все кончилось. До гостиницы меня сопровождала полиция.

Борис и дальше портит вечер — теперь он без конца просит прощения за свое поведение за кулисами. Он утром должен улетать обратно в Германию с тем, чтобы вернуться ко мне в Будапешт, куда мы попадаем к нашему празднику 7 ноября.

Милый Лалич, он бежит со мной по Белграду, чтобы помочь мне сшить за сутки туалет к дневному приему: я приглашена к маршалу на обед.

Машина привезла меня ко дворцу короля, покинувшего страну с приходом коммунистов. Обыкновенная калитка, и за ней шагает мне навстречу маршал в штатском — на концерте он был в мундире — с садовыми ножницами и только что срезанными черными розами, у ноги красавица овчарка, впившаяся в меня глазами.

— А вот мы сейчас и проверим, как вы ко мне относитесь, если плохо, Рэкс сейчас же вас разорвет на части у меня на глазах!

Маршал очень интересный, веселый, приветливый, и день ласковый, солнце заливает и сад, и дворец, и нас. Рэкс ласково урчит, мы смеемся.

— А Рэкс не может продемонстрировать, как вы относитесь ко мне?!

— Может! Видите, как он не сводит с вас глаз...

Мы сидим в его небольшом, неофициальном очаровательном кабинете и болтаем, болтаем... На нем кольцо с большим черным бриллиантом, оно приносит ему счастье, когда на руке. Рэкс, оказывается, немец, еще плохо понимает по-сербски, принадлежал немецкому офицеру, но маршала спас от смерти. Мне все интересно, так бы болтать и болтать... но нас приглашают в столовую.

Огромный прямоугольный стол, и навстречу нам поднимается человек двадцать из маршальского генералитета: один к одному, молодые, высокие, красивые, в великолепно сшитых мундирах. Меня сажают в центр на старинный стул с высокой спинкой, видимо царский, и такой же рядом у маршала, с другой стороны

посол, который принимал нас с Борисом у себя в посольстве в Москве. Он вчера прилетел и был на концерте. Стол, как и зал, тоже царский, меня это покорило, в стране голод, в Черногории на банкете, устроенном для меня, встал, не знаю, как у них он называется, самый главный и извинился, сказал, что еда будет состоять из свекольной ботвы в разных видах, потому что правительство обязано есть то, что ест народ.

Как только сели за стол всю торжественность как ветром сдуло: смех, шутки, тосты, и никогда больше в моей жизни такого обеда не будет!

...Прощай, Югославия!

В Будапеште меня уже ждет Борис и торжественно вручает приглашение на прием к Ворошилову по случаю праздника 7 ноября. Здесь, оказывается, так же, как и в Болгарии, стоят наши войска, и Ворошилов — командующий или, в общем, главный.

Будапешт — настоящий европейский город, он чем-то даже напомнил мой Ленинград, но разбит больше всех, гостиница без горячей воды, а некоторые окна до сих пор забиты фанерой, но народ!!! С такой искоркой! Особенно женщины — и некрасивые, а чертовки!

На сей раз «сопровождающий», набравшись венгерского духа, повел нас в кабачок, где собирается творческая интеллигенция. Меня узнали, встретили аплодисментами, тут же ко мне подошел скрипач, и полились в душу чарующие звуки, а я не знаю, как себя вести с этим скрипачом, это же тоже впервые в жизни. Кроме кофе, чашечка которого стоит бездну денег, и вина, ничего нет, но все веселятся! Веселятся, и всё! А мы с Борисом не можем заказать и этой чашечки кофе за деньги, которые мне обменяли: их и по курсу-то копейки, а в Венгрии инфляция, и у нас денег просто безобразно мало, разве что на стакан газированной воды! Стыдно. Переводчица заказала нам вино. Переводчица — бывшая артистка и повела меня в будапештский Камерный театр, в котором царит замечательная Гизи Бойер — эта чародейка заставила меня многое передумать, сломать в моем понимании актерской профессии в театре. Как только начался спектакль, я попросила ничего мне не переводить: все, что думала, говорила, хотела Гизи — я понимала.

Еще переводчица повезла меня на кладбище — оно совсем не разрушено ни войной, ни временем, оно удивляет красотой, за которой мир почтения к могилам и уважения к живым.

Неожиданно прибегает в гостиницу «сопровождающий»: мы приглашены на обед к Ворошилову. Подъезжаем: отремонтированный особняк виден со всех сторон, шикарный подъезд, встречает военный, ковры, дорогие убранства. Хозяева не встречают — видимо, не тот у нас ранг. Военный вводит нас в малень-

кий кинозал, и только здесь появляются Ворошилов с женой. Выясняем, что мы будем сейчас смотреть фильм «Александр Пархоменко», и мы сникли: фильм длинный, мы голодны, как дворовые псы! Сели и только отсчитываем части, но... у меня возникло видение фильма как бы со стороны, как бы чужого: все ошибки, удачи, неудачи, неровности, мне стало интересно, а у Бориса нервная дрожь при воспоминании об обеде. Конечно, Ворошилов выбрал этот фильм не из-за меня, а из-за себя, он тоже в нем участвует: фильм о гражданской войне, Ворошилов тогда командовал царицынским фронтом и его очень хорошо сыграл артист Боголюбов. Ворошилов — Боголюбов в фильме обаятельный, энергичный, умный, талантливый. Неужели Ворошилов возит фильм с собой по странам и весям?!

Мы уехали в нашу холодную гостиницу пьяненькие и сытые и попрощались с хозяевами до послезавтрашнего приема.

Прием!.. И все-таки, все-таки европейские коммунисты отличаются от наших! Отличаются! Может быть, потому, что у них меньше стаж и они еще не совсем отупели и охамели... Краснеть приходится направо и налево. Один танковый генерал, молодой, огромный богатырь, выпив, спокойно отодвинул ложки, вилки, ножи и со вкусом вкусно ест руками. Ну и что! Зато он вот так же спокойно, честно, лицом к лицу с врагом и со смертью отвоевал свою родину от иностранного нашествия и отвоевал-то не умением, а вдохновением, смекалкой, сам до всего дошел в беде.

И с другой стороны: все наши коммунисты, они же рабочие и крестьяне, ну откуда им знать, понимать, что надо делать за столом или в жизни. Никто из них никогда никуда не выезжал, их не выпускают, вокруг примеров никаких — Сталин расстрелял интеллигенцию, и я с гордостью смотрю, как лучшие из этих несчастных, ничего не повидавших, стараются, как тянутся приобщиться к культуре, к Европе.

И сам Ворошилов: он рабочий, я видела его фотографию в юности, в эдакой кепочке, в аккуратной косоворотке, рабочая косточка, рабочая аристократия — золотые головы, золотые руки, он, наверное, был бы знаменитым мастером, а теперь его сделали вождем, а он не вождь, и, может быть, глубоко внутри, про себя и не хочет им быть, но пути обратного нет! Нет и таланта, ума, чтобы вырваться из этого замкнувшегося круга.

И все-таки, когда я, окончив танец, очутилась около него, то приросла к полу.

— Ну и как вам понравился наш будапештский кабачок?!

Значит, ему тоже все доносят и он принимает эти доносы? Видя мою реакцию, он тут же обратился к подошедшему Борису:

— Ну как же вы, Борис Леонтьевич, не научились танцевать, так вы можете потерять свою красавицу жену, посмотрите, каким

успехом она пользуется, танцы — вещь коварная, я в молодости, знаете, скольким девушкам голову вскружил!

Опять проводила Бориса, больше он не сможет ко мне прилетать, договорились о встрече в Москве.

Здравствуй, славянская Прага! Она кажется мне очаровательной игрушкой, со всеми своими дворцами, садами, домами. Встреча почти как в Югославии, но гостиница полна наших кинематографистов: они снимают на пражской студии два фильма, и у меня сразу испортилось настроение — значит, сплетни, зависть, злоба, значит, устроили сюда поездку, чтобы здесь, как в сороковом в Прибалтике, Польше, Молдавии, хапать, грабить, скушать, увозить домой.

Стук в номер — на пороге Марта! Какой сюрприз! С Мартой в номер вошла Москва, мой дом! Марта — пресс-атташе в чехословацком посольстве в Москве, она пришла к нам домой, чтобы договориться с Борисом об издании его «Непокоренных» в Праге. Молодая, живая, интересная, смешно, но отлично говорящая по-русски, между нами сразу протянулась ниточка. И это не все!

У Марты настоящая трагедия, у нее роман с югославом, и она забеременела. Она не замужем, мораль у них еще не такая, как у нас: она не может родить ребенка без мужа, а с югославом, видимо, пути расходятся, а аборт у нас запрещены, и бедная Марта мечется по чужой Москве, и эта вот «ниточка» привела ее ко мне. Я отказать ей не смела, представила себя в ее положении, нашла врача, но сделать операцию он может только не в своем доме. В чьем доме? Марта живет в доме для иностранцев, врач, естественно, отказался туда идти, и он прав, туда муха не пролетит непроверенной милиционерами. С Борисом говорить нельзя, он никогда не пойдет на такой шаг: иностранка, аборт — противозаконный акт, да еще у нас дома.

Верчусь, как уж на раскаленной сковородке: то врач не может, то домочадцы не уходят из дома, и наконец операция состоялась. Марта рыдала не от боли, а от счастья, и вот теперь она стоит на пороге моего номера, и так все случилось, что отблагодарила она меня сторицей.

Реклама хорошая, и аншлаги, и журналисты, а репетиций все нет и нет... Начали с Мартой волноваться — для репетиций остается все меньше и меньше времени, и в ВОКСе ничего вразумительного не объясняют. Вот тогда Марта становится моей разведчицей и узнает, что сопровождать меня в концерте приглашали джаз с европейским именем под руководством Карела Влаха, но он наотрез отказался участвовать в концерте с советской артисткой, а когда его уговорили и он взял в руки оркестровку, то взбесился и швырнул их на пол, закричав, что он не только исполнять их не будет, а даже в руки не возьмет, музыканты будут хох-

тать над ним. И когда его уговорили написать новые оркестровки, он заломил такую цену, что в ВОКСе упали со стула, конечно, он сделал это нарочно, зная, что у ВОКСа в помине нет таких денег. И если бы не Марта, я обо всем этом никогда не узнала бы и вышла бы на сцену Бог знает с кем.

Решаем с Мартой отдать Влаху весь полагающийся мне гонорар, но этого тоже оказалось мало, и тогда Марта заключила с каким-то издательством договор на издание «Непокоренных» с тем, чтобы получить аванс. Для этого Борис должен был сам позвонить из Берлина в издательство и сказать, что аванс он просит перевести на ВОКС, а дни бегут, и что бы я смогла сделать без Марты, без языка, без телефонных связей.

И наконец звонок из ВОКСа — репетиция в зале «Люцерна», где я буду выступать. Волнуюсь, потому что никогда не сталкивалась в работе с таким плохим человеком и с таким знаменитым джазом.

Вхожу. В первом ряду спиной сидит маленький человек. Сопровождающей у меня в Праге оказалась не стукачка, а очень симпатичная молодая женщина с русским именем Надя, но плохо говорящая по-русски, и поэтому она всюду берет с собой переводчицу. Они обе пошли мне навстречу, но тот маленький человек не шелохнулся. Знакомимся, руки не протягиваю, а вдруг он не подаст в ответ. Не глядя на меня:

— Напойте, я таких песен никогда не слышал!

А может быть, переводчица еще и смягчила перевод... повернуться, бежать куда глаза глядят, но не имею права, но обязана стоять! Вот так, оплеванная, оскорбленная, пытаюсь ему напеть. Сказал, что ему на оркестровки нужно два дня, и вышел, не попрощавшись.

Угловатый, худющий, быстрый, лет тридцати пяти, лицо злое, некрасивое, с очень интересными огромными зелеными глазами, из которых, как лучом, пронизывает свет, похож на немца. Надя рассказала, что он махровый антисоветчик и у него есть какие-то для этого основания. А что, если оркестровки будут еще хуже моих?.. А что, если джаз типично эстрадный — «мимо» моих песен?..

Сделать хуже, но наверняка или сделать лучше, рискуя??? На репетиции остается два дня — для Влаха этого достаточно, а что будет со мной?!

«Люцерна» — огромный зал. Таинственный. Могильная тишина. Как примет зал? Какая публика? Понадобятся ли усилия, как в Загребе, чтобы ее переломить, или меня ждет успех, как в Белграде?

Первая репетиция. Пришла заранее. села в первый ряд, на сцене темно, но расставлены стулья для оркестра, дирижерский

пульт. Откуда в человеке появляется сила выжить в такие минуты да еще и делать вид, что все прекрасно, все привычно. Марты со мной нет, она сочла свое присутствие неприличным. Надя и переводчица нервничают, журналистов я попросила не присутствовать, я с ними встречаюсь в гостинице.

Рассаживается оркестр, оказывается, он колоссальный, много скрипок, полный свет, выходит Влах. Он выглядит болезненным, измученным, поднимает оркестр, и все мне кланяются. Не знаю, должна ли я встать и поклониться в ответ, но по человеческому зову я встала и поклонилась. Теперь я должна прослушать оркестровки! И сошла с ума! Я не узнаю своих песен, это музыка, настоящая музыка, а когда в «Землянке» тихо, под сурдинку заплакали скрипки российской грустью, у меня ручьями полились слезы. Влах смотрит на меня, а я заплаканная ничего и сказать ему не могу.

Просить о том, чтобы в день концерта не делали репетицию, не пришлось — здесь это закон, вечером генеральная, и все. Бржу взволнованная по Праге.

На генеральной все спела, «Землянку» петь не могу, задыхаюсь от слез, репетиция окончена.

Влах спускается вместе со мной по лесенке в зал, сели, он берет мою руку и что-то много-много говорит, переводчица не успевает за ним: он не спал две ночи, делал оркестровки, он счастлив, что они мне понравились, он желает, чтобы завтра у меня был успех, он в этом уверен, он впервые видит такую «советскую»... рухнуло все национальное, политическое — остались два сердца. Он сам предложил для увертюры моего любимого Гершвина. Концерт принимает форму элегантную, изящную.

Лечу на крыльях в гостиницу, благо она наискосок от зала.

В 9 часов утра телефонный звонок. Резанул неприятный голос, манера говорить.

— Сейчас за вами выезжает машина, посол хочет с вами говорить.

— Извините, но я в день концерта никакими делами заниматься не могу...

— Но тем не менее вы сядете и приедете!

Неужели дома что-нибудь! Или с Борисом! Почему такой тон?

Выхожу, рядом с шофером сидит человек, и так на меня пахнуло своим, родным, хамским: не вышел мне навстречу, ни здравствуйте, ни прощайте, и я тоже молчу, так и проехали довольно длинную дорогу. Вводит в кабинет посла. Полная противоположность моему спутнику — похож на дипломата, мягок, вежлив, чего нельзя сказать о предыдущих послах, которые меня принимали.

— Что-нибудь случилось дома?!

— Нет-нет, не волнуйтесь, дома все в порядке, и, кажется, вашего супруга посылают в Японию... я, конечно, не из-за этого вас попросил приехать в день концерта... простите, что в такой день потревожил...

В его специальной, нерешительной манере говорить что-то тягостное, волнующее.

Спутник стоит в дверях, ситуация странная, глупая — посол не приглашает его войти, а тот не уходит. И вдруг посол резко поворачивается к нему:

— Оставьте нас, пожалуйста, вдвоем.

Тот с наглым лицом медлит, но выходит, грубо бросив дверь. Неужели и здесь гэбэшники, неужели они могут командовать по-слами...

Сердце бешено колотится.

— Вы знаете, что в «Люцерне» аншлаги на ваши концерты? Что пресса ждет их?

— Знаю.

— ...Как вы себя чувствуете... вы уверены в успехе...

— Если вы не хотите, чтобы у меня разорвалось сердце, скажите сразу, что случилось.

— Хорошо. Вчера вечером, когда вы были на генеральной репетиции в «Люцерне», ко мне явились наши представители искусства во главе с чехословацким министром культуры Копецким и выразили сомнение, нужно ли вам вообще выступать в Праге, что вы артистка кино и театра и не такая уж «звезда», чтобы взять на себя ответственность представлять Советский Союз, и уж совсем не певица, пытались выяснить, кто конкретно послал вас от ВОКСа, и требовали отмены концертов... Очень вас прошу не волноваться, я ведь и попросил вас приехать, чтобы успокоить, сказать, что все хорошо! Я вчера же позвонил в Софию, Бухарест, Белград, Будапешт, расспросил о ваших концертах и принял твердое решение, более того, решил, что именно я должен рассказать вам обо всем сам, потому что вы могли услышать все это у себя в гостинице и у вас могло не хватить сил, чтобы не дрогнуть.

Неужели еще сохранились, не добыты окончательно вот такие умные, хорошие люди, как этот посол Зорин, а если бы послем был тот хам, мой спутник?.. Страшно подумать, как бы все могло обернуться...

— И это еще не все. Судя по поведению ваших коллег по искусству, от них можно ожидать, чего угодно. Прошу вас приехать в гостиницу и ни на что, и ни на кого не реагировать, не открывать дверей, не подходить к телефону и на концерте ни на что тоже не реагировать. Что-нибудь вам для концерта нужно?

— Спасибо, ничего... Кроме счастья...

— Ну, этого у меня самого в обрез, но хорошее настроение мы вам всей семьей на сцену передадим. Как что-нибудь дрогнет в вашем сердце, смотрите на нас, я буду сидеть со всей семьей, которая очень хорошо к вам относится, в левой от вас ложе. Договорились?

— Договорились!

Как на крыльях, вылетаю из кабинета и чуть не убиваю спутника, он еле успел отскочить от дверей.

Только вошла в холл гостиницы, меня окружило несколько человек наших молодых артистов, здесь снимающихся: им надо немедленно, сейчас же поговорить со мной. Поднимаемся в номер, и они взволнованно рассказывают о том, что они нечаянно узнали о поездке артистки Тамары Макаровой к послу вчера вечером, что она ездила с местным министром культуры Копецким с требованием отменить мои концерты и что они уже сбегали в «Люцерну», отмены концертов нет, и они давно купили ложу справа от меня, что они будут на сцене «со мной» и «если что», то встанут на защиту: милый, прелестный, уже премьер в кино Володя Дружников, Катя Деревшикова, которая снималась в эпизоде в моем фильме «Это было в Донбассе», еще два незнакомых мне актера и два молодых поэта-писателя. Их участие в моих бедах искренно, трогательно, и я совсем воскресла.

Эти два молодых поэта-писателя в Праге в командировке, чтобы написать сценарий о наших войсках за границей. Конечно же, они прорвались в Чехословакию впереди своих маститых коллег с корыстью, но один из них, Миша Вершинин, однофамилец моему Илюше Вершинину, симпатичный, веселый, а со вторым, Жоржем Рублевым, получается нехорошо: фактически тот стал доносчиком. Он, оказывается, поклонник Макаровой, общается с ней, допущен в номер как свой, выгуливает ее собаку, в курсе всех ее дел, ее романа с Копецким, вот он-то и рассказал о том, что Макарова едет с этим Копецким к послу. Какая некрасивая история, тем более что Макарова, встретившись со мной в холле гостиницы, мило меня приветствовала. Макарова впервые снимается не у мужа и несколько месяцев одна в Праге.

Теперь у меня к Макаровой и ее мужу, кроме неприязни, возникшей тогда в Ташкенте, во время войны, когда они разгуливали по главной улице как опереточные героини среди вшей и ужаса, прибавилось изумление: зачем она ездила к послу? Зачем ей все это надо? У нее же все есть...

Стою на выходе у кулисы, Влах заканчивает увертюру. Здесь концерт идет, как в Белграде: решила «Ночь» не показывать, потому что в зале тоже нет кинопроекции. Последний аккорд. Выхожу. Встречают зрители хорошо, но не так, как в Белграде, —

осторожно, как в Загребе. Слева от меня в ложе Зорин с семьей, справа — моя молодежь.

Я никогда не смотрю в зал, но тут и смотреть не надо: в первом ряду в середине, прямо у моих ног, сидят все «те» — Макарова с Жоржем Рублевым, режиссер Савченко со своей героиней и другие злые люди, которых я не знаю. Ведь даже «чистые» кинематографисты не могут не знать, что в театре закон: нельзя садиться своим ближе пятого ряда. К аплодисментам, которыми меня встретили, эта публика не только не присоединилась, а демонстративно не шелохнулась.

Последняя песня отделения — моя «Землянка». Тишина в зале могильная, и вдруг слышу, ощущаю, как удары, стук каблуков, все «они» поднялись и пошли по центральному проходу, громко, демонстративно, во весь рост, к выходу, забыв даже, что они не у себя дома. А я? Что я? Не знаю, что я. Допела. Когда зал обрушился аплодисментами, встретилась глазами с послем, он сиял, он был горд, он сжал ладони в рукопожатии. Вот и все. Провожали в гостиницу, как в Белграде, с полицией.

Влах не взял ни копейки за оркестровки, и у меня оказалась в руках куча денег. Я сшила себе наконец платья из материалов, которые я так и таскаю с собой из Москвы «по Европам». Ах, какие красивые получились платья, не хуже пани Еньджи. Купила в подарок Маме мечту ее жизни — большую, теплую шерстяную кофту, а Зайчику ее мечту — собаку Арну, она, правда, как и титовская овчарка, иностранка и по-русски еще ничего не понимает, но смотрит в глаза такими умными, прекрасными глазами, желая понять, что ты от нее хочешь, а пока что мне пришлось заучить для нее команды на чешском. Она аристократка по документам чуть ли не в десятом колене! Но цена! Я могла бы на эти деньги купить шубу! И еще не удержалась, несмотря на данное себе слово, и купила на остатки денег две красивые вещи! Но ведь только две!

В реве мотора запели под сурдинку скрипки: «Я люблю тебя, Вена», — замелькали кадры фильма «Большой вальс», виденного несчетное количество раз.

Вместо обычной машины из ВОКСа маршал Конев прислал за мной свой самолет. Оказывается, в Вене тоже наши войска, а главнокомандующий — маршал Конев. Такие почести меня при- давливают, выбивают из колеи.

Раньше Миша и Жорж попросились со мной в машину от ВОКСа — дальше у них командировка тоже в Вену, в части Конева, и теперь они прибежали и умоляют взять их в самолет.

В самолете рассмотрела их: оба очень молодые, лет по двадцать пять, Миша, как и показался мне тогда у меня в номере, живой, остроумный, быстрый, обаятельный, но Жорж отталкивает от себя и не потому, что он некрасив, как-то даже уродлив — кожа желтая, прямые черные волосы, огромный нос, маленькие бегающие глазки, — но за всем этим есть какая-то угодливость, хитрость, двуличие, и старичок он, мрачный, вообще, по-моему, не может улыбаться. Миша рассказал мне, что его настоящая фамилия Шульман, а Жоржа — Каценель.

Дальше все началось по Швейку: мою Арну весь полет рвало! Беспрерывно! Тем более что метрдотель, прощаясь со мной, накормил ее как следует знаменитыми кнедликами, и эти кнедлики начали возникать по всему самолету. Правда, летчики и глазом не повели, как будто ничего не видят и не слышат, а приземлившись, элегантно взяли ее на руки и вынесли на землю, но эта несчастная бестия пошла ко мне, как пьяная, мотаясь из стороны в сторону, пришлось взять ее на руки, еще и утешать, хотя самолет действительно мотало и сама бы я тоже не отказалась от утешений.

В аэропорту нас ждала машина, и мы наконец въезжаем в Вену. Жадно всматриваюсь в широкую красивую улицу, круто идущую в гору, улица еще пуста, но навстречу нам летит американский военный джип...

Очнулась на чьих-то руках, соображаю, что в Вене, смотрю в

лицо человеку, который держит меня на руках, четко понимаю, что я сошла с ума: артист Кеслер, которого я видела в последний раз в тридцать седьмом году, когда меня выгнали из театра, он, чтобы удержаться на ногах, привалился к стене дома и жадно смотрит мне в лицо...

— Жива! Жива! Ура-а-а-а!

Как-то странно начинается мое помешательство: русский мат, до неузнаваемости искаженный акцентом, с трудом поворачиваю голову и вижу, что джип въехал в заднее сиденье нашей машины, Миша стоит на тротуаре сам, но весь в крови, Жорж лежит на переднем сиденье, как мертвый, шофер цел, невредим, в шоке, его обнимают, целуют американцы в военной форме, на улице из-за раннего часа никого нет, американцы так пьяны, что, целуя шофера, держатся за него, они совсем не стоят на ногах, картина умилительная: их трое, они по-настоящему плачут, видимо, просят прощения, выговаривают английские слова, пересыпая их жемчугом русского мата, один качнулся к Мише и вытирает ему кровь платком, один упал, упал в прямом смысле, передо мной и Кеслером на колени, третий, держась за стену, умудряется куда-то довольно быстро идти...

Шофер в полном порядке, ударило сзади, он предвидел удар и вцепился в руль; у Миши только небольшие порезы на лице от разбитого стекла, он сам вылез из машины; я схватилась за лицо, цело, но головка бо-бо, дверца машины с моей стороны от удара открылась, и я ласточкой вылетела и по логике должна была влететь в эту самую стену, у которой мы стоим с Кеслером... но именно Кеслер проходил мимо, именно в этот момент, видел, как в нас въезжает джип, и поймал меня на лету. Хуже всего с Жоржем, он не приходит в сознание, из носа бьет кровь, он, видимо, со всей силы ударился лицом о переднее стекло.

Америкашки меня потрясают — я ведь тоже впервые вижу офицеров не в кино: как же это они, будучи такими пьяными, что не могут совладать ни с телом, ни с языком, могут соображать, понимать?! Что это, духовная дисциплина? Или как еще можно это назвать? Я никогда таких пьяных не видела. Видела пьяных, которые еще могли стоять на ногах, но являли собой идиотизм и свинство, а лица у этих америкашек пьяные, но нормальные. Ладные мужчины лет под сорок, крепкие, форма в порядке.

Конечно, первой приехала их «скорая», и по требованию рассудительного Миши нас повезли в наш госпиталь. Мне заклеили темя, Мише надели в двух местах скобки, а Жоржа оставили в госпитале, он пришел в чувство еще по дороге, но лицо сильно разбито, и боятся, нет ли сотрясения мозга. Ну как у меня в жизни получается? Когда мы в аэропорту погрузились в машину и я хотела сесть впереди, как и полагается даме, Жорж довольно бестакт-

но заявил, что он себя плохо чувствует и сядет рядом с шофером, после общего короткого замешательства от его наглости я села с Мишей на заднее сиденье и именно с дальней стороны от удара.

У Жоржа небольшое сотрясение мозга, он лежит в госпитале, а америкашки продолжают и дальше меня удивлять: несмотря на то что я очень просила скандал замять и его замяли, они явились в госпиталь, прихватив переводчика, проведать Жоржа, наведя на обслуживающий персонал панический ужас, так как нас лихо обучили бояться всех иностранцев без разбора. Более того, оказывается, джип после удара сразу завелся, и они могли спокойно удрать, пока мы в шоке, что бы и сделали наши.

Миша присутствовал в госпитале во время посещения американцев, его трясло, когда он начал мне рассказывать, как Жорж при виде фруктов, джина, сладостей, которые они ему принесли, завел разговор о компенсации — Миша еле удержался, чтобы не ударить его по голове, прекратив этот разговор.

А я сразу подумала, что ведь как я изучаю этих американцев, так ведь и они изучают нас, и мы есть «воленс неволенс» представители своего народа.

Америкашки чистосердечно рассказали, как все случилось: пили всю ночь, ехали домой по пустынным широченным улицам, распевали песни и придумали игру: ехать от тротуара к тротуару и при развороте не задеть тротуара ни на сантиметр, а проигравший должен выйти из машины и пропрыгать, как кенгуру, десять шагов. Когда они увидели под горой в конце улицы нас, они «очень сосредоточились» и фактически уже проехали, но руль вильнул, и они въехали в наш багажник.

А с Кеслером вообще невероятно: он в Вене с фронтовой театральной бригадой, живут они в гостинице без горячей воды, и он, схватив узелок с чистым бельем, побежал перед выездом на концерт к открытию бани именно по этой улице и оказался именно в этом месте... Ну! Чудо?!

Я теряю голову от Вены! Только от сюда могли ворваться в мир эти пленительные вальсы! Это она делает людей веселыми, красивыми, непосредственными, их и война не изменила! Весна у них в крови! Центр совсем не разбит, и я живу на самой красивой, утопающей в неопавших желто-красных листьях Гранд Опера-Ринг, в самом красивом отеле «Империал», в самом красивом номере, это номер маршала Конева, а он живет под Веной в Баден-Бадене. И солнце! Солнце заливает все! Небо голубое-голубое, и такой же голубой ослепительный снег на вершине Альп. А внизу так тепло, что можно на балконе загарать. И голову кружит «Я люблю тебя, Вена, горячо, неизменно», и плывешь, не касаясь земли! Моцарт не мог не быть Моцартом в этой благословенной Богом стране! А мой психоз — чистота! Я впервые вижу,

чтобы прислуга выносила постельное белье после сна на балкон проветривать! Впервые хожу по коврам, в которых утопает нога, а ванна не ванна, а бассейн, гуляю по четырем комнатам. Моя наглячка Арна, видимо, привыкшая к такой роскоши, спит только на пуховой подушке. А я? Я без привычки, и я упиваюсь комфортом, оказывается, это счастье вот так себя чувствовать. И самое главное — горничная: в белоснежном фартуке, веселая, что-то про себя напевает и ведь немолодая уже! Ощущение, что ты живешь в своем доме: когда я занята, моя фрау выводит Арну гулять, сделала ей пуховое ложе и болтает с ней по-немецки, отчего Арна заходится в восторге, псам, конечно, тоже необходимо общение. Если у меня нет еды, моя фрау приносит мне из дома свою еду, несмотря на то что здесь, как и во всей Европе, послевоенный голод. Я выучила несколько слов по-немецки, она по-русски, и мы болтаем и понимаем друг друга! Я бы и представить себе не могла, что так может быть.

И все в Вене не так, как было у меня раньше: здесь ВОКС подчинен послевоенной Союзной контрольной комиссии — СКК, о которой я понятия не имела. В этой СКК три зоны: американская, английская и наша.

Теперь у меня не сопровождающий, а приставленный ко мне военный. Этот мой Лурье, конечно же, такой же «сопровождающий», как и предыдущие, только в военной форме — лошадка темная: художник, всю войну провоявал чьим-то адъютантом, знает все и вся.

Концерт назначен на 10 января в концертном зале дворца Шенбрунн, в том самом, в котором Штраус дирижировал своими вальсами перед императором, как вспоминаю об этом, начинается легкое недомогание. Сопровождать будут наши музыканты, но это меня меньше волнует — даже если они и плохие, оркестровки Влаха все спасут.

Получается, что в Новый год я в Вене, в чужом городе, среди чужих людей, но Миша и Жорж пригласили меня в гости к их знакомому генералу, командиру танкового корпуса в ста километрах от Вены, они собираются встречать Новый год у этого генерала, и если я захочу, то генерал, конечно, пригласит и меня.

Приезжаем в барское поместье, брошенное хозяином-австрийцем. Нас торжественно встречают адъютанты, денщик, выходит навстречу генерал, и я ахаю от неожиданности: тот самый богатырь, который в Будапеште на приеме у Ворошилова ел руками.

В этом симпатичнейшем медведе трогательная, нежная натура, непосредственный, мягкий, уж просто и понять нельзя, как он воевал, и действительно, он совсем деревенский, звания и славу завоевал своим талантом, открытостью, бескорыстием, преданностью.

И надо же, чтобы он сразу, с первого взгляда, по-детски безоглядно влюбился в меня, не скрывая своего чувства.

Оказался не пьяницей, побоялся есть руками и все смотрел, как ем я, и пришел в восторг от идеи моей встречи Нового года у него, и вместо обыкновенной мужской пирушки задумал бал. Провожал до самой Вены, договорились созвониться и все детали обговорить, но, войдя в гостиницу, я увидела аккуратно положенное фрау роскошное приглашение на встречу Нового года у маршала Конева в Баден-Бадене. Такой удар нанести генералу невозможно, и я решаю встречать Новый год у него, но Лурье, Миша и Жорж в один голос завопили, что это тоже невозможно, и я издалека, мягко, намеками сказала генералу по телефону о возникшей ситуации.

Как уж он отмахал эти сто километров, непонятно, но почти тут же после разговора по телефону он стоял на пороге моего номера, чуть не со слезами на глазах. Оказывается, у него тоже есть приглашение от маршала, но он не считает возможным в такой праздник бросить своих солдат и офицеров и попросил разрешения не являться к нему.

Выход нашли! Генерал немного опоздает, но все-таки придет к Коневу, а я сделаю все возможное, чтобы он сидел рядом со мной, и, просияв от счастья, он удалился.

Ох, как скучно у Конева. Все подчинено субординации, все навалилось на еду, напиваются. Женщин почти нет. Как этот прием не похож на тот, у Тито, не говоря уже о московских приемах с иностранцами. Сам маршал на банкет не вышел, он плохо себя чувствует, у него, кажется, язва желудка. Правит бал генерал Желтов, правая рука Конева, он и оказался моим соседом слева, и ничего нельзя было сделать, чтобы мой генерал сидел от меня справа. Генерал сидел наискосок, не пил, не ел, не сводил с меня глаз, бледнел, краснел, и когда Желтов ухаживал за мной за столом, он несколько раз порывался вскочить, и можно было ожидать появления его танкового корпуса в любую минуту!

Меня ошеломила его влюбленность так же, как когда-то влюбленность Лукова, но тот хоть и хам, но все-таки человек искусства, вроде бы как бы интеллигент... А генерал? Он же не знает, что нужно дарить цветы, он просто увидел, что мне они приносят радость, и фрау собрала все вазы в гостинице и не знает, куда их ставить, а в городе цветов нет, и когда принесли такие хризантемы, что захватило дыхание, то фрау кое-как объяснила мне, что генерал покупает их на знаменитом венском кладбище, только там их можно достать. Этот роман прекрасен, но я с завистью смотрю на генерала! Неужели ко мне никогда не придет вот такое же всепожирающее чувство... Я совсем сдурела от восторга.

Меня вывезли покататься на лыжах в Голубые Альпы!

Мы в знаменитом Венском лесу, сидим внизу под горой в не менее знаменитой харчевне, в которой столетие хозяйничает одна династия, и сейчас пять сыновей, здоровых, румяных, веселых, подают нам вино и пиво своего приготовления — дьявольски вкусно! Подвели лошадей, замерло сердце: а может быть, где-нибудь совсем близко, рядом и мой Марс! Лошади похожи на хозяев — веселые, игривые! Для Лурье и для тех, кто не ездит верхом, две коляски — и кортеж двинулся. «Я люблю тебя, Вена»... наваждение... нет... двое мальчиков в коляске с флейтой и скрипкой... состояние неправдоподобности... чем выше — больше снега... все ближе неприлично голубое небо... лошади выскочили на вершину... Дунай! Без конца и без края...

Правда, в знаменитой венской опере восторг от меня уплыл, все, как у нас: такие же картонные мизансцены, так же поют, не шевелясь, лицом в зал, и лица эти бессмысленны и никакого отношения ни к образу, ни к тексту, ни к сюжету не имеют, такая же бутафорность, звезда с мировым именем, пудов на пять... Закрываю глаза и только тогда упиваюсь ее чарующим голосом, музыкой, оркестром...

В музеи картины еще после войны не возвращают, и я упиваюсь красотой домов, дворцов, парков!

И сон! Мне приснился сон: я разговариваю со смертью, но это совсем не страшно, красиво, колышется голубой, прозрачный туман, я плыву на небольшом пароходе, стою у борта и вижу на нижней палубе необыкновенной красоты женщину, она смотрит не отрываясь на меня, ее голова на уровне моих ног, она плывет в этом тумане, она невесома, ее туника сливается с туманом, и я спрашиваю: «Кто ты?» Она ласково отвечает: «Я смерть» — и улыбается, и я улыбаюсь ей, внутри счастье гармонии, она уплывает, повернув ко мне голову, глядя в глаза, глаза — сияющие голубые бездны.

А этот Лурье, мечтающий и рвущийся попасть в какое-то роскошное открывающееся ночное кабаре, получил разрешение сопровождать меня туда.

На идущей вниз лестнице обволакивает тихий гомон, музыка, запахи духов, сигарет, кофе, лестница увешана фотографиями известных актеров с автографами, вдруг вижу и свою с обложки журнала, и идущего навстречу, сияющего хозяина кабаре, который снимает со стены мое фото для автографа. Притемненный зал, уютный, затянутый в дерево, колонны, подпирающие второй этаж, тоже деревянные. Нас за столиком четверо: кроме Лурье еще двое в штатском — мумии, на них костюмы висят, как на вешалках, и видно за сто километров, что это наши военные. Мой генерал выглядел бы так же — бедный мой генерал, он выпрашивал разрешения пойти со мной сюда чуть не у самого Конева

и получил отказ, но он совсем потерял голову и может появиться здесь в парадном мундире со всеми орденами. Судя по тому, как выслуживается Лурье перед моими спутниками, они в больших чинах.

Волнуюсь, скованна, не представляю, как буду смотреть на совершенно обнаженных женщин не в бане.

Зажглись прожектора. Сцена небольшая, как и все кабаре, уютная. Начался отличный концерт, танцоры, итальянская певица, немолодая, полная, зачаровавшая всех неаполитанскими песнями, зал, казалось, забыл о самом главном...

Неожиданная темнота, полились звуки музыки, и в свете сиреневого прожектора на фоне черного бархата двадцать, тридцать огромных белоснежных раскрытых страусовых вееров... и веера начали медленно закрываться, обнажая пленительные девичьи лица... шеи... груди... опускаясь к ногам... все вокруг не дышит... перед нами двадцать, тридцать живых теплых статуй... и так же медленно, на музыке крещендо, веера раскрылись опять... все погасло... как сон... но все уже ревел от восторга, и я тоже!

Смотрю в лица мужчин — никакой похоти: восторженность! Но за своих волнуясь, они же не знают, не понимают, где сцена, где публичный дом, и бросятся, забыв про чины, покупать этих красавиц, но оказывается, красавиц вывозят из кабаре с полицией, их имена полное инкогнито, и если какая-нибудь из них себя рассекретит или, не дай Бог, назначит свидание, ее тут же, мгновенно, без единого слова увольняют, а платят им, оказывается, столько, как ни один публичный дом не заплатит.

Поднимаемся наверх в бар. Моих спутников как ветром сдуло, зато Лурье наоборот — все время где-то рядом, не дальше нерасслышанного слова. Здесь тесно, потому что все в шубах, температура бодрящая — в Вене не хватает топлива. Кругом приветливые, как будто давно знакомые люди, так же как с фрау, умудряемся понимать друг друга, они знают о моем концерте, собираются на него, но в баре, кроме вина и кофе, есть какие-то вкуснейшие малюсенькие сухарики для закуски крепких напитков.

Ко мне подходит мужчина такой красоты, такого шика, что я не могу спрятать удивление, он улыбается — зубы, каких не смог бы сотворить ни один дантист мира, с черными огромными сливами глаз, смуглая кожа, копна черных крутых кудрей, огромный, с отличной фигурой, с руками аристократа, с сияющим на пальце бриллиантом! На чистом русском языке приглашает меня танцевать... где я все это уже видела??? Где?.. Где?.. Трансильванские Альпы! Там, в горах. Он молодой слепок того самого цыгана, певшего когда-то для нашей царицы.

Начинаю почти бестактно расспрашивать: кто он, откуда?! Цыганский барон! Ба, все как в оперетте.

Мы танцуем и танцуем, не можем оторваться друг от друга, я взволнованна как-то совсем незнакомо. Барон заказал медленную музыку, обернул меня своей огромной меховой шубой, и мы снова танцуем и танцуем, его нежность пронизывает меня.

— Ох, другой век, украл бы я вас сейчас и увез в бескрайние дали навсегда.

От волнения я повисаю в его руках.

Дольше оставаться уже неприлично. Лурье волнуется, но пока боится сказать мне хоть слово, а я могу наконец хоть немного его подразнить и намекаю, что сегодня я безумна и не знаю, что могу сделать.

Надо прощаться, мы выходим в холл, я протягиваю губы моему барону.

— Прощайте, в другом веке я бы бросила все и понеслась с вами в бескрайние дали.

В его глазах тоска, отчаяние, нежность, страсть, мольба.

Что случилось с двумя людьми в этот вечер, что связало их навечно...

Я выскользнула из шубы и пошла по лестнице, задыхаясь от слез.

Концерт прошел хорошо и совсем непохоже на предыдущие. Дворцовый торжественный зал, нет сцены, нет занавеса, я выхожу петь, как в старину, почти рядом со зрителями, стиль концерта получился совсем другой. И публика! Мундиры, вечерние туалеты, после концерта целуют руки.

Вот и кончено все. Вызов в Москву! Почему? Я должна ехать еще в Германию и в Польшу. Случилось что-нибудь дома? Вызов через командование. Вызов от Берсенева. Но что могло случиться в театре? Берсенев же понимает, что я могу никогда уже больше не попасть за границу? Так хотелось узнать немцев не по нашим фильмам, в которых они еще тупее и глупее, чем мы, и поляков, которые мне чем-то близки, как литовцы.

Прощание с фрау меня перевернуло, я заглянула в себя, в свою душу, что-то безобразное, античеловеческое есть во мне, если я не ощущаю мир, как моя фрау. Плача и целуясь, мы стараемся понять нежные слова друг друга, и я каменею, узнав, что у нее погибли на фронте муж и единственный сын. На русском фронте.

Подарков фрау не берет, а у меня остаются от концерта австрийские деньги, тупо, убежденно не хочу, высунув язык, бегать по магазинам, и я придумала, уходя из номера, положить подарки и деньги под подушку в кресле, зная, как фрау будет выбивать, вычищать, вытирать, вымывать после меня номер и найдет все обязательно.

Зачем пустили Дуньку в Европу! Не знала, не ведала бы, что люди совсем рядом живут другие, по-другому, и узнала не по нашим фильмам, что еще хуже, чем совсем не знать, в них все не так, как есть на самом деле — в заграничных фильмах что-то тревожило, удивляло, но было непонятным, незнакомым, а теперь я увидела воочию, поняла, пришло сравнение...

После таможни я заболела физически: мои оркестровки, неповторимые вlahовские оркестровки рвались на моих глазах в клочья вместе с национальными вышивками, альбомами, подаренными мне зрителями в разных странах. Я умоляю, ссылаясь на ЦК, но все превращено в кучу хлама.

Я вызвана Берсеневым при неприятной ситуации. Во второй раз сталкиваюсь с Вале́й. После неприятности в Малом театре она вернулась к нам, и Костя написал для нас пьесу «Под каштанами Праги», и тут, мне кажется, начинается трагедия амплуа: Валя не героиня. Она осталась во мне тогда, на семинаре в ВТО, в пьесе Островского, прелестной инженерю, и все ее удачи, особенно в кино, именно в этом амплуа, для героини у нее не хватает голоса, внешности, темперамента, она теряет свое очарование, отсюда неудачи и даже провалы, как в пьесе «Под каштанами Праги».

Оказывается, посольство Чехословакии на генеральной репетиции не то, что намекнуло, но сказало, что с Вале́й спектакль идти не сможет, по амплуа роль эта моя, и Берснев, отличный антрепренер, все понимающий, знал, что Валя спектакль не поймет, и вызвал меня.

Вообще вводить в готовый спектакль — ад, а когда режиссером моя дорогая, сумасшедшая Бирман?!

Афиши уже пушены, костюмы Вали на меня не годятся, дни и ночи репетирую, зубрю. Самое трудное для меня — текст, он огромен, я не умею заучивать, я должна в текст вжиться. Все мне помогают и поддерживают как могут, и если я забуду на сцене что-то или вообще забудусь, они подскажут прямо на сцене, скажут за меня, а то и будут действовать.

Премьеру вспомнить не могу, как тогда у Охлопкова, когда вышла на сцену в первый раз.

Успех у спектакля настоящий, большой, в нем все лучшие актеры театра, а мой успех, по-моему, по инерции: совсем недавно прошла премьера фильма «Это было в Донбассе», кстати, с небольшим успехом — не так, как за границей. Там его показывали параллельно с моими концертами, и если там были хвалебные рецензии, то у нас как всегда плохие, но я теперь рецензии не читаю, чтобы не сбиться с толку, а если и читаю, то не реагирую на них, памятуя о своих слезах, когда меня поперек успеха у зрителей в «Горячих денечках» клеймили сексом, интеллигентностью, несмотря на то что и роли-то там нет никакой, а фильм оскорбительно называли «Танкетки и кокетки», спасибо, не «кокетки» — они не знали, наверное, этого слова.

Валя в театре не появляется, я понимаю, что ей больно, но она же умная, должна понять, что это жизнь, что я здесь ни при чем.

Зато моя Марта! Я боялась, что ей станет дурно от криков «бис» и аплодисментов — я играю ее, я играю чешку, и она клянется мне, что да, она была активной противницей исполнения Валеи этой роли, но она понятия не имела, что буду играть эту роль я, зная, что я где-то далеко, за границей.

А на мою голову обрушились заботы, хлопоты: получили большую пятикомнатную квартиру в новом доме. Это наш с Борисом третий дом, и без Папы все надо обдумать, продумать самой. Я почти ничего не делала в теперешней нашей квартире — теснота, две Мамы, Зайчик. Перевезла кое-что из все той же Маминой и Папиной свадебной мебели, путешествующей со мной по жизни, но с жгучей тоской пришлось оставить кровать, на которой я родилась, она здесь не умещалась.

В новой квартире придумали с Левушкой уничтожить стену между столовой и гостиной и сделать раздвижную стеклянную дверь, придумали в комнатах цвета стен, потолков, как переделать ванную комнату, кухню, и оказывается, ничего нельзя достать! Ничего! Ни красок, ни материалов, ни мебели. Голых пять комнат! Я вообще не понимаю еще себя в таком пространстве, и когда появляется чувство юмора, вижу себя бегающей по комнатам. Мебель, оказывается, по знакомству достать можно, но это такое убожество, что я решаюсь ехать грабить. Да, именно грабить! Как все это делали в сороковом, скупая все и вся за бесценок в «освобожденных странах». Теперь это город Львов в Западной Украине. Западную Украину мы тоже «освободили», захавая ее у Польши, только теперь полякам разрешили вернуться в Польшу, и сейчас они, увидя нашу жизнь, уезжают, бегут без оглядки от нас, бросая все, в том числе и мебель. Борис об этом

узнал, и я, спрятав стыд, хожу за Берсеным и умоляю его отпустить меня на трое суток.

Прилетаем во Львов, гостиница забита все той же интеллигенцией, скупающей мебель.

Не могу смотреть в глаза поляков. С каким презрением, негодованием они смотрят на нас. Все! Улетаю домой.

Борис, как всегда тихо, почти молча, настоял на своем.

Бродим по квартирам, купили кабинет для Бориса, спальню, гостиную. Ищем в старинных улочках квартиру, где продается столовая. Дверь открывает высокая, седая, с благородным лицом женщина, посмотрела мне в глаза и молча показала безукоризненного вкуса столовую, назвав цену, ничтожную по сравнению с московской. Когда я сказала, что мы столовую покупаем, она вдруг заметалась, как раненая, схватилась за стол, буфет, в глазах слезы, лепечет по-польски... Я выскочила на лестницу, она кинулась за мной:

— Мадам! Пани! Извините меня! Купите столовую! Если она будет у вас, мне будет не так тяжело!

Я тихо сказала Борису отсчитать двойную сумму, она не стала пересчитывать деньги, положенные на буфет.

Гадко на душе! Я же не хотела лететь сюда, не хотела! Почему я опять уступила?! Почему?! Почему я уступаю, когда все внутри протестует?! Почему я не могу сказать в лицо человеку, что я о нем думаю?! Интеллигентская гниль! Вышестоящим, как говорил Папа, я бабахая черт знает что, когда именно там говорить не надо, а человеку маленькому язык не поворачивается, хотя он и негодяй. И почему я забываю негодяев, врагов?! Почему я их прощаю?! Забываю их обиды! Было же!

Было у меня, когда я поздоровалась с негодяем и, отойдя три шага, вспомнила, что он негодяй, вернулась, извинилась за то, что поздоровалась, сказала ему, что он негодяй, и пошла дальше. Я не могу сказать в лицо — мне жалко человека, а про себя я произносила монологи о его низости. Что это за уступчивость самой себе, своему я? Я должна ее побороть. Это не доброта! Нет! Не знаю, что это. Почему меня легко обмануть?! Идиотская доверчивость. Не хочу я ни общения, ни соприкосновения с плохими людьми!..

Зачем я купила эту мебель?! Надо было перевезти Папину и Мамину и кровать, на которой я родилась.

Меня волнуют вещи: они живые, молчаливые, поколения проплывают мимо них, уходят, а они живут, вбирая в себя людскую жизнь, человеческие тайны. Разбогатели, купили новую, чужую мебель с чужими тайнами! А в нашем книжном шкафчике жизнь моих трех поколений. Всегда, когда я буду входить в новую столовую, со мной за столом будет сидеть та седая женщина с глазами,

полными слез! Почему я разрешила Борису принести вещи из американских посылок, они же присланы не для нас, они присланы для бедных!

Господи, защити меня от бед! От несчастий! Больше нет сил: мой Левушка, мой единственный, мой дорогой, мой горячо любимый брат! Вместо того чтобы радоваться свободе, он, вырвавшийся из смерти, печальный, как мы его ни стараемся отвлечь, худой, как мы ни стараемся его откормить.

Ничего не удалось сделать для его прописки в Москве: для сидевших по политической статье можно жить только на 101-м километре от Москвы или где-нибудь в захолустье, даже в районных центрах жить нельзя, иначе снова пять лет лагерей за нарушение паспортного режима, и теперь, когда наконец за всю жизнь у них есть своя комната и пришла радость жить с мамой на Калужской, Левушка прячется от соседей, как прятался Папа: приходит домой ночью, когда соседи спят, на цыпочках, в условленный час тетя Варя открывает ему тихонько дверь.

И Левушка пьет, не просто выпивает, а по-настоящему пьет, и с ним был приступ, от которого я чуть не умерла. Он сидел за столом и вдруг сразу камнем упал на пол и умер, ни дыхания, ни сердцебиения, лицо синее, тело каменное. Очнувшись, сразу никого не узнал и не помнил, кто он и где. Самые лучшие психиатры и невропатологи сказали, что это типа эпилепсии, заболевание центральной нервной системы.

Будь проклята власть, калечащая людей, убивающая ум, талант, человечность! Левушка, несмотря на все, защитил диплом блестяще под аплодисменты профессуры, но о том, чтобы взять в руки кисти или мрамор, даже речи не ведет.

Для прописки нужно знакомство, и оно, по-моему, у Бориса есть, но он воспользоваться им не хочет.

Об Ирине молчит и только вскользь бросил, что подал на развод, чтобы она не пострадала из-за него.

Я стараюсь моего Бурбона оставлять ночевать у нас на тахте, все-таки безопасней — постесняются же они ворваться в дом или следить за домом.

Я так до сих пор и не знаю, какими были в истории Бурбоны, но раз Папа так назвал маленького Левушку, они для меня толстые, спокойные, медленные, глубокомысленные и плакали басом... как только налетают воспоминания, хочется кричать от того, что они сделали с Левушкой! Убийцы! Змеи, пожирающие своих детей.

У меня все-таки сердце когда-нибудь разорвется: сидим, обедаем, Левушка совсем не пьян и вдруг, как у маленького, закапали слезы, он глухо зарыдал:

— Татяшка! Татяшка! У меня нет больше сил молчать! Дяди

Кирилла нет в живых. Лагерь без права переписки — это расстрел. Не жди, не бегай, не мучайся, не ищи, не надейся... Нет! Нет! Нет! Это невозможно. Этого не может быть! Это нельзя! Этого не может быть!

Бегу, обезумев, на Лубянку, кричу в окошко про Папу, про Баби, и вдруг к окошку, снизу, где «они» сидят, поднимается человек... где я видел это лицо... серое... черные глаза... Топач! Тот самый Топач, который отгонял меня тогда от железных ворот Лубянки... Он выслужился — его карьера в порядке. Из холода, из грязи, из мрази, из своих форменных калош, по которым мы всегда узнавали гэбэшников за километр, он в тепле. Даже лицо не такое, как там, у ворот, — спокойное, он объясняет мне, что напрасно волнуюсь, что я обязательно получу из лагеря письма и от Папы, и от Баби.

Он смотрел на меня не отрываясь, он мой поклонник, он смотрит мои фильмы. Как же в его глупой подлой голове укладывается вся эта вакханалия?!

Спас Левушку от моральной и физической смерти в захолустье все тот же ныне уже академик Парусников. Он восстанавливает в Минске здание КГБ, развороченное бомбой, и заявил министру, что здание невозможно построить без наблюдающего архитектора, что сам он может прилетать не чаще чем раз в месяц и что у него такой архитектор есть, это один из его лучших и любимых учеников, а на судимость в виде исключения можно и не обращать внимания.

Сделала Левушке и Тете Варе роскошные провода.

Дом превращается в ад. Что случилось с Мамой после Ташкента. С тихой, безмолвной Мамой? Она агрессивна, во все стала вмешиваться и даже устраивать скандалы и именно мне, у нее ко мне появилась какая-то нетерпимость, ревность, мне кажется, что и к Зайцу она меня ревнует. Конечно, жить в тесноте, в одной комнате с незнакомым, чужим человеком трудно, тем более у Елены Борисовны характер тяжелый: она молчалива, необщительна, мрачна, так же скрытна, как Борис, за всем и всеми наблюдает.

А может быть, Мамины перемены происходят от того женского увядания, о котором я читала и которое может изменить человека до неузнаваемости, до сумасшедшего дома, говорят, что это, может, потом пройдет. Ведь женская жизнь Мамы после моего рождения прошла почти в одиночестве — революция, Папины аресты. Кроме того, она стала настоящей наркоманкой, без папирос и кофе она невменяема, утром к ней подойти нельзя, пока она дрожащими руками не выпьет раскаленный кофе и не закурит. Курить ее научил сам же Папа, ее юную, только что выпущенную гимназистку: тогда появилась мода на курящих женщин.

сам, конечно, бросил и курить, и играть в карты, а Мама с ее безволием так и курит всю жизнь, я представить ее не могу без папиросы. И еще одна ее отрада — это поездка на Калужскую. Мама успокаивается, как будто побывала на своей Волге. Борис каким-то образом умудрился не сдать наши две комнаты вместо этой квартиры и умудрился прописать в нашу комнату Тетю Варю, а в Мамину — Бабину сестру, значит, Мамину тетю и значит — мою двоюродную бабушку, Тетю Тоню с дочерью, внуком и внучкой, это и вся моя родня по линии Мама. У Тети Тони муж был уланским полковником, его в революцию расстреляли, и она чуть ли не пешком добралась из Саратова к нам с маленькой дочерью.

Подхожу к телефону, ударило, как током.

— Приятно услышать ваш голос хотя бы по телефону, вы кончили наконец ваши путешествия — ха-ха, дома-то вы живете или где-то в другом месте, почему не здороваетесь...

Ожог. Бросила трубку. Звонок.

— У меня к вам дело, ха-ха, вы же умная, а трубочку бросили, нехорошо. Нужно только подойти к машине. Я подъеду и скажу все то, что должен сказать не по телефону. Это касается вашего мужа, вас. Я подъеду к вашим воротам в двадцать три часа.

Щелчок, трубка положена.

«Откуда он знает, что Бориса нет в Москве?..» Вздрогнула от голоса Яди:

— Чего ты побелела, Берия совсем не страшен, даже мил, в твое отсутствие я много раз с ним разговаривала, расспрашивал, где ты, где Борис, действительно ли я твоя сестра и похожа на тебя.

— Как же ты мне об этом не сказала!

— А все некогда, ты же почти дома не бываешь, и он сказал не говорить тебе о его звонках. Ты ему пришлось по вкусу. Говорят, что он в этих делах знаток и ты не единственная, за которой он охотится.

Она не знает о той страшной ночи.

Выхожу из подъезда и через длинный двор вижу у ворот машину, сердце колотится, повернуться и бежать, бежать куда глаза глядят... а если действительно нависла неприятность... почему это касается Бориса... значит, это связано с политикой... Борис весь с головой в политике...

Навстречу из передней дверцы выходит полковник, тот самый, что и в первый раз, открывает заднюю дверцу, оттуда протягивается рука, не подаю, не хочу с ним здороваться... мгновение... полковник наклонил мою голову, втолкнул в машину, я падаю лицом в колени, полковник садится справа, машина рванулась.

— Ну, как мы вас обхитрили, ха-ха-ха!

Сквозь занавески мелькают поля. Убью его! Убью! Убью!

— Думаете, как меня убить?! Ха-ха! Это не удастся!

Он дьявол. От его хихиканья у меня тошнота.

Огромный парк. Двухэтажный почти дворец. Зимний сад. Полковник исчез. Горничная другая, в опущенных глазах презрение. За столом ни к чему не прикасаюсь. Он такой же, как в первый раз, пьет дорогие вина, жрет руками, хихикает, начал пьянеть, глазки налились салом, скоро начнется моя голгофа... Я схвачена на руки, раздета, поставлена на стол... Сопротивление бессмысленно, невозможно, унизительно... Только бы сердце не разорвалось... Жаба, гнусная, безобразная, жирная, раздувающаяся... не отрывает от меня глаз, ползает по кровати, задыхается от счастья завоевателя... зверь, поймавший жертву... он истаскан, иначе ночь для меня была бы смертельной... рассвета все нет... тогда в особняке в полузабытьи было легче...

Тогда я его не видела утром. И сейчас он ночью исчез, но он здесь, где-то рядом, жрет, пьет...

На все требования выйти к столу сижу, окаменею, в спальне.

В машине удушливо от перегара, от запаха роз, в которых я сижу, он игрив, весел.

— А ну-ка рассказывайте, как вас принимал югославский маршал!.. Ха-ха-ха... Что, блистательный?! Красавец?! Да?! Напрасно вы молчите! Ведь все равно будет так, как я захочу, а я захочу! Ха-ха-ха! Еще могу хотеть! Ха-ха-ха. Я бы на вашем месте был счастлив от внимания такого человека, как я! Ну поверните ваше личико ко мне!

Он взял меня за подбородок... если полезет целовать, ударю, гадина, подлец, жаба безобразная! Нет, нет, упасть в ноги, умолять за Папу, Баби, Левушку! В упор смотрю в его маленькие наглые глазки — в моих столько ненависти, что он оттолкнул меня, взбесился:

— Что вам надо?! Я второй раз с вами, и это честь для вас, я за ваш поцелуй многое могу для вас сделать! А что, спать и целоваться с этим дураком Горбатовым, вонючим жидом, трусом, карьеристом, приятнее?! Ха-ха.

Только бы не разрыдаться. Только бы не упасть в обморок.

Машина круто остановилась у моих ворот и тут же умчалась, я покочннулась, какой-то мужчина довел меня до подъезда.

Борису ничего не рассказала, бессмысленно. Я беззащитна.

Переехали в новую квартиру. Борис привез роскошный «мерседес», сделанный в Германии для кого-то из «высших», как и мой браунинг: у меня в моем шкафчике с бумагами лежит дивный, маленький, как игрушечный, дамский браунинг, мне его подарили на фронте летчики. Чья женская рука держала эту игрушку?.. Летчики сказали, что браунинг принадлежал чуть ли не самой Еве Браун, возлюбленной Гитлера. А кто ездил в этом «мерседесе» с хрустальными вазочками для цветов?.. И неужели во все времена, во всех войнах грабят одни, потом у них же грабят другие? И куда, в какие руки попадут мои вещи, где еще побывают, сколько проживут?..

Я верчусь как белка в колесе: концерты, приемы, съемки, и еще одна премьера в театре американского драматурга Лилиан Хеллман, в которой я играю немку-эмигрантку в Америке, играю безысходную ностальгию, кажется, получилось. Прилетела Хеллман, похвалила меня.

В первую же ночь на новой квартире мне приснился цветной сон, я теперь стала видеть цветные сны: вижу, будто я плыву в густой темно-зеленой тине, разгребаю, и как только выплываю на чистую воду, тина снова смыкается и передо мной и позади, а я все плыву, все разгребаю тину...

Я и город-то свой еще как следует не разглядела после приезда из-за границы. Что-то здесь случилось плохое. В нем в два раза больше людей, чем уехало в эвакуацию в войну. На улицах толпы. И сами люди не те, что уехали. Те несчастные мечутся, бьются, чтобы попасть в свои неизвестно кем занятые комнаты, квартиры, а эти приехавшие грубые, поспешные, неприветливые. Оказывается, в Москву хлынуло Подмосковье.

Как снег на голову прилет маршала Тито. Газеты полны его фотографиями, интервью, встречами со Сталиным. Жду приглашения на банкет в его честь и неожиданно получаю приглашение от югославского посла на их прием и не в офи-

циальной резиденции, а в ресторане все той же гостиницы «Метрополь».

Банкет со славянской широтой, несметным количеством приглашенных. Маршал удивительно интересен, в мундире, который ему очень идет, стоит в стороне среди приглашенных, низко мне поклонился. Принимает гостей посол Попович, тот самый, который пригласил меня в Югославию и сидел на обеде у маршала по правую сторону от меня. Он задержал мою руку, заглянул в глаза, как бы зная что-то важное, тайное.

Народу! Говор, смех, запах тонких духов и действительно роскошный «Метрополь»: огромное пространство, в котором музыка звенит и разливается; где-то в небе стеклянный потолок, сияющий паркет, в центре знаменитый фонтан, искрящийся блестками — значит он тем, что у него низкий барьер, и частенько, сильно набравшись, под влиянием Бахуса, в него падают джентльмены и даже дамы, зрелище веселое, шумное, когда под хохот зала ошалевшего пловца в вечернем туалете вылавливают и вытаскивают на паркет; во время танцев гаснет свет и включается огромный серебристый шар, который, крутясь, все превращает в блестки.

Поймала на себе взгляд маршала, он чем-то взволнован, возбужден.

Свет погас, все заискрилось, затрепетало от звуков музыки! «Я люблю тебя, Вена»... Через весь зал прямо ко мне идет Тито. Зал замер, перед ним расступаются, он обнял меня, и мы поплыли в вальсе, я в своем, цвета крови, панбархатном платье, он в мундире с золотом, пожираемые тысячью глаз. Я не могла себе представить, что маршал может так блистательно танцевать, как танцевал Папа, как танцевали царские офицеры.

Никто больше танцевать не вышел.

— Ну наконец-то я держу вас в своих объятиях! Я думал, что никогда не дождусь вас, даже моя разведка не могла выяснить, где вы. Я нарочно устроил этот прием и волновался, свободны ли вы, завтра у вас «Сирано», я могу прийти на спектакль?

— Что вы! Что вы! У нас в театре нет правительственной ложи, они же театр разломают, чтобы все-таки вас принять, и это уже будет на уровне ЦК.

— Тогда разрешите, я приглашу театр с этим спектаклем к нам в Югославию... А теперь, прошу вас, продолжайте улыбаться и выслушайте меня, другой возможности поговорить с вами у меня нет... Вы мне непреодолимо нужны, я ни жить, ни существовать без вас не могу, это уже давно,

когда я увидел вас в войну в «Ночи над Белградом», это я приказал послу пригласить вас в Югославию... Нет, нет, улыбайтесь так, как будто мы болтаем о пустяках. Я все знаю о вашей семье, но даже если бы вы согласились быть моей женой, между нами препятствие непреодолимое: пока я не имею права на вас жениться, в стране смутное время и я не должен жениться на иностранке, да еще и на русской, вы же видели, как меняется к русским отношение после войны, да еще и жениться именно на вас. Но я приглашаю вас на свою родину в Хорватию, мы построим для вас в Загребе, который вам так понравился, студию, вы будете сниматься в чем вы хотите, язык преодолете, а на первых порах вас будут озвучивать. Я все продумал. Вы видели, как к вам отнесся народ в Югославии, вы забудете все тяготы...

— Я не могу уехать из своей страны... Но у меня тоже есть идея: переезжайте вы к нам, мы бы вам подыскали в ЦК теплое местечко... Улыбайтесь! Мы же болтаем по пустякам!

Он рассмеялся.

Я задыхаюсь от вальса, от волнения, от напряжения.

— Пожалуйста, думайте обо мне, продумайте все до конца, и если мне не придется, хотя бы в танце, обнять вас в этот приезд, вы скажете о своем решении Владо, это посол, с которым вы уже знакомы, я ему абсолютно доверяю.

Мы остановились, зажегся полный свет, и маршал под аплодисменты зала повел меня к Борису, сияющему от счастья. Мне стало стыдно, потому что Борис сорвался с места и лизоблюдски побежал своими маленькими шажками нам навстречу.

Утром в театре репетиции нет, звонок Берсенева:

— Танечка, у меня есть для вас радостная новость! Звонил ваш маршал, спросил, может ли он прийти вечером на спектакль, и когда я сказал, что это невозможно, спросил, может ли он пригласить театр с этим спектаклем в Югославию! Вы представляете, мы наконец вырвемся за границу! Видите, какой успех у спектакля! Сегодня мы с вами должны играть блистательно. Привет от Софы Владимировны...

Интересно — после того как в театре стало известно, что Тито устроил для меня в Белграде прием, его стали называть «моим маршалом».

Играли мы вечером действительно хорошо, вдохновенно, особенно пятый акт, он и у Ивана Николаевича и у меня лучший в спектакле, и когда закрылся занавес, из зала донесся рев, а когда вышли к рампе, нас засыпали цветами, зал стоя стал скандировать.

Встретились глазами с послем, он, оказывается, красавец. Я почему-то не обратила внимания на него, это редко со мной бывает — меня красота и духовная, и физическая всегда завораживает. Я его не видела в мундире, а мундир ему очень идет, как и маршалу, почему же они научились всему этому, а мы ну никак не можем... все-таки европейские коммунисты интеллигентнее, человечнее как-то. Я так и не попала в Германию. Интересно, какие немецкие коммунисты... И вдруг вносят корзину, даже зал на секунду замер... двести черных роз: «Они срезаны не моими руками, но с тех же кустов несколько часов назад... Я беспрерывно думаю о вам, и не сможете вы совсем выбросить меня из сердца...»

Маршал улетел, больше я его не видела, а розы, только теперь кроваво-красные, появляются на моих спектаклях, когда я играю главные роли, и каждый раз это меня волнует. И опять я притча во языцах, опять обо мне придумывают легенды, опять поливают помоями сплетен, и цветы эти уже некуда ставить ни в театре, ни дома: у Мама появилась идиосинкразия к запахам, и в ее половине квартиры цветы ставить нельзя.

Да и дело не только в цветах: Мама стала нетерпимой ко всему и ко всем — кого-то вдруг невзлюбит, кого-то наоборот. Лукова принимает, когда нас даже дома нет, готовит ему что-нибудь вкусное, что он пожирает, но эту же вкуснятину ни за что не подаст людям, которые ей не понравились, и куда только девается ее мягкость, воспитанность, она становится бестактной, трудной и именно теперь, когда к этому нет повода...

Квартира получилась и роскошной, и уютной, и красивой! Я, правда, мало видела квартир людей нашего круга, и не надо мне их видеть, я вижу свою, понимаю, что квартира с безукоризненным вкусом, которого у Левушки сверх головы. Когда прибегаешь домой, сердце начинает ровно биться...

Елена Борисовна с нами не живет. Борис снял ей дачу недалеко от Москвы, Борис говорит, что она сама так захотела. Борис похож на Елену Борисовну и внешне, и внутренне: она такая же скрытная, как он, молчаливая, за всем и всеми все время наблюдает, только у Бориса есть чувство юмора, а у нее оно отсутствует. Я не видела ее улыбки, она ни разу не рассмеялась... Я заметила, что есть люди, которые совсем не улыбаются, что это за черта, не знаю, и Борис не улыбается, он может расхохотаться, но не улыбнуться. К Зайцу Елена Борисовна совершенно безразлична, видимо, потому, что это не дочь Бориса.

Зато Ядя теперь просто живет у нас в гостиной, и если она раньше говорила, что пишет мужу в лагерь и помогает ему, теперь сказала, что она от него отказалась, чтобы не нажить неприятностей. Сына к нам почему-то ни разу не привела, я видела только его фотографии, он тоже уже большой, он немного младше Зайца. Почему она не бывает у Эстер, не говорит, но как бы нечаянно вскользь уронила: «Ах, муж Эстер заразился сифилисом и, кажется, заразил ее»... Этот муж пытался ухаживать за мной...

Дальше я слушать не могла, с глаз упала пелена: как же я двадцать пять лет не видела, что Ядя — патологическая сплетница, лгунья... и что я могу сделать теперь?! Через двадцать пять лет дружбы... Я же должна быть к ней снисходительной... а может быть, она стала такой только теперь, с годами... не могу же я попросить ее из дома... Не могу! И надо же быть еще какой-то сатанинской связи — мы земляки: они литовские поляки из Даугавпилса, а мои тетя Надя и дядя Стах из Паневежиса.

Я падаю с ног — премьера за премьерой! Берсенев — молодец, театр становится одним из лучших в Москве, но я изнемогаю: кроме «Юности отцов», идущей часто, «Сирано», слава Богу, идущий реже — Берсеневу по возрасту уже трудно играть спектакль чаще, иначе он бы его назначал каждый день, «Семья Ферелли», «За тех, кто в море», «Под каштанами Праги», репетиции пьесы Леси Украинки «Лесная песня». Я играю по двадцать спектаклей в месяц, кроме того, Берсенев не отпустил меня сниматься в фильме «Мальчик с окраины», меня уговорили, и теперь приходится сниматься по ночам, а фильм уже обречен на неудачу, бесталанный режиссер, выдвигенец.

Но больше всего я устала от приемов, на которых мы с Борисом обязаны бывать, я как ведущая артистка, он как секретарь Союза писателей, коими они вместе с Костей стали. И получается, что все свободные от спектаклей вечера я должна тратить на приемы, а то, если спектакль рано кончается или я занята не до конца, Берсенев разрешает не выходить на поклонны, и Борис увозит меня на прием. Часто от концертов приходится отказываться, иначе и книжку в руки не возьмешь, и в другой театр невозможно сходить. Великую Коонен я уже больше никогда не увижу, и дело не в ее возрасте, а в том, что их театр окончательно разгромили, было специальное постановление ЦК, тогда в тридцать седьмом их слили с нашим театром, а потом добились совсем... Где-то что-то слышала о бестужевках и теперь стогаю от желанья узнать о них все, но, оказывается, литературы о них нет, а Борис не знает вообще, кто они такие.

Моя отрада, мой Заяц! Смешное, симпатичное, уже почти взрослое двенадцатилетнее прелестное существо, в основном состоящее из костей, понемножку, правда, начинающих обрастать мясом, стройное, тонкое, высокое, личико интеллигентное, умненькое, прехорошенькое, веселое, ласковое! Когда я прорываюсь домой к обеду, Заяц ждет меня у лиф-

та, и это костистое чудо взгромождается с ногами мне на колени, и разговоры, рассказы, планы, фантазии... вспомнили историю, которая произошла с Зайцем, когда она была еще Малюшкой, ей было годика четыре: я тогда в доме была карающим мечом и что бы Малюшка ни натворила, Мама сама никогда ее не наказывала, а возлагала это на меня, и когда я врывалась в дом, начинала вершить расправу. Как-то раз, прибежав домой, я застала Маму вне себя оттого, что Малюшка — невыносимый ребенок и свершила невероятный поступок: она плюнула на свою юную няню Дусю и обозвала ее дурой. Малюшка была выпорота ремнем, выслушала душераздирающую речь о том, что такое старшие, как надо себя вести с ними, и поставлена в угол. Незаметно наблюдаем за ней: плачет, размазывает по лицу и по стене слезы, но просить прощения не собирается, а мне уже надо бежать! Начинаю первая теперь уже душешипательные речи о том, что, конечно, Малюшка все поняла и попросит прощения у Дуси, что Малюшка и сделала и отошла от Дуси, что-то шепча, на мой вопрос: «Что ты там шепчешь?» — ответ: «Дуську проклиная».

Мама портит Зайца: вдруг в детской болтовне проскальзывают Мамины мысли, отношение к жизни и сплетни, сплетни, которые я органически не выношу, сплетни из их комнаты, особенно после приезда в гости тети Тони, а главное — я с детства приучала Малюшку, как меня приучал Папа, убирать квартиру, мыть полы, стирать — сейчас Мама все это Зайцу делать не разрешает, и еще: требует, чтобы я Зайца богато одевала, а я этого специально делать не хочу — да и еще многое другое. Но что делать?! Я не имею права попросить Маму жить на Калужской и приезжать к нам в гости.

А оказывается, какая радость иметь свой дом, наконец-то он есть, существует и можно в нем принимать друзей и недругов, и Татьянин день теперь будет не где-то в гостинице, а здесь, в своем доме.

Кроме квартиры на нас вообще посыпались блага как из рога изобилия: мы получили в нашем, том, писательском Переделкино верх дачи недалеко от дачи Афиногеновых; нас прикрепили к знаменитой Кремлевской больнице, в которую я, конечно, не собралась бы, но «мой» шофер Юрка разбил наш «мерседес» и меня тоже, и я очутилась на столе в Кремлевке. От удивления, от комфорта, от количества врачей, сестер я вскочила с операционного стола с улыбкой, правда, и ранка-то была ерундовая, расколо бровь, но глабоко, и пришлось надеть скобки.

А «мой» шофер Юрка — я его назвала так за мальчишью белобрысость, курносость и его девятнадцать лет — появился потому, что Борис подарил мне со своей Сталинской премии консервного типа машину «Москвич». Подарил-то мне, но, в общем, она была необходима для дома, потому что «мерседес» с солидным, пожилым шофером, которого оплачивал Союз писателей, был в распоряжении Бориса, и в магазин, на рынок, по всем домашним делам ездить было не на чем. Вот Юрка и стал домашним шофером. А авария случилась нелепо, из-за Юркиной неопытности, неумения, тем более в обращении с «мерседесом». С «Москвичом» что-то случилось, и Юрка повез меня на ночную съемку в «мерседесе». В шесть часов утра съемка кончилась, я Юрку разбудила, и мы поехали. Изморозь, противно, я как всегда с Юркой рядом. Недалеко от студии дорогу пересекают трамвайные рельсы, вдалеке показался трамвай, и Юрка вместо того, чтобы переждать, решил проскочить. Трамвай шел по ближним рельсам, их мы проехали, а на вторых мотор у Юрки заглох, заднее сиденье оказалось на рельсах. А трамвай как-то странно несется на нас, не тормозит, как будто нас не видит. Юрка бросился к трамваю, кричит, машет руками, а трамвай, как без управления, так и несется на нас, остаются считанные метры, Юрка отскочил и закричал не своим голосом «прыгайте», я успела открыть дверцу и занести ногу, удар сзади, я и очнулась в мягчайшем сугробе, из которого торчали только мои ноги. Багажник снесло. Вожатой оказалась женщина с двумя детьми, замученная, только что выехавшая по пустынным улицам из парка и еще дремавшая, и когда очнулась, было уже поздно. Уговорила Бориса, поскольку человек он не жадный, порвать протокол.

А еще нас прикрепили к какому-то закрытому распределителю, и когда Борис привез огромный сверток из таких даров, что и в «Торгсине» таковых не найдешь, то дары эти застревают в горле и потому, что стоят они гроши, и потому, что в стране голод.

В доме теперь много денег, и не я теперь основа материальных благ: Борис получил Сталинскую премию по литературе за «Непокоренных». Премию эту не за что было давать, но Борис умудряется издавать этот роман чуть ли не на языке удэге, которого, по-моему, вообще не существует, нечеловеческими тиражами.

Между мной и им начинается какое-то странное расхождение: дары эти посыпались не на нас, а на него... ведь мне бы никогда не дали такую квартиру, дачу, кремлевский распределитель, Борис достал мне даже пропуск на паперть Бо-

гоявленского патриаршего собора на праздник Пасхи: оказывается, есть и такие пропуска для знаменитостей, для православного дипкорпуса, для тех, кто живет не так, как все, у кого есть все, и я не понимаю, кто эти люди, и еще для совсем другого сорта людей, о которых говорят, что они могут больше, чем ЦК, и называется это «по благу».

Со мной что-то произошло в церкви... я плакала, душила радость, во мне звучала музыка, я горячо молилась за Баби, за Папу... Папа... всплывает из детства, как я, крохотуля, стою у его ног... тепло, горят свечи... Я впервые была вот так в церкви, раньше бывала, как все, стиснутая жаркой толпой, в духоте, а в позапрошлом году меня вынесли из церкви в обморочном состоянии, и ничего во мне не осталось, кроме горечи, недомогания, пустоты, дурноты.

После того как по приказу правительства разрушили, снесли и закрыли почти все церкви, народу молиться негде.

В доме странными становятся взаимоотношения. Мама, несмотря на свои срывы со мной с Борисом сдержанна, мягка, любезна, сама при наличии двух домработниц, приносит ему каждое утро свежую рубашку, знаю, что она не любит Ядю, но внешне это не проявляет. Значит, Мама может управлять эмоциями, почему же, почему она так нетерпима ко мне, почему стала вмешиваться в мою жизнь?

В безразлично милых отношениях Бориса с Зайцем нельзя понять, любит он ее или нет, хорошо, что Заяц тоже по отношению к Борису мило безразлична.

В отношении Бориса к Яде я уловила глубоко спрятанную неприязнь — почему? Он даже веселеет, когда Ядя уходит домой.

Кроме домработницы Пани, у нас появилась еще так называемая экономка: я уговорила Бориса взять ее в наш дом, потому что она совсем одна, без средств к существованию, выслана на «сто первый километр». Это интересная, интеллигентная, совершенно седая в сорок пять лет женщина. Мужа-ювелира расстреляли, она неизвестно как вырастила красавицу дочь, которую недавно арестовали. С ней я встретила случайно, она подошла ко мне как к своей последней надежде, но уговорить Бориса взять в дом человека без московской прописки да еще со «сто первого», да еще с такой биографией было непросто.

Почему все что-то таят, хитрят, неискренни... Иногда создается впечатление, что даже Заяц что-то скрывает... почему? Почему они не открыты, не просты, не ясны. Какое счастье поселилось бы в доме!

О любви Бориса ко мне рассказывают легенды, но почему же я не чувствую этой любви, не понимаю ее даже головой, не понимаю, как можно для такой любви не отказаться от своих даже мелких удовольствий, дурных привычек? И мне надо верить на слово, что эта любовь есть... Ядя с волнением сообщила мне, что у Бориса на стороне маленький ребенок, что она, Ядя, говорила с матерью этого ребенка, но со мной та говорить не захотела. Я не могу поверить, что при любви Бориса ко мне это правда.

Ядя со всеми льстива... у нее новый любовник, Марта привела к нам своего помощника по прессе, молодого чеха, моего поклонника, который мои фильмы смотрит по нескольку раз, а до этого ее любовником был тоже мой поклонник, он был нашим посланцем в Софии, когда я там была с концертами. Ядя где-то выдала себя за мою двоюродную сестру, и теперь все стали находить даже сходство, хотя ничего общего между нами нет. Ядя совсем светлая, типичная полька с крупным носом, с очень тонкими губами, ее делают интересной зеленые красивые глаза.

Когда с дачи приезжает Елена Борисовна, в доме становится тяжело: Борис не выходит из своего кабинета под предлогом срочной работы; Мама под каким-нибудь предлогом у себя в комнате, ей не о чем говорить с Еленой Борисовной, Елена Борисовна сидит одна в столовой, и если я дома, я начинаю что-то лепетать, силой вытаскивая Бориса из кабинета, он подсаживается к маме, и начинается разговор: «как на даче», «как здоровье», «как погода»... И уже промелькнул его халат в двери кабинета. Может быть, Борис снял маме дачу, потому что стесняется ее показывать, а может быть, она сама так захотела, так посидит-посидит и уедет.

В доме семь пар чистых и семь пар нечистых: чистые — Заяц, домработница Паня и экономка, а мы все нечистые. Мы с Борисом, по-моему, вообще незаметно спиваемся. Борис пьет с детства, а я вначале мучилась, не могла привыкнуть, раньше не пила, даже в Ташкенте, где тоже пили все вокруг, но теперь и я ого-го как научилась и жду желанной минуты, жаль только, что это всегда поздно вечером, а я на ночь раньше не ела, теперь и это куда-то покатило, и я прибавила в весе полтора килограмма. Ну нет сил после ташкентской баланды отказаться от икры, балыков, бананов, шоколада, тортов, и только вдруг пронизывающая, жгучая память о том, что народ голодает, может меня удержать. Пир во время чумы.

С Борисом и смех и грех: он приезжает домой и в час, и в два, и в три часа ночи, просит поджарить ему яичницу из пяти яиц, прожарить ее до состояния подошвы, раскаленной докрасна, ест он вообще только то, к чему его приучила в детстве мама: из фруктов почему-то только именно подгнившие груши, что такое супы, он вообще не знает, мясо должно быть тоже в состоянии той же подошвы и тоже раскаленное докрасна; чай, кофе — презируемые напитки, слово «молоко» даже произносить нельзя, в мире существуют только два напитка: пиво и сладкая, пахнущая дешевым одеколоном вода, называемая ситро, эти напитки пьются в неограниченном количестве в ледяном состоянии, и когда я его все-таки уговорила попробовать икру, ему стало плохо. И несмотря на все это, Борис никогда в жизни ничем не болел, включая го-

ловную боль, — какое-то патологическое здоровье, и этот фактор является возражением на все мои попытки что-то, как-то изменить в его меню, в образе жизни и в куреве. Теперь он курит и ночью, это самая настоящая наркомания, спички ему фактически не нужны, он прикуривает одну папиросу от другой, он перешел спать из нашей спальни в свой кабинет на диван, прожег уже там ковер, и если мы не сопьемся и не погибнем от атомной войны, то наверняка сгорим.

Я придумала, несмотря на стоны и возражения Бориса, после ужина как бы ни было поздно и далеко, доезжать только до Белорусского вокзала, отпустить машину и дальше идти пешком по бульвару до дома, у Бориса затылок и шея уже неприличны, а когда я ему сказала, что при таком образе жизни он умрет в сорок четыре года, он ответил: «Ну это мы еще посмотрим». Действительно, может быть, с желудком, переваривающим подошвы, мухоморы, гнилые фрукты, выжить возможно.

Если бы не еда и питье, сами приемы не интересны, но опять же приходит сравнение: не интересны именно наши приемы, люди натянуты, разобщены. Тут же возникает железное «свои со своими», встречают тебя подозрительно, как будто у тебя за пазухой граната, и даже интеллигенция на этих приемах становится какой-то другой, а на приемах у иностранцев простота, свободная речь, общение, даже если ты не говоришь по-английски, тут же находится переводчик, и беседа льется... Наблюдаю и начинаю понимать — да, мы, интеллигенция, другие, не такие, какими были наши папы и мамы, мы плохо воспитаны, мы не по таланту в «высшем свете», а по каким-то непонятным для меня соображениям: незаслуженно заслуженные артисты, выскочки-писатели, воспевающие все и вся, художники-подхалимы, делающие из этих рож перлы интеллекта и красоты, той, настоящей интеллигенции нет, она истреблена, прозябает... Что же будет с нашими детьми?.. с детьми детей?.. Кто же их будет воспитывать...

А сам «высший свет»? «Вожди»? Наблюдаю и за ними: они тоже «свои со своими», похожи друг на друга как две капли воды, и их жены, и их дети тоже похожи на них, похожи чем-то отталкивающим, чем, я понять не могу — они как будто не умеют думать, от этого лица у них пустые, и хорошо еще, если на этих лицах появляются хоть какие-нибудь человеческие страсти, пусть и низменные, порочные... говорить с ними не о чем, какая-то у них другая первооснова... общаясь с ними, надо иметь два ума — один для себя, другой для них... Творческая интеллигенция при них тоже другая... тоже похожая на них. Такие почти все коммунисты... и Борис, и Костя, и Садкович, и Луков... Это идеология их сделала такими?.. Какой-то духовный паноптикум.

Смешно, немыслимо присутствие среди них моего Идена, моего виолончелиста...

Это общество как переспелое яблоко — надкусишь, а на зубах труха и черви.

Но существуют еще приемы в том самом ВОКСе, который оформлял меня за границу. Это отрада, островок, и, конечно, благодаря председателю ВОКСа и его супруге существуют эти приемы: интеллигентные, воспитанные люди, таких теперь можно по пальцам пересчитать, на их приемах предусмотрено все до мелочей, здесь другие человеческие мерки.

И само здание! Красивый, старинный особняк, окрашенный нежно-голубой краской, большие окна, за которыми смотрятся деревья сквера, гардины, мебель — все со вкусом, мягкий свет, блистающий паркет, все так, как было, наверное, в таких особняках до революции.

Впервые после войны встретилась здесь еще с одной «звездой» нашего кино: очаровательной Зоей Федоровой, она немного старше нашего с Валей поколения. Она была с не менее очаровательным возлюбленным, американским морским офицером. Эта пара очаровала всех, и теперь Зое не надо скрывать своего романа, после войны за любовь к иностранцу не расстреливают и не сажают в тюрьму.

Ко мне через зал идет коренастый, каштаново-рыжеватый, крепко сбитый мужчина, целует руки... Гилельс! Знаменитый Гилельс!

— Ну, здравствуйте! Я знал, что увижу вас, вот так рядом... Я этой встречи ждал... Лебедушка моя! Вы стали знаменитой...

— И вы тоже...

В глазах у Гилельса замелькали пушинки снега, набережная Волги, мы целуемся на морозе, нам по двадцать лет — я выброшенная из Москвы, он еще студент, но уже с фортепьянным концертом в Горьком... Десять лет...

— Я вас пронесу в своем сердце до конца жизни, до последнего вздоха... сказать я не смогу, что вы для меня, но я должен знать, что вы знаете об этом. Я хожу на все ваши премьеры, сижу один по несколько сеансов и смотрю ваши фильмы...

— А я одна, без спутников сижу на ваших концертах и тоже не смогу сказать почему...

— Я все о вас знаю... знаю, что ваша маленькая девочка выросла, что вы замужем, что были долго за границей, что в вас влюбился Тито...

— О, да, вы старый сплетник...

Смеемся, не отрываем друг от друга глаз...

Погода отвратительная, сыро, холодно, уже в пять часов темно. Подъезжаем к Белорусскому вокзалу, Борис выходить из машины не хочет, скандалит. Уговаривать тоже не хочу, выхожу сама и направляюсь к бульвару, наблюдая за них — не выйдет, пойду одна... Отпускает машину, догоняет. Понимаю, что с его ленью он сейчас меня ненавидит... мы оба чуть пьяненькие... в машине было так тепло... так не хотелось выходить... я расхохоталась.

— Спасибо, Боренька! Глубокая вам благодарность от всего прогрессивного человечества!

Из темноты выплыла скамейка, и на ней молодая женщина в каком-то летнем пальтишке, с ней трое детей в рванье, самый маленький на коленях. Впились глазами друг в друга, в ее затравленных глазах вопрос: не сделаем ли мы ей и ее детям плохое. Я выхватила из сумки все деньги, которые были, сняла теплую кофту, отдаю ей. Бориса нет, он ушел вперед. Но он же мог не увидеть эту женщину...

— Борис! Вернитесь. Подойдите. Дайте мне все деньги, которые с вами, снимите джемпер!

Джемпер снимает, шарит по карманам...

— Опять ваши затеи, без джемпера мне будет холодно. Она может пойти в приемник...

Женщина встрепенулась:

— Дамочка, оставь мужика, он же тебе не муж. Пусть идет. Я обойдусь, мне ничего не надо!

— Идите, Борис! — Я наклоняюсь к ней: — Что я еще могу сделать для вас?!

— Ты и так сделала, не твои кофты, ты меня согрела, за меня не беспокойся. Я присела ненадолго, дети притомились, до вокзала рядом, мне только до вокзала, там нас не выгонят, есть деньги, я доберусь до деревни.

— Как тебя зовут?

— Кланыя.

— Давай думать друг о друге, Кланя, тебе будет тепло и мне.

Рванулась в темноту, рыдаю.

— Тимоша! Тимоша! Я же вас не догоню! Успокойтесь!

Рядом его сопение.

— Успокойтесь, прошу вас, ну подумаешь, нищая, она не пропадет, у нас таким помогают, может, украла что-нибудь, вот и прячется, боится идти в официальные организации...

Я остановилась, смотрю ему в глаза.

— Успокойтесь, подумаешь, нищая... я...

— Борис! Не говорите больше ничего, прошу вас, умоляю, у меня разорвется сердце! Оставьте меня. Идите спокойно домой, я буду идти за вами. Умоляю вас!

— Нет, я вас не оставлю, я должен вас успокоить, понимаете, эта женщина...

Я побежала.

— Тимоша! Тимоша! Послушайте меня...

Я прислонилась к стене, слова выговорить не могу, мне дурно.

— Борис! Единственная просьба! Не говорите ничего! Мы уже у дома! Я похожу! Успокоюсь! Со мной ничего не случится! Иначе я умру! Задохнусь! Неужели в вас нет ничего человеческого! Неужели вы не видите! Не понимаете! Мне дурно! Я не могу вас слышать... Оставьте меня!

— Нет, не оставлю.

— Я даю вас честное слово... что через пять-десять минут вернусь домой... только похожу... сейчас не могу... не могу... я все вам прошу... только оставьте меня... оставьте, если не хотите, чтобы я умерла...

— Нет.

Очнулась, когда Борис уже дотащил меня до подъезда.

Скоро рассвет. Голову раздирают мысли, из кабинета доносится храп Бориса... где я... что со мной происходит... Как я жива... Как жить дальше... Какой же Борис на самом деле... Из-за его скрытности я часто узнаю о нем последней и часто от других... Эта новая вспышка высветила холод... жестокость... я для него открыта... вся... во всем... он знает даже о моих изменах, знает потому, что я тогда не бываю с ним близка...

Ужасная статья о Трумэне — о ней я тоже узнала последней, а ведь я удивилась, обрадовалась, увидя Бориса за письменным столом! А через несколько дней встречаю у театра знакомых, которые как-то странно, отчужденно здороваются со мной и, не останавливаясь, проходят дальше, а

в театре со мной и здороваются, и ведут себя так, как будто я заболела проказой... Сажусь к Юрке в машину.

— Татьяна Кирилловна, ну как же вы! Вы! Могли это допустить!..

— Что, Юрка, дорогой мой ребенок?

— Как что?! Вы ничего не знаете?! Ах, вы же не читаете газет!

Юрка захлебнулся от волнения.

— Да сегодня же в газете статья Бориса Леонтьевича о президенте Трумэне «Мальчик на побегушках!» И объяснять дальше ничего не надо! Достаточно названия!

Мы чуть не въехали в столб.

— До чего же статья гнусная, подметная, наемная!

У меня в руках «Литературная газета».

— Как же Борис Леонтьевич мог! Я ведь его уважал!

Врываюсь в дом! Тишина. Значит, еще не прочли. Бориса нет. Ядя смотрит вопросительно, знаю я или нет.

— Значит, ты знала о статье, почему же ты мне ничего не сказала, ведь возможно было ее предупредить, вплоть до развода!

— Не смейся! Борису ночью позвонили из ЦК, что же ты думаешь, что он выбрал бы тебя вместо ЦК.

— Зайцу скажи, что я срочно вылетела на гастроли, потом я ей сама все объясню.

Взяла у Мамы ключи от Калужской и уехала к тете Тоне в чем была. Борис примчался ночью, разбудил соседей, кричал, доказывал, плакал.

Я же не могу бросить свою Маму, своего Зайца, опять я сгоряча, как Папа, бросилась в омут. Приехали домой под утро: я — приниженная, Борис — торжествующий. Ядя и Борис иногда кажутся мне пиявками, которых я не могу оторвать от себя.

А дальше началась не приниженность, а униженность, позор: при нашем появлении на приемах люди не просто нас не замечают, а откровенно, демонстративно отворачиваются. Я решилась подойти к Зое и спросить, в чем дело, ее морской офицер кое-как объяснил по-русски, что все европейские газеты пишут о Борисе, а в Америке была демонстрация и несли изображение Бориса с надписью: «Поджигатель войны номер три!» Такая честь: Гитлер, Сталин, Борис! Я быстро зашагала с приема и сказала Борису: «Кто бы мне ни приказывал, ни на какие приемы я больше не пойду».

Вскоре Америка вручила ноту протеста по поводу статьи, на которую последовал ответ: «Литературная газета» — не

правительственная, и поэтому правительство не отвечает за мнение писателя» — вот почему статья была напечатана не в Борисовой «Правде», а в «Литературной газете».

Зачем я Борису?! Я вижу, как на приемах он, пропуская меня вперед, наблюдает за эффектом, который я произвожу! Он даже стал интересоваться туалетом, в котором я собираюсь на прием... ловлю себя на том, что у меня после его «вспышек» все чаще и чаще появляется неприязнь, раздражают его «шажки», его речь, когда он выпивает, его лепет понять можно с трудом, и я как-то сорвалась, правда, с улыбкой сказав, чтобы он говорил медленнее и внятнее, потому что его «тюрлюпу» понять трудно... Радость от его поступков почти уже не приходит — теперь, когда появилось много денег, они с Костей стали облагодетельствовать бедных литераторов — это ведь не от человеческой доброты, а так, с «барского стола», получается как-то стыдно. Настоящих друзей у них нет, да и просто приятелей тоже мало... а может быть, они не бывают у нас, а где-то там, где Борис иногда пропадает с утра до ночи... У больших писателей, которые у нас изредка и единожды появляются, к Борису какое-то снисходительно терпимое отношение... а в общем, все хорошо... что тогда со мной... я просто заевшаяся дрянь... неблагодарная... почему у меня все не так, как у людей... Я знаю женщин, которым все равно, какие у них мужья, любовники, они прощают все за минуты наслаждения... почему же я такой урод, почему же я не могу прощать Борису... Но ведь человеческие отношения так создать невозможно! Невозможно полюбить человека с пустой, ничтожной сущностью... а сейчас его и Костю выдвигают в депутаты... что же, так и жить, как «эти» на приемах... говорят, глупо искать черную кошку в темной комнате... а что я ишу?... а если кошки в этой комнате вообще нет... Ольга! Где моя Ольга!.. С ней все становится яснее, выносимее...

Ее в дом привел Борис, он часто так делает, если люди хотят со мной познакомиться, а я при этом чувствую себя отвратительно, зажимаюсь, становлюсь препротивной и ничего не могу с собой поделать. Ольга не стала говорить, что она счастлива стоять рядом со мной, что я великая артистка, а вперилась молча в меня глазами — это длилось вечность — и заявила:

— Ничего! И там и здесь такая же, как я и представляла.

Ну и все! Ну и прекрасно! Ну и скорей к столу!

И никогда больше на эту тему она не говорила, и ко

мне на землю сошел Друг, к сожалению, живущий в Ленинграде.

С ней можно говорить обо всем, ей можно сказать все, как в юности моей Тосе. Она моя душа. Она оказалась той самой знаменитой поэтессой Берггольц, о которой я знала, слышала: она всю оставшуюся в веках ленинградскую блокаду не покинула город, несмотря на настояния, работала на радио, там же и спала и жила одним дыханием со всем народом, денно и нощно выступая со стихами, с речами. Для меня она человек, гражданин.

Маленькая, женственная, совсем светлая, в нашей полосе такие некрашенные блондинки попадают редко, чухна, северянка, лицо доброе, интересная, похожа на изящную статуэтку, в душе ломкая, хрупкая, все понимающая, все видящая, с прекрасным именем Ольга, я теперь придаю большое значение именам. Она была арестована в тридцать седьмом, но в лагерь не попала, а избитая, в полубессознательном состоянии была выброшена в каком-то дворе. Теперь я все знаю о тюрьмах в нашей стране и об их знаменитой Лиговке, не уступающей нашей Лубянке.

Таких длинных комнат не бывает. Еще и конусом. Дверь за тридевять земель... Борис... Ядя... Заяц... Еще кто-то в белом халате... Теперь они огромные над моим лицом. Целуют. Как это они так быстро проскочили такую длинную комнату? В белом халате симпатичный приветливый старый мужчина:

— Ну что, еще поживем?

Пытаюсь улыбнуться.

Вот и оказалась второй раз в Кремлевке. Я не захотела рожать ребенка от Бориса, аборт запрещены, Ядя нашла подпольного врача, и вот я здесь — еле-еле, но спасли. Но спасли же!!! Ура!!!

Во время операции мне причудилось, что родился мальчик в сапогах, в косоворотке и с партийным билетом. А если девочка... А этот человек в белом халате — мой доктор Корчагин, спасший меня. До чего же он красивый, как Собольшиков-Самарин, седой, гордый, благородный, умный, мягкий, совсем старый, из предыдущего века, похож на Идена, на виолончелиста, почему я не родилась в одно время с этим доктором, я бы его любила вечно.

Начала поправляться, и опять напоззло неприятие чего-то... рассказала обо все своему доктору, и как только я встала на ноги, он повел меня к лучшему психиатру, сказав, что он уверен в ее квалификации, потому что иначе еврейку здесь, в Кремлевке, не держали бы, что вообще-то в Кремлевке врачи или уж действительно с талантом, «им» ведь самим тоже надо лечиться, или уж с чистой политической принадлежностью. Вхожу. Пожилая, хлодная — безразличным тоном, изображающим угодливость, спрашивает, что меня мучит, тревожит... Смотрю в ее глаза — они мимо меня, читаю в них: «Что с жиру бесишься?» Встала и ушла в палату, излила все своему доктору, он все понял, утешил и сказал, что в стране происходит что-то странное и это заметнее именно здесь, в Кремлевке, куда «они» приносят всю свою гниль.

Жены их еще невыносимее, чем они сами. Это даже не гниль, это «Театр Фарса»: на крестьянскую девку надели корону и царс-

кие одежды, не изменив выражения лица. Они часами в чернубурых накидках поверх халатов, в полном макияже, как для бала, «болтают» в холле — слушать их невозможно. Хорошая половина из них здорова, они из больницы устроили «светское» развлечение, тем более что кормят здесь, как в ресторане «Националь». Есть же лица и некрасивые, но в них мысль, обаяние и от них нельзя оторваться, в эти же лица, даже красивые, смотреть не хочется, столько в них всякой дряни.

И нет бы только наблюдать за ними — они ведь подстерегают меня у двери палаты, они хотят влезть в душу, они хотят общения со мной, для них престижно общение с людьми искусства. Кончится тем, что я самую назойливую укушу.

А что же я? Какая-то особенная? Почему я не могу общаться с ними? Ведь все наши знаменитости общаются, ездят к ним на дачи, даже дружат? Что же они не видят, кто эти люди? Почему хвалят их взахлеб? Из-за благ, которыми их ублажают? А может быть, это и есть классовое общество? А как же тогда быть с бесклассовым? Ах Папа! Папочка! Ты же мог рассказать мне и про это.

Ниточки, связывающие меня с жизнью, обрываются одна за другой — не хочу есть, не хочу жить, не хочу приемов, людей, ничего не хочу — расплата за детоубийство, за операцию, которую ни умом, ни моралью, ни сердцем принять невозможно. В «их» санатории тоже не хочу, чтобы там не удавиться. Доктор категорически запретил сразу «впадать» в работу, и, несмотря на все его уговоры, из чувства самосохранения, еду в свое Переделкино.

В Переделкино весна, как восемь лет назад...

Брожу... брожу... до устали... без асфальта... по земле и, как Антей, начинаю возрождаться.

И жизнь, и война здесь многое разметали: Дома творчества нет, в войну в нем стояла воинская часть и разрушила его, Дом творчества теперь совсем в другом месте — чужой, незнакомый...

Проходить мимо дачи Афиногеновых не могу, душат слезы: тогда, в Ташкенте, когда Борис прилетал на побывку, рассказал, как нелепо погиб сам Афиногенов, забежав на минутку в ЦК партии, и единственная упавшая в центре бомба попала именно в ЦК и убила Афиногенова. Его прелестная несчастная жена, американка Дженни, оставшись одна с двумя девочками в чужой стране, добившись поездки в Америку, возвращалась домой на пароходе, начался пожар, девочек Дженни спасла, а сама сгорела заживо.

Шекспировская трагедия этой семьи выворачивает душу, выяснить, где девочки, пока не могу, дача забита.

Нашла в лесу место, где Борис, упав на колени в лужу, сделал мне предложение... Сколько воды утекло...

Юрка привез мне книги, и я, сидя на диванчике с ногами, как тогда в Ленинграде, взахлеб читаю и становлюсь счастливее.

Нам «выдали» освобожденный кем-то верхний этаж дачи. Пока я не успела сделать его уютным, но здесь чисто, есть все необходимое.

Привиделся Пушкин, едущий с колокольчиком, мерно, через всю Россию... вот уж где можно думать... думать... творить...

Поражена русскими поговорками, да и не только русскими, но и японскими, и бразильскими — философы пишут толстые книги, а в поговорках все выражено несколькими словами:

«Не наступай сюда, здесь вчера блестели светлячки».

«Не бросай камни в соседа, если у тебя стеклянная крыша».

«Если хочешь научить лягушку плавать, не бросай ее в кипяток».

«Когдаходишь, думай о выходе».

«Дурак тоже знает, что надо вовремя помолчать, но не знает, когда это время бывает».

«Если одеяло короткое, то подожди ноги».

Волнуют лес, птицы, тишина, небо — могу дотянуться и окунуть руки в голубизну!

Пошаливает сердце, неподвластно, самочувствие пока неважное.

Ну почему я именно так живу?! Зачем? Среди кого я? Неужели человек такое беспомощное существо, что куда его занесет, как ветер листья, так он и должен жить?! А я хочу по-другому!

Милый Юрий Карлович Олеша, когда я приставала к нему, чтобы он мне что-то разъяснил, сказал: «Что ты все почему да зачем, в нашей стране не надо иметь много извилин в голове, лучше если у тебя будет одна и та прямая!..»

Шофер Юрка привез записку от Бориса, чтобы я обязательно приехала на правительственный прием. Не хочу, не поеду и Бориса просила не приезжать ко мне. Хочу лежать на спине, вдыхать запах земли, трав, слушать ветер, держать в ладонях шелковый тополиный пух!

И еще Юрка привез мое любимое чтение — книги о науке, она так и продолжает меня тревожить. Привез книгу о бестужевках. Какой блеск русского женского ума, мысли, души, таланта, аристократизма стекался на эти курсы... И что такое вообще талант? Глубина неизвестного?

Нас удивляет известное, понятное, а все действительно удивительное, скрытое не доходит до мозга, как будто этого нет, не существует: удивляют слоны, бегемоты, жирафы, ихтиозавры, а микробы, весь невидимый мир, из которого состоят эти слоны, бегемоты, жирафы?.. А вся вселенная, состоящая из микромиров? Дикари были тоньше, они не знали об этом невидимом мире,

но верили в него, чувствовали его, а мы знаем, но как свиньи все роєм под дубом.

Проснулась и тихонько хихикаю с прижмуренными глазами, чтобы громко не рассмеяться, не спугнуть и наблюдать: у меня появился новый друг, смешное, довольно нахальное существо серого цвета — воробей! Я его кормила, он стал толстым, холеным, перышки лоснятся, и обычно я встаю с восходом солнца, а этой ночью поздно гуляла по лесу и, естественно, еще спала, тогда он стал чирикать, требовать, скандалить, возмущаться — побеждает, побеждает по перилам балкона, заглянет в комнату, а я все сплю. Не выдерживаю, хохочу, вскакиваю и несу ему еду и питье, и обычно он при моем появлении не улетает, а отходит к концу перил и наблюдает за мной, а сейчас даже не шелохнулся, не отошел, а ласково, весело смотрит в глаза, приветствует меня, сожмулся.

Придумался интересный эпизод для фильма: командир, влюбленный в свою подчиненную, вызывает ее к себе в кабинет, чтобы сделать предложение, но, так и не решившись, отпускает ее. Стук в дверь, она вернулась, козыряет: «Можно мне задать вам вопрос?» — «Задавайте». — «Выходить мне за вас замуж или нет?»

Стук в дверь — на пороге Валя. Узнав о моем пребывании в Кремлевке, пришла меня навестить.

Как-то не получается у нас близости, она какая-то «не моя» и, как говорил Папа, «не нашего круга». Мы домами не общаемся, я вижу с Валею только в театре или в официальных местах, да и Костя с Борисом встречаются или у себя в Союзе писателей на собраниях или как депутаты — они оба избраны. Валею Борис почему-то недолюбливает, я даже удивилась, когда он, войдя в наш номер гостиницы «Москва» и увидя сидящую на подоконнике Валею, грубо с ней поздоровался, и Валя тут же ушла.

Костя, не дождавшись, когда освободится дача здесь, в писательском городке, купил дом поблизости, в поселке, вот Валя и зашла меня проведать, поболтать, рассказала очаровательный анекдот: в хозяйственный магазин приходит дама покупать веник для пола и начинает выворачивать весь магазин, пересмотрев в который раз все веники, продавец молча терпит, наконец дама выбирает веник, продавец вежливо наклоняется: «Вам завернуть или сразу полетите?»

С паническим страхом жду появления на дороге Юрки — не хочу ехать в Москву. Все опять то же, так же!

Юрка приехал: письмо от Берсенева о том, что больше ни дня, ни часа медлить нельзя, надо начинать репетировать и играть.

Привез милое письмо от моих «окуневок» — они тоскуют, ждут меня. Мы с Валею поделили наших юных поклонниц и поклонников, и они сами себя называли «серовки» и «окуневки». Чтобы не

уронить это звание, защищая его, они даже дерутся между собой, собирают деньги от школьных завтраков, как я делала когда-то, чтобы попасть в свой «Великий немой», и преподносят трогательные букетики, тонущие среди корзин с цветами и уж тем более среди черных роз, которые так и продолжал присылать от имени маршала посол Владо, но я всегда беру эти букетики в руки, когда выхожу на поклоны. Пришлось познакомиться с родителями одной из них: раздался телефонный звонок, и мама этой девочки, рыдая, упросила встретиться с ней. Оказывается, дочь плохо учится, не хочет вообще учиться и только я могу на нее подействовать, и действительно мой разговор с девочкой помог, и теперь я общаюсь с родителями.

Еще Юра привез письмо от Бориса, полное нежности, излияний, волнения о моем здоровье и упреков за то, что не разрешаю ему приезжать сюда, письмецо от Зайца, что если я не приеду, то она бросит школу и приедет сама. Я по ней очень соскучилась.

Вот и все, вот и опять в Москву. Прощаюсь с лесом. Юрка приедет за мной завтра.

Я не хочу в ту Москву, из которой уехала... шесть дней... что-то со мной происходит... Я хочу слушать с закрытыми глазами зачаровывающий голос Виктории Ивановой — хочу в другой мир... хочу быть счастливой... хочу жить среди умных, образованных, порядочных людей... открытых, искренних... талантливых... чистых... со светлыми помыслами... и чтобы этих людей не выдумывать, а быть среди них... говорить с ними обо всем... я без Папы тупею в окружении этих бесконечных «хороших парней»... почему мы все так разобщены... что, это специально задумано?... кем?..

Ольга! Моя Ольга! Хоть на сутки должна поехать к ней в Ленинград.

Вчера на приеме, когда мы с Валею проходили по залу, я почувствовала змеиное шипение, и жало впилося: «Две продажные суки продали свою красоту и талант цековским холуям».

Какое счастье, что Валя болтала и не слышала, был бы скандал.

Какими усилиями воли я смогла не броситься и не задушить эту злобную тварь!

Что им надо?! Откуда такая злоба, ненависть, зависть?! Чему завидуют?! Все же мы здесь находящиеся живем одинаково: квартира, машина, дача, звание, мебель, ордена, холодильник. У одних получается получше, у других похуже, кто что смог урвать.

Сказано было так, чтобы наши мужчины не могли услышать — боялись физической расправы? А чтобы наши мужчины сделали? Костя тут же разыскал, поймал бы говорившую и пошел бы жаловаться на нее в высшие инстанции. А Борис? Борис сделал бы вид, что не слышал, и потерялся бы среди гостей. Хорошо еще Валя не под хмельком — иначе была бы драка, и не обошлось бы без блистательного скандала между советскими светскими дамами на потеху иностранцам.

Как мне спастись от этого питья, оно неотступно, ежевечерне после спектакля, после концерта, после съемки. Валя и Костя пьют уже по-настоящему, не для этого проклятого удовольствия, а пьют, чтобы напиться, и Борис тоже.

Я не хочу этого! Не хочу! Но тихо вползаю с ними в этот лабиринт. Интересно, что Борис даже совсем пьяный никогда ничего не скажет ненужного, чего нельзя сказать. Он уже втянулся в «светскую» жизнь и по утрам, когда почему-либо Мама не подносит ему свежую рубашку, бежит крайне удивленный ко мне или к экономке.

В театре тоже волнения: второй раз вызывали в отдел кадров и, разговаривая, как бы между прочим стали настаи-

вать на моем вступлении в партию, де, мол, ведущая артистка... такая популярная... несует свет в массы.

Меня, кстати, эта популярность начинает изводить и угнетать, она иногда оборачивается для неинтеллигентных людей формой истерии и вызывает напряженность, ощущение, что за тобой все время наблюдают, но... как часто бывает, рядом с печальным — смешное: в театре назначено общее собрание, Иван Николаевич вызвал меня к себе в кабинет и настоятельно попросил, чтобы именно на этом собрании я обязательно присутствовала, потому что решается что-то очень важное для театра. А я как не читаю газет, так и не хожу на собрания: газеты мне всегда кажутся вчерашними и ничего более скучного, бессмысленного, угнетающего, чем сидеть на собраниях, я не знаю, тем более что после всех страстей все остается по-старому.

И я пришла, только немного опоздала, собрание уже идет, и я, чтобы не обращать на себя и на свое опоздание внимание, тихонько вошла в дверь последних рядов партера, над партером нависает балкон, царит полная темнота, и села. В президиуме весь синклит во главе с Иваном Николаевичем. Вот он тихонько встал, куда-то вышел, и вдруг зал залился светом как перед началом спектакля, зазвучал выходной марш, Иван Николаевич торжественно вышел на авансцену и не менее торжественным голосом громко произнес: «Татьяна Кирилловна, мы рады приветствовать вас на вашем первом в жизни собрании! Желаем вам здоровья, благополучия и множества замечательных ролей!..»

Взрыв хохота.

...Какое счастье, что я по своему амплу играю героинь — можно хотя бы на сцене прожить красивую человеческую жизнь, любовь, порывы, помыслы, но советских героинь играть не хочу, неинтересно и даже противно: все выдуманно и лживо, как в жизни. Хочется играть особенных женщин, а не просто сладких красавиц, и только Грете Гарбо удается создавать даже из этих сладких красавиц особенных женщин, ее героини таинственны, глубоки, как колодец... Я должна найти в себе голос, чтобы этот голос лился из сердца и западал в души зрителей... Мне кажется, что вообще художник должен быть тоньше, умнее своего государства, и если обычный человек шагает через лужу и для него это лужа, то для художника это должен быть океан.

Только что узнала от секретаря Бориса об аресте Зои Федоровой. Потрясена. Вот тебе и не арестовывают за любовь к иностранцу! Он улетел, и ее арестовали. Где же ее ма-

ленькая крошка, которую они в честь победы в войне назвали Викторией?!

Секретарь сказал об аресте победоносно, с каким-то подтекстом, в своей наглой манере. Что за человек появился у нас в доме? Кто он? Что он? Если он депутатский секретарь Бориса, почему же он у нас в доме, даже когда Бориса нет? Ведь у Бориса наверняка есть какое-то официальное помещение, да наконец и в союзе они могли бы встречаться.

Почему он влезает во все домашние дела, даже в наши отношения с Борисом? Сам начал вынимать почту из ящика, вместо экономки. Он производит отталкивающее впечатление своей наглостью, ему плюй в глаза — Божья роса, его проницательности диву даешься: только что он был в кабинете Бориса, и вдруг вздрагиваешь оттого, что он, как тень, стоит за твоей спиной. Он в дверь не входит, а проникает. Он у Бориса в холуях, угодлив, и Бориса это устраивает, потому что делает все то, что должен был бы делать Борис: он умудрился даже оружие сдать вместо Бориса; он ездит в распределитель; он сообщает все светские новости... Марк Келлерман! У него юридическое образование, его мать — старая большевичка, делавшая революцию. Мне он физически неприятен: жгучий брюнет, кажется, мой ровесник, высокий, худой, с черными, как у сатаны, глазами. А после истории с письмом я вообще смотреть на него не могу и скрыть этого тоже не могу да и не хочу: входит и подает мне письмо от Левушки из Минска, почему-то оказавшееся в его руках.

— Интересно подписывается ваш брат... его полная фамилия Рыминский?

У меня перехватило дыхание: Левушка еще со времен нашей юности подписывается «Лев Ры». Сжав губы, смотрю ему в глаза. Наши шпаги скрестились.

Братец мой! Он наконец-то только теперь в свои тридцать лет живет по-человечески: тетя Варя с ним, ухаживает за ним, он защитил кандидатскую, будет преподавать, и предел его счастья — заказанный ему проект института в Минске, Левушка прислал мне наметки — интересно, талантливо, в классическом стиле. Строить коробки ни за что не хочет. А с Борисом мы опять уходим в разные стороны: мы не расписаны, и по закону такой брак считается неофициальным, а сейчас вышел новый закон, и нужно расписаться, иначе брак недействителен. Борис настаивает, мало ли что может случиться, а у меня даже тогда в ничего не понимающие восемнадцать лет остался осадок от ЗАГСа как от чего-то фальшивого, некрасивого, и сейчас выдержать тупое, безразличное лицо расписывающей в плохо убранном зале с гряз-

ными дорожками, с плывущим звуком одного и того же торжественного марша... Не хочу.

Какой очаровательный прием в моем ВОКСе: когда подъехало много машин и мы все пошли через скверик, хлынул проливной дождь. Мы влетели в холл, отряхиваясь, хохоча, создалась непринужденная атмосфера. Какая отрада находиться среди достойных людей, достойных звезд: люблюсь уже совсем старыми Неждановой и Головановым, какие они неповторимые в своей старомодности, в абсолютном умении держаться, вести себя; Гилельс, целующий мокрыми губами мои мокрые руки, даже всегда сдержанный Эйзенштейн весел, смеется.

К моему креслу идет посол Владо Попович, приглашаю его сесть.

— У меня есть для вас известие: оформлен наконец выезд вашего театра в Югославию... Теперь я буду форсировать оформление документов, так просит маршал.

Посол почему-то волнуется.

— Что вы решили... остаться жить в Югославии... связать жизнь с маршалом...

— Вы спрашиваете от имени маршала?

— Нет... н-е-е-т...

— Не кажется ли вам этот разговор неприличным и непорядочным...

Я встала.

И в доме, и в театре все в состоянии шока: завтра вылет в Белград, а сегодня позвонил Берсенев и сказал, что мне и артисту Иванову, играющему Кристиана, вылет не разрешен. На вопрос Берсенева почему, по поводу Иванова ответили, что двадцать лет назад, в двадцатилетнем возрасте, он недолго был женат на турчанке, а в отношении меня было сказано, что я в Югославии уже была и пусть полетит другая артистка. А «другая» — это Валя, играющая во втором составе Роксану — Роксана не ее роль, и она в этой роли слаба, не говоря уже о дублере Иванова в роли Кристиана. Берсенев в отчаянии, оттого что везет развалившийся спектакль, и он, конечно, догадывается, что театр приглашен из-за меня. Смешно, но мне и решения-то теперь никакого принимать не надо, кто-то все решил за меня.

Борис, Костя и с ними еще три солидных журналиста едут на длительный срок в Японию.

Борис приехал за мной после спектакля в театр, мы, как всегда, сошли у Белорусского вокзала и зашагали по бульвару. Интересно, что опять не просто улица, а именно бульвар вошел в мою жизнь, а их ведь так мало в Москве.

Борис уже приехал за мной в каком-то «не своем» состоянии и теперь нервно идет своими шажками и, конечно, несмотря на все мольбы, впереди — и так, видимо, придется догонять его до конца жизни! Так ходит и Костя, и все наши мужчины.

Вдруг Борис поравнялся со мной:

— Тимоша, мне надо поговорить с вами...

Я засмеялась:

— Многовато прошло лет от последнего нашего разговора...

— Не смейтесь... это не смешно... это серьезно... это о вас... я очень волнуюсь за вас... — Борис заговорил скороговоркой. — Почему! Почему! Ну по-че-му! Вам не вступить

в партию, мне же уши прожужжали об этом, что, от вас что-нибудь убудет?! Почему вы какая-то не такая, как все?!

— Не ваша?

— Да, не наша.

— Так это же счастье!

— Опять вы за свое! Но ведь в жизни-то нужно быть, как все, я похолодел, когда услышал, как вы, разговаривая с большим государственным человеком, сказали, что мы не освободители, а оккупанты, а потом отошли от него, сказав, что разговор этот скучный и неинтересный! Не перебивайте меня! Вы что, не понимаете, что так вести себя нельзя...

— Я по-другому не умею... не могу...

— Не хотите! Думаете, что ваше обаяние спасет вас от всего?! Вы что, действительно не понимаете, к чему все это может привести?! Вы что, действительно так наивны?!

— Я действительно так наивна — я верю в то, что можно оставаться порядочным человеком, несмотря на все, что творится вокруг...

— Вы что угодно можете сказать, когда трезвая, а уж когда выпьете, вы хаму можете сказать в лицо, что он хам...

— Вы хотите сказать, что я тоже хамка... Но ведь вы никогда не слышали, чтобы я так говорила с людьми нашего круга.

— Да какая мне разница — с людьми вашего, нашего круга, я только знаю, что вам надо изменить себя! Я же не прошу вас врать, льстить, вы все равно это сделаете плохо, но хотя бы держите ваш язык за зубами или говорите все это мне! Мне! И никому больше!

— Я как будто вылетела из клетки, а вы хотите во что бы то ни стало поймать и запрятать...

— У вас и мысли-то все шиворот-навыворот! Да поймите же наконец, что характер это и есть судьба, которую вы сами себе готовите! Сами! А не какой-то там небесный бог предначертал ее для вас! Почему вы не хотите идти в ЗАГС?! Ах, грязные коврики!!! А в нашей стране все может случиться, и тогда ничего не поправишь!

Почему Борис ни слова не говорит о запрете на поездку в Югославию? Это же скандал?

— Почему же вы молчите?! По-че-му?! Я же во всем прав!..

— В чем? По-вашему, все люди должны мыслить и поступать одинаково?! А помните фразу Сирано: «Бедняк Лэбрэ, он не понимает счастья иметь врагов!»

Что в голове, в душе Бориса?! Я не понимаю до конца его жизненных «установок»... Заглядываешь в чужие мысли, в чужую душу, как в бездну... что же сам-то он никогда в жизни не был ни правдивым, ни искренним. Вспомнилось, как Борис, приехав с фронта впервые в погонах вместо нашивок, показывал их, восторгался, а когда все ушли, он схватился за них и хотел содрать... Как же он так проживет целую жизнь...

Хочется его спросить: «А что мне делать, если Берия после его отлета позвонит по телефону?» Как Борис вообще смеет после всего о чем-то разговаривать со мной...

— На носу тридцатилетие Советской власти, вы же играете главную роль в юбилейном спектакле, и вы одна не получите звание...

...И что даже я, жена, знаю о его мыслях, целях, желаниях, кроме тех вспышек магния, которые высвечивают его на мгновенье?..

— Поймите, я люблю вас, я волнуюсь за вас, вы же моя жена, вы должны придерживаться тех мыслей, тех действий, которых требует жизнь!

Торжественно проводили, и, чтобы Борис не мучился в Японии, я его заверила, что подумаю серьезно о себе.

Звонок от Владо Поповича.

— Мне нужно срочно с вами поговорить не по телефону.

— Вы будете опять говорить от своего имени?

— Нет.

Решили встретиться в каком-то дешевом моспитовском кафе, где, может быть, нет подслушивающей аппаратуры.

Владо опять очень взволнован.

— Позвонил маршал, он ничего не понимает, он возмущен, он хочет поднять скандал и спрашивает, может быть, вы не захотели прилететь...

— Нет, я очень хотела.

— Как все так может быть?!

— В нашей стране все может быть, скоро и в вашей стране все сможет быть! Меня не выпустили неизвестные мне инстанции, и Боже упаси поднимать скандал, от этого будет хуже только мне.

— Но маршал спрашивает о вашем переезде в Югославию... Вы уверены, что не поедете?

— Нет, я не передумала, я буду жить в своей стране.

Владо бессмысленно вскочил, сел, не может начать говорить — как он сейчас красив! У него удивительные глаза, как почти у всех южных славян — Христовы! У него прекрасные руки, честные, добрые, как у Папы. Он черногорец, на год старше меня, воевал, ранен, генерал.

— Простите мне все — и бестактность, и вмешательство в личные отношения с маршалом. Я потерял голову, я впервые люблю, люблю вас всем существом, безоглядно с первых кадров вашего фильма, я же сам прилетел в Белград к вашим гастролям, я не сумел даже придумать предлога, маршал был удивлен, прогоните меня...

Дурман... наваждение... я тону в этих Христовых черногорских глазах... Роман! Как сумасшествие! Может быть, это и есть любовь, которая снизошла на меня.

Какой он нежный, тонкий, любящий! У нас появился наш домик, это Владо его нашел! Он часами ждет меня, сам готовит

для меня вкусное, строго охраняет нашу тайну. А я?! Я считаю секунды встречи с ним, волнуясь, выдумываю всякие сюрпризы и ни о чем не думаю — ни о чем! Близкие меня не узнают, я вдохновенна, весела, счастлива!

Владо вымолил представить его Маме и Зайцу, с Зайцем у них сразу же возникла нежность и сложились замечательные взаимоотношения. Владо балует Зайца, они ходят без меня в театр.

А дни бегут, летят, несутся! Месяц... Второй... Возвращение Бориса неминуемо приближается. И если Владо никогда раньше не заговаривал о нашем будущем, то теперь этот вопрос на его губах, я бросаюсь к нему, закрываю рот поцелуями, шучу, но все равно этот крик рвется из сердца, присутствует тенью, омрачает наш праздник. И сорвался:

— Я жить без вас не смогу, что мне делать, я же не могу, не смею предложить вам жизнь со мной, я знаю, что вы из России не уедете, а что я здесь?! Ничего! Я же обреку вас и вашу семью на муки.

И плачем оба.

— На родине я бы все перевернул, чтобы сделать вас счастливой!..

В последние дни перед приездом Бориса Владо как-то незнакомо изменился, стал настойчивым, даже грубым, просит поговорить с Борисом, мечется, захотел поговорить с Ядей, которую он не выносит, она вернулась и сказала, что Владо требовал уговорить меня уехать, они поссорились, и Владо чуть не на ходу вытолкнул ее из машины.

Ходим по переулку, да, Владо другой, другой, незнакомый мне, требовательный, громкий, разговор доходит почти до скандала, Владо даже больно схватил меня за руку. Я не могу принять его таким, он видит это и сердится еще больше, становится невыносимым. Он требует, чтобы я переехала в гостиницу и ни часа в квартире с Борисом не оставалась. Такого Владо я отрываю от себя, с таким Владо быть не хочу!

И все-таки от него позвонили и сказали, что меня ожидает «люкс» в гостинице «Москва». И все-таки Владо вызвал Бориса на разговор, о чем они говорили, где это было, не знаю, но Борис повеселел и со мной о Поповиче ни слова, что делает ему честь.

Жизнь совсем бессмысленна. В театре готовим юбилейный спектакль, в котором я играю главную роль. Спектакль о колхозе, я юный бригадир полевой бригады, для меня эта роль еще труднее, чем жена Шадрина в горьковском театре, но я пустилась на хитрость и играю проверенный «повальный» штамп: большие ботинки, две косички в разные стороны, ситцевый платочек вокруг шеи, безбровая, милая, смешная девчонка — все это я ук-

рала у неповторимой артистки Бабановой: именно такой Бабанова была в спектакле «Поэма о топоре» и пленила всех.

Все пять ведущих наших артисток получили звание заслуженных, и я, как ни странно, тоже, ну а за Тройку обидно, они ждали Героев Социалистического Труда, а им не дали, зато всякая нечисть имеет эти звания.

Встречи на приемах с Владо мучительны, стараюсь на приемах не бывать. Его неотрывный взгляд прожигает меня, с него спало величие, спокойствие — нервный, мне кажется, даже злой, ловит мой взгляд, неужели он считает возможным нашу любовь заменить тайной связью, неужели он не понимает, что это невозможно. Почему же люди могут красиво любить и не могут красиво расстаться...

У меня нет больше сил не замечать его. И я повернулась к нему... Броситься в его объятия... ничего на свете больше не знать!

«Рамона»... мой любимый английский вальс... он же знает это... он же сам достал мне где-то эту пластинку... наш домик... неужели это он попросил музыкантов сыграть... неужели посмеет пригласить меня танцевать... сердце когда-нибудь разорвется... его милые привычки... как он ест, смеется, ходит, носит мундир... как, в тысячу первый раз улыбаясь, поправляет мое русское «Попóвич» на югославское «Пóпович»... как не может заучить ударение в слове «писать», и я до слез хохочу, а Владо чуть не плачет, когда я разъясняю смысл только что произнесенной им тирады: «Мне завтра в вашем министерстве нужно будет много писать...»

Все югославы уезжают, они окончили академию, и Борис пригласил всех к нам на прощальный обед. Эти красавцы присутствовали тогда на обеде в Белграде у маршала, они учились у нас в военной академии, теперь ее окончили и уезжают домой. Бедная чешка Марта, с той самой операции у нас дома у нее так и длится роман с этим очаровательным югославским генералом. Марта в отчаянии от разлуки. Я спросила Бориса, почему он не боится «этих» иностранцев? «Ну эти же наши коммунисты, даже лучше, если знаешь, о чем и как они думают». От тех «других» Борис трусливо, глупо, часто бестактно шарахается.

Скорее бы отозвали Владо! И пусть уезжает! И пусть женится! На своей уродливой черногорке! На своей, как они все женятся, партизанке! И пусть! И пусть!!! И пусть вообще умрет от любви ко мне!!!

Владо исчез. Он должен исчезнуть, другого выхода нет.

Борис вернулся из Японии каким-то другим. Я еще не пойму каким — может быть, более хватким: снова и снова заключает бесконечные договора на переиздание «Непокоренных», вдруг заключил с прекрасным ленинградским театром договор на пьесу, стал еще более активным в своем союзе, часто вылетает в республики «наводить порядок», а на самом деле «насаждать свой порядок», стыдно за эту его деятельность. Я ведь встала перед Борисом на колени, чтобы он не ехал в Ленинград добывать несчастных Ахматову и Зошенко после их цеховского разгрома; это я познакомила доброго, умного, удивительного Зошенко с Борисом, как же Борис смеет, может участвовать в этом погроме?! Вместо Бориса добывать их поехал Костя. И как я теперь понимаю, Борис вылетает в республики для таких же погромов. Снова, снова, в который раз начинается «идеологический штурм» интеллигенции — снова запреты, переделки, уничтожение и унижение личностей.

А теперь Борис вдруг заперся в кабинете — пишет... Что? А вдруг статью типа «Трумэн на побегушках»?.. Ни одной строки, имеющей отношение к литературе, Борис в своем роскошном кабинете не написал... волнуясь, жду... дым из-под двери кабинета от его «Казбека» валит, как при пожаре.

— Тимоша, поздравьте, я написал большую статью о Японии для журнала!

С волнением читаю, слабо написано, неповторимо плохим стилем, бедная Япония, и уж совсем недопустимы обороты речи, которые бросаются в глаза даже мне, обыкновенному читателю, и как теперь обо всем этом сказать Борису, чтобы не обидеть, и ведь по другому-то он все равно написать не сможет.

Папочка! Мой бедный Папочка! Тогда он сказал о Мите и Борисе, что они никогда ничего не создадут — нечем. Им уже по сорок лет, оба допущены к творчеству, и ничего.

Мягко, издали предлагаю Борису помочь, как бы исправить мелочи в статье... Какое это было «блос ап», какая вспышка магния: на меня полыхнул взгляд, полный презрения, уничтожающий.

Так статья и пошла в журнале, потому что редакторы не исправляют секретарей Союза писателей.

И с пьесой дела идут плохо. Борис повез в театр совсем сырые наброски, и на сей раз меня удивила схожесть материала с пьесой Леонова об оккупации. Борису нельзя братья за незнакомую тему.

Начались бесконечные поездки в Ленинград, нескончаемые переделки. На премьеру поехать не смогла. Полная неудача.

Умолила Бориса по «великому благу» запросить КГБ о Баби и Папе, и на сей раз пришел ответ: умерли в лагере — ни когда, ни где, ни за что. Нет! Нет! Нет! Нет! Не верю! Не верю! Живы! Живы!

Во второй раз в мою жизнь врывается Охлопков: неожиданно-негаданно, как пятнадцать лет назад, опять приглашает в свой театр, который у него наконец появился. Он, оказывается, видел все мои спектакли в Ленкоме.

Я Николая Павловича потеряла тогда, в тридцать седьмом году, когда арестовали Баби и Папу, а меня выгнали из театра как дочь врага народа, а еще через месяц театр наш закрыли по постановлению ЦК, фактически закрыли, а выглядело это как слияние нас с Камерным театром, это была насмешка, потому что Охлопков и Таиров — два полюса, и слили, конечно, только для того, чтобы не выбросить такое количество людей на улицу. Я не знаю, числился ли вообще Охлопков в Камерном театре актером или режиссером, — я была уже в Горьком. Был ли он потом где-нибудь актером, режиссером, художественным руководителем? И только в войну я узнала, что Николай Павлович в Вахтанговском театре, эвакуированном в Новосибирск. Николай Павлович начинал свою актерскую карьеру в знаменитом новосибирском театре «Красный факел».

Охлопков и Рубен Симонов то же, что Охлопков и Таиров, — расстались они скандально. Что потом делал Охлопков, я тоже не знаю, и теперь вдруг стал художественным руководителем московского Театра Революции и сразу ошарашил, как и у нас в Реалистическом, взрывным спектаклем на модную тему о краснодонцах «Молодая гвардия», на премьеру которого он пригласил меня и Бориса.

Николай Павлович стал довольно часто, запросто бывать у нас и в один из таких дней заговорил о моем переходе к нему в театр. Вначале я восприняла это как дурную шутку, но Николай Павлович серьезно начал развивать эту тему.

Он видел наш спектакль «За тех, кто в море», в нем две героини: одна — морской офицер, другая — артистка. Я играю артистку, а офицера играет недавно появившаяся в театре Люля Фадеева. Люля Фадеева, племянница Гиацинтовой, окончила вахтанговское училище, но оказалась в нашем театре, она моя ровесница. Я ее воспринимала только как родственницу: блеклая, с не-

выразительной внешностью, слабым голосом, с вялым темпераментом, по амплу типичная инженю, и для этого амплу у нее есть достоинства: она мила, женственна, хорошая фигура и ноги.

Но Николай Павлович сразу учуял, что Тройка хочет сделать Люле карьеру именно как героине и что при такой ситуации мое присутствие рядом будет всегда мешать их замыслу.

Я слушаю, думаю — может быть, Николай Павлович и прав, он на интригах в театре собаку съел, и сам он человек злой, странный, темный...

А что меня ждет в его театре?.. Там уйма актрис, и актрис хороших, которые не потеснятся, которые меня съедят... Хотя я знаю, что если Николай Павлович захочет, то сделает все возможное и невозможное, но добьется — «вся жизнь его тому порука»...

— А у меня в театре такой героини, как ты, нет. Я собираюсь ставить «Гамлета» — Офелии нет!..

И опять слушаю, слушаю... Может быть, я ему действительно нужна... А может быть, Николай Павлович, падкий на сенсации, хочет преподнести еще и такую, и мой уход из Ленкома с моим положением в нем, конечно, сенсация...

И как же Иван Николаевич? Он же сам меня выпестовал, как же он может теперь отдать и меня, и театр на откуп родственнице... Он же понимает, что я частица его театра...

И думаю, и вспоминаю, что тогда в тридцать седьмом году Николай Павлович предал меня, разрешил выбросить из театра, не защитил...

— Николай Павлович, вы же знаете, что Берсенев меня сделал героиней театра, и как же я теперь могу подать заявление об уходе?..

Он засмеялся:

— Ты что, не знаешь, что за глаза твоего худрука называют Ванькой Каином?! И об этом не думай, это я все беру на себя, я сам с ним поговорю «так на так»!

Сколько перевернул мыслей, чувств Николай Павлович... как поступить...

Мой Татьянин день — первый в новой квартире — омрачен Левушкой.

Он приехал к именинам, мой любимый, дорогой брат, но как он плохо выглядит.

Мы не виделись два года, и в письмах он меня обманывал, что у него все хорошо: в Минске тоже началась охота на ведьм, и Левушка опять может остаться без прописки со своим «минус города» в паспорте и в такой ситуации едва ли сможет помочь даже Парусников — выселяют в 24 часа.

На вокзале Левушка так и не дал сказать ни слова, начал тискать до хруста костей, схватил на руки, закружил, но уж зато ночь напролет мы проговорили у меня в спальне. Борис теперь не спит в спальне, он очень храпит и так пропах своим «Казбеком», что и я утром не могу отмыться от этого запаха.

Ни с кем в мире говорить так открыто, до конца, кроме Левушки, невозможно.

Я разглядела Левушку: мой бурбон почти сед, очень худой, глаза ввалились.

— Ах, Татьяна-обезьянка, ты не принимай это близко к сердцу, я просто плохо себя чувствую, устал, ночь в поезде не спал, волновался перед встречей с тобой!

— Не лги! И не смей даже рот раскрыть — поедешь со мной по врачам. Как ты смел молчать, что чувствуешь себя плохо?!

— Ну что я буду писать?! Мы же договорились о главном не писать, чтобы еще раз не посадили, а о жизни... ты же ведь у меня сумасшедшая, бросишь все и прикатишь, а помочь-то мне нельзя...

Часа два рассказывала о романе с Владо и ситуации с маршалом, слушал не переводя дыхания... что он скажет...

— И чой-то, сестричка, мужчины в тебя такие влюбленные, в обыкновенную-то Татьянку-обезьянку!!!

— Ну не скажи!!!

Левушка, как в детстве, гладит мои волосы:

— Бедняжка моя... пришла любовь, подразнила, ушла, и все равно это счастье, что она заглянула...

Молчу о его несостоявшейся невесте Любе Врангель и так странно исчезнувшей жене Ирине... Господи, пошли Левушке любимую, любящую женщину, жену, хорошую, близкую по духу...

— А чой-то женщины в тебя такие влюбленные, в обыкновенного чеморданошерлохладку!!!

— О, я прекрасен! Красив, как Аполлон! Умен, как греки! Талантлив, как дьявол!!!

И хохочем, когда хочется кричать и плакать. Ах, чувство юмора, какая это прекрасная вещь — Левушке и анекдоты-то до конца не надо рассказывать, с середины понимает и заливается смехом. Привез минский анекдот: к директору маленькой парикмахерской врывается клиент в мыле — мыло попало в глаза, щека порезана — и, захлебываясь от волнения, жалуется. Сидит умный пожилой еврей, слушает, кивает головой: «Я понимаю вас, вам все это не нравится». Клиент задохнулся, решив, что директор издевается над ним: «А вы хотите, чтобы мне все это еще и нравилось?!» «Нет, нет, что вы! Только почему вы начинаете с парикмахерской?!»

Когда рассказала о мире, в котором я живу, Левушка, сделал смешное лицо, начал монолог:

— Слушая, Татьяна-обезьянка, может быть, ты действительно заелась, как решила твоя психиатриса из Кремлевки: рожна у тебя только нет! Даже унитаза чехословацкий!

Левушка подмигнул мне.

— Муж у тебя «хороший парень»; брат у тебя отличнейший, я бы даже сказал, великолепный, семья, дите, ты взошла довольно яркой звездой над довольно черно-мрачным горизонтом — что же еще, мать честная?!!

И опять хохочем, и с Левушкой все как будто проще, яснее.

И начались приготовления! Какая радость, какое счастье принимать гостей, создавать людям праздник! Когда я буду богатой, то заведу себе лошадь и буду отмечать все праздники. Такая радость видеть, что все веселы, вкусно едят, вкусно пьют! Я придумала меню из блюд русской кухни, а Левушка занят своей знаменитой стеклянной дверь-стеной, она соединяет столовую с гостиной, она уже раскрыта, столы расставлены, накрыты белоснежными скатертями, а главное, посадить так Тройку и Охлопкова, чтобы они не общались — и те и другие самолюбивы, особенно моя Серафимочка Германовна: столы стоят длинной линией, и я решила поставить с обоих концов поперечные столы на четыре человека, они смотрятся как царские: с одного конца сели Гиацинтова, Берсенов, Бирман с мужем, а с другого — Охлопков с женой и Лиля Юрьевна Брик с мужем, и все получилось отлично, и вечер удался.

Ужасно — Левушке совсем нельзя пить, и на второй день после именин с ним случился его припадок. Все врачи сказали, что это вылечить нельзя, повреждена центральная нервная система. Проклятие всем создавшим лагерь, всем, кто хватает талантливых студентов, обезглавливает нацию, калечит людей, убивает их здоровье. Левушка ничего не хочет и лечиться не хочет. Кроме его болезни, у него плохо с легкими, затемнены верхушки. А ведь нам по тридцать три года, мы должны быть в самом расцвете и творческом, и физическом!

С Левушкой едет уже постаревший и уже академик Парусников.

Господи, спасибо тебе, что ты послал нам моего Соболюшкина-Самарина, что было бы со мной, с Мамой, с Малюшкой, если бы не он, и Левушкиного Парусникова, и теперь вся надежда на Парусникова.

Я с Левушкой ехать не могу: Охлопков еще не говорил обо мне с Берсеновым, но Иван Николаевич действительно стал со мной круче и с репетиций пьесы Бальзака не отпускает, несмотря на наличие второго состава, и еще этот глупый, никчемный фильм «Мальчик с окраины», который мусолится больше года, и сейчас тысячу первые переделки, поправки, пересъемки.

Парусников вернулся мрачным, впервые при мне терпко выругался матом в адрес министра госбезопасности Белоруссии, какого-то Цунавы, друга Берии, еще худшего зверя, который отказал в прописке Левушке в Минске, и только после крупного разговора с этим Цунавой Левушку перевели в город Могилев архитектором. Невероятно! Снова искать квартиру, снова, как цыганам, переезжать на новое место.

И я не знаю, что мне делать с переходом в театр Охлопкова. Вышла рецензия на спектакль «За тех, кто в море», о Люле панегирик — новая «звезда» с большим будущим, и все бы ничего, все так, но дальше описывается блистательное исполнение ею роли морского офицера, а там нет ни роли, ни Люли в ней, наши две роли в спектакле проходные, пьеса о мужчинах.

Может быть, Охлопков в своих догадках прав?..

Как страшно опять ломать жизнь, переходить ли в новый театр...

Счастье! Меня пригласил сниматься в свой фильм режиссер Роу, он начинает снимать самую сказочную сказку Пушкина — «Сказку о царе Салтане», и я приглашена на роль царицы Милитриссы. Это уже совсем другая царица по сравнению с моей цесаревной Елизаветой Петровной в «Давиде Гурамишвили», та петровская, европейская, а моя Милитрисса русская, боярская, я в кокошнике и в сарафане как в своей извечной одежде! И я задрала нос от гордости, в таком блистательном актерском составе я еще никогда не была: царь Салтан — Тенин; Баба Бабариха — Сухаревская; повариха — Зарубина; юный царь Гвидон — юный Сева Ларионов, это тоже племянник Гиацинтовой, способный, хорошенький; остальные все актеры Роу, идущие с ним по всем его фильмам, смешные, талантливые — Милляр, Геллер, все актеры один к одному.

Сам Роу, когда я с ним познакомилась, произвел на меня впечатление человека смелого, независимого, неординарного, интеллигентного, внешне интересного, в искусстве стоящего особняком: снимает только сказки и, может быть, неспроста, снимает интересно и талантливо, ирландец по происхождению, не знаю каким ветром занесло в нашу страну его предков. Эскизы костюмов отличные. Я в свою Милитриссу влюбилась.

И вдруг начали доходить слухи, что меня на роль не утверждают, что Герасимов и Макарова обили все пороги, чтобы играла эту роль Макарова. Вот мы и встретились еще раз в жизни. Что делать? Не пойду же я умолять министра сжалиться надо мной, а Герасимов вхож даже к Сталину! И тогда разведка донесла, что Роу занял крайнюю позицию — или Милитриссу буду играть я, или фильм он ставить не будет, длилось это все бесконечно, я теперь на Роу без слез благодарности смотреть не могу.

Самая главная по сюжету, по количеству съемочных дней декорация — дворец Салтана, и Роу задумал его грандиозным, а самый большой павильон, оказывается, в Киеве на студии Довженко. и я опять в своей юности: «Горячие денечки», «Пархоменко», красавец Киев «широкий», пышный, к счастью, теперь уже

без Лукова, он стал москвичом, но Берсенев категорически отказывается отпустить меня на съемки.

И закутилась карусель: «Сказка! Берсенев! Охлопков!» Я решаю дать согласие Охлопкову поговорить с Берсением о моем переходе к нему в театр. Со слов Охлопкова, Берсенев сначала категорически не соглашался, потом сказал, что подумает, потом дал согласие. Они разыграли мою карту — как все это было на самом деле, я не знаю и никогда не узнаю, знаю, что Охлопков меня в юности предал, а у Берсенева, оказывается, даже кличка есть — Ванька Каин.

Договорились, что я подаю заявление об уходе из театра, доигрываю свои спектакли, пока введут вторые составы, снимаюсь и по возвращении перехожу в театр к Охлопкову.

Вернулась в Москву зачарованной Роу, Милитриссой, Киевом. Материал замечательный, о нем заговорили, и у всех актеров удачи.

Москва меня ошеломила, напомнила тридцать седьмой год: снова аресты, снова открытый антисемитизм, снова запреты, разгромы. Ахматова и Зошенко были, оказывается, только началом, цеховская пляска ведьм превращается, как и тогда, в вакханалию, в Варфоломеевскую ночь.

А для меня настоящее страдание: запретили дальнейшие съемки «Сказки». Сколько раз в моей жизни были эти запреты и в театре, и в кино, начиная с моего первого фильма «Отцы». Запретили еще много фильмов, но почему запретили безобидную сказку? Чье невидимое ведьмино помело смахнуло и эту удачу, может быть, чьи-то лучшие работы? Тяжкий, нелепый год.

Странная встреча на приеме в венгерском посольстве: ждем у стеклянной двери парадного свою машину, на улицу не выходим, повалил снег, как в сказке, — огромные, медленные хлопья... а ведь уже совсем весна... по ту сторону стекла в мои глаза сквозь хлопья смотрят глаза... в голове четко, ясно проплывает мысль: «Этот человек будет моим мужем»... Смешно...

В Ашхабаде землетрясение, страшное, камня на камне не осталось. Мои родные с Калужской!

Я ведь все-таки выдала Марину с двумя детьми замуж — с фронта вернулся звукооператор Володя, с которым я раньше работала, молодой, полный сил, без правой руки, я случайно узнала, что он лежит в госпитале, да еще и там же, на моей Калужской, рядом с нашим домом, я его навестила и попросила Марину бывать у него чаще, кончилось это женитьбой, и теперь надо было искать выход из их жизненной ситуации: Марина вообще без профессии, и что сможет делать Володя без правой руки?.. Я уговорила звукооператоров на студии обучить его работать левой рукой. Он молодец, всему научился и работал не хуже других, но

устроить его в Москве я не смогла, а устроила именно в этот Ашхабад, они уехали, счастливо зажили, взяли детей, в Москве осталась только тетя Тоня.

О вылете Бориса в Ашхабад с первым правительственным самолетом даже речи не может быть. Но узнаем, что вылетает наш хороший знакомый, оператор Кармен.

Трое суток не было никаких известий, никакой связи, на четвертый раздался звонок в дверь, на пороге стоит Кармен и махонькая Наташа в окровавленной рубашонке и куртке Кармена, все остальные погибли, а Наташа нашлась поистине чудом: Кармен, кинувшись к дому при студии, в котором жили наши, увидел зияющую пропасть, поглотившую и студию, и дом, и уже перед вылетом в Москву он карабкался на какие-то руины и вдруг услышал детский голосок: «Дядя Кармен», — обернулся и видит стоящую на развалинах в этой самой окровавленной рубашонке Наташу. Кармена Наташа узнала, потому что мы прошлым летом жили на даче в одном дворе и Кармен часто играл с Наташей. Вот и все. Два человека из студийного дома, оставшиеся в живых, рассказали: когда произошел глубокой ночью первый страшный толчок, Марина схватила спящую Наташу, выбросила ее за дверь, дом тут же рухнул, а у меня появилась вторая дочь. Отдать ее на Калужскую старенькой, обезумевшей от горя тете Тоне, хотя она и родная бабушка Наташи, я не могла, не имела права, тем более что фактически Наташа от рождения всегда была при нас: летом с нами на даче, зимой по неделям гостила, и теперь я Наташу, как когда-то Зайца, повела в первый класс соседней с нами школы.

Арестована Лидия Андреевна Русланова, великолепная исполнительница русских песен, замечательная артистка, прекрасный человек! Но то, что я узнала от Бориса, меня потрясло: оказывается, кто-то посмел поднять руку на маршала Жукова, человека, спасшего Родину, Россию, наплевали на его заслуги, на любовь к нему народа — его перевели командующим каким-то военным округом, а с его личного друга детства, прошедшего с ним всю войну, генерала Крюкова сорвали погоны и арестовали, а Лидия Андреевна, оказывается, улетев из ташкентской эвакуации на фронт, чтобы выступать с концертами, познакомилась там с генералом Крюковым и вышла за него замуж и теперь тоже арестована в Казани, в гостинице, после концерта.

Шабаш входит в свой апогей. Не захлебнутся ли они кровью, начиная все сначала?

Борис рассказывает какие-то сплетни, будто бы Русланова и Крюков арестованы за награбленное в войну! А сколько грабили все — вагонами, машинами, составами?! А наш «мерседес»?!

Я резко оборвала Бориса и запретила ему повторять эту сплетню, распространяемую самими же органами безопасности.

Мы с Борисом стоим друг напротив друга как враги. Я Бориса начинаю презирать за его убеждения, поведение, мысли, за вечную ложь! Он опять лжет! Он так не думает! Он умный и не может не видеть того, что творится! Он варится во всем этом! Никто не смог увидеть письма, оставленного застрелившимся Фадеевым, оно тут же было изъято органами, но та самая совесть, которая не дает спать по ночам, заставила Фадеева взвести курок: из-под его пера сыпались, как из рога изобилия, подписи на аресты писателей! Что же Борис таит внутри? Он уже с войны вернулся другим, еще более скрытным, что-то прячущим за пазухой, и теперь эта появившаяся у него после Японии тяга к «хорошей, сытной жизни»? Как же в нем сосуществуют два человека: тот мальчик из местечка, рвущийся в революцию, и этот скрытный, фальшивый человек? И значит, они правы, ведя идеологическую борьбу? Значит, наша семья, дружба, интимные отношения зависят от идеологии и мы с Борисом получаемся на разных полюсах? Тогда он должен разлюбить меня не за измены, не за нелюбовь к нему — к этому он относится спокойно, — а за идеологические расхождения? А может быть, это вовсе не идеология, а мера человеческих ценностей?

Прихожу после репетиции домой, а дома пир горой: Охлопков, двое военных, Борис, Луков, стол завален едой, вино — рекой. лица у всех пьяные, воротники расстегнуты, полезли целовать, обнимать, дышат в лицо перегаром, не разговаривают, а кричат, не смеются, а гогочут, наваливают мне на тарелку что попало, льют мимо рюмок, а самое противное — бессмысленные уговоры выпить, спеть, почитать стихи!

Один военный — генерал, другой — полковник, они не так распоясаны, и лицо генерала мне знакомо. К нам до сих пор приезжают военные, знакомые по фронту и мои, и Бориса и наши общие. Петь не стала, читать стихи тоже. Генерал вежливо обращается ко мне:

— Татьяна Кирилловна, а у вас жив браунинг, который наш полк вам подарил?

Четко вспомнился мой приезд с концертом в летный полк в Австрии, браунинг, но главное другое — мы приехали на этот концерт не к началу, а поздно ночью, дорога длинная, трудная, дождь, грязь, и нас разместили на ночлег с тем, что концерт состоится завтра. Вдруг приходит вот этот военный, он не был, наверное, тогда еще генералом, но был командиром полка, и просит меня сейчас, ночью, выступить с коротким импровизированным концертом, потому что несколько летчиков скоро должны вылететь на важное задание и просят, умоляют спеть им только «Ночь над Белградом», и тихо добавляет: «И может быть, не все вернутся к завтрашнему концерту». Я вскочила, оделась, загримировалась, разбудила. привела в порядок своих музыкантов, очень хороших ребят, безропотно тут же согласившихся.

Музыканты начали концерт с попури всех летных мелодий, песен, а я, посмотрев в зал, чуть не расплакалась, глядя на этих юных, почти мальчиков, надевших парадные мундиры для концерта. Их было всего человек пятнадцать — крепких, ладных, красивых! Постичь, что кого-то из них на завтрашнем концерте может уже не быть, что кто-то из них не будет так лучезарно улыбаться...

Я спела дважды «Ночь», «Землянку», «Давай закурим», я спела все что знала. Таких аплодисментов благодарности мне больше уже не услышать. Ко мне подошел юный офицер, видимо их командир, поцеловал руку и поднял на меня детские, несравнимые ни с каким небом голубые глаза и тихо сказал: «Спасибо вам от всех нас, нам будет легче, неся вас в сердце, выполнить задание...»

Генерал впился в меня глазами, вспомню ли я этот полк. этот браунинг.

— Скажите, генерал, а вы помните тот мой ночной концерт и молодого офицера, который от имени всех благодарил меня, с голубыми, как небо, глазами?

— Он погиб в ту ночь.

Хорошо, что никто не слышал нашего разговора. Охлопков вышел в гостиную, здесь, в столовой, пытаются что-то петь. Взволнованная, выхожу в гостиную, Охлопков стоит лицом к окну и вдруг, резко повернувшись, грубо обнимает меня, хочет поцеловать, у меня отнялся язык, я не могу вымолвить ни слова, не могу шевельнуться, с бокалом в руке появился Борис:

— Ничего, Николай Павлович... ты это ничего... ничего... я и не такое видел... ты ничего...

Я дала Борису пощечину, он покачнулся, выронил бокал.

Гнусность! Гнусность! Никогда, нигде он такое не видел!

А мой учитель Охлопков?! Никогда, ни секунды он не проявлял ко мне интереса как к женщине! Что же, напившись до такого скотского состояния, можно все?! Всем! Если бы я так смогла напиться, что же, я тоже полезла бы целоваться к кому угодно или сказать слова Бориса! Не хочу, не хочу знать, что люди могут быть такими.

К утру решилаась. Уехали военные, Луков и Охлопков ночевали, еле проснулись, опохмелялись, уехали. Борис, как побитая собака, что-то лепечет, видимо, ничего не помнит, он стал часто напиваться и, напившись, приходит тихонько без звонка, открывает дверь своим ключом и вваливается в кабинет, благо кабинет рядом с входной дверью.

— Борис, не пейте, пожалуйста, сегодня, мне надо с вами поговорить.

И чуть ли не на следующий день: прихожу домой, в кабинете Бориса сидят его избиратели из Брянской области, человек пять, давно ждут, по квартире болтается Келлерман, заглядываю в кабинет, сидят смущенные, измученные люди, один ест хлеб — из школьного учебника знакомая картина «Ходоки у Ленина», — и я опять взорвалась.

Пригласила раздеться, принесла чай, бутерброды. Появился Борис, Келлерман холуйски бросился к нему, что-то докладыва-

ет, и слышу тихий ответ Бориса: «Не надо было вообще впускать в кабинет, могли бы и на лестнице подождать».

Идем по бульвару. Борис не бежит, как всегда, впереди, идет рядом, все время курит.

— Я не хочу говорить о том, что случилось дома два дня назад, да вы, наверное, и не помните, я хочу говорить с вами о нашей жизни... она не состоялась... и теперь состояться уже не сможет... Боренька, давайте разойдемся спокойно, хорошо, останемся друзьями, любовниками, кем хотите, но так дальше жить невозможно...

— Нет! Нет! Простите меня! Простите меня! Я не помню, что наговорил! Ведь спяну все можно сказать! Я люблю вас! Я терплю ваши измены! Я не добился вашей любви, как хотел одиннадцать лет назад! Я исправлюсь! Я не буду так пить! Я не смогу жить без вас! Все уладится! Все будет хорошо! Все будет хорошо! Все уладится! Вы просто оскорблены моим поступком. Простите меня! Невозможно разрушить нашу семью, в доме ведь все хорошо... все дружно...

— Я хочу, чтобы вы меня поняли — я пришла к решению трудно, да, в семье все хорошо, и тем труднее все рушить...

— Нет! Нет! Нет! Я даже слушать не могу об этом! Я же вам все прошаю, простите и вы мне! Я стал вашим мужчиной, вам со мной хорошо, и, как вы говорите, у меня хороший характер для мужа, что же еще?!

— Если вам так страшно рушить наш дом, оставайтесь в нем, а мы с Левушкой создадим еще один, у нас теперь есть опыт...

— Нет! Нет! Я знаю, вы одумаетесь! Вы уходите к другому?

— Постарайтесь меня понять... Я ни к кому не уйду, я сказала вам об этом, и дело не в прощении! Вам нужна другая жена, близкая вам по духу, депутат, секретарь партийной организации, дочь маршала...

— Мне не дадут жениться в третий раз!

— Дочь кого-нибудь из вождей, могущих помочь вам завершить карьеру...

— Нет! Нет! И нет! Все уладится! Все будет хорошо!..

Он хватает мои руки, целует, мне его жалко. Будет опять так, как хочет Борис, как и было одиннадцать лет назад...

Спектаклей нет, дома неважно, и я согласилась на два концерта в Кишиневе, тем более что Молдавии я еще не видела и тем более что это бывшая Румыния.

Борис после нашего разговора тихий, не напивается, не раздражает, но тут вдруг заявляет, что моя поездка — это прекрасно, потому что он может полететь со мной, у него тоже командировка от Союза писателей. Наверное, очередной разгром. И я опять не могу ему сказать, что не хочу с ним лететь, мне его опять жалко.

Какая мука началась в Молдавии! Бориса встречают «на высшем уровне» — депутат! Он, по-моему, уже и сам не может без «высшего уровня», а это значит, что жить мы должны в «спец-особняке» с красными плюшевыми гардинами, со стульями, шкафами, столами, фикусами, как во всех этих особняках, а меня от всего этого тошнит, а я так люблю старинные гостиницы, и здесь есть такая, но не могу же я переехать в нее одна и уж тем более с Борисом — это уже скандал на «высшем уровне».

И сама Молдавия! Теперь, когда прошло три с лишним года после окончания войны, в этих, как мы их называем, «освобожденных» странах неуютно, народ за глаза называет нас оккупантами, и только нами же поставленные партийные руководители лгисто гостеприимны. Горько видеть, что за короткий срок нашего «освобождения» Молдавия потеряла нажитое веками, то, что еще есть в Румынии и что меня там пленило, — песни, веселье, пляски; здесь это осталось только в ансамблях, остальное уже по нашему образу.

На концерте узнала, что в Молдавии еще существуют монастыри — у нас монастыри закрыты, разгромлены. Борис, конечно, был против моей поездки в монастырь, но я решила ехать, и тогда, неизвестно почему, он решил ехать со мной — ему монастыри неинтересны, он, видимо, побоялся, что станет известно о моей простой, человеческой поездке, и поездка получилась все на том же «высшем уровне» с переводчиком, с сопровождающим — экскурсия.

А у меня перед глазами то мое посещение монастыря в Болгарии.

Женский монастырь нас не принял, и теперь мы едем в мужской, так же как в Болгарии, в горах, в желто-багряной осени.

Настоятель предупрежден о нашем приезде, и нас ожидает роскошная трапеза. Настоятель и духовенство раскормленные, апоплексичные, с нечищенными зубами, с невымытыми бородами, стол обслуживают худые, голодные монахи с алкающими глазами, тоже с сальными, невымытыми волосами, в грязной одежде, из всех дыр вылезает монастырская нищета.

Я так мрачна, что не могу даже выдавить улыбки: понятие духовности здесь отсутствует вообще, монахи к Богу не приобщены, разглядывают меня как женщину, стало совсем противно, а ведь, наверное, этот монастырь был тоже, как и в Болгарии, с высокой духовной и религиозной культурой. Чувство юмора заставило меня все-таки улыбнуться: у монахов, прислуживающих на трапезе, взволнованных столь необычным присутствием столь необычной гостьи, все валится из рук, и, не поднимая глаз, они видят только меня и, конечно, рассказали обо мне другим монахам, и монастырь зашевелился, как муравейник: в пустом раньше дворе началась кипучая деятельность, чуть ли не по нашим ногам катят какие-то бочки, несут дрова, и изо всех имеющихся щелей на меня смотрят горящие, как угли, грешные глаза.

В Кишиневе у меня вдруг поднялась температура, и Борис настоял, чтобы мы не летели, а ехали поездом. Во всем международном вагоне нас оказалось только трое — третьим был известный молдавский поэт Емельян Буков. Меня уложили в постель, а они в купе Емельяна все время пьют, но Борис как-то странно мечется по вагону, без конца забегает, терзает меня вопросом, как я себя чувствую, и наконец подсел ко мне.

— Знаете, Тимоша, сейчас переезжали реку, и я выбросил ваш браунинг в воду!

Я села. Браунинг лежал в моей спальне, в моем шкафчике с документами.

— Как вы могли это сделать! Это же не ваша вещь... и зачем?! Зачем?! Как вы вообще могли полезть в мой шкафчик...

Это не просто вспышка магнезия, высветившая Бориса, это поступок, вывернувший мою душу.

— Понимаете, Тимоша, секретарь все время говорит, что ваш браунинг надо сдать...

— Вы же мне тогда сказали, что получили на него разрешение! И откуда секретарь знает о его существовании? Вы сказали ему?

— Нет... нет... но, может быть, он видел его...

*Mois 20
3er*



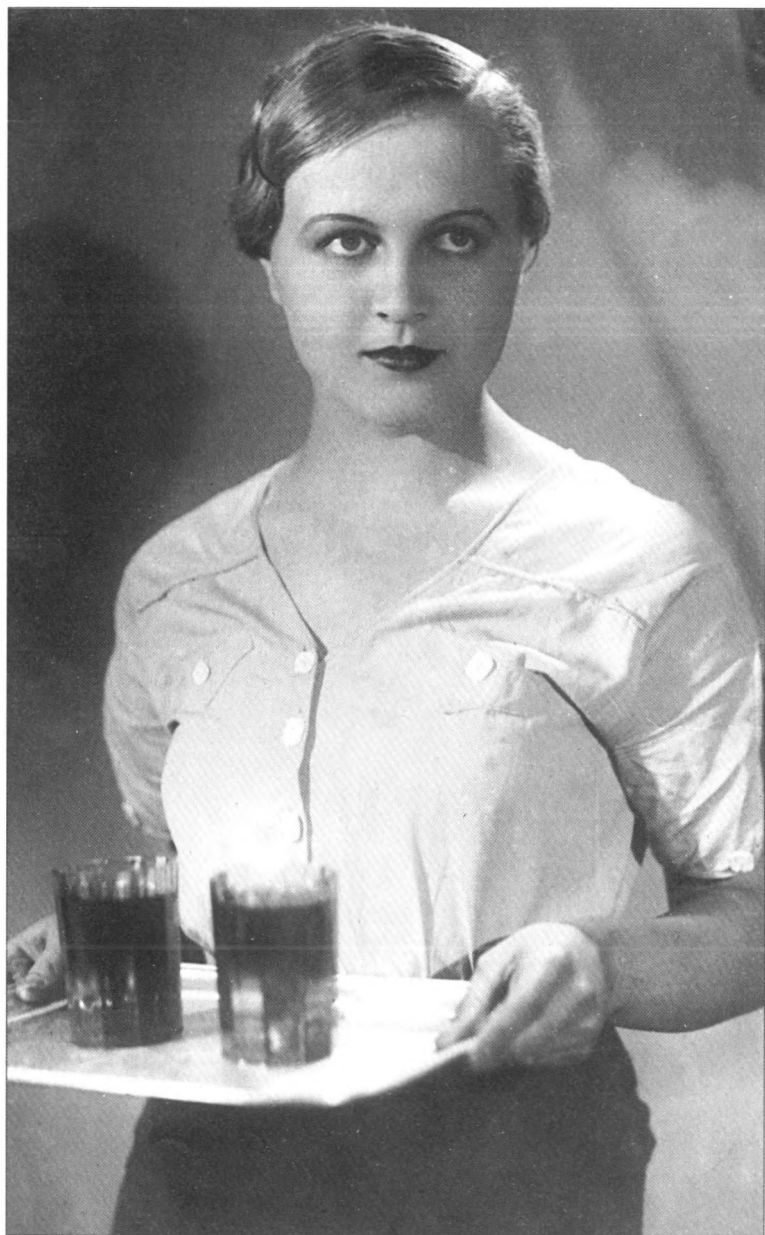


Родители — Евгения Александровна и Кирилл Титович
Окуневские

...все равно его не брошу.
потому что он хороший...



Будущая кинодива



Первый в жизни спектакль — "Аристократы" Николая Погодина

В спектакле "За тех, кто в море" Бориса Лавренева



На съемках фильма "Ах, капитан!"



С Николаем Симоновым в фильме "Горячие денечки".
Режиссеры — И.Хейфиц и А.Зархи

Партнер Т.Окуневской — Николай Черкасов

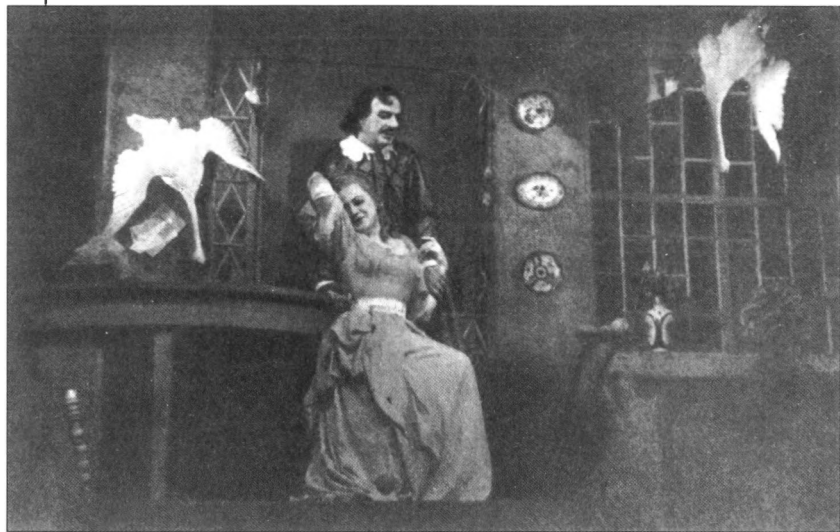


ГОРЯЧЕ ДЕНЕЧКИ
производство Ленинградской
студии киноискусства
„Ленфильм“
А. 81788 Госкиноиспыт. № 1



Кадры из фильма
“Горячие денечки”

Сцены из спектакля театра им. Ленинского комсомола
"Сирано де Бержерак"



В роли Сирано — Иван Берсенев.
Роксана — Татьяна Окуневская

В фильме Леонида Лукова "Ночь над Белградом"



Во время гастролей
по Югославии

В фильме "Пышка". Режиссер — Михаил Ромм



Фронтовой концерт



С мужем
Борисом Горбатовым
на фронте



Прага. Выступление в концертном зале "Люцерна"

С театром на гастролях.
Слева от Т.Окуневской — Серафима Бирман и Софья Гиацинтова



Прием в ВОКСе. Созвездие имен — Э.Гилельс, С.Эйзенштейн,
В.Марецкая, Б.Горбатов, Р.Плятт, Л.Орлова, Т.Окуневская,
И.Берсенов, С.Гиацинтова, В.Серова



Еще ничто не предвещало грозу...

С дочерью, незадолго до ареста



Вятлаг.
До освобождения остался год



— Как же так случилось, что ваш секретарь мог попасть в мою комнату, открыть шкафчик, рыться в нем...

Смотрю на Бориса и не знаю, что хуже: его ложь или лазание секретаря и Бориса в мой шкафчик.

— Так зачем же вы это сделали?! Вы взяли тогда разрешение на браунинг?

— Да... нет... Я поручил секретарю...

— И зачем вы вообще выбросили такую красивую вещь? Мы же могли подарить браунинг друзьям, у которых есть разрешение на оружие... Вы поехали со мной в Кишинев только для того, чтобы увезти из дома браунинг? Вы же могли сесть в машину и выбросить его на Крымском мосту! Я хочу понять хоть что-нибудь в вашем поступке.

— А зачем этот браунинг — ни к чему, сейчас снова начались аресты...

— Ну какое отношение эти аресты имеют к нам и к моему браунингу! Это же не тридцать седьмой год!

Борис волнуется, затылок покраснел. Когда я по ночам думаю о Борисе, о его поступках, пытаюсь говорить с ним, я понимаю, что это бессмысленно, его пробить невозможно, в нем заученное раз и навсегда, вбитое. Я заметила, что говорить с людьми вообще бессмысленно: они слушают, вычитывают из книг только то, что им нужно, что доступно их разумению.

— Тимоша, может быть, вам все-таки вступить в партию... понимаете, вы ведущая артистка, теперь заслуженная...

— Я не только вступить, но слушать уже об этом не могу! Не надо! Я же вам не смогу объяснить, что в какую-нибудь партию я если бы и вступила, то только по убеждению, и я не понимаю, зачем нужно вообще вступать в какую-нибудь партию, если я не сделала из политики профессию... идея — это ведь тоже сокровенное... и я, кроме того, не хочу быть такой же смешной, жалкой, какими становятся партийные артисты и режиссеры, вы нашли неудачное время для серьезного разговора, столько едем, сейчас уже скоро Москва, и мне так плохо, что я не дойду до машины.

— Но сейчас арестовывают всех, кто общался с иностранцами...

— Но вы мне говорили, что вас заставляют, чуть не приказывают принимать их, ходить на приемы, и, кроме того, ни с одним некоммунистом мы не общались... Почему вы так беспокоитесь?.. У вас что-нибудь случилось?.. Какие-нибудь неприятности?..

— Нет, нет, это вам кажется...

Говорить с Борисом по-дружески тоже невозможно, он, как улитка, закрывается, и все-таки я, видимо, единственный человек, с которым он может быть хоть немного откровенным.

— Здесь, в Молдавии, было что-нибудь неприятное для вас?

— Здесь сильное буржуазное влияние — кое-кого исключили из союза и из партии, кое-кого проработали... Эти югославы, они же бывали у нас...

— Но они же все коммунисты...

— Что вы понимаете! В Коминтерне в тридцать седьмом не было ни одного некоммуниста, и все-таки мы их всех расстреляли.

— Борис, помните, когда мы переезжали какой-то мост в Югославии, я сказала, что Югославия — страна некоммунистическая, и вы зашипели на меня...

— Подумаешь, сказать! А сделать! Даже я не знаю, что там произошло — поссорились ли Тито со Сталиным, или еще что-нибудь...

Даже я, живущая вне политики, была ошарашена разрывом Тито с нами — неожиданным, скандальным на весь мир.

— Помните высокого полковника Момчило Джурича, который бывал у нас, учился в академии — его Тито арестовал, значит, там настоящий переворот, арестованы многие, я знаю, что несколько человек бежали за границу...

Неужели заговорит о Поповиче! С момента переворота я все время мысленно рядом с Владо... Знает ли маршал о моем романе с ним, простил ли Владо или мучает его. Я физически ощущаю, когда Владо больно, когда он в смятении, когда ему плохо, видела сон: Тито ведет Владо на казнь, я бросаюсь на колени, обнимаю колени маршала, рыдаю, умоляю не казнить, говорю, что я навсегда перееду в Югославию, а маршал отшвыривает меня ногой. На чьей стороне Владо, что с ним, где он? Я знала, если я забеременею, я рожу ребенка, воспоминания душат, доводят до отчаяния, я часами, сутками живу в нашем домике, я ощущаю нежность его рук, от которой кружится голова, я смотрю в его глаза, которые вдруг темнеют, и я становлюсь как воск, наши души вместе, и наступает вечность...

— Меня уже вызывали!..

С Борисом творится совсем неладное, я его таким не знаю... Неужели он так всего боится?.. Каким же он был на фронте?.. Мне совсем плохо, температура тридцать девять, скорей бы Москва. Меня, наверное, заразили этим самым гриппом, который шагает по Европе: после концертов меня ожидали у выхода, целовали...

Наконец-то перрон, сама идти не могу, Борису пришлось нести меня до машины.

Пятый день не спадает высоченная температура, и именно по утрам, — у всех нормальных людей температура повышается к вечеру — безобразная лихорадка, как проказа, настоящие нарывы

от нижней губы до носа, сегодня тринадцатое, а девятнадцатого у меня спектакль, как я буду играть с такой лихорадкой, ее даже не загримируешь, когда девочки приходят из школы, я надеваю марлевую повязку, они смотрят на мою лихорадку соболезнующе, но с отвращением.

Борис только недавно уехал к себе в союз, он метался по комнатам, без конца забегал и спрашивал, как я себя чувствую. и теперь, приехав в союз, звонит каждые десять минут и изводит Маму тем же вопросом.

Сейчас к обеду, как и все эти дни, немного полегчало, и я даже смеюсь с девочками, они прибежали из школы и, стоя в дверях, рассказывают смешную чепуху про школу, в комнату я их не пускаю, боюсь заразить...

Звонок в дверь, за спиной у девочек двое военных, почему-то не снимают шинели, один остался у двери, другой входит в спальню, это не фронтовые знакомые, я их лиц не узнаю, но на всякий случай приветливо улыбнулась.

Этот другой, не здороваясь, обходит кровать Бориса, подходит к моей и дает клочок бумаги, на котором написано: «Вы подлежите аресту» и подпись: «министр Абакумов».

— Вставайте! Одевайтесь!

— У меня высокая температура, я болею гриппом, если можно, придите за мной дня через два, я уже поправлюсь...

— Вставайте и одевайтесь!

— Я не могу одеться сама!

— Пусть дочери помогут, покажите, где ваше белье.

Он вынул белье из шкафа и бросил мне на кровать.

— Одевайтесь! Быстро!

Прошу их выйти или хотя бы отвернуться.

— Одевайтесь при нас!

Стоять на ногах не могу, они подхватили меня под руки, потащили, крик «мамочка!» привел в сознание: почему-то не спускаемся на лифте, а меня ташат с шестого этажа по лестнице, с девочками попрощаться не дали, машина стоит у самого подъезда, эти двое сели по бокам, на переднем сиденье еще военный. Начала понимать, что меня везут в тюрьму, передо мной раздвигаются те самые железные ворота, в которые я билась одиннадцать лет назад... Папа... Баби... Левушка... знаменитая Лубянка. Спускают в подвал, мертвая тишина, коридор, слева и справа двери с глазками, догадываюсь — камеры, голос Яди: «Таня», — неужели и ее арестовали, может быть, я уже невменяема, работают четко, торопливо: вырвали молнию из платья, заколки, резинки для чулок; душ, фотография в растерзанном виде с дощечкой на груди, безобразный обыск — одевание при мужчинах уже пустяк, отпечатки пальцев, двое автоматчиков куда-то повели.

ведут к лестнице, стены могильного цвета, ступени истерты. Не могу поднять ногу на ступеньку, страх сковал всю, сейчас закричу, буду биться, поднимаю глаза, и на площадке из стены мне навстречу движется Иисус в белой рубашке, перепоясанной веревкой, как на картине Иванова... он бледен, печален, в глазах страдание...

— Иди... иди... поднимайся спокойно... не бойся... это не страшно... по этим ступеням прошли миллионы ног отцов, дедов... — И стал тихо удаляться... бежать к нему, схватиться за его одежду!

Лестницы, коридоры, железная дверь, коридор, опять коридор, по обе стороны двери с глазками, щелчок ключа, я отшатнулась, дашегубка без окон, падаю на доску, мгновение, щелчок ключа.

— Ложиться нельзя!

Появляется кто-то в белом халате, считает пульс.

— Можно лечь.

Дали матрас. Очнулась от голоса надзирателя.

— На допрос.

Сейчас кончится вся эта неразбериха.

Те же коридоры, лифт, за углом еще коридор, ярко освещенный ковер, большая комната, налево в углу шкаф, в который меня вводят, внутри оклеенная дверь, шагаю через порог... огромный зал в коврах, хрусталь, кресла, через всю комнату стол для заседаний, в конце поперек письменный стол, за которым сидит человек в мундире, одной рукой держу спадающие без резинок чулки, другой прикрываю оголившийся без молнии бок, волосы без заколок, падают на лицо, лезут в рот.

Где я видела этого человека...

...встреча этого, наступающего сорок восьмого года в Центральном Доме работников искусств, за столиком Берсенев с Гиацинтовой, Охлопков с женой, я с Борисом. Меня пригласил танцевать Охлопков, я в красивом белом платье, зажегся сиреневый свет...

— Танечка, вы пленили еще чье-то сердце! Незаметно посмотрите, я вас поверну в танце: за колонной мужчина с вас не сводит глаз, как Неизвестный в «Маскараде».

Я посмотрела и на мгновение встретилась со жгучими глазами, он откачнулся, спрятался за колонну, и уже тогда мне показалось знакомым это лицо. Я спросила у Бориса, знает ли он человека, стоящего за колонной. Он пошел посмотреть.

— По-моему, это новый министр госбезопасности вместо Берии, но это невероятно, что он здесь. Им в таких местах бывать запрещено. Я, наверное, ошибся, он в штатском...

Да, это он передо мной, только в мундире, холеный, выбри-

тый до синевы, с черными, неприятными, втягивающими в себя глазами. Хочет понять, узнаю я его или нет, делаю вид, что не узнаю.

— Вы знаете, кто я?

— Догадываюсь по кабинету.

— Что с вами? Мне доложили, что у вас очень высокая температура?

— Я болею гриппом.

— Я распоряджусь, чтобы вас лечили...

...что происходит... Лихорадочно оцениваю ситуацию... Почему ни слова об аресте... он вызвал меня, чтобы посмотреть, какая я в тюрьме... почему такой разговор, как будто я пришла к нему в гости... что нужно делать... упасть в ноги и умолять его вернуть меня домой... что... что... что нужно делать... что говорить... должен же он сам сказать, что произошло и что будет... он как будто что-то обдумывает... на мое «здравствуйте» не ответил, значит, я все-таки арестована... но встал, когда меня вводили...

Нет! Сама не заговорю! Ни стопа! Ни слез! Ни крика! Ни мольбы! Ни жалобы! Ни просьбы! Это значит — падение раз и навсегда.

Еще несколько ничего не значащих вопросов и приказ увести. Он смотрит мне вслед, зал длинный... что же он такое... какая нить нас теперь связывает... я в его руках... все зависит от него... зачем это все... ночь или еще день... в его кабинете шторы плотно завешаны... скорее бы только лечь, больше ничего не хочу...

— На допрос.

И снова лестницы, лифт, коридоры, те первые, могильные.

Вводят. У дверей стул с маленьким столиком. Сажусь. В незашторенном окне с решеткой — кончик погасшего знака метро, значит, ночь, значит, окно выходит на площадь Дзержинского. Не здороваюсь. Налево от меня в углу длинной комнаты стол, сидит военный, разглядывает меня, сравнивает с экранной, смотрит на то, во что они могут превратить человека за несколько часов.

— Я ваш следователь подполковник Соколов. Вы обвиняетесь по статье 58, пункт 3, часть вторая.

— Что это такое?

— Измена родине в мирное время. Вы хотели бежать за границу, когда были там...

Или я попала в сумасшедший дом, или, может быть, я схожу с ума, или, может быть, это шутка...

— Мне не надо было этого хотеть. В Вене я спокойно могла это сделать, что и делали наши советские граждане в большом количестве: в Вене знаменитый магазин с четырьмя входами и вы-

ходами, один в нашу зону, другие в английскую, французскую, американскую. Входишь в нашей зоне, а выходишь в любую, какая тебе больше по душе, что и сделал ваш генерал со всей семьей, даже с детской коляской, мне об этом любопытнейшем факте рассказал маршал Конев.

— Мы вам покажем документы.

— Какие! Ведь я же только хотела бежать! Это не документы! Это доносы!

В окне загорелась буква «М» — шесть часов утра. Приказывает увести. Упала и заснула.

— Подъем.

За мной непрерывно наблюдают в глазок, смерили температуру, лекарства пить отказалась, душно, такая мертвая тишина, и только тихие шаги мимо моей душегубки. Спрашиваю у надзирательницы:

— У вас умываются?

— Да. Я вас поведу, и говорить можно только шепотом.

Никуда не вызывают.

Ольга говорила, что Лиговка и Лубянка работают только по ночам.

Осмыслить случившееся не могу, засела ужасная мысль в голове: может быть, арестован Борис, а я — как его жена, в тридцать седьмом году так было со всеми — тогда погибли две мамы, две дочери.

Шелчок ключа. Меня перевели в комнату, зажмурилась от солнечного света, это, наверное, и есть камера, одиночная: вместо досок — железная кровать, стол. Стены, как и во всей тюрьме, могильного цвета, хочется о них биться головой, окно с улицы закрыто железным щитом, и только наверху маленькое пространство... голубое небо... солнце... Соколов неприятный, он, наверное, молодой, но какой-то серый, измученный, глаза как стекляшки.

Что же дальше... Что же дальше с моим арестом... недоразумение..... когда же все выяснится...

На вопрос.

«М» еще горит, не здороваюсь, села на свой стул у двери.

— Ну как ваше здоровье?

— Хорошо.

— Вы напрасно не стали пить лекарства, может быть осложнение после гриппа, тем более в таких условиях... Мы людей не травим! Нам нужно вскрывать врагов родины, мне надо вскрыть всю вашу цепочку шпионажа, как вы доставали сведения, как их передавали Трилоки...

...неужели Ядя?! Кроме нее, никто не знает о моих встречах с Трилоки... Неужели следили не за ним, а за мной... Трилоки —

индус, на год старше меня, учился в Оксфорде, у нас он вместе со своей тетей, знаменитой прогрессивной деятельницей миссис Пандит, сестрой президента Неру, она первый посол Индии в Советском Союзе, и Трилоки помогает ей создать посольство...

Именно с приема в этом посольстве все и началось: прием был милым, тихим, домашним, и сама миссис Пандит домашняя, и две ее юные дочери, сестрички Трилоки... Это были его глаза... тогда, в снежных хлопьях, в парадном венгерского посольства, он совсем не говорит по-русски, я — по-английски, в мое свободное время мы катаемся за городом, было что-то мистическое в его покое, в его восточной тишине, в его безъязычии, и я все додумывала сама в его нежных словах, сказанных на незнакомом языке, и такое спокойствие находило на меня, тогда Трилоки приобрел словарь и, смеясь, перевел мне, что за ним почему-то следят и следят за всеми иностранцами. Встречи начались исподволь, тихо, странно. Наступила весна, мы уехали далеко за город, и я увидела в грязи первый распустившийся подснежник. Трилоки остановил машину, полез в грязь и принес мне этот подснежник. Когда я опаздывала на наши редкие свидания, у Трилоки лились слезы, и приходилось останавливаться — он не видел шоссе, и ничего еще между нами не было, потом я уехала надолго, на все лето, и только осенью мы встретились снова...

— Мы знаем все о вас. Мы следили за вами. Вам предъявляется статья 6.

— Что это?

— Шпионаж.

— С этой статьей я не согласна! Я действительно передавала Трилоки перепечатанные страницы из книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве», о том, как стать хорошим артистом!

— Да вы к тому же еще и ехидная!

— Я хочу знать, кто и за что меня арестовал!

Меня увели.

Сорвалась! Наверное, нельзя этого делать. Я должна быть спокойной, чтобы понять, почему я здесь, что со мной происходит.

Скорее бы ночь! Скорее бы ночь! Температура спала, болезнь от потрясения вышибло, но еле стою на ногах.

На допрос.

Соколов груб. Зол.

— Мало того что сама антисоветчица, еще и других втягивала и создала эдакую прочную антисоветскую группку! Все они уже признались. — Соколов подает бумагу — я обвиняюсь по статье 58, пункт 10.

— А что это?

— Антисоветская агитация.

— В чем она заключается?

— А вот это уже покажут свидетели.

— Доносчики. Как я понимаю, свидетелей в вашем учреждении не бывает.

— А если так, то не считаете ли вы, что за ваши вот такие разговорчики я могу все что угодно с вами сделать.

— Считаю. Вы уже и делаете «все что угодно».

— Ну нет! Будет намного хуже!.. Так вот, лучше будет для вас, если вы признаетесь и все расскажете сами.

В камере лечь больше не дали: оказывается, лежала я потому, что болела, ложиться можно только после отбоя ко сну и до подъема, и когда я, сидя на кровати, закрыла глаза, тут же шелчок ключа.

— Откройте глаза.

Отбой. Упала на кровать.

— На допрос.

Перед Соколовым на столе какие-то бумаги, он их долго читает.

— А как, по-вашему, это не антисоветчина — сравнивать товарища Сталина с Николаем II?!

...где, когда я могла это сказать — не могу вспомнить... донос, где, где это могло быть... в нашей машине... ехали с праздничного приема, весь город заполнен изображениями вождя, у Белорусского вокзала изображение до неба, во весь рост, и я спросила у Бориса: что, и Николай II изображал себя так? Борис это рассказать не мог, кто же был с нами в машине... Караганов с женой... не может быть... на Караганова никто не обращал внимания, серенький, малоинтеллигентный, какой-то тихо скользящий, как Келлерман, какой-то критик или еще кто-то, почему он вообще бывал на таких приемах, почему — тогда нам это не приходило в голову...

— Нет, я такого случая вспомнить не могу.

— А где это вы в войну в компании носили советское киноискусство?

— Я его могла носить где угодно.

...неужели у Крепсов... в Москве еще комендантский час не отменен, еще мало людей возвратилось из эвакуации, никаких компаний не было. милый сценарист Крепс и его жена пригласили на селедку с горячей картошкой меня, режиссера Гиндельштейна и композитора Богословского, Борис был на фронте, и за мной заехал Гиндельштейн... на все вопросы отвечать «не помню» глупо, тем более что такой разговор ничего не значит.

— Да, такой разговор был, я вспомнила, где, когда и с кем, но в нем нет ничего антисоветского, я возмущалась по поводу кинематографистов, которые не помогают своими фильмами вой-

не, а снимают картины по принципу «роли для своей жены» — все ведущие режиссеры снимают своих жен, — и назвала их кинематографическим Уолл-стритом.

...ни Крепсы, ни Гиндельштейн донос написать не могли... Богословский?.. У Соколова на столе моя тетрадь, в которой я делала записи, — я похолодела, чуть не на первой странице запись: «В нашей стране все дерьмо всплыло на поверхность»... Он отложил тетрадь и наклонился к большому бумажному мешку, стоящему у его ног, пачками вынимает письма, присланные мне с фронта после фильмов «Ночь над Белградом» и «Пархоменко». Одна переписка перевернула мне душу: письмо пришло от расчета противотанкового орудия, они прислали свои фотографии — мальчики с открытыми глазами, я послала им свою из «Ночи», они вставили ее в лафет орудия и шли воевать с моим именем, им, наверное, так было легче. Без слез невозможно было читать их письма, полные любви к жизни, поклонения мне, я знала их всех по именам и так поименно и обращалась к ним в письмах, они были в восторге, а потом началось: погиб Саша, погиб Коля и последнее письмо пришло от командира части, в котором он извещал, что расчет героически погиб и он видел ключья моей фотографии и моих писем, и теперь письма этих мальчиков в руках у этой мрази!

— Ишь ты! Значит, не за товарища Сталина шли умирать, а за вас! Ничего себе!

Он хихикнул, он хотел еще что-то говорить...

— Не смейте их трогать! Вы...

Он вскочил.

— Тихо, идиотка, а то я тебе такое пропишу!

Сел, взял в руки мою тетрадь, читает не отрываясь. Как все эти ничтожества со страстной завистью хотят проникнуть в чужой духовный мир, которого у них нет... перелистывает, вчитывается... Как он смеет лезть в мою душу, в мои чувства, надежды, мечты!

...голос Папы: «Молчи, молчи, моя девочка, молчи... молчи ради себя, ради Малюшки...»

— Вот тут написано: «Красота должна быть богатой. иначе она становится предметом продажи», — что же свою-то не продали подороже, два раза выходили замуж и все за нищих, что, ума не хватило, что ли?

Молчу. Он читает.

— Вам и в тюрьме-то сидеть не скучно с такими романами, небось сидите в камере и вспоминаете. Тут запись о приеме у маршала Тито, а чего же вы не записали, как отплясывали голый на этом приеме на столе?!

Вспыхнуло «М». Увели.

Те же бесконечные коридоры, лестницы, лифты, та же могильная тишина, в которой раздается отвратительное цоканье языком: надзирателей обучили цокать для того, чтобы арестанты не могли встретиться, когда ведут с допроса или на допрос. Ну как его, члена партии, может быть даже орденосца, обучали этому цоканью! Самое отвратительное, что все они одеты в нашу настоящую военную форму, плохонькую, нишенскую солдатскую форму, в которой лежат в земле миллионы, спасшие родину в войну, а теперь оставшиеся в живых должны козырять этой падали! Одеть бы этих человеческих уродов в такую форму, чтобы люди от них шарахались в стороны, чтобы их видно было за тысячи километров, и так пускаты по улицам, чтобы те, другие, защищавшие родину, не обязаны были перед ними козырять! Раздалось цоканье, надзиратель мгновенно тиснул меня в деревянную будку, их по коридорам много, замерла... сапоги надзирателя... и в какой-то непонятной обуви тяжелые шаги мужчины... слышу его дыхание... а если это Борис...

Села на кровати, передумываю все: Соколов не посмел бы со мной так разговаривать, если бы я не была арестанткой, значит, все, значит, выхода отсюда не будет. Как вести себя... плетью обуха не перешибешь, я начинаю Соколова ненавидеть, ненависть ослепляет, я буду говорить не то, что надо, не надо вообще сразу отвечать, не подумав, надо сыграть роль не очень умной, беспомощной, не разбирающейся в жизни, в людях, в политике, я должна сыграть ее безукоризненно, не сфальшивить, Соколов умный, страшный зверь, он сразу поймает.

На допрос. Соколов читает. На столе много бумаг.

— Это надо же так отмочить! И где! На приеме у маршала! Ничего себе тостик, за своих говенных родителей! «За всех, кто в Сибири!» Проститутка рваная...

Мне плохо. Увели.

Только ввели в камеру, отчаянный молодой мужской крик: «Мерзавцы, убийцы, что вы со мной дела...» — кляп. Крик из душегубки, в которую меня посадили в первую ночь. Но на нашем этаже только женщины... и голос... я его знаю... Юрка! Мой шофер Юрка! Это немисливо. Это невозможно! Этого не может быть! Двадцатилетний белобрысый мальчишка Юрка из рабочей семьи! Зачем он им?!

Часа через два опять на допрос.

— Подумаешь, побледнела... ишь ты... самая знаменитейшая матершинница на всю Москву, и вдруг, видите ли, ей плохо! Довольно кривляться, надо признаваться, не валять дурака и не отнимать у меня время...

— Я матом не ругаюсь. Это сплетня.

— Все у нее сплетня, может быть, и этот ваш тостик, кото-

рый вы отмочили при всем генералитете на новогоднем банкете у маршала Конева в Баден-Бадене «За тех, кто в Сибири», — тоже сплетня?? Когда генерал Желтов спросил: «Что, у вас там родные?» Что вы ответили? Что и у вас, и еще у тысяч! А вот в этом году мы и вас присоединим к этим тысячам!

Смутно вспоминаю, что тост поднимала, я его поднимаю в каждый Новый год.

— Нет, не могу припомнить.

...кто же! Кто мог быть здесь стукачом? Не маршалы же, не генералы, видевшие смерть. Кроме меня, штатских было двое — Миша Вершинин и Жорж Рублев, неужели они могли написать донос?

Увели.

Соколов — садист, уже две ночи я совсем без сна, сил и так нет, без сна уплывают последние: отбой, хоть бы вытянуться на кровати, на допрос, а сегодня ночью «М» давно уже погасло и когда ввели в камеру — подъем. Начали отекают ноги. Соколов стал еще серее, но он-то днем спит, представляю, какая я, он сказал, что мы ровесники, несколько раз за ночь я, наверное, засыпала и падала со стула, он отрывался от чтения или писания и безучастно бросал на меня взгляд. Начали заходить в кабинет какие-то полковники, подполковники как бы по делу и нагло меня рассматривать, а один даже усаживается в углу против Соколова.

Отбой. Допрос.

— Какому это югославскому генералу или полковнику вы подарили свой портрет с пожеланиями удач в жизни?

— Не помню. Их несколько, которые, уезжая, попросили мою фотографию и автограф.

— Я напомним: Момчило, или Мома, или, как вы его прозвали, Чило, и теперь этот ваш Чило сидит в белградской тюрьме и поливает вас и Горбатова грязью за ваше гостеприимство, говорит, что вы работали у нас и заманивали его в свой дом.

— Но при чем тут я? Это обычный автограф, который дарят актеры своим поклонникам.

Вошел жирный, большой, с маленькими глазками полковник, еще более неприятный, чем Соколов.

— Начальник отдела, в котором вы сидите, полковник Комаров.

Он не сел, а встал у стены.

— А этот Чило тоже присутствовал на приеме у Тито, когда вы там голая отплясывали на столе?

— Я ни голая, ни одетая, ни на столе, ни на полу у маршала не танцевала.

— Ну, ну, ну! Вы что, страдаете нарциссизмом?

— Что это такое?

— А это влюбленность в свое тело! Что, оно такое уж красивое?! Appetитное?! И кожа, как шелк?! Значит, не вы собой любовались, а вами любовались?! Га-га!

...ублюдки...

— Это сплетня, и к политике никакого отношения не имеет.

— Сплетня! Сплетня! У вас все сплетня, а у нас факты.

— У нас в стране сплетни, потому что ничего не известно ни о ком, если бы такой факт произошел в Европе, о нем знали бы мгновенно.

— Рассказывайте о приеме у Тито.

...Почему спрашивают о Тито? Почему ни слова о Поповиче... Может быть, он с ними против Тито...

Соколов записывает, не перебивая. Тот, второй, так и стоит у стены.

— А вы когда-нибудь до ареста с нашим министром встречались?

Про встречу Нового года молчу.

— Нет, никогда.

— И лицо его вам не показалось знакомым?

— Нет.

— А кто у вас бывал из военных в номере, когда вы жили с Горбатовым в гостинице «Москва» во время войны?

— Очень много.

— Нет, не фронтовиков.

— Не фронтовиков-военных еще не было в Москве.

— Ну уж прямо! А учреждения? Мы же, органы госбезопасности, вернулись из эвакуации через год.

— Я не помню.

— Ну уж так и не было ни полковников, ни генералов, никаких военных, которые ухаживали бы за вами? Не было?

— Я таких не помню. Было не до этого. Была совсем другая атмосфера дружбы, никто ни за кем не ухаживал.

— И вы не помните, кому вы дали пощечину?

— Нет, не помню.

— Так ли? А надо знать, кому давать пощечины, и тем более помнить об этом.

Приказал увести.

...как осмыслить, что сейчас говорил Соколов... он же не спрашивал меня, он мне говорил, напоминал... что же, значит, в номере у нас тогда был Абакумов... был эпизод с каким-то полковником, я рассказала о нем Борису: тетя Варя была в спальне, этот полковник уходил, был в шинели и папахе, я его провожала, и в прихожей он хотел меня поцеловать, я дала ему пощечину... неужели это был Абакумов... поэтому лицо его показалось

мне знакомым, поэтому он хотел понять, узнаю ли я его... Соколов же просто намекал, что они, гэбэшники, тогда уже были в Москве... но откуда об этой пощечине могут знать Соколов и Комаров... Комаров пришел именно к этому допросу... не мог же Абакумов приказать им, подчиненным, расспрашивать меня об этом... почему молчат о Берии... может быть, Берия приказал меня арестовать... откуда Соколов и Комаров могут знать о пощечине, ведь никто о ней, кроме Бориса, не знает... Господи, помоги не сойти с ума, не потонуть в этой тине. Рукой же Абакумова написана записка о моем аресте... неужели может быть такая месть... заслать меня в лагерь... так мучить...

Той ночью мне дали немного поспать, проснуться не могу, и надзирательница будит меня, стуча ключом над головой по бляхе от ремня, конечно, это не садизм Соколова, а пытка сном. От сидения круглыми сутками в камере и у Соколова ноги — как колоды, ходить по камере нет сил, есть тоже не могу, насильно вталкиваю в себя две ложки каши... тупею... неужели сейчас там, за стенами Лубянки, спокойно проходят люди... не зная, что здесь творится...

Отбой. Допрос.

— Кем до революции был ваш отец?

— Офицером.

— Каким? Где служил?

— Не знаю, я тогда только родилась.

— Вы прекрасно знаете, что ваш отец служил в полиции и был ни больше ни меньше приставом и ни больше ни меньше Мясницкого участка, где мы с вами сейчас и находимся, и самолично расстреливал демонстрацию рабочих у Яузского моста.

— Что такое пристав, это как у нас начальник милиции?!

— Ишь ты! Догадалась.

...если Папа действительно служил в полиции и были такие офицеры, как Папа, поэтому и произошла эта дурацкая революция...

— Мой Папа — прекрасный, добрый, честный и стрелять в людей не мог.

Соколов что-то читает и читает, моя тетрадь небольшая, письма он все прочел, неужели столько доносов...

— А кем был ваш дед по линии отца?

— Я не знаю.

— А мы знаем, учителем, и все тетки тоже учительницы, а вот отец в полицию подался! А какое отношение вы имели к фамилии Победоносцевых?

...это Бабины знакомые или дальние родственники по Петербургу...

— Я не знаю, кто это.

— А самые махровые реакционеры государства Российского! И какое же отношение вы имеете к этой реакции?

— Никакого.

— А как же они жили у вас, когда приезжали из Петрограда хлопотать к товарищу Ленину о спасении своего последнего отпрыска от расстрела?

— Я этого знать не могу, я при жизни Ленина была совсем маленькой.

...Ядя! Только она могла сказать об этом, нам было лет по десять, когда Победоносцевы приезжали. Зачем, зачем она все это говорит, здесь же все могут превратить в вину, значит, она арестована, значит, голос в подвале был ее, как я о ней забыла, ведь с ее трусостью она все что угодно может наговорить...

— А что эта ваша Ядя, сестра, или подруга, или приживалка?

— Школьная подруга, как родная.

— Ох и дура же вы! Как же вы могли терпеть в доме приживалку, вы вроде трудились, а она в это время блаженствовала, ничего не делала?

— Ядя помогала в доме.

— Ну не смешите, это при вашей-то маме, да еще при экономке, да еще при домработнице? Ха! Она не потела от работы.

Тот, который часто усаживается в углу и иногда подолгу сидит, — сегодня с начала допроса:

— А из ваших родственников в органах никто не работает?

— Может быть, родственников Горбатова?

— Нет, именно ваших родственников.

И вырвалось:

— Это невозможно!

— Да что ты говоришь! Ишь ты! Брезгуешь нами! А хочешь, мы тебя ...? Вот и открыла свою антисоветскую душонку! Ну, давай, говори! Высказывайся! Вот и свидетель есть! Вот мы тебя сейчас в стоячий карцер и замуруем, чтобы не оскорбляла представителей при исполнении служебных обязанностей!

Они засмеялись.

— Так значит, здесь ваши родственники не работают и работать не могут?

Они переглянулись.

— А ведь вам в Ташкенте предлагали у нас работать! Что, тоже «невероятно»? Брезгуете! Презираете нас! А я бы вас припер к стенке! Я бы вас заставил работать на нас, эдакую честную птичку, недотрогу! Интересно, какая бы из тебя вышла стукачка, какие доносы ты бы писала...

...сколько будет длиться это глумление, не могу больше!..

Тот, в углу, встал и вышел. Меня увели, тащусь по коридорам.

...кто первый выдумал тюрьму, зачем, почему?.. Странное лицо у этого подполковника в углу, что-то есть в его взгляде другое, не как у Соколова... Ожог — дядя... мой родной дядя... брат Мамы... Тогда давно его перевели по работе из Саратова в Москву, и Мама только в тридцать седьмом году обронила, что ее брат работает в органах, поэтому он тогда и не разрешил повидаться Дедушке даже со мной, с ребенком, и тогда же еще обронила, что когда она одна приехала к ним знакомиться, то они поносили нашу семью и, конечно, погубили и Баби, и Папу...

Подъем, села на кровати и, наверное, опять упала, и, наверное, надзирательница стучала ключом по бляхе, а сейчас трясет, сажает, а я опять валюсь, сознание уплывает...

Отбой. Допрос.

— Чего это вы шатаетесь? Почему ничего не едите, это глупо, сломаетесь. Рассказывайте, как это вы публично ругали коммунистов! Оба мужа коммунисты! И чем это они вам не угодили? Чем это вам коммунисты напоминают фашистов?

...если это написано в моей тетради — конец!..

У него в руках два листа, скрепленных в углу.

...донос... твердо знаю, что публично я этого сказать не могла...

— Этого не может быть. Я такого сказать не могла.

...жду, когда заговорит, чтобы понять, говорила ли я это действительно — где, когда, кто донес...

— Это надо так поливать грязью советские песни — и кипучая, и могучая, и что — опять «не помню». — Соколов передразнил меня. — Что это у нас так твою память отшибло!

— Вы спрашиваете о таких эпизодах, которые забываются.

— А я вам сейчас напомним, что у вас дома в гостиной у рояля двое талантливых авторов вместе с композитором принесли вам для исполнения только что написанные ими песни, а вы и начали эти песни захлеб разругивать!

...днем в гостиной слушали песни, стандартные, бездушные, плохие, их принесли те самые Миша Вершинин и Жорж Рублев, с которыми я познакомилась в Праге и потом была вместе в Вене, они и попросили прослушать песни, кроме меня, Яди и их троих, никого больше не было. Кто написал донос?.. Можно сойти с ума... Жорж... Миша... Они оба присутствовали в Бадене, и оттуда тоже донос...

— А ведь ваша Ядя весь ваш антисоветский текст вспомнила и подробнейшим образом изложила.

— Ядя этого сделать не могла.

...они, наверное, своих стукачей не выдают, Яди в Бадене не было, они спровоцировали ее...

— Ай, ай, ай, Ядя не могла, а вот Ядя утверждает, что при встрече с вами Трилоки передавал вам какие-то бумаги.

...бедная Ядя, она со страху уже не понимает, что говорит, она же сама читала, перечитывала журналы, которые Трилоки мне приносил, это голливудские и европейские журналы о «звездах», об искусстве, в Москве их достать ни за какие деньги невозможно, и даже Трилоки их доставал с трудом, и в тот раз, когда он вымолил познакомиться его с Мамой, с Зайцем, с Ядей, принес эти журналы.

— Трилоки приносил мне журналы по искусству.

— А чего же ваша Ядя не уехала в Афганистан со своим афганцем, тогда уже разрешили браки с иностранцами, он же на ней женился?

— Вы же знаете, что в этот период я с Ядей совсем не общалась.

Соколов вскочил и стукнул по столу, на столе все подпрыгнуло.

— ...ничего она не знает, ничего не помнит... долго я буду с тобой...

Матерно выругался. У меня слез от обиды нет. Высохли.

— Все у нее честные. Все хорошие! А Охлопков пьяный орал про советское искусство, что его нет и быть не может, значит, Ядя слышала, а вы опять нет?

— Я действительно не слышала. Наверное, я была в другой комнате, и Охлопков вообще никогда не «орет», он просто громко разговаривает.

Увели.

Отбой. Допрос.

За столом вместо Соколова военный с маленькими звездочками, он и раньше заходил в комнату. Он с серо-могильным цветом лица, как и все они здесь, худой, сутулый, глаза тоже стеклянные, запавшие, длинное лицо, похож на иезуита, моложе Соколова.

— Я помощник подполковника Соколова. Моя фамилия Самарин. Подпишите протокол.

Первый протокол. Все написано не моими словами, странным языком, о том, как я ругала песни, которые принесли мне Вершинин и Рублев, что все эти «кипучие, могучие, никем не победимые» слушать невозможно, и еще много слов на тему моих антисоветских высказываний.

...на самом деле все было не так, мне стало жалко поэтов и композитора и я тактично уговаривала их отойти от стандарта, написать что-нибудь душевное, потому что песни типа «кипучая-могучая» зрители не слушают и можно уйти со сцены без единого хлопка. С чьих слов составлен протокол...

Самарин наблюдает за мной, сделала спокойное лицо, ни растерянность, ни сумятицу показать нельзя...

...что мне делать, неужели и другие протоколы будут составлены по доносам? Этот протокол безобидный, ну ругала и ругала, он не может быть обвинением. За это нельзя осудить...

Подписала.

Самарин положил протокол на стол, сидит, что-то читает... где же Соколов... «М» погасло... может быть, он у высшего начальства... могильная тишина, мучительно тянется время, ноги затекшие, сидение вызывает дурноту, засыпаю, падаю со стула.

— Бросьте вы тут устраивать театр!

— Можно встать?

— Нет.

Когда же зажжется «М», две последние ночи Соколов стал меня отпускать в это время, и я могу поспать два часа до подъема, только это не милость, как я теперь все начинаю здесь понимать, — это продуманная система, чтобы не довести человека до смерти без сна, не довести до безумия, и это еще хуже, чем совсем не спать, потому что проснуться невозможно, поднимают насильно, и я совсем неменяемая, тупая.

Вспыхнуло «М». Увели.

Отбой. Допрос.

Ведут в другую сторону, ковер, зажмурилась от яркого света, к Абакумову! Вся эта игра наконец кончилась, домой, домой, вводят в оклеенную дверь... встал... такой же холеный.

— Садитесь.

...мистика, дьявольщина: он начинает светский разговор об искусстве, кто талантливее из братьев Тур, как я отношусь к министру культуры... он что-то ждет от меня... чтобы я упала к нему в ноги, умоляла, просила; я этого не сделаю... что-то темное, страшное... на полужфразе увели.

Отбой. Допрос.

— Нуте-с! Что же это вы отмочили в Гагре, в винном погребе, того тоста в Бадене вам было мало, решили и здесь отличиться! Ну!

— Вспомнить тост невозможно.

— Так значит: «Бей грузин, спасай Россию»?!

Как от удара пришла в себя.

...все... это приговор...

— Ну рассказывайте!

— Рассказывать нечего, если я и могла это сказать, то как шутку... как остроуту...

— А все-таки, хоть и в шутку, могли это сказать? Что, для красного словца и сережка из ушка!

— Не могла.

— Ну уж тут полно свидетелей, компания из Дома творчества, а может быть, это не шутка, а ваше убеждение... — Он что-то читает и, не отрываясь, спрашивает: — А что за история у вас была в Праге?

— Руководитель джаза запросил за оркестровку большой гонорар, и пришлось доставать деньги через...

— Деньги нас не интересуют. Зачем вас вызывал посол.

— Познакомиться, пожелать удачи.

— А к послу никто ни с чем не приходил?

— Я не знаю.

...неужели Макарова, кроме того, что пошла к послу, еще и написала об этом?! Зачем? Зачем ей надо куда-то бегать, писать, вершить чужие судьбы? У нее с Герасимовым все есть! Им только Бог или забыл, или не захотел вложить душу. Теперь у посла могут быть неприятности за доброе отношение ко мне.

Отбой. Допрос.

Отбой. Допрос.

Отбой. Допрос.

— Ваш брат...

Соколов впился в меня глазами.

— Если вам дурно, можете облокотиться на столик.

Я побелела сквозь тюремную белизну.

— Этот ваш брат, он что, летчик?

В руках у Соколова письмо, это одно из фронтовых писем от моего однофамильца-летчика, мы начали переписываться, я молилась за него, чтобы он не погиб, он еще моложе меня, мне было в войну двадцать семь, а ему двадцать три, может быть, мы и были дальними родственниками...

— Нет, это не мой брат. У меня нет братьев, и этот летчик вскоре погиб.

— Помимо любовных писем и стихов, у вас еще и друзей много, мужчин, с кем это у вас переписка по имени Лев РЫ.

— А!.. Это мой школьный товарищ, он сразу же после школы уехал жить в Минск.

...Левушка, мой золотой, дорогой, моя умница, он сам не писал и запрещал мне писать о чем-нибудь серьезном, наши письма похожи на французскую светскую хронику, с анекдотами, с юмором...

— А вы не встречались с этим Львом РЫ за эти годы ни разу?

— Как-то виделась, когда я оказалась в Москве и он приехал из Минска.

— А в студенческие годы вы с ним не встречались?

— Нет.

— А в каком институте он учился?

— Не знаю.

— Тогда ведь многих студентов арестовали за антисоветчину... Соколов смотрит на меня не отрываясь. Дьявол. Господи, спасибо, что ты создал сердце железным.

Соколов опустил глаза в письма... это же явный намек... он знает все о нас с Левушкой... такой же намек, как с пощечиной Абакумову.

Отбой. Допрос.

Подписываю протоколы, и все как будто не со мной... проплывает мимо, сосредоточиваю сознание на протоколах: «бей грузин» и «коммунисты напоминают фашистов», — чтобы в забытьи их не подписать, теперь смысл слов доходит до меня не сразу, откуда-то издалека, медлю с ответами, чтобы нечаянно не сказать, чего нельзя. Волочусь на допросы, как калека.

— Как это вы смели с вашими куриными мозгами критиковать постановления правительства в газете?!

— Я не прочла в своей жизни ни одной газеты.

— Это что-то новенькое! Это почему же?

— У Мамаы начиналась мигрень, когда она видела в руках у женщины газету, она считала это неприличным.

Соколов вытарашил на меня стекляшки.

— Ну а кто страной-то правит, какой верховный орган, вы хоть знаете?!

— Да, конечно. ЦК партии.

— Вы что, нарочно дурочку из себя валяете? Это надо же дожить до таких лет и ничего не знать! Да вас надо по улицам водить напоказ, как слона! Да за одно это вам можно впясть двадцать пять лет!

Я вспомнила про Верховный Совет и поправилась, про ЦК я ему ответила автоматически, в доме царили эти две буквы: все, что ни делал Борис, было по указанию ЦК, вызовы среди ночи из ЦК.

— Так что же, вы в политике вообще не смыслите?

...может быть, он прав, может быть, я от страха и непонимания действительно, не играя, превратилась в дурочку...

Соколов что-то читает.

— Вот читаю поэмы Горбатова, посвященные вам, о его любви к вам рассказывают легенды.

Молчу.

— А как, по-вашему, Борис мог бы вас предать?

...слова, сказанные в Переделкино о том, что он пойдет за мной на край света, Борис повторял потом еще много раз...

— Нет, никогда.

— Горбатов вам изменял?

— Нет.

...и вдруг вспомнилась поразившая меня сцена с Костей: он

первым получил квартиру, переехал из гостиницы и устроил новоселье, Валя была где-то в отъезде, я пошла, зная, что у него будет много народа, и когда мы компанией уходили, Костя, не ища предлога, не очень-то стараясь скрыть, оставил у себя ночевать жену нашего общего знакомого, все это в разгар его любви к Вале. Меня это тогда поразило...

— Ишь ты. Такая доверчивость похожа уже на глупость, вы знаете о существовании его последней поэмы, посвященной вам, написанной совсем недавно?

— Не знаю. Борис пишет стихи только ко дню моих именин...

— Ну вот он и сочинил эту поэму к будущим вашим именинам, они ведь скоро.

— Нет, я не знаю.

— А вот ваша Ядя знает!

...если поэма не ложь, а действительно существует, как она могла попасть на стол к Соколову, обыска у Бориса быть не могло, он депутат, откуда Ядя может знать о ней, с Ядей Борис никогда ничем не делится, почти не разговаривает, не любит ее, рад, когда она исчезает домой, неужели и она лазила по столам, как Келлерман, почему не сказала мне ни слова...

— Хотите почитаю?

Соколов читает отвратительный, лживый, подлый пасквиль, он остановился.

— Ну и так далее, и тому подобное, и все в том же духе, поэма длинная... вам, наверное, достаточно и того, что я прочел.

— Борис такого написать не мог!

— Это почерк Горбатова?

— Да. Может быть, Борис переписал чей-то пасквиль, ко мне он никакого отношения не имеет!

— А Горбатов вам рассказывал, что он был троцкистом?

Заставила себя выразить крайнее удивление:

— Это невозможно. Более чистого коммуниста представить трудно.

...в голове история, произошедшая с Борисом и с женой члена правительства Серебрякова, которого потом расстреляли как троцкиста: жена Серебрякова — писательница — пригрела Бориса, когда Борис появился из Донбасса как молодой, начинающий талант, начала с ним флиртовать и пригласила домой в отсутствие мужа. Борис в одежде и сапогах полез к ней в постель, но она отослала его в ванную комнату, в которой Борис потерялся от роскоши, а когда вышел из ванной, свет был погашен, он услышал шепот, пошел на него и оказался в облаке запахов, кружев, потерялся совсем, и был позорно изгнан. Тогда я, слушая это все, с горечью вспоминала свою первую брачную ночь с Бо-

рисом. Об этом здесь рассказывать нельзя, видимо, Борис потом встречался с этой Серебряковой, она тогда была хозяйкой литературы, и Борис вдруг, будучи вообще никем, стал секретарем РАППа, какой-то рабочей группы писателей, а потом так же странно исчез опять в Донбасс. Почему Соколов сказал «Горбатов», а не «товарищ Горбатов»?..

— Вы знали, что югославы готовят антисоветский переворот?

— О перевороте я вообще ничего не слышала.

— А как же, по-вашему, назвать то, как они нас продали? Целовались, миловались, кончали у нас военные академии, ваш Тито целовался с товарищем Сталиным, и вдруг на тебе! Сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит! А Горбатов пригласил чуть не всю академию на прощальный ужин, и Горбатов ничего не говорил вам, ничего не знал, не предвидел.

— Если бы Борис что-нибудь предвидел, а тем более знал, он никогда никого не пригласил бы, и приглашал он потому, что ему велело какое-то высшее начальство.

— А почему это вы со своими мужьями были на «вы»?

— Не знаю, что вам ответить на этот вопрос.

— Утонченная натура, исключительность! А дура душой! Почему это вы не захотели идти расписываться с Борисом, когда вышел закон, и вот теперь ваш брак недействителен!

Молчу. Увели.

Мечусь по камере при мысли о доме: если Борис арестован, что будет с детьми, с Мамой, а вдруг и Маму арестовали? Зачем Борис выбросил мой браунинг, если он что-то предчувствовал, почему не сказал мне, почему метался по квартире в день моего ареста, а потом без конца звонил, зачем арестовали Яду?.. Юрку?..

Отбой. На допрос.

— Интересное все-таки узнаешь о человеке! Вроде как будто и чистоплотная с мужчинами, и любовь ей подавай, а как же это вы в пятнадцать лет трахались со старым жидом в какой-то подворотне? Это что, тоже сплетня? Нет уж, на сей раз это, как вы говорите, даже не донос, а точные показания, протокол! Будете отрицать, устрою очную ставку.

— Я вышла замуж девушкой.

Соколов вскинул на меня глаза:

— Что же, этот человек врет?

— Просто этот человек от безумия, от подлости, от страха говорит сам не понимая что.

— И вам даже не интересно, кто это?

— Нет. Зачем вы делаете из меня то антисоветчицу, то потаскуху?..

— А это не вашего ума дело! Что хотим, то и делаем! Это же

лучше, если вы еще и скомпрометированы! Пусть все знают, какая вы на самом деле штучка!

...застенок... ублюдки... грязные убийцы... человечество будет вас проклинать!

— Почему не подписываете остальные протоколы?

— Я с ними не согласна, в них неправда.

— Это не важно, важно, что есть свидетели.

— Они ложны.

— Тоже не важно! Важно, что был разговор!

...Ольга в тридцать седьмом году не подписала протоколы, и ее под утро, когда город еще спал, выбросили в каком-то дворе, только ее еще и били, следователь пришел прямо в камеру и бил ее беременную ногами в живот, был выкидыш, неужели и меня будут бить.

— Я эти протоколы не подпишу.

— Подпишешь, сука...

Ругань хлещет. Вошли двое надзирателей и поташили под руки в камеру. Я погибаю. Прислонилась к стенке, приказали отойти, сидеть не могу, ходить не могу.

Отбой. Допрос.

Самарин: На столике лежат те же протоколы, ручка.

— Ну сколько будешь... сука! Подписывай!

От крика звон в голове.

— Я подписывать не буду.

Он вскочил, подлетел вплотную, замахнулся.

— Ладно тебе! Подписывай, проститутка.

Кулак пролетел мимо глаз. Приташили в камеру.

На следующую ночь сидит Соколов.

— Ну что, опомнились? Пришли в себя? Подписывайте — и к стороне.

— Я подписывать не буду.

— Тогда поведем вас в подвал пороть!

— Я покончу с собой.

— Дудки! Ишь ты какая умная! У нас это не получится.

Привели в камеру, приказали одеться на улицу, выводят в тот же колодец, в который привезли, задохнулась от воздуха, наверху клочок синего неба, фургон «Овощи—Фрукты», автоматчик запихивает в заднюю дверь фургона, значит, смерть; крошечная тьма, от страха тошнит, остановка, фургон подогнали к какой-то железной двери, спускают по крутой, узкой, осклизлой лестнице в подвал, железная дверь, с той стороны кто-то разглядывает меня и автоматчика в глазок, скрежешет замок, надзиратель в тулупе до полу принимает меня, дверь захлопнулась, полутьма, могильный холод, камера номер 3.

— Раздевайтесь до рубашки.

— Я не ношу рубашек.

Дверь захлопнулась, приносят отвратительную рубашку, грязные тапочки.

— Раздевайтесь до рубашки.

Уносят мои вещи, камера захлопнулась. Если будут пороть, покончу с собой. Начинаю замерзать. Где я? Ехали долго. Может быть, это и есть подвал той знаменитой Лефортовской тюрьмы. В могильной тишине слышу какой-то тихий, однотонный звук, как будто мотор рефрижератора, стены покрываются изморозью. Я в холодильнике. Двигаться, прыгать, танцевать, чтобы не замерзнуть! Это глупо и смешно, они же до конца замерзнуть не дадут. Согревание только продлит муки. Ни рук, ни ног не чувствую. Камера — квадратная коробочка, в углу крошечный откидной треугольник, сесть на него, так чтобы поднять от пола ноги, невозможно, соскальзываешь или примерзаешь спиной к стене, скрежетет замок.

— Отбой.

Как в боксе, надо откинуть шит, руками уже не владею. Скрежет замка, надзиратель откидывает шит, хочу заглянуть ему в лицо, никогда не видела человекозверя, наверное, комсомолец, закутан в тулуп, лицо прячет в поднятом воротнике, упала на шит, упала в сон, очнулась от боли, нога примерзла к железной скобе, скрепляющей доски, уместиться между скобами невозможно. Вскочила. Двигаться, двигаться, конечно, я не умру, но буду изуродована. Папа, неужели и ты перенес все это... как же ты, пожилой уже... спасибо тебе, что ты воспитал меня спортсменкой... «Держись, держись, моя девочка, умереть не дадут». Конечно, они наблюдают в глазок за степенью обморочности. Хорошо, что Соколов не повел меня пороть, замерзнуть лучше.

Еще жива, губы не шевелятся. Иней на стенах то спадает — тогда тихо, то опять гудит мотор, и стены в инее. Открылась камера, надзиратель внес хлеб и кружку холодной воды, сколько же прошло времени?... Отбой, значит, ночь... хлеб, значит, день.

— На допрос.

Надзиратель принес платье. Маленькая комната. Самарин. Те же протоколы, ручка.

— Ну что, будем подписывать?

— Нет.

— Дура! Тварь! Сука!..

Опять замахнулся, опять кулак просвистел мимо лица, задев кончик носа, это их прием, держаться, держаться. Карьера Самарина — с одной звездочкой топачом, как тот тогда после ареста Папы у железных ворот Лубянки, потом две — в справочном

окне, теперь здесь исполняет все кровавые грязные дела, это уже четыре звездочки... Соколов стал подполковником этим же путем, а может быть, нечаянно, не рассчитав, кого-то и прибил на допросе... и сразу через две звезды...

Приказал увести, отогреться не дал.

Слышу, как открывают камеры, внося хлеб и ледяную воду, значит, я здесь не одна, услышала тихий мужской стон...

— На допрос.

Ноги совсем протезы.

Соколов.

Та же комната, протоколы, столик не у двери, а у стены комнаты. Соколов улыбается, смотрю ему в глаза.

— Как дела?

— Хорошо.

Звука нет, шевелятся губы.

— Походочка-то у вас уже не та, нету той прежней, идете как на протезах! Это почему же? И спать вам теперь никто не мешает! Высыпаетесь!

Плюнула ему в лицо. Расхохотался.

— Не долетит, силенки-то уж нет! А за это я тебе еще поддам! Что, совсем уж спятила? От меня ведь зависишь! Что хочешь, то и сделаю! Я сейчас для тебя весь мир! Ну ладно, подписывайте, и все добром закончим!

...Кости, мои кости, их не ломают, их выкручивают. выворачивают, и всю меня начинает корезить — Соколов посадил меня к раскаленной голландской печи, я начала оттаивать...

— Что, больно? Подпишите, и все кончится, а то ведь на днях вашей любимой дочери исполнится шестнадцать лет, мы и ее арестуем вам в подмогу!

Лежу на досках в платье, рукав засучен, запах лекарства, делали укол, сразу же заскрежетала дверь, надзиратель в тулупе приказал снять платье, встать не могу, кружка воды, хлеб. Отбой.

Скрежет двери, надзиратель принес одежду и мою шубу, выташил из подвала наверх, прямо у двери тот же фургон «Овощи—Фрукты», небо черное, ночь.

Моя камера на Лубянке, светлый, теплый рай.

— На допрос.

Приташили, посадили, столик стоит посередине комнаты, протоколы, ручка, Соколов злой, ходит по комнате.

— Ну-с, так и не будем подписывать?!

Мотаю головой, голоса нет. Ходит, ходит и вдруг подходит ко мне вплотную, так, что я почти касаюсь лбом его мундира, и как-то странно, внятно, но тихо, как будто нас могут услышать, увидеть, говорит:

— Умная, умная, а дура!

В голову ударил дикий женский вскрик из коридора, Соколов наклонился надо мной.

— Надо подписывать, нечего из себя корчить Зою Космодемьянскую, не таких козьяков, как ты, ломаем, маршалов ломаем, которые уже видели смерть в глаза! Какая разница говорила ты что-нибудь или не говорила! Здоровье надо сберечь, дура! Подписывай, и скорее в лагерь на воздух, там можно выжить, твой идиотский героизм — писк мышонка при взрыве!

И сразу же отскочил от меня.

В комнату быстро вошло несколько военных, курят, всё в дыму, лица рассмотреть невозможно, прямо передо мной стоит, расставив ноги, тот с большим животом начальник, полковник Комаров, комната плавает, курить начали в лицо, Самарин, еще двое или трое, матерная ругань оглушает, кричат мне в уши, замахиваются, схватили за локоть, я в тумане, на стуле посередине комнаты, полковники, подполковники, зачем я здесь, кто приказал, смешно... подписала.

Я в камере, около меня кто-то в белом халате, укол, хочу спать, спать, спать, не поднимают, не трогают, сама открываю глаза, надзирательница вносит миску с кашей, кипяток, сколько же я спала... скорей пить, двинуться, поднять чайник не могу.

Ничего себе меня отработали, увидела свое отражение в оконном стекле и отшатнулась.

Уже могу ходить по камере и жду, жду встречи с живыми людьми, может быть, кого-то арестовали после меня, может быть, кто-то знает что-нибудь о моей семье, о том, что со мной произошло, происходит: я как упавшая в пропасть, выхода нет, можно только кричать, может быть, кто-нибудь ответит.

Вводят.

Их трое. Здороваясь. Одна отвечает по-немецки, две других — по-русски, но тоже иностранки. Надежда узнать что-нибудь рухнула. Молодец Соколов, совсем отрезал меня от мира.

Напряжение сняло молоденькое существо, ее кровать стоит против моей, она совсем весело, как не в тюрьме, зашебетала:

— Я русская румынка, меня зовут Беатриче, по-русски Нина, мне 21 год, меня сюда доставили самолетом из Бухареста, и фрау Мюллер тоже самолетом, и Нэди тоже самолетом из Праги, а вас?

Встречаюсь глазами с той, которую зовут Нэди, сквозь мученическое выражение больших серых глаз на меня полыхнуло колючее, холодное. Рассказываю о себе: я артистка театра и больше ничего, Нина перебивает: никто из них никогда в Советском Союзе не был и ничего о нем не знает. Фрау по-русски, кроме нескольких тюремных слов, не понимает ничего, а Нина продолжает лепетать о себе: она работала в Бухаресте официанткой в столовой на нашем советском аэродроме, на мой вопрос, откуда она так хорошо говорит по-русски, ответила, что ее воспитывал русский дедушка, он из Петербурга, а как семья попала в Румынию, она не знает, знает только, что в Бухарест они переехали из Молдавии, кто ее отец, тоже не знает, мама работает в ночном ресторане, Нина у нее седьмой ребенок, и все дети от разных отцов, арестовали Нину, вынудив из объятий нашего техника с этого же аэродрома, имени которого она уже не помнит, ей ничего не предъявляют, и следовательно с ней «болтает ни о чем», она уверена, что скоро будет на свободе и ее пошлют куда-нибудь от нас работать, знает русский, румынский, итальянский, английский, немецкий.

Та, которую зовут Нэди, демонстративно легла лицом к стене, Нина перешла на шепот, а я извинилась и тоже легла. Щелчок ключа.

Ложиться нельзя до отбоя.

Нэди села, повернулась ко мне.

— Сегодня Татьянин день! Поздравляю вас с днем ангела!

Закружилось, сорвалась с места... Что, если в доме нет ни Мамаы, ни Бориса? Что, если и они арестованы? В голове бьется крик Зайца, когда меня поташили: «Мамочка!» Удариться головой о стену, чтобы раскололась навсегда.

— А вы не знали, что сегодня Татьянин день?

— Нет, я после ареста была в одиночной камере и сбилась со счета.

Нэди опустила глаза на мои ноги, похожие на тесто.

— Стоячий карцер?

— Нет, холодильник.

Какая странная, страшная, ни на что не похожая тюремная жизнь: подъем, отбой, оправка, прогулка, кипятик с краюхой хлеба и четырьмя кусочками сахара, обед, ужин, отбой, подъем, оправка... жизнь с людьми, связанными с тобой неотступно, ежесекундно.

Немка фрау Мюллер, средних лет, наверное, интересная, теперь зеленая, в смешных огромных опорках от валенок, которые она обменяла здесь на свои туфли, элита немецкого общества, была женой известного профессора, намного старше себя, влюбилась в ассистента профессора намного младше, добилась развода, вышла замуж за ассистента, война — и ассистент оказался в немецких войсках, оккупировавших Чехословакию, там мы их и схватили в какой-то церкви, когда они пытались от нас бежать. Муж фрау сидит здесь же, у них было несколько свиданий, фрау живет этими свиданиями, ничего вокруг не видит, не слышит, счастлива оттого, что муж близко, счастлива, что их вместе поведут на расстрел, самозабвенная, всепоглощающая любовь.

Беатриче-Нина набросилась на меня с разговорами, книг она не читает, ей мучительно скучно, и с ней, как я поняла, ни по-немецки, ни по-русски ни фрау, ни Нэди не разговаривают, и теперь она болтает и болтает. Нэди это раздражает, и, видимо, мы в этой клетке если не будем считаться друг с другом, то без всяких следователей доведем друг друга до убийства. Я стараюсь Нину перебивать, но это бесполезно — она начинает снова и снова. Слушая ее болтовню, как у нее в детстве болели глазки, потому что она спала с мамой в одной постели и мама заразил ее гонореей, как она уступала маме кровать, когда мама приходила с мужчиной, что у бабушки был брат в Рос-

сии, знаменитый, богатый артист, и он купил для огромной дедушкиной семьи дом в Молдавии, как они переехали в Бухарест — мне почудилось, что где-то когда-то я слышала все это... великий русский артист Шепкин: эта Нина, она же правнучка Шепкина! Спрашиваю фамилию деда — Шепкин! Рассказываю ей, что ее прадед — великий русский артист, что прямо из подъезда тюрьмы, вниз по проспекту, ему поставлен памятник.

Странная русская чешка с глазами, каких я никогда не встречала: за холодной, колючей пеленой глубоко внутри теплота, ничего о себе не рассказывает, а как можно рассказать, если мы друг у друга на носу, единственное, что она мне быстро шепнула, когда нас вели на оправку, чтобы я ничего о себе при Нине не рассказывала: Нина — дрянь.

Нэди лет около тридцати, интересная молодая женщина, с красивой фигурой, с красивыми ногами, сейчас она тоже зеленая, в цыганской вылинявшей красной кофте, которую она тоже здесь выменяла, лицо славянское, женственно, ко мне холодно присматривается, курит методично, по часам, глубоко затягивается, курит убийственный «Беломор», который, как и Борисов «Казбек», пахнет немытыми ногами.

— Извините, что я курю, но я ничего не могу сделать, даже к форточке не разрешают подходить...

Ну где еще, кроме Лубянки, может возникнуть такой роскошный триумvirат: артистократка, проститутка, интеллигентная женщина!

В Нэди есть стойкая порядочность.

Теперь, когда можно ночью спать, я не могу заснуть: Мама арест не переживет, безмолвная, безвольная, безропотно стоявшая с передачами у тюремных окошек с самой революции... не хватит у нее душевных сил... а Борис... каким он может быть в тюрьме... Услышала шепот:

— Если вы не будете спать, вы сломаетесь, мысленно, не отрываясь ни на секунду от текста и, главное, от видения, говорите: один верблюд идет по выжженной пустыне, два верблюда... и так до сна.

Что же Нэди все время будет такой, неужели ничего не скажет о себе, не спросит обо мне?

Когда Нэди днем задремала, Нина быстро рассказала, что Нэди уже пять лет на Лубянке, поэтому ей и разрешают лежать днем и поэтому она получает больничное питание, иначе она давно бы умерла, здесь и год-то мало кто выдерживает, и фрау все это тоже разрешают, потому что и фрау сидит здесь давно.

Кто же эта Нэди? Что же это за человек, могущий выносить пять лет ежедневные пустые ши, перловую кашу, селедочный суп без видимости хотя бы хвоста селедки, жалкие четыре ку-

сочка сахара, краюху хлеба неизвестного происхождения, называемую здесь «пайкой», отбои, подъемы, стирку в плевательнице, мытье параша, прогулки по двадцать минут в вонючем дворе без воздуха или на какой-то крыше, там воздух, но снизу врываются в душу гудки машин, жизнь города, приходишь в камеру со стиснутыми зубами, чтобы не разрыдаться, выносить пять лет мытье в заплесневелом, вонючем подвале за двадцать минут, раз в две недели с пятнадцатиграммовым, тоже вонючим, кусочком мыла, выданным на все эти две недели, а если очередь мыться подходит ночью, ошалело вскакиваешь с постели, и наша камера еще моется по-царски: четыре душа, нас четверо, а в больших камерах к душе можно подойти только на секунду; выносить вереницу проплывающих мимо людей — Нина наверняка не худшая...

Делаю вид, что ничего о Нэди не знаю, пока она не заговорит со мной сама.

Я болею от грязи, от нечистоплотности. Все что есть на Лубянке для чистоты, для личной гигиены — это оправки по пятнадцать минут утром и вечером, за эти пятнадцать минут ты должна успеть постирать ледяной водой без мыла трусы, чулки, сделать все остальное: в камере есть неписанный закон не пользоваться парашей по серьезным делам, иначе все задохнемся, и пока привыкнешь, ожидание оправки доводит до дурноты, и сама знаменитая в русской истории параша, здесь это алюминиевый бак для выварки белья, и если ты сегодня дежурная «по параше», то все пятнадцать минут уходят на то, чтобы успеть ее помыть. Иногда женщин надзирательниц заменяют мужчины. Нэди говорит, что женщин забирают на обыски, тогда на оправках появляются надзиратели, которые тоже обязаны за нами наблюдать, и обычно если надзиратели не совсем дряни, то делают это мельком, а тут надзиратель, нагло открыв глазок, рассматривает нас на унитазах. Я рванулась к двери, стучать, кричать, Нэди больно схватила меня за руку и оттащила, но глазок закрылся. В камере Нэди сказала мне, что это верный карцер, ничего это не изменит, надо найти ко всему свое отношение. Теперь я учусь у Нэди безразличию ко всей этой орденоносной лубянской швали.

Перел полетом в Кишинев был просмотр американского фильма, действие которого происходит в тюрьме, в уголовной тюрьме: камера с унитазом, табуретками, чистая постель, горячая вода, во дворе играют в мяч...

Нэди научила меня, как можно в почему-то стоящей здесь маленькой плевательнице стирать белье: замочить его, а на оправке прополоскать. Надзиратели не могут этого не видеть, значит, это узаконенная стирка — издевательство, значит, неспро-

ста стоит эта маленькая плевательница. Мое прогнившее от грязи шерстяное платье не влезает в плевательницу.

Лубянка — это не тупость, даже не садизм, это продуманная система уничтожения человеческой личности.

Забрали Беатриче-Нину, от волнения заснуть невозможно, кого введут в камеру, смогу ли я услышать хоть слово о доме.

Ночью разговаривать нельзя, и Нэди шепчет, что это произойдет сейчас, вот-вот, свято место пусто не бывает, тюрьма лопадется от количества людей, и в это время в Москве начинаются аресты.

Шелчок ключа.

Вводят несчастную пожилую еврейку, откуда-то из местечка под Куйбышевом, доставили самолетом, она совсем растеряна, полужива, ее обвиняют в сионизме, она не знает, что это такое, и я тоже не знаю: ее двоюродный брат, которому сейчас под восемьдесят лет и который родился в Америке, нашел все-таки свою русскую родню и появился у этой женщины после войны один раз, и вот теперь ее терзают, обвиняя в сионизме, кричат, что брат прилетал со специальным заданием.

Теперь я знаю о Нэди все: дед — коннозаводчик, выводил текинских коней, в революцию бежал со своей единственной дочерью в Германию, дочь вышла замуж за немца, появилась на свет Нэди, потом разорение и смерть деда, развод мамы с папой, и маленькая Нэди вместе с мамой оказалась в знаменитой русской колонии под Прагой. Вот откуда у нее такой блистательный русский язык — сочный, образный: у них в гимназии преподавала профессура Петербургского университета, и я впервые услышала мамины волжские выражения «проводить время шаны на маны», а когда мы с Левушкой засыпали за ужином, мама говорила «калмык душит». Они, эти эмигранты, более русские, чем мы, Нэди похожа на мою Тосю, та и вовсе вернулась из дикого Китая. Нэди крещена в русской церкви Надеждой.

После окончания гимназии Нэди поступила в медицинский институт, познакомилась с преподавателем Нейгебауэром и вышла за него замуж. Брак был спокойным, состоятельным. У Нейгебауэра была своя зубная клиника в центре Праги на Вацлавской площади, эта клиника и сейчас существует, но я промолчала, чтобы не сделать Нэди больно. Нэди помогала мужу в клинике, война, Нейгебауэр — еврей, ему пришлось бежать от немцев, а Нэди опять стала жить с мамой.

И пришла к Нэди любовь: по приходе немцев в Прагу у Нэди начался роман с молодым немецким офицером, она впервые любила, была любима, была счастлива, пришли наши и арестовали ее. Тогда давно на следствии ей сказали, что просто нужно было ее изолировать, и теперь она на Лубянке, в следствен-

ной тюрьме вопреки всем законам. Пять лет! Без воздуха, без света, без еды, ее переводят на больничное питание, когда она совсем становится плохой, больничное питание — это через день крутое яйцо и еще через день пятнадцать граммов масла!

Смотрю на нее дремлющую, без кровинки в лице... какой же пламень должен гореть в ее душе, чтобы заставить тело жить, дышать! Даже у тюремных холуев иногда в стекляшках просвечивает уважение к ней, они за эти пять лет успели состариться.

Не знаю, как Нэди смеется, только иногда, когда я ей рассказываю смешные истории и подвиги, мои или Малюшкины в детстве. где-то глубоко под кожей у нее чуть-чуть начинает теплиться улыбка.

Я стараюсь держаться. Чувствую себя плохо, но начала делать гимнастику, форточка маленькая, на окне «намордник», душно, облегчения никакого. Выдумала себе ходьбу по камере, но так, чтобы не раздражать всех своим мельканием.

Не могу понять, зачем здесь эти иностранки, зачем эта старая женщина из местечка, не сошли ли наши правители с ума...

Книги читать не могу, ничего не понимаю, мыслями дома, опять с детьми и опять хожу, хожу, хожу, снимаю Малюшкины бурки, чтобы звук шагов всех не раздражал, и, пока не замерзнут ноги, все хожу... Смешно, в камере, как и у нас в театре, нельзя громко ступать — оказывается, по походке мы, великие преступники, можем узнать друг друга!

Уводят под руки женщину из местечка — мучительно видеть, как ее добивают, она сердечница, существовала на уколах.

Жду.

Перейти на освободившуюся «койку», чтобы быть в ногах у Нэди и иметь возможность разговаривать с ней, нельзя, теперь я с Нэди наискосок и разговаривать приходится через фрау или же стоять в середине камеры и так разговаривать, но у Нэди нет сил долго стоять, а мне так хочется говорить с ней.

Вводят юную девушку, она слышала о моем аресте, но больше не знает ничего, от ужаса она окаменевшая. Ей девятнадцать лет, она невеста знаменитого чемпиона по плаванию Бойченко: пришли и арестовали вместе с друзьями, знакомыми. Бойченко якобы хотел украсть самолет и перелететь границу, хотя он из этой заграницы не вылезает. Посадил всех друг Митя Карелин, еще один цветок в букете стукачей.

Как узнать о Маме? Может быть, она здесь, рядом, погибает... Конечно, правы эти убийцы, не разрешая громко ступать, — я бы узнала Мамины шаги, самые тихие, но наша камера в стороне, мимо нас никого никуда не проводят: коридоры расположены буквой «Т»; когда раскрывается железная дверь на наш этаж, идет длинный коридор с камерами налево и на-

право, проходя по нему, я слышала несколько раз из-за дверей камер обрывки тихих голосов, здесь не только ступать, но и говорить разрешается только тихо, а кончается коридор поперечным нашим коридором с туалетом в центре и несколькими камерами, но только по одной стороне, по другой идет стена, к тому же наша камера последняя, номер 14: стена напротив, стена справа, и остается одна стена в соседнюю тринадцатую камеру, в ней сидят четверо, начала стучать к ним, получила ответный стук, но при здешних надзирателях и слышимости это пытка: еле с перерывами отстучала свою фамилию, не дыша получаю ответ «не может быть» и на этом чуть не попала в карцер. Оказывается, перестукиваться возможно, выстукивая буквы не по алфавиту, а по схеме: четыре буквы в ряду, и надо знать наизубок и ряд и число буквы.

Услышать тюрьму можно еще во время утреннего обхода или при вызове на допрос: на сутки заступает новая смена надзирателей, старший заходит в камеру, и ты можешь сказать, чтобы тебя записали к врачу, к следователю, к начальнику тюрьмы, и когда старший записывает, ты должна назвать имя, отчество, фамилию: дверь камеры открывает старшему надзирательница, но не входит вместе с ним, а остается в коридоре у ключа, оставив чуть-чуть приоткрытой дверь, и, когда они идут в следующую камеру, я могу, подойдя к своей двери, услышать голос, даже слова, даже фразы, конечно, рискуя карцером, потому что одна самая гнусная надзирательница умудряется, пока старший в соседней камере, тихонько на минуту подскочить, чтобы поймать, если ты подслушиваешь. Могу услышать только тринадцатую камеру, но я до шума в голове слушаю весь обход, может быть, из дальних камер что-то долетит. Нэди говорит, что они никогда не посадят мать и дочь близко одну к другой.

Так я услышала старческие, шаркающие мужские шаги, рядом женские и узнала от Нэди, что это сидит бывший министр с дочерью.

Я услышала голос в тринадцатой камере: еще с вечера, как ни обучают надзирателей годами тихо убивать, мгновенно придумывать, бесшумно складывать наши железные кровати — мы услышали, что три кровати вынесли из камеры, а утром я бросилась по своей разработанной системе слушать эту соседнюю камеру... слышу низкий голос с местечковым акцентом, вместо фамилии называющий какой-то номер, требующий немедленно позвонить мужу, чтобы ей принесли диабетическое питание. У меня так изменилось лицо, что Нэди подскочила ко мне:

— Мама???

Откуда я знаю этот голос? Откуда? Этот акцент? Этого не может быть! Голос Жемчужиной! Жены второго человека в государ-

стве, друга Сталина, министра иностранных дел Молотова: перед моим арестом в какие-то праздники мы с Борисом были приглашены в молотовский особняк на прием, и я впервые увидела его жену Жемчужину, и тогда меня удивил ее акцент... лихорадочно стучу в стену, никакого ответа.

Щелчок ключа в ее камере, значит, на допрос, кидаюсь слушать. Порядок вызова на допрос: все должны встать, старший вперивает глаза в вызываемого, спрашивает фамилию, имя, отчество, год рождения и чрево вещает: «На допрос», — я пока еще задыхаюсь от необходимости вставать перед этими грязными убийцами в ордене, и опять слышу тот же акцент, и опять вместо фамилии номер. Нэди объяснила, что все большие люди сидят под номерами, чтобы даже надзиратели не знали, кто они.

Среди ночи вносят пятую кровать, вводят женщину чем-то от себя сразу отталкивающую. Внешне она не противна, интеллигентна... но противно, как разговаривает, как ведет себя, с гордостью объявляет:

— Я личный секретарь Полины Семеновны Жемчужиной, я Мельник-Соколинская.

Она здесь случайно! До выяснения каких-то обстоятельств, член партии с пеленок, еврейка, с нами общается как с врагами народа. Колюче объясняю ей, что враг народа здесь я одна, называю себя, эта девочка еще не успела им стать, а те две иностранки и поэтому могут быть врагами только своих государств и народов.

Нэди сразу сказала: при ней ничего говорить нельзя, ни тем более стучать в стену. К счастью, ее забрали, и Нэди сказала, что «у них» вышла серьезная накладка: Жемчужина и секретарша оказались рядом, через стену.

Нэди говорит, что такого безумия на Лубянке еще не было, всю ночь вносят в камеры кровати.

Я начала изучать повадки надзирательниц, чтобы не попасть в карцер. Какой это материал для психоаналитиков, Фрейд написал бы самую лучшую книгу.

Они дежурят, как в гостиницах, сутки, трое отдыхают, и если мужчины надзиратели рассматривают нас в туалете, то у них сапоги и всегда слышно, когда они подходят к камере, а надзирательницы в мягких тапочках, их не слышно, они тихонько подкрадываются к глазку, чтобы поймать нас на чем-нибудь. Имен мы их не знаем, и я дала им всем клички. Самая отвратительная «ведьма»: лет сорока, высохшая, длинная, с мертвым, серым лицом, с бесстрастными глазами, в которые страшно смотреть, если бы ее лицо ожило, это была бы русская баба, а сейчас это немка, фашистка, матерая волчица, здесь давно, потому что даже здесь нельзя получить столько орденов и меда-

лей в короткий срок, их дают за бесшумное придушивание, а это ведь часто не выпадает. Все они противной до рвоты серо-зеленой краски под цвет стен и к праздникам надевают планки с отличиями. Нэди говорит, что все карцеры от «ведьмы», она бесшумно подползает к глазку и, поймав нас на чем-нибудь, мгновенно открывает дверь камеры, чему тоже надо упорно обучаться, если это не врожденный талант. А поймать нас можно на тяжких преступлениях:

преступление номер 1 — сидя на постели, закрыть глаза и дремать;

преступление номер 2 — Нэди, поймав в рыбном супе косточку, сделала в ней дырку, надергала ниток из полотенца и из какой-то своей тряпочки сшила мне тапочки;

преступление номер 3 — можно сэкономить пару листочков бумаги для туалета и обожженной спичкой нарисовать на них карты, и фрау гадает и гадает на мужа.

Обыски тоже всегда делаются при «ведьме»: врываются в камеру, ставят лицом к стене, разворачивают наши постели, больше разворачивать нечего — «ведьма» не гнушается рыться даже в менструальных тряпках.

Вторую надзирательницу я прозвала «дрянью»: проныра, маленькая, паршивенькая, хитренькая, подленькая, с личиком в кулачок, она как бы наш друг и делает гадости как бы с виноватой физиономией — при ней мы тоже ничего не делаем.

У всех здесь стеклянные глаза, но у этой хуже — оловянные, я ее так и прозвала «оловянные глаза», отупевшая от своей работы, похожая на мокрицу, вялая, полумертвая, ни на что не реагирующая, старше всех, когда она связывает или вставляет кляп, даже рефлекторно на ее лице не двигается ни один мускул, она израсходовалась, ее скоро спишут с почестями, она тяжело ступает, и слышно, когда она подходит к глазку, при ней-то мы и творим свои преступления.

Четвертая — «черный глаз»: у нее еще живые, нормальные черные глаза, она еще не высохшая, она здесь недавно, моложе тех, от нее еще веет домом, это причиняет боль, лучше уж те мумии. Она бесхитростно открывает глазок, и в него виден ее черный глаз, а те глазок приоткрывают невидимой для нас шелкой и наблюдают за нами, на нашем глазке остался еле видимый подтек масляной краски и если положение подтека чуть-чуть сдвигается, значит, за нами наблюдают, а если долго, значит, кто-то из начальства.

Дни тянутся и бегут. Соколов не вызывает. В просвете намордника все чаще голубое небо, скоро весна.

Мне совсем плохо, теперь меня мучает голод, настоящий, безобразный, считаю минуты до еды, сдерживаю себя, чтобы

не броситься за миской, в желудке физическая боль. Читаю, перечитываю книги, в которых едят, пируют... Георгий Саакадзе, он понимал толк в еде! Сижу с ними на пирах, не пропускаю ни одного блюда, слюна течет, как у павловской собаки, но часы до шей и каши проходят не так мучительно. На Нэдино больничное питание не смотрю, скандалим, она требует, чтобы мы все ели поровну, но у меня еще хватает сил сказать «нет». А от книг мне тоже плохо, их спокойно в руки взять невозможно: прекрасные книги издательства «Academia», и за каждой этой книгой ночной обыск, страдание, они конфискованы при арестах.

Здесь они, гэбэшники, случайно не успели растащить их по домам. Нэди мне рассказала, что рядом, на Кузнецком мосту, во дворе, в подвале, есть магазин, в который поступают конфискованные вещи и где те за бесценок скупают хрусталь, ковры, фарфор, картины, книги, цена для видимости, чтобы нельзя было сказать, что это ворованное. Так живет в тюрьме Нэди: при аресте ей разрешили собрать чемодан с вещами, без папирос Нэди жить не может, и потекли ее вещи из чемодана под расписку как бы в этот комиссионный магазин.

Из каких комиссионных магазинов жены следователей носят английские и французские платья, костюмы, из каких комиссионных магазинов у их высших чинов севр, Малявин, книги издательства «Academia»?

Шелчок ключа.

Забирают фрау. Нэди взволнована, она говорит, что фрау расстреляют, она слишком много знает о Лубянке, а у меня остановилось сердце, Нэди не понимает, что это может относиться и к ней. Бедная фрау, она сидела за свою любовь, ее держали заложницей мужа, чтобы из него вытягивать жилы. Фрау так и пошла в этих русских опорках умирать за любовь.

Теперь моя кровать на месте кровати фрау, напротив Нэди, теперь можно разговаривать с Нэди. Нэди, разговаривая, может лежать. И на меня обрушилась не только Лубянка, а вся моя страна, Нэди знает все о нас, как если бы все эти годы жила за стенами тюрьмы.

Путано, противно, плохо, сбивчиво, нудно рассказываю ей о себе, о своем деле.

— Вы уже вторая «звезда» в этой камере, здесь сидела Зоя Федорова, и то, что вы рассказываете о себе, в моем мозгу не умещается! Ни в какой другой стране это невозможно! Невероятно вообще! Без всякой вины!..

— Как Зоя! Что она?!

— Я не успела ее узнать, она истерична, она была невменяема, не мылась, не умывалась, не снимала платок с головы,

кричала, билась головой о стену, и ее скоро забрали. И еще в нашей камере сидела балерина Большого театра Нина Горская — полная противоположность Зое, она наседка.

— Что это?

— Это люди, которых подсаживают в камеры помочь создать дело: они входят в доверие, вызывают на откровенность и потом все доносят следователю. Горская нагла, спокойна, получала роскошные продуктовые передачи, которые разрешают только за услуги.

— Это же жена моего партнера по фильму «Пархоменко», артиста Чиркова, он племянник Молотова и той самой Жемчужиной, которая сидит рядом в камере.

— От мужа она и получала эти роскошные передачи — такие передачи разрешаются только стукачам, этим воспитанным вашим строем взрослым павликам морозовым! Горская в нашей камере была на отдыхе: моим иностранкам дело создавать не надо было, и она наслаждалась тортами и беконами в ожидании новой жертвы.

По каким законам живет в тюрьме дружба: мы не можем ни спасти друг друга, ни выручить, ни помочь, ни взойти на костер, ни закрыть собой амбразуру, но я знаю, что Бог послал мне дружбу: когда Нэди предлагает закурить свой «Беломор», когда называет фамилии тех людей, которые могут ее спасти, — живая или мертвая, в лагере, на свободе, я должна найти пути к этим людям: доктору Ардайку, город Кливленд, Америка; доктору Кенигу, Германия; Роберту Перри, Нью-Йорк, они должны знать, что Нэди здесь, что она жива, спасти ее.

Нэди лежит лицом к стене, устала, мы долго разговаривали. Резко села:

— Вам надо записаться к Соколову, вы еще похудели! Запишитесь утром у старшего.

— И Соколов вызовет меня?

— Да. Если он вас так долго не вызывает, значит, он следствие закончил, и теперь вы неизвестно сколько будете сидеть до окончания оформления дела, вас вызовут теперь только для подписания окончания дела.

— Так у всех?

— Да.

— Но ведь Соколов знает, что я голодаю, что мне нечего надеть...

— О!!!

Я замолчала.

Опять те же коридоры, та же комната, но все это теперь в дневном свете незнакомое и еще противнее. Соколов выглядит совсем замученным, но любопытство все-таки проскользнуло: какая же я в качестве арестантки.

Ждем с Нэди передачу, последняя возможность узнать о доме.

Обход, слушаю тюрьму, из дальних камер отчаянный душе-раздирающий крик:

— Где моя дочь! Убийцы! Негодяи! Где моя дочь! Не смейте меня трогать! Не смейте тро...

— Мамочка!!! Я здесь!!! Я жива!!! Ма-моч-ка!!! Ма-а-а...

От моего крика вздрогнула тюрьма. Очнулась от боли, во рту кляп, руки вывернуты назад, надо мной дыры ведьминых глаз, надзиратели. Нэди стоит прижавшись к стене, с белым лицом, с огромными, наполненными страданием глазами. Развязали, вынули кляп, ушли, камера захлопнулась. Ведьма не отходит от глазка, но с кровати не поднимает.

Последние силы улетели, я пустота, труп. Глаза в глаза, молча вымаливаю у Нэди прощение. Мы обе трупы.

На следующий день выводят из камеры без вещей. Нэди сказала, что такие события решает начальник тюрьмы без следователя — это внутритюремное и это карцер.

Вводят. Полковник. Не страшный и не противный, как всё здесь: маленький, пузатенький, немолодой, похож на паучка, в глазах-пуговицах проглядывает что-то человеческое, бегаёт, сердится, но как будто по принадлежности.

— Ну что, выкинула хулиганский номер! За то вас в карцере надо сгноить! Всю тюрьму переполошила! Даже здесь был слышен крик!

Я научилась молчать.

— Что молчите?!

Остановился. Ждет. Молчу.

— И у отца был такой же характер!

Я вздрогнула. Сел. Смотрит в упор.

— И с чего взяла: «Мама! Мама!» Мама, да не ваша, в тюрьме в таком состоянии у всех голоса похожи. Напрасно только силы растратила, здесь их надо беречь, так держалась, а теперь за сутки вон на кого стала похожа! Нет здесь вашей мамы.

Я смотрю ему в глаза — правду говорит или утешает, — если утешает, то ведь это тоже невероятно. От прикосновения к человеческому больнее, чем от пыток, он знал, запомнил Папу. От всего этого я опять на грани. Приказал увести. В карцер не посадил.

Я извиваюсь вьюном, чтобы успокоить Нэди, я выковыряла из мозга все смешные анекдоты, истории: к жене хозяина знаменитой парфюмерной фирмы Коти приходит любовник, в разгар любовных игр влетает бледная горничная — вернулся муж, и мадам прячет голого возлюбленного в свой женский шкаф. Мадам с мужем ужинают, болтают, и вдруг тихо открывается

дверца шкафа, и оттуда вываливается скрюченный, посиневший любовник, шепча: «Скорее, скорее дайте кусочек дерьма понюхать». Какая это радость, когда Нэди смеется! Рассказала про сына моей приятельницы, очаровательного мальчика лет десяти: они летом жили на даче, он бегал босиком, но ноги заставить его отмыть на ночь было мукой, настал день рождения его любимой девочки, он собирал ей цветы, мастерил подарки, пришел, когда все уже были в сборе, все преподнес и громко сказал: «Но ты еще посмотри, как я вымыл ноги». Вспомнила английскую классику: под Лондоном по шоссе мчится машина и на полном ходу врзается в дерево, никого вокруг, тишина, машина таинственно молчит, на обочину спокойно выходит фермер, подходит к машине, открывает дверцу шофера, трясет его за колено: «Простите, сэр, а когда нет деревьев, как вы останавливаетесь?»

Щелчок ключа.

Я уже не жду никаких вестей от вводимых и выводимых, но вводят женщину нашего круга, она в вечернем черном платье, в лакированных черных туфлях, интересная, молодая, большая, полная, эдакая русская купчиха — она знает о моем аресте, о семье не знает ничего. Ее забрали после премьеры во МХАТе, она подошла к своей машине, но дюжие руки подхватили ее с двух сторон и бросили в стоявшую за ее машиной машину. Она жена генерала авиации, работающего с маршалом Новиковым.

На первый допрос выплыла величаво, а утром ввели посеревшую, потерянную: у нее пожилой муж и появился молодой любовник, который, оказывается, фотографировал их интимные минуты, и фотографии эти у следователя на столе.

Вот и еще одна начинающаяся карьера Анатолия Колеватова, администратора театра Вахтангова. Вот еще один душистый цветок в букете...

Как рождается это месиво из человеческой дряни...

Весна, над «намордником» голубое небо, поднимаю глаза, замираю... на «наморднике» голубь! Живой! Настоящий! Не шевелимся, чтобы не спугнуть, разглядываем, подлетел второй... они воркуют, ласкаются, оказывается, они некрасивые, глазки злые, может быть, они здесь стали такими в пандан всей системе, все равно это жизнь, залетевшая в нашу могилу, а иногда в форточку влетает восторженный щебет воробушков, вспомнился мой друг на перилах в Переделкино... какие воробушки симпатичные, хитрые, жизнелюбы, серенькие крохи с черными бусинками глаз, всегда хочется взять их в руки... я, по-моему, тихо схожу с ума... подъем-отбой-подъем, и ничего не меняется, надежда тает... Ощущение от ареста, как будто ты идешь по

лесу счастливый, веселый и вдруг сзади тихо, неслышно чьи-то руки начинают тебя давить.

Боль... в левом плече, нестерпимая, еле удерживаюсь от сто-на, ни лежать, ни сидеть, и только в одном положении, когда руку держишь на весу, боль становится терпимой. Нэди говорит — невралгия. В камере холодно, сыро, я замерзаю в своем протухшем шерстяном платье.

Решилась рассказать Нэди о своем видении Иисуса на лестнице Лубянки, когда меня вели автоматчики.

Не знаю, верующая Нэди или нет, но знаю, что она не фанатичка, иначе дружба наша возникнуть не могла. Нэди оживилась, долго молчала, потом как-то про себя сказала, что я переживу весь этот кошмар.

Рассказала и про родильный дом: мне же не было еще двенадцати лет, рожать было очень страшно, Митя и Левушка привезли меня в родильный дом и уехали, я осталась совсем одна, положили меня в предродовую палату, роды еще не начинаются, всю ночь от волнения не спала, только под утро уснула и вижу, нет это был не сон, я же уже была с открытыми глазами, я лежу лицом к противоположной стене, стена выкрашена белой масляной краской, а в изголовье у меня большое окно и солнце, ослепительное солнце, и мороз разукрасил стекла узорами, и узоры эти играют, сияют, дрожат на стене, и в этом сиянии, так же как на лестнице Лубянки, из глубины медленно идет мне навстречу Иисус, в такой же белой рубахе, подпоясанной веревкой, только лицо спокойное, светлое, непостижимое, и одними губами говорит: «Иди, рожай, не бойся, все будет хорошо», — и меня тут же повезли в родильную палату.

Рассказала, как у меня во время следствия от волнений началось кровотечение, и, после того как я несколько часов просидела на стуле, у моих ног появилась струйка крови, Самарин подскочил и так шлепнул сапогом, что кровь попала мне на лицо: «Течешь, сука».

Передача разворотила душу, трогаю руками вещи, трусишки Зайца, Мамина кофточка, платок, подаренный Трилоки, где же что-нибудь от Бориса... арестован... опять, как в одиночке, падаю в бездну и опять трудно и долго прихожу в себя.

Дождались заказа в тюремном ларьке, на него можно взять из передачи только определенную сумму. Опять скандалим с Нэди: она требует не тратить деньги, неизвестно, что будет впереди, а я заказываю все, что можно заказывать на десять дней.

Набрасываемся на дары: батон, масло, сахар, «Беломор». Приказываю Нэди есть сколько хочется, не раскладывать, не рассчитывать.

Какие там грузинские пиры! Даже не Лукулловы! Вакханалия насыщения! Не выпускаю из рук кусок мыла!

Я могла потерять Нэди совсем, навсегда, без всяких пыток, расстрелов: она побелела, ногти посинели, глаза закатились, ее под руки потащили в санчасть.

Мечусь по камере — если ее заберут в больницу, я могу больше никогда с ней не увидеться.

Нэди ввели только вечером: отравление — оттого, что ее изуродованный желудок не в силах ничего переварить, у нее нет ни желудка, ни печени, есть только воля. Теперь и мне стало плохо, меня тоже вырвало. Печально закончилось наше пиршество. Господи, дай Нэди силы вытерпеть, не сломаться.

В камере жарко, душно, лето жаркое. Нэди перестала реагировать на проплывающих мимо нее учительниц, артисток, партийных дам, балерин, от одного этого можно свихнуться даже с нашей психикой. И люди беспринципные, продажные, скользкие... больно, когда вот так, вдруг, видишь свое общество как через лупу.

За эти месяцы в тюрьме, ничтожные по сравнению с Нэдиными пятью годами, ничего уже не хочу, знаю, что выхода отсюда нет, и только вдруг наперекор всему: никому я здесь не нужна... я вернусь домой... От Нэди я свои «состояния» прячу, она умная, тонкая, поэтому мне приходится тоже очень тонко произносить сентенции о том, что мир прекрасен, что все будет хорошо, вытаскивать из памяти смешное, оптимистичное...

Из всех ответов на вопрос «Что такое жизнь?», меня поразил ответ, кажется, грека: «Жизнь — это ожидание жизни», вот и ждем ее, сидя в камере на кроватях, и поскольку закрывать глаза нельзя, ждем с открытыми глазами, я научилась дремать с открытыми глазами... Нэди выкурила свой «Беломор» и лежит лицом к стене... Смогу ли я дойти до этих троих, которые могут спасти Нэди... а если я сама не выйду... еще об этих троих знает только Жанна, ее я тоже должна найти, когда буду в лагере, и рассказать ей все о Нэди...

О Жанне Нэди говорит как о порядочном человеке, друге. Жанна — полуфранцуженка, дочь старого большевика, еврея, который, будучи на работе в Париже в торгпредстве, позволил себе жениться на француженке с монастырским образованием, от этой взрывчатой смеси родились Жанна и младшая Жанетта. В тридцать седьмом году отца отозвали в Москву, и, как теперь стало известно, всех отозванных тут же арестовывали, уцелели только те, которые не вернулись, но по какой-то странной случайности отца не арестовали, а только выслали за 100 километров от Москвы, и оказался папа вместе с тремя «особями женского полу», ни слова не говорящими по-русски, в городе Угли-

че. Жанна уже сдала экзамены в Сорбонну, но папа решил, что МГУ лучше, чем Сорбонна, и увез девочек с собой, а их из-за незнания русского языка посадили опять за парту. Жанне все-таки удалось поступить на медфак, который она окончила в войну, и, став в институте несмотря ни на что пламенной комсомолкой, ушла добровольцем на фронт, по возвращении в Москву Жанну взял к себе в клинику знаменитый кардиолог, хирург, профессор Бакулев, но теперь Жанна должна была кормить семью: папа и мама не добились возвращения из ссылки, стали стариками, Жанетта осталась без образования, и они обе работали во французском посольстве переводчицами. Арест. Шпионаж.

Шелчок ключа.

Старший ткнул в меня пальцем — «на допрос».

Лихорадочно надеваю полученный в передаче «выходной туалет»: моя любимая белая кофточка, сшитая в Вене, и черная юбка, волосы подвязала тряпчочкой. Нэди взволнованно зашептала:

— Держите язык за зубами, что бы ни было.

Коридоры, но не те — мои, а к Абакумову, куда-то запрятанная надежда зазвенела — домой.

Ковры, люстры, тот же знакомый шкаф, за ним дверь, не глядя вижу на столе пирожные, фрукты, еще что-то, Абакумов, как всегда, холеный, загоревший, видимо, из отпуска, сажает на то же место, внимательно, нагло рассматривает.

— Гм... вам тюрьма к лицу, вы похорошели.

Молчу.

— Скажите, а Горбатов действительно вас так любит, я читал его стихи в вашем деле.

— Вам об этом надо спросить у Горбатова.

— Ну зачем же беспокоить человека!

...Борис дома, не арестован...

— А этот генерал Джурич, он тоже был в вас влюблен?

— Это мой поклонник по искусству.

— А кто еще из югославских генералов у вас бывал?

...в деле обо всем этом написано, зачем он спрашивает...

— Почти все учившиеся у нас в академии.

...это опять не допрос... болтовня...

— А о чем вы разговаривали с маршалом во время танца?

— Просто светская беседа.

— Почему вы такая не женственная, не мягкая, будь у вас другой характер, и судьба ваша сложилась бы по-другому...

— Возможно, но я такая, какая есть.

— Ну это же неверно. Вы можете быть и другой...

...в его тоне появилось то, противоположное, что появляется у мужчин... сдаться... решиться... спастись...

— Другой я быть не могу.

— Я хочу побаловать вас лакомствами...

— Я отвыкла от них.

...он чего-то боится... он нерешителен...

Приказал увести.

В камеру приплелась без сил. Нэди впилась в меня, губами спросила: «Абакумов?»... Когда после отбоя все заснули, услышала шепот Нэди:

— Может быть, все-таки подумаем? Может быть, спастись?

— Не могу. Смогу, когда будет петля на шее.

Шелчок ключа.

Вводят маленькую, сгорбленную старуху, она в испуге оставилась: мы не успели снять с глаз тряпки, которыми завязываем на ночь глаза от круглосуточного света. Здравоемся, ответа нет.

— Я академик Лина Соломоновна Штерн.

Постель постелить себе не может, пришлось встать помочь ей.

Утром не поздоровалась, постель не застелила, ни о чем не спрашивает, вообще просто не разговаривает с нами. Незаметно разглядываем ее, я впервые вижу живую женщину академика... очень некрасивая, не представляю, чтобы какой-нибудь мужчина мог лечь с ней в постель бескорыстно, да и корыстно тоже, спокойна, акцент, как у Жемчужиной, увели на допрос.

Привели с допроса, так же спокойна, даже нагла, на нас не реагирует, как будто нас в камере нет, постель так и не убрала. По распоряжению свыше надзиратели обходятся с ней мягко, ей разрешено спать и лежать, когда она хочет, допросы только днем, внеочередной, неограниченный ларек. Набрала все, что хотелось, разбросала продукты на столе, все время что-нибудь жует, нам даже из вежливости не предлагает, сидим, глотаем слюну — глаза не закроешь, к стенке лицом не встанешь. Бедная наша купчиха, ей еще не разрешили ларек, и она голодает, вечернее платье повисло на ней — делимся с ней чем возможно. В камере стало тяжко, Штерн вызывает ненависть.

В довершение открывается камера, а Штерн вносят продуктовую передачу! Мы замерли, а она дрожжащими руками жадно роется в шоколаде, икре, пирожных... Я начала свое великое хождение по камере, Нэди, как всегда, делает вид, что не замечает поведения Штерн.

И вдруг та собирает ларьковые продукты и выбрасывает в парашу... Я бросилась между Нэди и Штерн: Нэди с гневным, гордым лицом страшно, медленно, тихо заговорила:

— Вы животное, античеловек, здесь в камере с вами люди, и мы заставим вас вести себя как человек!

Штерн нагло, не мигая, смотрит Нэди в лицо.

— Я одна здесь человек! Продукты мои! Что хочу, то с ними и делаю!

Мы могли ее убить. Камера мгновенно открылась, и Штерн увели. Такие переживания уносят последние силы.

Здесь по глазам, по повадкам узнают стукачей, предателей, от сердца к сердцу тайны и события тюрьмы, если в тюрьме истерика, оборванная кляпом, вся сжимаешься, как будто это с тобой, с твоим близким, здесь ничего нельзя скрыть, спрятать, невозможно обмануть, ты весь как на ладони, здесь сразу глаз в глаз виден человек — гнилое, гадкое, подлое. Головой понимаешь, что тюрьма поднимает темные инстинкты, что надо быть снисходительной, иначе горе становится невыносимым, да и сама можешь превратиться черт знает в кого! Но сердцем!

В довершение ко всему, как назло, у Штерн от обжорства начался понос, в камере стало невыносимо. Иногда, в виде исключения, выпускают вне оправки в туалет, и Штерн выпускают, но надо постучать в дверь, попроситься у надзирателя, надзиратель идет спрашивать у старшего, Штерн не выдерживает, а потом ни постирать трико, ни помыться не может, она грязнуха, ничего делать не умеет.

Не могу больше смотреть на Штерн, мне до боли, до крика жалко ее, ну плохой человек, ну плохой, но она такая старенькая, жалкая, беспомощная, и ее начали добивать: допросы стали ночными, ее приводят под руки, днем спать не дают, продукты выбросили под предлогом порчи, даже шоколад, все пошло по системе, в туалет выпускать перестали, а она такая маленькая и слабенькая, что не может удержаться, падает в парашу... И я решилась: держу ее над парашей, застирываю ее трико, пару раз вырвало, но на душе стало легче.

Наконец она со мной заговорила.

— Следователь кричит на меня, что я жидовка и старая блядь, что это такое?

Пытаюсь объяснить ей, она перебивает:

— Но ведь я же невинная девушка!

И смешно и жутко — она может на допросах сказать все что угодно.

Привели с допроса.

— Я подтвердила фразу Жемчужиной, у нас была очная ставка.

— Какую?

— А когда мы сидели в комнате, из которой выходил почетный караул к гробу Михоэлса, вошла Жемчужина и, снимая повязку, сказала: «Они еще нам заплатят за это убийство».

Я застонала:

— Что же вы делаете, вы же губите людей, вы же помогаете органам создавать дело.

— А если я не буду говорить, то меня посадят.

— Так вы же уже сидите! Не тяните за собой других! Отсюда, если вы арестованы, выхода нет! Вы должны это понять...

С тупостью, с трусостью, не слушая меня, она твердит:

— Я никогда никому из них ничего не отвечала! Не отвечала! И Жемчужиной тоже! Я молчала! Я ни в чем не виновата!

Пытаюсь убедить ее говорить на следствии, что она ничего не помнит, что раньше говорила от страха.

Растерянная лягушка прыгает задом, но ведь Штерн трусливо, гадко защищается.

После допроса она сказала мне, что теперь у нее была очная ставка с артистом Зускиным, которого привезли из сумасшедшего дома, он молот всякую ерунду, а теперь ее заставляют подписывать этот протокол. Очная ставка с поэтом Перецем Маркишем...

Та еврейка из-под Куйбышева... больной старик министр с дочерью... секретарша Жемчужиной... сама Жемчужина... Штерн, Перец Маркиш... Зускин... прием у посла Израиля Голды Меир перед моим арестом, на котором открыто говорили, что Михоэлс не попал под машину, а специально убит этой машиной... начавшаяся кампания борьбы с космополитизмом, а по-русски значит — очередной антисемитский поход. У Бориса с Костей был об этом разговор. Все арестованные — члены Еврейского антифашистского комитета, созданного Михоэлсом во время войны.

Рассказываю Нэди о своей догадке, она понять этого не может, считает, что такой процесс — это международный скандал, но впервые видит, чтобы подельщики — Жемчужина и Штерн — сидели в соседних камерах, значит, тюрьма забита до отказа. И как будто нас подслушали — Штерн забирают.

У новенькой молча по лицу льются слезы, и — глаза, какие у всех у нас глаза, никакой великий, гениальный артист, художник не сможет их изобразить... смятение, ужас, беспомощность, недоумение, отчаяние, растерянность, непонимание...

Это сестра генерала Крюкова, друга и военного соратника маршала Жукова, мужа певицы Лидии Андреевны Руслановой...

Безумный мир! Поверить невозможно! К генералу Крюкову ворвались, сорвали с фронтового генерала погоню! Лидию Андреевну тоже арестовали. Маршал Жуков направлен в Одесский военный округ простым командующим! Это полководец, который спас от фашизма Россию! Мир! Это народный герой! Это не Сталин, играющий мудреца с неумным лицом, это не Жемчужины-Молотовы из цековской мафии со своими законами джунглей!

Крюкову арестовали в больнице, у нее рак лимфатических

желез, нужны были две операции, сделали первую и положили на вторую, ворвались эти так называемые полковники, мразь человеческая, и схватили ее чуть ли не с операционного стола!

— Убийцы! Убийцы!

Нэди зажала мне рот, мгновенно повернула Крюкову спиной к двери, а мы с Нэди к двери лицом, улыбаемся, как будто Крюкова рассказывает, что-то смешное, а Крюкова, захлебываясь слезами, рассказывает, как ее забирали, что ее старший сын двадцати лет проходит службу у маршала Жукова в Одессе и что и его теперь заберут. Крюкова — симпатичная, открытая женщина, с добрым лицом, совсем простая, растит детей, зачем ее нужно было срывать со смертного одра?! Как сдержаться, как не броситься на дверь, не кричать, не биться...

На Крюкову смотреть — сердце разывается, она умоляет начальника санчасти сделать ей вторую операцию, ей надо жить для детей. Операций они в следственной тюрьме не делают, но делают уколы, которыми даже безнадежных раковых больных могут продержать до конца следствия, что это — испытание лекарств на арестованных? Я видела начальника санчасти, нас выводили на прогулку, а он не успел спрятаться за дверь: полковник, красавец, похож на Тайрона Пауэра, с бесовским огнем в глазах, лицо садиста без конца и края, ничего человеческого.

Ночью проснулись от тихого голоса Крюковой:

— Положите меня на пол.

Я не знала, что простые люди так умирают.

Ворвались с носилками и ее унесли.

День для самоубийства замечательный, сутки моросит дождь, темно, как ночью, наши стены стали совсем могильными...

Нигде, кроме советских тюрем, не ждут так праздников 1 мая и 7 ноября — в эти дни вместо перловой каши — винегрет... Я держусь из-за Нэди... Нэди — из-за меня. Наверное, дружба выше любви... Мне Бог дарует и любовь, и дружбу с отчаянным концом: у меня нет власти удержать любовь и дружбу. Они уплывают из моих рук, как видение... дивное видение...

Когда меня заберут из камеры... по прогнозам Нэди скоро, должны вызвать для подписания дела. Где взять душевные силы, чтобы оставить Нэди в этой живой могиле, без слез, без отчаяния, без стона, не убить ее и не умереть самой... Как-то она попросила меня рассказать про солнце, про луну, про землю, про ветер, развевающий волосы! В обморочном состоянии, смеясь, я начала рассказывать, мне легче было бы броситься на амбразуру.

Шелчок ключа.

Вводят пожилую женщину, удивительную: Ольга Георгиевна Гребнер, жена сценариста Гребнера. Ее привезли из лагеря на

Лубянку за вторым сроком: спокойная, сильная духом, хотя и совсем больная. Она еще в лагере слышала, что арестовали Русланову, Зою Федорову, меня.

Ольга Георгиевна по-матерински, вразумительно рассказала мне все о лагере: что меня там ждет, чего надо избегать, чего бояться, как вести себя...

Щелчок ключа.

Соколова, после моей просьбы о передаче, я не видела. На столе мое дело: акты об изъятии при обыске; подписанные мной протоколы и вдруг справка: Папа обвиняется по статье 58.10... обвиняется, значит, приговора не было, значит, Папу или замучили, или он покончил с собой! Душно. Подскочил Соколов, вырвал из папки справку.

— Кто это сдуру ее сюда подшил!

Теперь это конец и для меня.

Нэди протянула красивые мужские носки:

— Мой подарок на дорогу, может, круто придется...

Эти носки на нее надел ее любимый, у Нэди замерзли ноги, когда они гуляли по Праге, он снял с себя эти носки.

Щелчок ключа.

Камера открылась в последний раз.

— На выход с вещами.

— Нэди... алмазы в небе... ветер сбивает... с ног... потерпите... я ведь остаюсь с вами... здесь... потерпите... немножко...

Из камеры вышла сама, за дверью подхватил старший.

Во дворе фургон «Хлеб» набит до отказа, в кабине, в которой меня везли в Лефортово одну, нас стоит пять человек, меня что-то спрашивают, я понимаю только, что, как рассказала Гребнер, это уже на чтение приговора и в этап.

Фургон остановился, крики надзирателей, открыли фургон.

— Выходи по одному.

Шагнула и остановилась: да, конечно, это Бутырская тюрьма, моя Лесная улица, на которой я выросла, бегала в школу и из школы мимо этой тюрьмы со своими мальчишками и однажды, узнав, что часовня в конце тюремной ограды вовсе не часовня, а мертвецкая, постановили посмотреть, что это на самом деле! Окно оказалось высоко, я на правах вождя полезла первой, зацепиться совсем было не за что, и я полезла по плечам и спинам моих мальчиков. Заглянула и плашмя упала на землю: это действительно была маленькая часовня, в середине стояла деревянная лавка, и на ней лицом ко мне лежал голый мужчина с открытыми глазами и с разрезанным животом. Пришлось все рассказать Папе, потому что у меня случилось нервное расстройство и я не могла войти не только в темноту, но даже днем в свой подъезд, и меня всегда встречали или Папа, или Баби, или Мама, и я долго пила отвратительную микстуру... а еще зимой: я маленькая, совсем крохотуля, закутанная и перевязанная крест-накрест теплым платком, держу Маму за руку, а Мама вот у этого окошка, да, именно у этого окошка передает узелок... значит, Папа... значит, Папа здесь тоже сидел... тогда... давно...

Вводят в совсем маленькую камеру, где-то наверху тюрьмы, в ней молодая женщина с лицом иудейской красавицы. Узнала меня и в слезах бросилась на шею: Даша Фефер, сестра еврейского поэта Фефера. Я тогда на Лубянке правильно догадалась, что это гнусное дело о Еврейском антифашистском комитете.

Щелчок ключа.

Я опять в фургоне. Одна. Опять Лубянка.

...«Домой»! Все выяснилось!

Вводят на наш этаж. Подводят к нашему поперечному коридору. Направо наша четырнадцатая камера... сердце бешено колотится, до Нэди несколько шагов... поворачивают налево.

В камере четыре женщины... узнали меня, но демонстративно не общаются... наверное, или партийные дамы, или партийные жены.

Слушаю оправку... тринадцатая камера... шаги одной женщины... Жемчужина... четырнадцатая... шаги Нэди! Кричать! Биться в дверь! Не смею. Не имею права. Нэди ничего не поймет, будет мучиться.

Когда троих увели на допрос, четвертая, самая симпатичная, сказала, что они жены партийного руководства Ленинграда, их посадили вслед за мужьями и привезли в Москву.

Четыре дня ожидания. Ведут на допрос. Абакумовские коридоры! Все выяснилось! Все выяснилось!

Абакумов свеж, выбрит, благоухает, но не за столом, как в те разы, а встречает меня почти у двери, и стул мой стоит как-то странно, непривычно: этот длинный стол для заседаний кончается, и мой стул поставлен у одного угла стола, а у другого стоит Абакумов, и за ним в стене что-то похожее на задрапированный камин.

— Расскажите о приеме у маршала Тито с самого начала.

Подходит ближе, смотрит не отрываясь... я схожу с ума: мне чудится, что он меня боится... вдруг приказывает увести...

Шелчок ключа.

— На выход с вещами.

Я опять в Бутырской тюрьме.

Огромная камера или, может быть, я отвыкла за год от пространства. Двухэтажные нары забиты людьми — человек сто. Ко мне бросились женщины за утешением, за надеждой, а я не могу найти для них слов, я Маугли, я тропический дикарь, я отвыкла от людей, мне странно, что столько людей может быть одновременно. Девочки, старухи, ровесницы.

Девочка с огромными, наполненными ужасом глазами, дочь секретаря ЦК комсомола Косарева, расстрелянного в тридцать седьмом году; еще две сестрички, дочери какого-то министра, тоже расстрелянного в тридцать седьмом году: младшую взяли прямо из десятого класса, у старшей грудной ребенок, и ее уводят из камеры кормить ребенка грудью; молодая женщина, рыдая, рассказывает, что она смолянка, муж — офицер, погиб в войну, она была портнихой в военном ателье, шила мундиры, не смогла бежать с тремя детьми от немцев, и вся ее вина в том, что она осталась работать в этом же ателье и шила мундиры для немецких офицеров, ее арестовали, привезли в Москву, обвиняют в шпионаже, она выдержала все следствие, доказывая, что не знает немец-

кого языка, никаких вознаграждений от клиентов не получала, никаких благ не имела, работала, чтобы спасти детей от голода, но в камеру посадили женщину приветливую, проявившую к ней сочувствие. и она ей рассказала, что выучила немецкий язык и выжила только потому, что получала вознаграждение за отлично сшитые мундиры. Женщина оказалась все той же «наседкой», балериной Ниной Горской, женой артиста Чиркова, и, когда здесь, в Бутырках, всех вели по коридору, смолянка увидела ее, бросилась к ней и начала ее бить, ее оторвали, посадили в карцер, в котором она отсидела трое суток. Вот тебе и селяви! Еще один цветок в букете.

Гребнер рассказала мне, что по моей статье полагается от пяти до десяти лет. Не могу представить! Пять лет! Не могу.

Через двое суток нас, человек десять, выводят из камеры без вещей, развели по боксам, слышно, как по одной куда-то уводят и оттуда, откуда-то, приглушенно долетают то крики, то рыдания... Бррр как страшно!

Увели из соседнего бокса, моя очередь... конечно, это на чтение приговора.

Вводят в маленькую комнату, и я чуть не рассмеялась: передо мной смешной уродец, таких не бывает даже в плохом театре, я никогда таких не видела, совершенно не страшный, огромный, толстый, и как будто на нем маска: глаза как бусинки, большущий нос, большущий рот, большущие щеки, губы как сосиски, и голос, ну невозможно не расхохотаться — высокий дискант. Может быть, это игра какая-нибудь... а он длинно: «Именем советс... социал... 10 лет исправительно-трудовых лагерей», — присохла к полу.

Камера рыдает, тихо плачет, причитает.

Сегодня Рождество Христово. Нэди — верующая.

31 декабря. Новый год! Просят меня пойти попросить надзирателя как-нибудь дать знать, когда часы начнут отбивать двенадцать.

Жаль, что надзирательница — с женщинами труднее. Прошу ее как бы нечаянно ударить ключом по двери; молча меня выслушивает и молча захолопывает перед лицом дверь.

Мысли, чувства раздирают людей, лежащих молча с открытыми глазами на нарах.

И я решаюсь: вымыли пол, налили в железные кружки воду, надели все лучшее, что есть, легли и ждем. тишина...

Внутри начали отбивать часы... один... два... и тут же удар ключа о дверь... подлый, профессиональный, как бы скользнувший по двери нечаянно, и я шепотом поздравила:

— Этот год будет для нас спасением! Мы все будем дома! Мужества вам! Силы! Спокойствия!

Только бы не разрыдаться самой, я ведь взяла со всех клятву: ни единой слезы не проронить, чтобы праздник не стал великим плачем и нас всех не передушили бы.

— С Новым годом!

Подняли кружки, в полутьме вижу, как в кружки молча капаят слезы.

С Новым годом, Нэди! С новым годом, Мамуля! Зайчишка! Наташенька! Борис! Где вы? Как вы? Что сейчас делаете? Я ведь так близко от вас, к нашему дому можно дойти пешком! Братец мой дорогой! Пусть новый год у тебя будет лучше этого! Не мучайся, не страдай обо мне! Папа! Баби! Может быть, теперь-то наконец я встречу с вами!

Шепотом читаю стихи, шепотом пою, надзирательницу завожили Лермонтов, Вертинский, даже не стучит ключом, когда я читаю «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут н-а-ш-и имена», слушает... и потихоньку, как в детстве, всхлипывая, все впали в сон...

— Все на выход с вещами.

Этап. Выводят во двор. Мороз. Темень. Я в трусишках и нейлоновых чулках, почему-то обещанной Соколовым передачи с теплыми вещами я не получила.

Набили в «воронки». Двинулись, «воронок» остановился у светофора, веселая, хмельная компания постучала в нашу стенку и, смеясь, хором прокричала: «С Новым годом!»

Прощай, Москва.

Рассвета еще нет, ведут по каким-то рельсам, подводят к составу и набивают нами вагоны.

Купе зарешечены, проход между полками забит шитом. Нас боком по шесть человек укладывают внизу и столько же на верхние полки, переворачиваемся по команде с одного бока на другой, когда тело занемет... едем... едем... два раза было светло, значит, было два дня. Несколько раз останавливались. и тогда, как в «воронке» у светофора, врывается жизнь, человеческие голоса, смех... нас разделяет только стенка вагона...

За нами наблюдают совсем не такие, как надзиратели, эти почти мальчики и явно военные, наблюдают за нами: у них, наверное, в конце вагона купе, в котором они спят, курят — оттуда тянет дымом, едят. Запахи еды, к счастью, не доходят, нам выдали по половине ржавой, высохшей селедки и по буханке хлеба, которые мы тут же съели и истекаем голодной слюной. А что же они едят?.. Неужели у них, как в войну, налажены полевые кухни? Они сменяются видимо, через три часа, ходят по коридору и разглядывают нас с любопытством зверенышей.

Эти меня не узнают, они, наверное, вообще еще никогда не

видели «кина» — это не рабочие парни, они деревенские, они должны быть очень довольны этой своей жизнью — в деревне у них жизнь скотская, без света, без дорог, отрезаны даже от соседних деревень, полуголодные, в грязи и только что не в холоде, потому что спят в избе вместе со скотиной, и, уж конечно, без «кина», иногда они забываются и нарушают указ: отвечают на вопросы и даже разговаривают, от них мы узнали, что нас везут в Свердловскую пересылку, а куда дальше, или молчат, или сами не знают.

Неужели Колыма?!

Как с ними заговорить? Как бросить прямо из окна вагона хотя бы записку, что я жива? Тогда же от Левушки пришел этот прямоугольник... все время бьется в мозгу, как будто я еще вчера стояла у лубянского окошек в надежде узнать что-нибудь о Папе, о Баби, но мне же было двадцать три года, а Зайцу шестнадцать, и Мама ее не пустит, сама Мама ничего не может. Борис?.. Борис... все-таки не пойдет.

— На выход с вещами.

Спрыгнула с подножки в снег и глубоко вдохнула морозный воздух, и дышу, дышу, оказывается, без воздуха еще хуже, чем без хлеба, но он такой морозный, что носом вдохнуть невозможно, глотаю его ртом, тьма кромешная, прожектора, собаки рядом, воочию страшные волкодавы, натасканные на человеческое мясо, рычат, рвутся, автоматчики их еле удерживают, нас тысячи, огромный состав выплюнул нас на снег, крики, брань, нас соединяют по три человека и гонят между рельсами по шпалам, двинулась огромная, тяжело дышашая лента...

— Ш-а-г вле-во, ш-а-г впра-во, стре-ля-ем!

Когда я смотрю талантливые, замечательные фильмы, я задыхаюсь от зависти, оттого, что я так не смогу, но когда я смотрю плохие фильмы, я всегда вижу, как бы я их сняла — снять этот ужас в ночи может только гений, но если даже снять просто фильм — в зрительном зале начнется невероятное, а если талантливо, то в экран будут стрелять, леденеть от ужаса, и только один художник сможет передать все это: безумец, английский гений Роберт Датт, только он своим большим мозгом мог бы создать картину этой сатанинской пляски.

Я, наверное, отморозила ноги и руки, я их не чувствую, они как культи. Сколько идем, не знаю. Как хорошо, что Нэди сидит в камере, иностранке всего этого не перенести, и как смешна ее просьба рассказать Жанне, что она, Нэди, жива, здорова! Где же найти в этих тысячах, а может, и миллионах, этот живой маленький комочек — Жанну?!

Тюрьма огромная, старая, гнилая, грязная, холодная, похожа на Тауэр.

Какие-то добрые люди отогрели руки и ноги. Камера, как в Бутырках, огромная, нары тоже двухэтажные, набиты до отказа, и я оказалась на каменном полу у параши.

И вот наконец вижу блатных — всех возрастов, всех расцветок, многих из них посадили недавно, и они видели мои фильмы, они не могут поверить, что это я, и что-то в них от удивления происходит: шепчутся, смотрят на меня, как в зверинце на невиданное, невероятное тропическое животное, копошатся, что-то перекладывают и наконец приглашают на нары. Брезгливо. В поезде со своими интеллигентками, дышащими мне в затылок, даже в голову не приходила брезгливость, а у многих из этих и сифилис, и туберкулез, и дышать-то они будут в лицо! Обидеть их не могу, и сама взгромоздиться без рук, без ног на верхние нары тоже не могу — помогли. Командует всем довольно интересная, с умным лицом, матерая женщина лет тридцати пяти, и она сразу подтащила меня к подоконнику: стены, оказывается, толщенные и широкий подоконник на уровне наших верхних нар, исписанный фамилиями. Она показывает чем-то вдавленную фамилию: «Лидия Русланова».

— Это правда?

— Да.

— Сейчас мы напишем и вашу.

Какое странное постыдное чувство: оттого, что здесь была Лидия Андреевна, на душе легче, я не одинока в этом ужасе.

Ольга Георгиевна Гребнер рассказывала, что блатные любят искусство, и, если им что-нибудь читать или рассказывать, можно обрести с ними почти нормальные человеческие отношения, и неужели они настолько человечны, что, видя мое состояние, никто из них даже не заикнулся об этом. Блатные здесь как дома и уже выяснили, что следующая пересылка в Петропавловске-Казанском, а потом какой-то Джезказган, о котором они ничего не знают, кроме того, что там пустыня.

Мне что-то совсем нехорошо. То ли заснула, то ли впала в беспамятство, мои соседи вызвали врача, видимо, очень высокая температура.

Я тяжело заболела, в больницу почему-то не забирают, и только когда я, как и на Лубянке, отказалась пить лекарства, медсестра мне шепнула, чтобы я обязательно пила, потому что у меня воспаление легких и без лекарств я погибну...

Какая дивная страна Австралия... у них шьют такие теплые... такие красивые шубки... из цигейки... лежу в этой шубке, не раздеваясь... она ярко-голубая... очень красивая... даже в Москве на нее засматривались... мои интеллигентки сказали мне, что блатные позвали меня наверх, чтобы снять с меня эту шубку... а эти мои новые знакомые волнуются за меня, они знают, что в пересыльных тюрьмах не оставляют тяжелобольных, чтобы не было покойников, поэтому меня и не кладут в больницу... скорей бы этап... здесь не выживу...

В вагон внесли на носилках и прислонили к стенке. Как замечательно, что я заболела: многие обриты наголо и выбриты интимные места. Я этого избежала из-за высокой температуры и потому, что сама не смогла бы дойти до этого лобного места. Даже от рассказа стало плохо: раздевают догола и бреют мужчины, это еще отвратительнее, чем обыск на Лубянке, это хуже воспаления легких, этого позора, унижения я не выдержала бы, билась, кусалась, дралась, меня связали бы и бросили в ледяной карцер...

И встреча: начали выводить на этап, меня несут на носилках, женщин ведут цепочкой, а рядом также ведут мужчин, между нами решетка. Изумленный мужской вскрик:

— Танечка?!!

Открываю глаза... передо мной прекрасные, такие знакомые глаза из детства, школьный друг, мальчишка, с которым вместе выросли, мой первый поцелуй, играли в фантики, потом пути разошлись... и вот сошлись! Он схватился за решетку, его отрывают... он внук профессора Кисель-Загорянского. Не знаю, как выглядим мы, но мужчины такие страшные, такие несчастные.

Очнулась в Петропавловской пересылке, тормозат, всовывают в руки горячую картошку, я сразу пришла в себя от этого забытого запаха! Никогда ничего более вкусного не едала. Оказывается, всем предложили выйти на работу, а в награду — горячая картошка, и мои блатные друзья принесли мне. Больше я их не увижу, их забрали на этап — низкий поклон вам до земли — не за картошку, не за фамилию, выдвленную на подоконнике Свердловской пересылки, не за то, что не попросили меня петь или рассказать, — за сердце.

Лежу на спине: надо мной звезды огромные, яркие, вспыхивающие, и если поднять руку, можно их схватить, лежу на снегу, кругом белым-бело, ни души, трещит мороз... рядом со мной в постели кто-то лежит, теплое дыхание у меня на лице...

— Ну, слава Богу, очнулась! Я ваш доктор, я тоже заключенный, я Георгий Маркович Кауфман. Не отворачивайте от меня лицо!

Этот Кауфман действительно лежит рядом со мной, смотрит мне в глаза и дышит мне в лицо, а я смотрю ему в глаза, и слезы льются ручьями, вот просто так льются и льются.

— Не плачьте, слезы замерзнут, и не говорите ни слова, вообще не открывайте рот, мы по очереди вас отогреваем и дышим вам в лицо, чтобы вы не вдыхали морозный воздух. Теперь, когда вы пришли в себя, вы должны нам помочь бороться за вашу жизнь: у вас гнойный плеврит, гной откачать нечем, лекарств почти нет, стекол в больнице тоже, температура почти такая же, как на улице, и первый мой приказ: ни в коем случае ни разу, понимаете, ни разу, не вдохнуть морозный воздух, тем более разговаривать; не шевелиться и не раскрыться, как бы вам ни было плохо, все тряпье, которое на вас, люди принесли из бараков, я должен идти, здесь есть умирающие.

Доктор осторожно вылез из-под тряпья.

— Если начнется отек легких, спасти вас будет невозможно.

Этот Иисус Христос маленького роста, сухонький старичок, с светом белой головой, с чистыми, ясными, детскими глазами, в которые без слез смотреть невозможно. Неужели следовательно посмел! Кричать на него, оскорблять, мучить, издеваться! А я поняла: либо смерть, либо сделать все, чтобы выжить.

— Поздравляю вас! Сегодня Татьянин день, и если так дальше пойдет ваше выздоровление, вы спасены! Деритесь за жизнь! Вы уже можете повернуть голову, посмотрите на окно, вас пришли поздравить ваши поклонницы, они принесли кипяток, оттаяли дырочку на стекле и хотят вас поздравить.

Я повернула голову и увидела в этой дырочке чей-то большой

глаз, потом другой, потом улыбающийся рот, а потом крошечного чертика с дергающимися руками и ногами.

Я начала выздоравливать и увидела большую палату, много кроватей, на них мечущихся, стонущих людей и мечущегося между ними Георгия Марковича. Рядом с моей кроватью кровать жены секретаря ЦК партии Польши Гомулки.

Меня перенесли в крошечную каморку, раздели, и медсестра, которую почему-то называют Пупулей, оберла меня денатуратом, сняла с меня месячную коросту, большего блаженства не бывает, и я заснула под завывание вьюги.

Проснувшись я оттого, что на меня кто-то смотрит: надо мной женское лицо в мохнатой шапке...

— Вы Жанна?

— Да.

— Я от Нэди.

Она села, а я от невероятности произошедшего потеряла дар речи! Тысячи, миллионы заключенных, сотни, тысячи лагерей, и сойтись в этой каморке!!!

Оказывается, наш этап пришел ночью, нас со станции привезли на грузовике и всех ввели в зону, а меня бросили на снег.

Мне еще разговаривать нельзя и я, затаив дыхание, слушаю Жанну: здесь край света, нет ничего, никого, кроме нас и нашей охраны, пустыня, медные рудники. Это «спецлаг», ходить можно только с номерами на шапке, на спине и на колене, и у меня уже такой номер есть СШ768: «С» — это спецлаг, а вторая буква, как полагает Жанна, исчисление нас в тысячах — кончается тысяча, и появляется снова первая буква алфавита. У нас нет забора, мы огорожены только колючей проволокой, поскольку прятать нас не от кого, говорят, что это бывший лагерь японских военнопленных. В лагере только политические, вот потому мои свердловские блатные ничего о нем и не знали. Рядом мужская зона. Наш лагерь — отделение, а основной лагерь, эти самые медные рудники, километров за двадцать, там находится и высокое начальство, которое иногда у нас появляется. Наша зона работает на строительстве канала; на кирпичном заводе, на строительстве железнодорожной станции и поселка при станции. Климат резко континентальный, сейчас зимой такие вьюги, что от барака к туалету протягивают канат, чтобы не унесло, а летом можно поджариться. Бараки саманные, это кирпичи из соломы и глины, нары двухэтажные, и самое тяжелое — опять как в тюрьме: бараки после отбоя закрываются на замок. Я не выдержала и одними губами спросила: «А баня?!» Баня, к счастью, есть. Голод теперь мне кажется не таким страшным, страшнее без воздуха и без воды.

Жанна живет здесь же при больнице, она врач, их пять жен-

шин врачей, они живут в большой комнате, а я лежу в каморке Георгия Марковича: единственный мужчина, находящийся в женской зоне, потому что он совсем старенький и потому что он первоклассный врач и кто-то пожалел женщин и взял его сюда из мужской зоны. Он главный врач, он возвращает людей из смерти. Он сразу поставил диагноз и добился разрешения у начальства перенести меня в его каморку, поскольку это самое начальство от него, от доктора Кауфмана, зависит — он спасает и их, и их детей тоже.

Я заболела тогда в Свердловске, выскочив из потной духоты вагона и глотая морозный воздух, а потом обморозила ноги и руки. Георгий Маркович сказал, что мне теперь особенно надо опасаться за легкие — мы все с момента ареста обессилены, все к нам липнет, и я могу заболеть туберкулезом, в этом климате люди мрут от туберкулеза как мухи.

И опять сами полились слезы, потому что слов найти невозможно, потому что Георгий Маркович для меня и Папа, и Мама, и Баби, и Левушка.

Я уже потихоньку хожу, лежу в своей палате, увидела свет в каморке Георгия Марковича, решила, что он забыл закрыть дверь, подошла, а он сладко спит прямо так, в халате: у него не хватило сил ни погасить свет, ни закрыть дверь, ни раздеться, он от усталости упал. Скольких людей он спас! Как нелепо, по какой-то неизбежной доверчивости он попал сюда! У него в Шанхае была своя клиника, китайцы при встрече с ним кланялись до земли, он был почитаем, уважаем, попав в Китай из Франции уже взрослым человеком, изучил язык, и несмотря на то что вывезен из России был ребенком, и по-русски говорит прекрасно, его дедушка и отец до революции были земскими врачами, и вот ему, «космополиту», в 82 года захотелось умереть в России, среди березок, бросил всё, приехал: «Шпионаж. Двадцать пять лет».

Сегодня Георгий Маркович разрешил Пупуле вывести меня на солнце и посадить у стены больницы, но ни гугу: рот еще раскрыть нельзя и дышать только носом.

А Пупуля! Это Жанна ее так прозвала — это же тоже творение Георгия Марковича: отличная и медицинская, и хирургическая сестра, тихая, исполнительная, чистенькая, как в лучших клиниках мира, даже чем-то неизвестным умудряется подкрахмаливать свою марлеву юбку, ей девятнадцать лет, крестьянка из Западной Украины, сидит уже три года, так называемая бандеровка, как я теперь поняла, это не бандиты, как у нас о них кричали, а партизанское движение в Западной Украине против нашей оккупации, и Пупуля перенесла из хаты в хату какую-то записку, которую ей дали старшие: «Измена родине. Пятнадцать лет».

Выжила! Солнце оглушает! Весна! Снега уже нигде нет, и только бесконечная пустыня за проволокой. Наша больница — это барак, а лагеря мне не видно, он с другой стороны, интересно, где мне предстоит просуществовать девять лет.

Разрешили написать домой «письмо»: адрес, жива, здорова, что можно послать в посылке, и больше ничего, раз в полгода, и теперь меня мучают сны: я получаю горы писем, телеграмм, каких-то записок и почему-то никак не могу их прочесть.

Пупуля и Георгий Маркович повели меня на воздух, и я замерла: пустыня переливается розовыми, синими, лиловыми волнами, теплый, нежный ветерок, о котором мечтала Нэди, запах зелени...

— Любуйтесь, вдыхайте, это тюльпаны, их миллионы, это весна в пустыне, она всего три-четыре дня, а потом солнце все выжжет... Вы выскочили из болезни, как — непонятно, в моей практике я не помню такого случая, вас Бог бережет, и теперь смею дать вам несколько советов: не реагируйте мгновенно со всей страстностью на все безобразия, которые увидите вокруг; не открывайте тут же душу — в лагере две тысячи женщин и очень мало хороших, интеллигентных людей. Как только я разрешу, они бросятся к вам: присмотритесь и только потом определите свой круг общения, в лагере это во многом определит вашу жизнь; не выказывайте своего истинного отношения ко всему вокруг; будьте мужественны, приготовьте себя к испытаниям, жизнь в бараке под замком тяжела; не пугайтесь тяжелой работы, пока вы на инвалидности, и, может быть, удастся оставить вас на какой-нибудь работе в зоне «придурком», так здесь величают работающих в зоне в противовес «работягам» за зоной; и главное — обо всем, что бы вы ни задумали, обязательно советуйтесь со мной, обязательно, я старый мудрец. А все, что я вам сейчас сказал, — это не советы, а приказы!

Милый, родной Доктор, слезы опять льются не от слабости, от слабости я не заплачу! Дудки! А потому что моя душа поет от прикосновения к прекрасной душе! Я наклонилась и поцеловала Доктору руку.

Вызвали к начальнику — никакой! Русак, светлый, в отличие от лубянковских, похож на человека, довольно интересный, крупный, аккуратный в такой глуши, полковник, не разглядывает меня, как в зверинце.

— Поздравляю с выздоровлением! На носу праздники и Первое Мая и День Победы, и все — и заключенные, и мы — просим вас поставить концерт или спектакль и выступить самой, а мы сможем не выписывать вас из больницы, помочь чем сможем, разрешим дополнительное письмо.

...Ничтожество... ублюдок... покупает меня... стиснула зубы...

молчу... интересно, он видит презрение в моих глазах... и как его, это презрение, спрятать... не смотреть в глаза?..

— Я посоветуюсь с Доктором.

Что же опять, как со Штерн, менять себя? А если потом я так и останусь неискренней?! Лгуньей?! Папа! Ты сейчас сказал бы так же, как Георгий Маркович?

Лагерь страшный, на всем белом свете мы одни: бараки, охрана и песок, песок, песок... а внутри проволоки на маленьком пространстве копошатся две тысячи людей — бульон, сколок со всего человечества...

Обязана надеть каторжную униформу, пока хожу в той венской кофточке, которая была в передаче на Лубянке, — в зоне, оказывается, еще можно так ходить, но номера обязательны. Уговорила художницу нарисовать мои номера в два раза больше стандартных, и номер получился поперек всей спины, по всему подолу юбки и на косынке во весь мой лоб — вызывают к начальнику. На сей раз у него в глазах смешинка, в голосе укоризна.

— Татьяна Кирилловна!

Удар ножа! Невыносимо услышать впервые за год свое имя, отчество, а не «номер 768, подойди!».

— Ну зачем вы так сделали с номерами, за вами же весь лагерь сделает то же, и получится насмешка над нами.

— ...я для этого и сделала... — отвечаю на полном серьезе не моргнув глазом. — Я собралась бежать и сделала такие номера, чтобы вам было легче меня поймать!!!

— Ну не будем ссориться! Вам уже сделали другие номера!

Но Георгий Маркович так сердился, так волновался, так кричал на меня, что мне и говорить о чем-нибудь бессмысленно, что я неисправима, что сразу так начала, что неизвестно, как теперь это поправить, что я здесь погибну: даже Папа на меня так не сердился! Умоляю простить меня, я исправлюсь! Тридцатилетняя дура стонеросовая!

— Завтра же приступайте к репетициям!

От вахты твердая, как асфальт, дорога, сотворенная тысячами ног, идет через весь лагерь к больнице: справа пять длинных саманных жилых барачков перпендикулярно дороге; слева параллельно дороге два таких же барака: баня, она же прачечная, и столовая; в стороне несколько разбросанных маленьких домиков: оперчасть, прозванная «хитрым домиком», культурно-воспитательная часть, именуемая КВЧ, пошивочная, карцер, дальше пустыня. Репетировать можно в бане и иногда в столовой. Хотела поставить спектакль, но пьес в КВЧ нет вообще, только если написать самой о каком-нибудь принце датском Гамлете или про какую-нибудь Анну Каренину... А для концерта!!! Нет, этот материал даже не для «Крокодила»: тоненькие сборники с эстрадным репертуаром времен гражданской войны об энтузиазме в труде, о чести воинского долга! Профессиональной артистки ни одной, есть поющая и танцующая молодежь, выступавшая на свободе в самодеятельности, которую, кстати, не выношу. Есть очень хорошая профессиональная пианистка Соня Виноградова из Тулы, но пианино нет, и теперь она научилась аккомпанировать на аккордеоне, работает в зоне «придурком» и всегда под рукой. Все остальные на тяжелых работах за зоной, приводят их после четырнадцатичасового рабочего дня только к ужину, они валяются с ног, для репетиций остается час до отбоя, после чего бараки закрывают наглухо; есть отличная профессиональная художница, за что и сидит — оформляла наш павильон на всемирной выставке в Канаде, и немаловажное: старая лагерница, знающая все ходы и выходы, но... ни красок, ни холста, ни освещения нет, зовут ее Анной. Мы сразу нашли общий язык, она творчески мыслит, острая, к дружбе относится очень сдержанно, осторожно, как и мне советовал Георгий Маркович. Она белоснежно красит бараки известью, закрашивает пятнышки, разрисовывает стены в КВЧ и, главное, рисует картины и портреты начальству, посему и числится тоже в «придурках»; как и Жанне, ей около тридцати лет, импульсивная, быстрая, если ее привести по-женски в порядок, то даже интересная, светловолосая, светлоглазая, она от моих

пока еще только «разбросок» по концерту тут же загорелась и уже обегала лагерь, по крохам собирая все, что может пригодиться. Нас уже трое!

А я маюсь. Что делать с концертом? Ничего не придумывается... Девушки показали мне, что они умеют, — все тот же казачок, те же русские переплясы, затасканные самодеятельностью... На идею меня натолкнула все та же Пупуля: она, оказывается, дивно поет настоящие народные украинские песни, и, слушая ее, почудился мне спектакль-концерт: врывается на сцену под песню «Эх, тачанка» трое коней, на тачанке вся молодежь, целуются, поздравляют друг друга с праздниками и постепенно, как бы поздравляя, выплывают белоруски, украинки, русские в национальных костюмах, водят хороводы, танцуют, поют. Среди них появляюсь я и пою свои три песни. Как все это получится? Как сама после всего запою? А с Анной мы придумали задник: весенний, солнечный, с березовой поляной, чтобы люди забыли о пустыне. Анна уже кликнула клич по всему лагерю о национальных костюмах, но задник расписывать нечем — нет красок, нет холста, и Анна блеснула настоящим талантом: сшивает тряпки, чем-то их грунтует, набрала каких-то линяющих юбок, кофт, вымачивает их, выпаривает, потом в этой воде что-то красит, заставляет девушек вышивать цветными нитками, мне ни за что не показывает, пока не будет готово все.

Мне разрешили дать телеграмму, и если она придет раньше моего письма, мои решат, что я ненормальная: прислать вечернее платье, тушь для ресниц, пудру, помаду! О своей болезни ни слова, чтобы не расстроились, написала только, что похудела и нужны жиры.

Интересно, что ноты все-таки не разрешили прислать, наверное, чтобы я не смогла наладить свою шпионскую сеть! Смешно и грустно, потому что тяжелый труд подбирать с Соней мои песни по слуху.

Придумать-то придумала, а сделать-то ничего не получается: и танцуют не так, и поют не так, и разговаривают не так, а уж когда надо что-то сыграть, мне становится дурно: скованны, стесняются — в массовых сценах крестьянки. Да и интеллигенция не лучше: не сдвинешь их с места, фальшивы. Меня никогда раньше не волновала режиссура, даже в голову не приходило, что я когда-нибудь прикоснусь к этой профессии, вот рисовать мне всегда хотелось, особенно когда я видела какую-нибудь непостижимость, это как у всех бездарных людей: я так рисовала, что потом никто не мог понять, что я хотела изобразить, даже Левушка изредка приходил в ярость по поводу моих рисунков, но я не унывала, я все равно рисовала, это все равно как люди без слуха и без голоса обожают петь, да еще и громко, и тогда все вокруг тихо.

безмолвно удаляются... Что же делать!.. Не сумею я поднять эту машину! Что тогда будет? Доктору ни гугу — стыдно... Нет, гугу! Кидаюсь ему на шею.

— Что такое талант?! Что?! Ум? Интуиция? Фантазия? Нет у меня ничего этого! Нет! Ничего не получается! Ничего. И никогда не получится!..

Гладит меня, как маленькую, по голове — стало легче.

— Ну и пусть не получается. А вы и без таланта делаете и делаете, что можете, что надо делать, и получится, здесь все так изголодались по духовному, что проглотят с наслаждением все, что бы вы ни сделали, и будут благодарны...

Как человек устроен! Как будто все мы не каторжане: репетируют, падают с ног, но репетируют, засыпают на репетициях, но репетируют до момента отбоя, лица сияют, глаза блестят, да и сама я как одержимая, забыла обо всем... Вызывают к моему непосредственному начальнику — начальнику КВЧ. Анна сказала, что я должна написать ему «контекст» и именно у него в части — больше нигде во всем лагере писать нельзя. Надо быть гением, чтобы по памяти, под «недремлющим оком» сочинить сценарий, пьесу, не знаю, как это назвать, труд огромный еще и потому, что надо написать все тексты, даже если это гимн Советского Союза, и Анна пошла к «главному» просить, чтобы мне дали бумагу и карандаш и разрешили написать все это у себя в больнице под ответственность Георгия Марковича.

Иду с готовым трудом, вхожу и в сених столбенею от расписанных Анной стен: конечно, все расписано во вкусе начальника, но с какой тонкой издевкой!

Вхожу — нет, такого не бывает! Он не урод, как тот, читающий приговор в Бутырской тюрьме, он даже ничего, но выражение лица!.. Лет двадцати восьми, в грязном, расхлястанном мундире, лейтенант, долго, молча, не здороваясь, разглядывает меня, не может в стоящем перед ним полутрупе узнать... узнал!

— Ну давай!

Меня начинает корчить от смеха, потому что такое выражение лица придумать невозможно. Животное рядом с ним — глубоко мыслящее существо, у него вместо лица — таз! Таз с бесцветными глазами, и этот таз еще и ужасно смешно шепелявит и не выговаривает половину алфавита и с грамотой плохо, уже давно можно было прочесть весь мой опус дважды... я стою...

— Слушай, ты что же пропустила текст в двенадцатом номере?

— Где?

— А вот тут... двенадцатый номер «Танец маленьких лебедей», почему не написала текст, о чем они танцуют?

И все, я зашлась, понимая, что за этот смех можно получить

еще десять лет, и тогда я сыграла обморок, сыграла отлично, за мной пришли с носилками, припадочных здесь много, но с Георгием Марковичем мог случиться инфаркт, когда он увидел, что меня несут на носилках. И конечно же, ноты запретил мне высылать этот лейтенант — он сама бдительность.

Я дописала биографию маленьких лебедей и их мысли во время танца, как жаль, что для истории такие документы не сохраняются. А танец маленьких лебедей мог действительно состояться. Анна нашла профессиональную балерину, она оказалась интересной, с дивной фигурой, совсем еще молодая, двадцати шести лет. Она в начале войны окончила с отличием Одесское балетное училище, эвакуироваться было невозможно, и они с мамой остались в городе. В город вошли румыны. Театр возобновил свою работу, и она блистала в Жизели, в Одилии, вошли наши: «Измена родине. 20 лет». Здесь уже шесть лет на общих тяжелых работах.

После разговора с ней я много думала о творчестве: на моих глазах ее лицо менялось, как будто с него снимали грим, оно загорелось, оно стало лицом артистки. К маме в Одессу полетело письмо, и где-то уже плывут по Руси три пары балетных туфель и на сей раз с нотами, и сделала все это опять Анна.

Балерину зовут Валя, она тут же отобрала двух самых способных, молоденьких, миловидных девушек, и они втроем каждый вечер после работы занимаются станком. И мне она помогает ставить танцы, хороводы, в которых я мало что понимаю.

Нас уже четверо!

Близимся к генеральной, жара стала невыносимой, в бане задыхаемся, плаваем в поту — отрепетируем кусок и выскакиваем на минуту вдохнуть раскаленного воздуха, можно, правда, репетировать прямо на дороге, но все же тогда увидят заранее наше чудо!

Ночью пришел этап, здесь это событие, потому что отсюда этапов почти не бывает, по этой же причине и сюда — некуда класть людей.

Бегу! Не может не быть москвичек: Люба Бершадская, она совсем недавно видела Бориса с Зайцем, они бывают везде открыто, давно сошлись, скоро поженятся!

...тихо-тихо улыбнись, пошути, поблагодари, уйди...

Георгий Маркович, увидя мое лицо, бежит навстречу. Рассказываю. Молча ходит.

— Это может быть? Ведь даже здесь о вас сплетничали, когда вы были на смертном одре!

— Заяц... влияние Мамы... шестнадцать лет... ученица... не знаю... нет, не может быть. Борис... это невозможно... возможно...

Георгий Маркович перебил меня:

— Но вы же говорили, что Горбатов вас любил и не изменял...
Теперь уже перебила я его:

— Не был мною пойман, за что я ему очень благодарна, если бы он развеял во мне эту веру, в нем нечего было бы больше уважать, и мне так казалось, что если человек любит, то измена... для меня немыслимо даже представить, чтобы я могла изменить первому мужу или Владо...

Георгий Маркович довольно мурлычет:

— Как хорошо, что вы этой Бершадской ничего не наговорили — вы бы сейчас восседали в карцере.

Вышла после прогона полюбоваться на закат и продумать в последний раз весь спектакль — генеральная репетиция на носу!

Закаты здесь удивительные: огромное в полнеба расплавленного золота чудо начинает медленно падать за край пустыни... и вдруг я остро, мгновенно ощутила, увидела всю тяжело дышащую массу людей, запертых в бараках, и тех нескольких полновластных хозяев над ними, которым эти люди вяжут, шьют, вышивают, строят, чинят, лечат, рисуют их... я должна написать книгу, чтобы народ обо всем этом узнал, чтобы весь мир узнал; я должна написать письмо Сталину, чтобы и он узнал тоже, он в силах все это изменить! И теперь это письмо возможно: в лагере появилась некая Мария Прокофьевна, вольнонаемная, заведующая аптекой, нам эту должность не доверяют, несмотря на то что в аптеке фактически никаких лекарств нет, и эта Мария Прокофьевна оказалась моей поклонницей, ей можно довериться.

Я не знала, что к ним в Красный уголок привозили передвижку и показывали мой фильм «Это было в Донбассе», и я удивлялась, почему охранники начали при встрече со мной шараться, а Мария Прокофьевна, увидя меня, остановилась как вкопанная, их мозги не в силах совместить эти два события, тем более что Мария Прокофьевна не похожа на свое окружение, тихая, совсем простая — через нее письмо можно отправить, хотя вспомнилось чье-то изречение: человек, лишенный культуры, рано или поздно становится носителем зла.

Доктору обо всем этом говорить нельзя — не разрешит.

Все, что мне говорил Доктор, сбилось: действительно пришло знакомиться много женщин, и многие из них искренние мои поклонницы, но Георгий Маркович отверг именно тех, кто мне понравился. Он познакомил меня с двумя старушками, подружками, эсерками, они вместе с 23-го года, со знаменитых Соловецких лагерей, прошагали по всем терниям, отсидели по двадцать пять лет, им дали еще по десять, две Марии: Мария Павловна и Мария Николаевна, сухонькие, стройные, с белыми как лунь волосами, зачесанными наверх, как тридцать лет назад, с белень-

кими воротничками под горло, как носили они, когда были курсистками... и выражение глаз! Хочется, как Доктору, целовать им руки. Это другой духовный мир, чтобы к нему прикоснуться, стоило сесть в тюрьму.

Через два дня генеральная репетиция. Анна добилась через «главного», чтобы всех участников спектакля освободили от общих работ на двое суток, а их оказалось сто человек, сумятица в лагере такая, как будто готовятся к восстанию.

Меня захлестнуло волнение, с которым справиться не могу: зачем, зачем задумала такое, ведь можно же было кому-то другому спеть, кому-то другому станцевать!

Сегодня прогон, впервые спектакль пойдет без остановок, и я решаюсь пригласить Доктора, Марию Павловну и Марию Николаевну, главного хирурга больницы, тоже удивительную женщину Жанну и радость нашу, юную, красивую Нату, она русская, но немецкого происхождения, с немецкой фамилией. Здесь таких много. Ната после приговора попала в лагерь на Севере, начальником работ оказался тоже заключенный инженер, пришла настоящая любовь, а когда она забеременела, в этой системе, оказывается, если такое случается и большое начальство узнает, то местным начальникам ставят в строку, и эти начальники со злобой, с завистью выбрасывают несчастную на этап. Нату привезли к нам, она родила прелестное существо женского пола, которое в мою честь назвали Танечкой, — мы могли часами, сутками смотреть на это чудо в пеленках, а у меня сразу же возникло ощущение родившегося мальчика в яслях — тогда, две тысячи лет назад...

Но началось волнение: отделение «мамок» за двести километров, и Нату при первой же возможности туда увезут, а за Танюшенькой должны приехать родители мужа и забрать ее, и чем бы мы ни занимались, глаза наши за проволокой на дороге...

Родители приехали первыми, и мы, обняв Нату, наблюдаем, как за проволокой они расписываются, о чем-то говорят, минуты тянутся, и наконец видим, как притихший двухмесячный комочек взят из рук надзирательницы.

Еще пригласила на прогон регистраторшу из санчасти и двух наших москвичек.

Господи! Разве такое бывает! Анна разрешила войти в столовую, когда у нее все было готово, и я ахнула! Словно в настоящем театре блестяще написанный задник, как мы и задумали: залитая солнцем зеленая березовая поляна. Костюмы! Поплыли по сцене белоснежные украинские, эстонские, белорусские, литовские, русские, латышские рубахи, фартучки с настоящим ручным шитьем, в косах ленты, бусы! Девушки их сделали из хлеба, оторвав от своей пайки. А кони! Валя так вытренировала девушек, кото-

рые их танцуют, что может позавидовать настоящий балет. И танец маленьких лебедей! Бедный лейтенант, что с ним будет: голые руки и ноги, он же никогда не видел балета! Одним глазом подсмотрела, как заулыбался, замурлыкал Доктор, увидя в Валиной роскошной пачке свои бинты из больницы. Мы уговорили Пупулю дать их, с тем чтобы потом она по всем правилам асептики продезинфицировала их и положила на место. У меня как в настоящем театре есть «ассистент», но от восторга и волнения забыла диктовать ей замечания, придется весь спектакль перетряхивать в мозгу, вспоминать все до мелочей. А как я сама пела? Не знаю. Совсем не знаю. Наверное, плохо. Но самое впечатляющее — хороводы, хоры! Их неоткуда было выпускать на сцену: столовая построена прямоугольником, и получалось, что на сцену можно было попасть через единственную, довольно узкую дверь, и значит, рушилось все задуманное: что же они все будут выходить по очереди по одной, по две? Весь эффект пропадет. И я решила выпускать моих артисток во все четыре двери столовой и чтобы они пели иплыли хороводами прямо среди зрителей по проходу. Впечатляюще! И все так и получилось.

Вот и все. Оборачиваюсь к своим гостям — взволнованные, восторженные лица, говорят такие слова, что я краснею... в общем, театр Ла Скала — жалкое подражание нам... счастливая, уснула как убитая.

И день настал. Георгий Маркович говорит, что такого единения, приподнятости в лагере не было никогда. Все заключенные решили брать еду в бараки, чтобы не испортить нам чего-нибудь в столовой. Покоробило, когда все эти чекистские наемники с женами, с детьми под водительством нашего лейтенанта и опера заняли первые скамейки! Спасибо, что сторожевых собак не привели — они сами сторожевые собаки, из них, как и из этих несчастных животных, выбили все человеческое, оставив одно «ату».

Что это было! Люди ликовали, восторженно кричали, плакали. Меня встретили ревом, но, как по мановению магического жезла, упала могильная тишина — спела «Старинный русский вальс», спела блюз «Спокойной ночи», спела вальс из фильма «Мост Ватерлоо», с губ рвалось спеть из «Ночи над Белградом»: «В бой, славяне, заря впереди» — лагерь бы разнесли, меня под белы ручки и добавили бы еще двадцать пять лет, а Георгию Марковичу гарантирован инфаркт... На мне белое платье, которое сшито в Вене и в котором я пела во дворце Шенбрунн.

Я в лагерной жизни: живу в бараке, работаю «придурком» в «инструменталке». Мне надо выдавать кирки и лопаты бригадам, работающим на строительстве канала, я числюсь заведующей. Это место освободилось, потому что умерла от туберкулеза незнакомая мне литовка.

Я вывернута наизнанку: не знаю, как смогу пережить все, что вижу, — людей; взаимоотношения; страсти; взятки; борьбу за доходные места; за места, на которых можно выжить; за кусок хлеба — пауки в банке, только в банке побеждает сильнейший, а здесь хитрейший, подлеший. Микрокопия большой жизни, там, за проволокой, все это распластано по планете, там можно обойти, не соприкоснуться, здесь же сконцентрировано, сплющено на клочке пустыни. Со мной происходит что-то похожее на то, что уже было: поднимая из глубины колодца на веревке ведро с водой, я намотала тяжелой, металлической ручкой веревку на барабан, ручку упустила, ведро полетело в колодец, а ручка стала вертеться в обратную сторону и жестоко меня хлестать.

В «инструменталке» есть одно спасающее обстоятельство — это землянка, в ней нет такой удушающей жары, в ней можно фактически находиться весь день, и главное — начать писать задуманное письмо: окна нет, меня не видно, а когда подходят, то слышно. О письме решила рассказать Жанне, как рассказала бы Нэди. Жанна подсказала написать еще и прошение о пересмотре дела: посылать отсюда бессмысленно, все прошения, жалобы прямым ходом несут в «хитрый домик», и неизвестно, как, в зависимости от пищеварения, на него отреагирует опер, или потом, за редким исключением, все выбрасывается.

С Жанной что-то у меня ни дружбы, ни глубоких отношений не получается, какая-то она пустоватая, поверхностная, какой-то в ней институтско-комсомольский душок — ни мечты, ни планов о том, как она наконец станет хирургом, ни слова о Франции, а ведь юридически Жанна остается

французской подданной. Скрытна? Нет, даже болтлива, любит приврать и как-то обособлена и от Георгия Марковича, и от главной хирургини, у которой она в подчинении, и с Анной как-то уж слишком трусовато осторожна, но интеллигентна, добра, остроумна и страстно загорелась моей идеей с письмом.

Не представляю, как расстанусь с Анной, она через месяц освобождается. У нее срок всего пять лет, тогда, после войны, еще давали такие сроки.

Анна твердая, целеустремленная, решительна, смелая, честная, умная, сдержанная, талантливая, труженица, она своими руками навела такой порядок в лагере, что лагерь выглядит симпатичным: белоснежные, крашенные известью бараки, дорога обложена осколками кирпича, бараки начальства и столовая расписаны. Анна своим трудом добилась, насколько это возможно, общения с начальством, но несмотря на это, вдруг встрепенется: а вдруг второй срок! Освобождение из этого лагеря — невероятное событие, вышли единицы со сроком пять лет. Анна волнуется за семью больше, чем за себя: мама, младшие сестра и брат на высылке где-то в Тмутаракани, только она может и спасти. Папа Анны — старый большевик, соратник Ленина — был расстрелян в тридцать седьмом году, но тогда мама как-то случайно уцелела с тремя детьми, а после ареста Анны маму с детьми выслали.

Пришла вторая посылка и письмо. Лихорадочно ищем, как с Нэди в передаче на Лубянке, потаенное, скрытое — ничего нет, все точно, строго: здоровы, Заяц кончает школу, о Борисе молчание, как будто он мертв, и пронзительная радость: «...твой знакомые Толстые передают тебе привет, они здоровы, вернулись на старое местожительство, только живут в другой квартире и на прямой своей работе». Левушка! Родной мой! Это он все сочинил: ему же дали имя в честь Толстого; старое местожительство — значит, разрешили вернуться в Минск; другая квартира — значит, получил наконец свою квартиру; прямая работа — значит, архитектором. Я понимаю, что все письма будут полны утешений — ни я, ни они ни о чем печальном писать не будем... но факты... сами факты... ведь такое сочинить мог только сам Левушка, значит, с ним все хорошо!

Не выживу! НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!!! НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!
В мужской зоне побег: мальчик из Западной Украины глупо, наивно, просто куда глаза глядят, с отчаяния побежал, его на второй же день изловили в пустыне — без воды он сам выполз от жажды на дорогу, его схватили, приташили и полумертвого избивают вохровцы, пропускают сквозь строй.

озверевшие, сами изнемогающие от жары, в одних грязных майках, у мальчика уже нет крика, а тихий всхлип из глубины души, бьюсь головой о стену, стало легче, шагов Пупули не слышала, рядом со мной мензурка, выпила лекарство. Пупуля отвела меня в барак, еле залезла на свои верхние нары, безразлично, что на меня набросились клопы...

Писать, скорее писать, но Мария Прокофьевна боится выносить за зону письмо частями, муж у нее из этих же зверей, алкоголик, напиваясь, изуверски ее избивает, она несколько дней не появляется в зоне, и потом Георгий Маркович лечит ее. Муж Марии Прокофьевны какой-то младший офицер, прожженный чекист, если он письмо найдет, он ее убьет, и теперь проблема, где хранить написанное: о письме знает и Анна, она, как был бы и доктор, против написания, но посоветовала ни в коем случае не держать в землянке, и остается только больница, но там тоже, как и во всем лагере, бывают обыски, реже, но бывают... и остается только Пупулин стерилизатор, туда они не решаются лазить, им самим могут понадобиться стерильные бинты.

Прекрасная, тихая Пупуля согласилась, узнав, о чем письмо, хотя по-крестьянски рассудила: «Не может быть, чтобы ваш Сталин обо всем этом не знал».

Отпуск Марии Прокофьевны катастрофически приближается, она должна повезти письмо и сама вручить в руки Борису; если опустить письмо здесь, то это письмо, как и все письма, принесут оперу, и начнется следствие: кто вынес из зоны и бросил письмо заключенного в ящик.

У меня в «инструменталке» обыск. Длится недолго, выворачивать нечего. Я спокойна. Беда миновала: Жанна только недавно, часа за два до обыска, вынесла мои последние листки, но карандаш забрали, хотя он мне полагается по должности, бригадиры, получающие инструменты, должны расписываться за них.

Почему был обыск? Кто донес? Откуда могла прийти беда? Неужели потому, что я подолгу не выхожу из землянки... ведь все же прячутся от жары где могут...

Жанна рассказала, что за мое место дерутся, дают взятки, клеветают на меня, значит, взятки не только у Салтыкова-Щедрина?

Ко мне в землянку пришла знаменитая Королева, фактическая хозяйка лагеря, заведующая складом продуктов, дьявол в юбке, в кофточке, в кепке от солнца: она жила в маленьком городке на Украине, когда городок оккупировали немцы, она нашла общий язык с гестапо, купила лошадь и телегу, узнавала, когда повезут на расстрел евреев и комму-

нистов, ехала вслед за гестаповцами, а после расстрела спускалась в овраг, рылась, снимала хорошую одежду и обувь и привозила в свой комиссионный магазинчик, который она открыла, и люди бежали к ее магазинчику узнать судьбу своих дочерей, сыновей, отцов по вещам на вешалках.

Она отвратительная: высокая, костистая, похожа на скелет, огромные руки и ноги, лицо некрасивое, наглое, улыбка кривая, она мгновенно окинула своими жадными маленькими глазками землянку. У нее политическая статья «измена родине» — 10 лет, осталось меньше трети. Почему она не бежала с немцами?! Верила, что найдет общий язык с органами? А они ее арестовали, все отобрали, и только теперь, здесь, где голод, она вознаграждает себя: берет взятки за то, чтобы через начальство устроить на лучшую работу, меняет морковь, капусту на заграничные вещи, начальство выносит за зону ее набитые деньгами и вещами чемоданы и куда-то отправляет. Протягивает мне руку — руки не подала, не могу!

Что ей надо от меня? Что она от меня хочет?

Когда Жанна пришла к ней менять мое платье, она злобно спросила: «Татьянино, что ли?» — швырнула шесть морковок и вилок капусты.

Освободился муж Наты и приехал увидеть ее и маленькую Татьянку, так это зверье не дало им свидания: в спецлагере не полагается! И невозможно было смотреть, как он, не сумев нигде переночевать, валяясь на песке всю ночь около лагеря, издали глазами провожает Нату, когда ее ведут в бригаде на работу, а вечером так же издали, чтобы нечаянно не шагнуть на «запретку» и не получить пулю в лоб. Молча до отбоя Ромео и Джульетта смотрят друг на друга.

Завыла сирена тревоги, я выскочить из землянки не успела, дверь кем-то захлопнута наглухо, свистит, воеет — в шелку увидела бешено несущуюся, мутную желтую тьму и над всем этим огромный, спокойный кровавый диск солнца... Пыльная буря... и жутко, и восторг... где Георгий Маркович, Анна, Жанна... какое счастье, что рабочие бригады не в пути.

В бараках в проходах ставят поперечные нары, значит, будет большой этап, значит, ГУЛАГ распирает так, что некуда девать арестованных. Разговор идет, что все — москвички. Сама ни к кому не подойду, спрашивать ни о ком и ни о чем не буду. А Жанна будет у всех расспрашивать о Нэди.

О Нэди никто ничего не знает.

Туалет — это длинный, узкий барак у стены, разделяю-

ший нас с мужской зоной, здесь не проволока, а настоящая стена, и по ту сторону стены в мужской зоне такой же туалет, входы в туалеты обращены к стене и отстоят от нее на ширину запретной зоны, и мужчины, и женщины, задыхаясь от хлорки, могут негромко переговариваться, умудряются даже перебрасывать записки, вохровец на вышке довольно далеко, он ни видеть, ни слышать не может, выслеживают оперы, подслушивают, сажают в карцеры, создают новые дела, но новый этап все равно бросился к стене искать братьев, сестер, мужей, сыновей, и мать нашла сына, рыдают, и я, не понимая их языка, рыдаю вместе с ними.

Опять не оказалось ни одной настоящей шпионки, хотела поговорить, вдруг придется сыграть — только статьи «шпионаж», а на самом деле они настоящие партизанки: совсем простая немка, еле говорит по-русски, нас ненавидит, как ненавидели мы немцев, ушла с товарищами в лес, когда мы подходили к их городку; а вторая — очень любопытный человек: литовка, прекрасно говорит по-русски, молодая, сильная, смелая, узнав о существовании партизанского отряда «лесные братья», ушла к ним, научилась воевать, стала парашютисткой, хромота от ранения в ногу, поддерживает связь через ту же стену с «лесными братьями» в мужской зоне, будет бороться за свободу Литвы до последней капли крови. Ко мне отнеслась доверчиво, мы подружились, а когда случился какой-то невероятный побег из мужской зоны с приземлившимся самолетом, перелетавшим границу, и я побежала к ней узнать, что и как, коротко ответила: «Жаль, что это пока еще не мы».

Сегодня Мария Прокофьевна выносит мое письмо и прошение за зону, от страха, от волнения зуб на зуб не попадает, на вахте обыскивают даже своих, если они не в мундире: Мария Прокофьевна решила пронести письмо под одеждой, все-таки их редко, как нас, ошупывают руками, а в сумку могут полезть.

Попрошались с ней еще в больнице, и теперь незаметно каждый из своего угла следим за ней: вот она идет по дороге... вот подходит к вахте... вот вошла... вот лишние секунды не появляется с другой стороны... вот вышла... улыбается, как бы разговаривая с охранником, эта улыбка для нас — пронесло, теперь она должна еще где-то во дворе спрятать письмо, чтобы не нашел муж.

Завтра рано утром Мария Прокофьевна уезжает с маленьким сыном в отпуск к родным и специально для меня через Москву, чтобы вручить письмо и прошение лично в руки Борису, а если его нет, то Маме.

Всей конспирацией ведает Жанна: Мария Прокофьевна должна дать моим из Караганды телеграмму: «Еду в отпуск к тете буду проездом у вас ждите». И когда письмо будет в руках у Бориса, тут же, чтобы мы не умерли от волнения, дать телеграмму нам: «Заяц окончил школу хорошо».

Вся корреспонденция приходит через КВЧ. Вызывают. Иду на глиняных ногах. Лейтенант дает телеграмму: «Заяц окончил школу хорошо», — понимаю, что мой восторг не соответствует тексту, но ничего с собой сделать не могу. Хорошо, что лейтенант — болван, это не опер. Анна и Жанна ждут меня в землянке — молча обнялись и плачем.

Проводила Анну — и больно, и радостно. Так же волновались, как с Марией Прокофьевной: когда Анна вошла на вахту и не сразу вышла, а потом вырвалась на волю и пошла танцуя, мы от радости тоже запрыгали, очень хотелось увидеть ее счастливое лицо, но оглянуться нельзя, в лагере есть примета: ни за что не оборачиваться и ничего не уносить с собой лагерного — вернуться обратно.

Бегу, задыхаясь, в больницу. Георгий Маркович прислал за мной не Пупулю, а какую-то больную. Боже, спаси его! У него совсем плохое сердце! Отлегло! Он стоит на пороге и улыбается... но значит, что-то случилось...

Заходим в знакомую, родную каморку: Пупуля наводит здесь такую чистоту, что хирургиня смеется: «Лучше здесь делать операции, безопаснее, а я обманываю Георгия Марковича: он считает меня лучшей рукодельницей мира, а я иголки в руках держать не умею, это руки западных украинок, прибалтиек, которых он тоже спасает от смерти, вышивают, но я выдаю все эти коврики, салфеточки за свою работу, потому что от заключенных Георгий Маркович никогда ничего не возьмет».

На столике чай, настоящий белый хлеб!

— Вкушайте! Это от вашего любимого опера вместо гонорара.

Всё в момент сгамкала. Жду.

— Теперь на сытый желудок вы подобрели, вот мы и поговорим, я мобилизовал своих дам, они побудут с больными вместо меня, и нас никто не потревожит. Начну с руки! Не подали руки Короле...

— Не могу! И не потому, что руки в крови — не могу своей сущностью... все во мне восстает.

— Вот об этом и хочу говорить с вами. Я — волнуюсь за вас! Родная моя, послушайте меня, старика, я один могу помочь вам выжить в этом аду; здесь ведь королевы правят бал, значит что же?! Из-за них сложить голову?! Не-т! Еще раз не-т! — Доктор лукаво посмотрел на меня: — Вы же ели ее кур! Ее треску! Я же знаю, что Жанна ходила менять ваше платье на морковку, и не важно, что я знаю — знает она, что мы все зависим от нее.

Я рассмеялась, вспомнив, как мы с Жанной слопали по целой тухлой курице и не умерли, а в столовой вылавливали червей из трескового супа, и очень даже вкусный суп.

— Вы же не знаете, что только через Королеву начальство могло оформить всю эту тухлятину! К сожалению, я не смог присоединиться к вашим яствам, мой старый желудок не выдержал бы: в такую жару вохровские продукты портятся и вохровские лорды их не едят, а Королева оформила все это за счет лагеря: ко мне — как больничное питание, а треску — к вам, в столовую! Я бился над этими курами по законам настоящей химии: их трижды вываривали и чем только не дезинфицировали, и после всего я опробовал на себе, а потом разрешил дать молодым больным со здоровым желудком. Я перестала смеяться.

— Да! Да! И если она захочет выгнать вас на общие работы, она это сделает в течение часа, она повязана с начальством, и даже я ничего не смогу сделать, не смогу помочь вам, хотя и ей — Королевой и «этим» я нужен — они очень дорожат своим здоровьем.

— Что ей надо от меня? Мы из разных миров.

— Вот именно, она хочет в этот ваш недосыгаемый для нее мир, все остальное у нее есть, и эта недоступность бесит ее! Вы меня спрашивали, как можно было спрятать презрение в глазах, когда вы были у начальника, и я вам ответил — просто опустить глаза, и здесь тоже — просто сделать вид, что вы ее протянутой руки не заметили. Сыграйте это так же блистательно, как сыграли истерический припадок с лейтенантом, если бы тогда вовремя вы не приоткрыли глаз и не подмигнули мне, со мной действительно мог случиться инфаркт — большего я от вас не требую: сыграйте доступность, они должны думать, что могут приблизиться к вам...

— Но ведь в человека, как в растение, все вырастает, и как потом обратно стать человеком?

— С умом станете. Вы не подумали, что творится в моей душе! Что происходит со мной! Как я живу в этом обществе! Я схватила руку Георгия Марковича:

— Простите меня! Простите меня! Да! Да!

— И вам, кроме всего, как художнику надо узнать этих людей... не знаю, как их называть... вы опять будете в искусстве... вы сейчас в самом расцвете... сколько вы сможете сделать с теперешним вашим зрелым видением... для творчества это лучшие годы... в концерте я все время думал об этом...

— Лгать, лгать... ну хорошо: я научусь играть с правдой, но с самой-то правдой как быть?! Она ведь, глубоко запрятанная, умрет! Она же должна побеждать ложь. Она активна! Она же не сидит на месте, она летит, она конфликт, она борьба, она завтрашний день, она суть жизни, как добро и зло...

— Умница вы моя, я слушал бы вас часами, да только я-то прошу вас не меняться, а спрятать эту правду, оберегать ее, вытерпеть все! Пообещайте мне: как только у вас будут критические минуты, ситуации, конфликты с жизнью, вы сразу же в вашем сознании будете вызывать дедушку доктора в белом халате... что замолчали?

— Боюсь.

— Что-то на вас не похоже... торжественно вас заверяю, что кусаться не буду...

— Я написала письмо Сталину о том, что творится в его отечестве...

Встал, повернулся ко мне спиной, не дышу.

— У вас есть верные люди, которые смогут доставить письмо именно ему? В нашей стране письма попадают к тем, о ком они написаны.

— Борис и Костя стали секретарями Союза писателей, бывают у Сталина, и я прошу их или положить письмо Сталину на стол, или сжечь.

— Они не сделают ни того, ни другого. Вы все еще не поняли, что этот ваш Борис — трус, а ваш Костя является собой трехсотпроцентного конъюнктурщика, если партия прикажет, он сделает все. Вы действительно думаете, что Сталин ничего не знает?

— Я не думаю... я надеюсь... и что же тогда все это...

— Все это ужас, которому нет равного. Жестокость Грозного меркнет, Гитлер бесчинствовал открыто, уничтожал всех, кто ему мешал, Сталин изверг... шаман... ему не нужно никакое светлое будущее, у него все на лжи, на обмане, на уничтожении всех и вся, кто начинает это понимать, он темен, хитер, лицемерен, труслив, бесталанен, бесчеловечен, по-моему, психически неполноценен и жалок, как все маленькие люди, занесенные на гребень величия! О чем вы писали в письме?

— Без эмоций, голыми фактами описала все виденное, услышанное, познанное.

— Вы понимаете, чем вы риск-ну-ли?!

— Догадываюсь.

Вбежала Жанна и увела Георгия Марковича.

Беда упала на голову с неба: у меня не хватает лопаты — десять суток карцера. Хорошо, что не поведут через весь лагерь с автоматчиком: через тридцать минут опер оформит документ, и я должна явиться сама. Говорят, что в карцере падают в обморок от жары, как на сковороде, все равно лучше, чем морозильник в Лефортовской тюрьме, и говорят, что там кишмя кишат изголодавшиеся клопы, все равно лучше, чем мокрицы, мокриц я больше боюсь.

Доктор впервые сам прибежал в мою землянку, там уже был опер — пересчитывала, пересчитывала — лопаты не хватает. Я спокойна, но Георгий Маркович вне себя:

— Почему же вы не пересчитывали у бригадиров инструменты, когда они их забирали и возвращали?

— Я им верила, потому что эти огрубевшие, изуродованные «перевоспитанием» люди ко мне замечательно относились: они, опускаясь ко мне в землянку, даже матом переставали ругаться...

— Нет! Нет! Нет! Старый я дурак! Вы неисправимы! Вам же нарочно могли все это подстроить! Первое, что надо сделать: попасть на место работ и искать там лопату, никому она не нужна, могли просто засыпать ее землей и забыть! Я сегодня был у большой девочки за зоной, у нее есть старший брат, надо как-то придумать, чтобы он пошел искать! И не огорчайтесь, у меня разорвется сердце, мы вас вытащим!

И доктор побежал.

А я и не огорчаюсь, я села и как-то ни на что не реагирую.

И я восседаю на табурете в центре карцера, если, конечно, это сооружение можно назвать карцером, и стряхиваю с себя клопов, они ползут отовсюду, падают на меня с потолка... но сказка недолго сказывалась, четверо суток вместо десяти — и Георгий Маркович ведет меня в больницу и опять залечивает.

Приказ — с должности в «инструменталке» снять и перевести на общие работы.

Это пострашнее всего, что творится в лагере: непосильный, каторжный труд, женщины вручную на строительстве канала ворочают пудовые камни, откалывают каменную землю, падают от тепловых ударов; на кирпичном заводе в воздухе сорок, и из печей полыхает семьдесят градусов, и противни с раскаленными кирпичами надо вынимать без рукавиц, голыми руками, какими-то тряпочками; дорога до лагеря — пять километров по раскаленному песку... представила здесь мою Грету Гарбо или Марлен Дитрих...

Вызывают в оперчасть. Закружило, завихрило, но иду спокойно, как бы даже безразлично — из окна «хитрого домика» просматривается вся зона от вахты до больницы, и опер, конечно, наблюдает за мной в окно... свобода или смерть...

— Садитесь.

Рассматриваю опера, я его вблизи видела только, когда в землянке в который раз пересчитывали лопаты: неинтересный, молодой — до тридцати, лицо наглое, подловатенькое, ев-

рей. Все гэбэшники Ивановы, Сидоровы, Петровы, а он Шнейдер, из-за этого, наверное, и здесь, глуп — над его системой связи со стукачками смеется весь лагерь: вызывает как бы на какие-то допросы одних и тех же женщин раз в две недели, в основном сам подслушивает, подсматривает, создает дела, его любовница танцевала у меня в спектакле в тройке коней.

Встревожен, нервничает, начал допрос: писала ли я куда-нибудь, кто за меня может хлопотать, какие у меня связи в Москве... допрашивает хитро, осторожно, хочет поймать меня на чем-нибудь, у него могут быть неприятности: разговаривает со мной как с человеком — хамелеон... неужели свобода... письмо провалилось... дошло...

— Собирайтесь в этап, на вас пришел наряд из Москвы.

В голове буря! Бегу к Георгию Марковичу. Неужели домой! Постигнуть невозможно!

Весь лагерь вышел провожать меня на свободу. Тихонько от Георгия Марковича увожу свой номер СШ768. Спорола со спины. Сшили лагерную котомку — свою венскую кофточку и юбку везла в Свердловскую тюрьму в платочке Трилоки.

Прощание с Георгием Марковичем тяжелое, несмотря на наше невместимое счастье... не отрываясь смотрю в его впервые счастливые глаза...

Я с автоматчиком в кузове грузовика, обернулась к Георгию Марковичу, еще раз мысленно попрощаться, посмотреть в счастливые глаза... не отрываюсь, пока лагерь не превратился в точку.

Как сердце еще живо...

Меня везут в купе проводника, в обычном поезде, без пересылок, в сопровождении автоматчика.

И опять предо мной железные ворота Лубянки: арест — Лефортово — Лубянка — Бутырская тюрьма — Лубянка — Бутырская тюрьма... как будто было вчера... значит, освобождают все-таки тоже отсюда и, значит, все-таки опять Абакумов.

Вводят на мой второй этаж. Нэди! Прошло восемь месяцев, неужели она в той же четырнадцатой камере, о другом думать боюсь. Предо мной старший Макака... это я его так прозвала, уж очень он некрасивый, похож на обезьянку, умную обезьянку, знаю, что узнал меня, даже как-то невидимо приветствует. В тюрьме та же могильная тишина, и я не знала, что существует отсек, параллельный центральному коридору, он неглубокий, кажется, камеры три — меня вводят во вторую, и я понимаю, что из этого коридора совсем не слышна оправка и шагов Нэди я не услышу.

Я в одиночке. Стараюсь ни о чем не думать, ничего не предполагать и часами хожу... но странно — так мгновенно привезти и никуда не вызывать...

Со счета сбилась, прошел, наверное, месяц, теряюсь в догадках.

Шелчок ключа.

Вводят женщину, узнаю, что сюда привозят из лагеря: либо за вторым сроком, но у нас еще и первый не отсижен, либо на переследствие, что бывает крайне редко, либо свидетелем. Я воскресла — значит, переследствие.

Женщина молодая, малоприятная, не открывается, неразговорчивая и, как мне кажется, партийная жена. Наверное, мы все имеем свои сословные признаки; она — партийная дама. Ее тоже привезли из лагеря, думает, что свидетелем по делу мужа и называет фамилию Воскресенский, я присела на кровать: тот самый Воскресенский, который большой человек в ЦК, который отправлял меня на гастроли за гра-

ницу, который тогда вызвал во мне удивление своей образованностью и интеллигентностью! Она и ее муж арестованы тоже в сорок восьмом году, что с ним, она не знает, и вот теперь ее привезли сюда.

Через два дня ее забрали с вещами, и я опять одна.

Похолодало и в просвет «намордника» стали падать желтые листья.

Шелчок ключа.

На вопрос. Та же «выходная» белая кофточка с юбкой, те же коридоры к кабинету Абакумова, лечу на крыльях, шкаф, дверь, кабинет... сидит за столом, но не такой, как всегда.

— Как вам снова понравилась Лубянка?

Голос!!! Интонация!!!

— Что молчите? В лагере лучше! Можно устроиться, не работать, дышать воздухом, получать посылки, писать письма!

В бешенстве подскочил ко мне.

— Дура! Вот оно на столе ваше письмо! Думала меня обхитрить! Сволочь!

Задохнулся от крика.

— Еще посмотрим, кто кого! Я, значит, враг народа?! Я уничтожаю русский народ! Русскую интеллигенцию. Да такую тварь, как вы, и вам, подобных надо уничтожать! Я убийца!.. Я...

Замахнулся, разобьет лицо, не шелохнулась.

— Дурак этот ваш Соколов. Она, видите ли, «кроткая»! Да я вас сгною, замурыжу! Замучаю! Я здесь хозяин! Понимаете, Я — Я — Я! Только с такими куриными мозгами, как ваши, нельзя этого понять!

Не ударил, в бешенстве забегал по кабинету.

— Вот сейчас здесь вы и расскажете, кто же был этот враг народа, что повез письмо?!!

— Кто-то из работяг на кирпичном заводе, где я работала, через вольнонаемных послал это письмо. Больше я ничего не знаю.

— Где конверт?

— Этого уж я совсем знать не могу.

— Врете! Уж не так-то вы глупы, чтобы послать такое письмо домой через кого-то неизвестного! Кто приходил к вам... женщина в зеленой кофте с мальчиком?

...Мария Прокофьевна была в зеленой кофте...

— Я этого тоже знать не могу.

— Ничего, заговорите. Мы вашу мать арестуем! Она все расскажет. Посмотрим, знаете вы или нет, когда я вас за-

мурыжу в одиночку! Там и слохнете! А рядом будет мотаться наш Горбатов со своими бабами, жрать своих раков и сосать свое пиво! И мать! И дочь! И никто ничего не сможет сделать!

Нажал на кнопку.

— Взять.

Иду по кабинету, у двери повернулась и сказала:

— Я верю в то, что мы с вами поменяемся местами.

...тихо, тихо, успокойся, успокойся; все надо обдумать, осознать, вместить, главное, успокоиться, тихо, тихо, тихо...

Передо мной дверь моей камеры, и тут же шелчок ключа.

— На выход с вещами.

Мне конец. Нет. Ведут по центральному коридору и открывают камеру — ту самую, в которой сидел министр с дочерью, мимо нее проводят все камеры на opravку.

...Нэди! Я о ней буду знать!..

Бросилась на кровать.

Шелчок ключа.

— До отбоя лежать нельзя.

Что Абакумов хочет со мной сделать? Надо подготовиться ко всему, а не набивать себя иллюзиями свободы и терпеть крах.

В сотый раз прослушиваю всю opravку... Нэди в тюрьме нет! Нет! О страшном думать не в силах.

Здесь твердо Жемчужина, в той же камере, что и была, тоже одна, шаги ее.

В форточку начал задувать холодный ветер, раньше темнеет, наверное, это уже ноябрь, получается, что я в одиночке больше трех месяцев.

Надо все разложить по полочкам и держаться!

Первое: никто еще от одиночек не умирал... а может быть, умирал...

Второе: с голода тоже на Лубянке никто не умер... хотя не знаю... Нэди... но когда Нэди становилась совсем плохой, ее тут же переводили на больничное питание, со мной этого не случится, и, как я понимаю, санчасть у меня в камере никогда не появится, если только на вынос тела... наблюдение за мной непрерывное... интересно, сам-то заходит в тюрьму или ему рапортуют обо всем до мелочей... если бы не плевет, я была бы ого-го... назло Абакумову!..

Интересно, как я здесь числюсь?.. По номеру?.. В следственной тюрьме по закону нельзя держать заключенного с приговором... можно... нельзя... глупость... смешно... я железная маска... ведь действительно, как он кричал, никто никогда не узнает, что я здесь...

Третье: если даже я впаду в отчаяние, захочу покончить с собой... здесь этого сделать не дадут, можно не беспокоиться...

Четвертое, и самое главное, как говорят украинцы: «с глуду бы не з'ихать». Хочется заговорить, запеть, может быть, я разговаривать разучилась, делать этого ни в коем случае нельзя, может быть, Абакумов ждет чего-нибудь такого, чтобы объявить меня сумасшедшей... а вообще-то, что ему от меня надо... неужели это просто месть за пощечину, которую я ему все-таки, наверное, дала... не думаю... но арестована-то я действительно без ордера по его записке, ворвались полковники и схватили... мне теперь снится эта записка какая-то нечаянная, наспех, даже не на полном листе бумаги...

Пятое: не сломаться — ходить столько, сколько я ходила,

я уже не могу, силы уплывают, гимнастику делаю в полно-
ги, на оправке о холодной воды начинается озноб, изнуряет
голод.

Шестое: не думать о доме, чтобы не биться головой о
стену, здесь и этого не дадут сделать, свяжут... мысли о
доме невыносимы... Какое счастье, что и дома, и с Левуш-
кой все хорошо.

Шелчок ключа.

— На прогулку.

Прошло, наверное, недели две, как я отказываюсь от
прогулок, вихрем начинает кружиться голова, и я стою у
стенки, лучше, наверное, не терять силы и сидеть в каме-
ре, так чувствую интуитивно, а как лучше сберечь силы, не
знаю... Нэди по крохам их берегла.

В «намордник» стали залетать снежинки... покружатся —
улетают... что, уже зима?... Теперь, наверное, скоро Новый
год... как узнать, когда он придет... как-то осенью была та-
кая вселенская тишина, что до меня долетел бой кремлевс-
ких курантов, и теперь сижу в шубе с приоткрытой форточ-
кой, а вдруг опять долетит... девять... десять... одиннад-
цать... двенадцать... здравствуй, Новый, 51-й год!

Начались такие «сопли-слюни»... так мне себя жалко, та-
кая я одинокая, брошенная, беззащитная... чтобы в глазок
не увидели, что я плачу, легла на бок, и слезы незаметно
стекают на переносицу, а потом в подушку... скорей бы вес-
на...

Я теперь, чтобы не думать ни о чем, что может свести с
ума, ставлю спектакли, снимаю фильмы, переделываю свои
концерты, проигрываю роли, читаю монологи... увидела
Джюльетту перед принятием яда, не на роскошном ложе, а
в ночной рубашке, на авансцене, по-детски сидящей на ков-
ре, наивной, почти играющей с ядом... начало фильма: во
весь экран женское, умное, сильное, красивое лицо... спо-
койно начинает говорить о красоте вселенной, а за ее голо-
вой клубятся войны, пожарища, смерти, рождаются дети,
мечется человеческое безумие... Скорей бы весна, может
быть, на «намордник» съедет воробей...

В Макаке что-то есть скрытое, глубоко спрятанное,
внешне никак не проявляющееся: в нем железная вытрани-
рованность гэбэшника, такие же, как у всех, бусины вмес-
то глаз, только у него совсем маленькие, черненькие бусин-
ки, ему не более сорока, а может быть, и меньше — здесь
все вечно немолодые, высокий, поджарый, как волк, он
старший, значит, числится в лучших, у него планка от
орденов больше всех... почему они носят планки, а не ор-

дена... чтобы не звенели при исполнении служебных обязанностей?

В Макаке под всем этим есть человеческое, и, когда он дежурит, мне легче: при смене дежурств старшие обходят камеры, слышно, как шелкают ключи, — шелчок ключа, ко мне быстро входит Макака, его бусинки впиваются в мои глаза, и почти слышимо ощущаю: держитесь! И уже без всякой мистики: каши больше, чем в обычной порции, щи гуще, в рыбном супе попадается хвост или голова селедки! Может быть, он мой поклонник по искусству, видел мои фильмы... Сирано... представить Макаку в театре или даже в кино невозможно, все «эти» живут другой жизнью, они понятия не имеют, что оно, это самое искусство, существует... иначе здесь работать невозможно... и чуть не расхохоталась при мысли, что Макака может влюбиться, да еще в такой мешок с костями, каковым я сейчас являюсь... так что же это... не вытравленное, не выбитое, не удушенное человеческое? Он не боится смотреть мне в глаза, прибавлять каши... он же знает, что я не простая птица: у них есть какое-то свое тюремное дело, в котором пишется обо всех вызовах, к кому, когда, он же знал обо всех вызовах к Абакумову, значит, я птица абакумовская, а может быть, и повыше... и он видел мой приговор...

За «намордником» вьюга! Вьюга... Значит, наверное, это уже февраль! А почему это я жду весну, лето? Дурочка, я же приближаюсь к своему концу... нет... на Лубянке умереть не дадут — не положено, в больницу точно не положат... значит, все-таки что-то должно произойти...

Интересно, у меня в голове все еще дома или уже нет... Прогуливаюсь по своей жизни, как по аллее... Мысленно пою: сначала во мне возникает музыка большого оркестра, потом подхватывает мелодия... А может быть, Берия приказал меня арестовать... почему о нем никто ни слова... нет! Нет! И нет! Он, наверное, и не знает о моем аресте... мало ли что я ему наговорила... он над этим, если умный, должен смеяться... моська на слона... а насилье... ему, человеку, привыкшему получать все, чего только он ни пожелает, доставляет наслаждение, как всем завоевателям во все века... только ему от меня было нужно еще что-то другое... когда мы вошли в его загородный дом и я увидела зимний сад с апельсинами и лимонами, он своей лисьей хитростью понял мое удивление, и только мы сели за стол, передо мной, как в сказке, появилось блюдо с этими только что сорванными с веток апельсинами и лимонами... неужели тогда, в первый раз, он меня готовил для Сталина...

Какой невыносимый, тяжелый день... значит, с Георгием Марковичем плохо... его сердце на волоске... его мысли обо мне... я схожу с ума, когда думаю о том, как он ждет моего письма со свободы... до конца ведь всего он о нашем строе не знает... а такое прийти в голову нормальному человеку не может... Георгий Маркович... Нэди — даже в моей-то голове не умещается! Зачем их надо уничтожать! Только за то, что Нэди слишком много знает о Лубянке, так же как та несчастная фрау!

Здесь пол, стены, потолок — все пропитано муками, голодом, страданиями, горем, бессонницей, тоской, давит все, душит... от глазка не отходят! Следствие было игрушкой! Владо выплыл из стен прекрасным, нежным, сияющим, любящим, преданным, сердце с его сердцем бьется ровнее... жизнь выносимее...

Где он? Знает ли маршал о нашем романе? Простил или мстит? Разрешил бы Владо жениться на мне? А если бы я тогда уехала к Тито в Югославию, как бы я жила на чужбине в золотой клетке... я нашла бы своего Марса и поставила бы его в хрустальную конюшню... я была бы богатой и сделала бы всех людей счастливыми...

Неужели весна! Над «намордником» солнце!

Весь день со мной Папа и ослепляющий свет из очей Баби, мы распеваем с Папой его любимый романс: «Вставай скорей, не стыдно ль спать, закрыв окно, предавшись грезам, давно малиновки звенят, и для тебя открылись розы...» Папа и пел не так, как все, только для себя и только в моем присутствии... и все Папа делал не так, как все... он ел так вкусно, так красиво, что сытые начинали хотеть есть, он улыбался так, что все вокруг начинали улыбаться... его лицо передо мной такое реальное, близкое... родное... и его материнские руки... у них с Малюшкой был настоящий роман, и эта пигалица, козявка, эти от горшка два вершка неслись Папе навстречу, только услышав его голос! У нас с Мамой она ревет, как будто ее режут на части, а как только Папа протягивает к ней руки, мгновенно замолкает и шепчет и смеется... так, наверное, было и со мной маленькой... Мама не могла скрыть свою ревность... один раз уже взрослой я видела у Папы в глазах слезы: мы стояли на нашем Никитском бульваре, Папа держал меня крепко за руку, раздался адский взрыв, Папа сжал мою руку так, что захватило дух: взорвали великий Храм Христа Спасителя, построенный на деньги народа героям, спасшим Россию от нашествия французов в восемьсот двенадцатом году... а когда выкорчевывали по приказу Сталина вековые деревья на Садовом кольце, посаженные еще при Петре, я впервые услышала, Папа ругается... «негодяи, ублюдки, изуверы»... представить не могу Зайца студенткой... а Наташа... прижилась ли она в доме... Мама любит Зайца какой-то эгоистической любовью, и ничего у нее, кроме Зайца, кофе и «Беломора», нет. она вела дом, никогда не работала, ни разу в жизни не зашла в магазин, все мы ей приносили... так она и прожила жизнь в невидимых митенках... бедная моя Мама... как моя молочная дочь... она старше Зайца на шесть дней, ей уже тоже семнадцать... у ее мамы началась грудница, пропало молоко, и пришлось мне ее выкармливать... она меня любила... что теперь она думает о моем аресте... Зайчишка мой, в какой институт ты поступила... где экономка... где домработница Паня... она же тоже еще совсем девочка; может быть, только на год старше Зайца... она меня боготворила, смотрела на меня как на икону... ее глаза, когда меня уводили, забыть невозможно... что же сейчас творится в ее душе...

Я счастливая! У меня был Папа! Я была любима! У меня были

в искусстве горячие поклонники... друзья... враги... лет пять назад раздался телефонный звонок, звонила жена того самого милого ревнивого поклонника в Реалистическом театре, со смешной фамилией Аи, посвятившего мне тогда первую в моей жизни поэму, и сказала, что ее муж попал под трамвай и погиб и она хочет прочесть мне найденное в его столе написанное незадолго до смерти стихотворение:

Мухи жгут и не кусаются,
С неба льет весь день вода,
Это осень называется? Да?
Отчего ж в осенней сырости
В сердце выросли цветы?
Это кто их, друг мой, вырастил?
Ты?!

И тихо добавила: «Он любил вас одну всю жизнь»... с той первой поэмы прошло пятнадцать лет... театр звенит во мне, как рассыпавшиеся золотые монеты... это, конечно, весна... ночью слышна капель... и я таю: этот пол я натираю, как и в четырнадцатой камере, до блеска, но теперь только кусочками, за целый день и через день, и это-то уж скрыть от них невозможно... пить воду стала меньше, появились отеки, неужели дистрофия...

Если бы мне сейчас сказали бежать к свободе, могла бы я добежать?.. Рассказывали, что когда открылись ворота нацистских лагерей, все бросились к воротам, многие не доползали и умерли у ворот... А собственно, за что я сижу... как узнать эту тайну... почему я здесь... зачем... жаль, что я не занималась политикой... было бы не так обидно... ну, в этой-то камере я за письмо к Сталину... а вообще... мучительно хочу вспомнить, что же я писала в этом письме... оно получилось большим и, видимо, получилось правдивым — Лубянка и лагерь страшными... иначе бы Абакумов не пришел в такую ярость, перечитав его через два месяца... опять тайна «лубянковского двора»... почему он не вызвал меня сюда сразу, когда привезли... вел следствие... кто привез письмо?!

Мария Прокофьевна не выходит у меня из головы даже во сне... если Борис предал и ее, проклятие упадет на его голову.

Когда я думаю, что ее могли арестовать, а еще хуже — как ее избил муж, узнав о письме, избил так, что и Георгий Маркович не смог ее спасти и она погибла, как тот мальчик из Западной Украины, бежавший из лагеря, которого добились до смерти.

Муки становятся непереносимыми — сорваться нельзя, замуруют в карцер, и тогда мне конец...

Это весна — пробился в «намордник» лучик солнца...

Меняю режим: пол натирать буду только раз в неделю, а все силы соберу на прогулку — надо хоть эти двадцать минут побыть под солнцем... если смогу...

Ртом хватаю солнце! Надо жить! Надо выжить! Я должна выжить! Я хочу выжить! Я буду ходить босиком по траве! Я увижу небо в звездах! Я должна повторять, как молитву, каждое утро эти слова!

Показать, что во мне что-то изменилось, нельзя. Интересно все же: Абакумов сам наблюдает за мной... и если не Берия меня приказал арестовать, значит, все-таки Абакумов...

Надо все собрать по крохам: о пощечине мне сказал Соколов... не мог же министр сказать ему об этом... значит, были где-то разговоры... почему вдруг Абакумов пишет записку и меня забирают больной из постели... привели меня к нему сразу, как только они приступают к ночной работе... несмотря на то что за мной следили, он был удивлен моей болезнью, хотя после Кишинева я больше недели никуда не выходила... что-то ведь он хотел от меня, приказав привести из дома в свой кабинет... потом пустота... потом задним числом был выписан ордер... и приказ Соколову создать дело... зачем... для ордера, чтобы меня документально оформить?... Вспомнить не могу, сколько раз Абакумов вызывал меня для светских бесед с пирожными и фруктами... увезли в Бутырскую тюрьму и тут же обратно... он явно упустил меня из своего лубянковского чрева... и самый странный этот последний вызов... сама мизансцена... не у его стола, а в конце кабинета у конца стола заседаний... почти рядом... ведь тогда в моем сознании промелькнуло, что он меня боится... что он хотел от меня... может быть, это страсть... удивительная... с самой войны... Слова Бориса на встрече Нового года в ЦДРИ: «За колонной новый министр госбезопасности, он в штатском и вообще не имеет права здесь быть»... его глаза неотрывно наблюдали за мной... ценой свободы он хотел добиться меня... страсть, скованная трусостью... он не Сталин и даже не Берия, он рядом с ними плюгавка, он не мог

себе позволить все, что угодно... и Бориса не боялся... видимо, знал его... «будет рядом мотаться со своими пивом, раками и бабами»... ни Валю, ни Макарову, хотя они тоже встречались с иностранцами, он не решился бы арестовать, за их спинами мужья... я погибла бы все равно в лагере, если бы не написала это письмо Сталину... может быть, какие-то подспудные силы заставили Абакумова отказаться от меня... а может быть, он хочет опять довести меня до крайности и опять вызвать на светскую беседу с фруктами и пирожными... нет... нет... и нет... прочтя письмо, он понимает, что его мостов ко мне больше нет, даже ценой свободы... теперь это действительно месть за все, что я о них написала... о нем... об их системе... но опять странно... ну написано письмо... оно у него в руках... о нем никто не знает, и я опять чувствую в нем какую-то боязнь... зачем меня надо уморить в одиночке... может быть, он знает о Берии...

Щелчок ключа.

Макака.

— На прогулку.

Ну ничего в этом Железном Феликсе не дрогнуло, ни в лице, ни в глазах, но я опять слышу его «молодец»: он, конечно же, прочел в моем тюремном деле, что я уже два дня выхожу на прогулку...

Зашевелились мои соседи с левой стороны, правая стена моей камеры выходит в коридор, никак не могут понять, что за привидение, призрак сидит в соседней камере, и начали стучать мне в стену: тут же из-под земли вырос Макака, смотрит на меня в упор, и я опять слышу «ни в коем случае не вздумайте подойти к стене», и тут же щелчок его ключа к соседям, не загремели бы они в карцер...

Тюрьма полным-полна — не набита, как в 48-м, но свято место пусто не бывает — все камеры полны... интересно, какой сейчас свирепствует указ... гэбэшники живут указами, идущими с самого верха: арестовать побывавших за границей; арестовать детей, родители которых арестованы и расстреляны в 37-м году, даже если им только по 17 лет, как Леночке Косаревой; арестовать всех недоарестованных детей «бывших»; арестовать всех, кто общался с иностранцами; арестовать всех, кто позволяет себе жить не по указке... как эта наша начальница кадров в театре, махровая гэбэшница, уговаривала меня вступить в партию... я до смешного подхожу ко всем указам... у них классовое чутье развито, как у хищников обоняние... арестовать снова тех, кто был арестован в 37-м году и нечаянно вышел на свободу... Левушка!

Господи! Спаси от несчастий Левушку, Зайчишку, Маму, Георгия Марковича, Нэди, Марию Прокофьевну!

Понять невозможно, зачем вся эта огромная, страшная маши-

на, работающая бесперебойно, круглосуточно, этот Молох, пожирающий людей: генералы, полковники, подполковники, сглядатаи, подручные, мастера заплечных дел, армия, тома дел, исписанных их руками за тридцать лет... нужно построить высотное хранилище... просто забирали бы людей и расстреливали или высылали... из головы не выходит история, рассказанная Нэди, как в арестованного генерала влили стакан касторки, с ним творилось что-то невероятное, а они потешались...

Соколов знает, что я здесь? Конечно, нет. Не может знать.

Нэди говорила, что Соколов ко мне хорошо относился, а я без ужаса его вспоминал не могу... его лицо в той комнатухе в Лефортовской тюрьме... себя, замерзшую... у раскаленной печи... он создал бы любое дело, если бы ему приказали... как стыдно перед Трилоки за нашу страну... наивный индус, он же никогда не поймет, почему меня вдруг схватили, почему за ним следили, он-то ведь знает, что ничего, кроме романа, между нами не было... почему многого из следствия вспомнить не могу... может быть, когда я подписывала протоколы, мне курили в лицо какой-нибудь дрянью... я никогда не подписала бы ни на кого... ложь... здесь ломают всех... Нэди рассказывала, как мать, подписав протокол против сына, в камере перегрызла себе вену... протоколы, признания, подписи — все это дым... но мне кажется, что мои слова против Сталина, тост против грузин в протоколы Соколова не попали... это самое опасное обвинение... он ни разу плохо не сказал о Папе... он явно знал о Левушке и пощадил меня... он, как и Абакумов, плохо относится к Борису — бросил как-то фразу: «крахмальные воротнички, видите ли, ему нужны каждое утро»... а действительно Борис привык к тому, что каждое утро, когда он выходил из своего прокуренного кабинета, Мама или Паня подносили ему крахмальную сорочку... откуда они об этом знают... может быть, меня арестовали потому, что Борис в нашей семье становился интеллигентнее... а им это не нужно... им нужен верный, твердокаменный слуга... и почему Соколов, зная о моей вере в порядочность Бориса, не разрушал ее... почему он преподнес меня Абакумову как «кроткую»... я его все-таки убедила в своей кротости... когда он читал мою тетрадь, усмехнулся и сказал: «Тихая, тихая, а вот эпиграммку-то о вас написали: «И твоя судьбина будет резкая, если не влюбила Окуневская...»

Прилетел, прилетел! Кроха! Моя пичуга! Чирикает... смотрит на меня... не шевелюсь... не улетай... не улетай... ты тот самый друг с переделкинского балкона... ты нашел меня... ты помнишь, как ты ждал, когда я проснусь, и начинал восторженно чирикать... улетел...

Ох, как мне сегодня плохо! Очень плохо! Ну совсем плохо... и не легкие... сердце... наверное, стенокардия... начинает душить,

жизнь кончается, вздохнуть невозможно, хочется рвануться к форточке... Нельзя! Нельзя показать свое бессилие... что сделать с моим дурацким лицом, на котором все написано, как сделать лицо Макаки — у моего Железного Феликса лицо железное, каменное... неужели нельзя победить тело... ведь сидели же в Майданеке — кожа и кости и не умирали, пока не доходили до полного истощения, а я ведь здесь объедаюсь... значит, держались духом... во всяком случае, умереть мне здесь не дадут... что он от меня хочет... конечно же, не убить, убить он меня может в секунду, чем угодно, когда угодно, как угодно... может, подбежать и разбить окно, перерезать вены... совсем сдурела...

Макака задержался вместо обычных десяти секунд — двадцать, впился глазами: «Ну! Ну! Ну! Держитесь!» А может быть, мне все это кажется из чувства самосохранения... нет, нет и нет... даже душ, если он в дежурство Макаки, страшный, вонючий, осклизлый, тоже в подвале, как в Лефортовской тюрьме, кажется не таким страшным.

Почему я Бабанову не смотрела десять, двадцать, тысячу раз... почему в сумятице жизни все было некогда... удивительный, тонкий, сияющий цветок среди чертополоха... а Коонен... она была, наверное, уже в возрасте, и все юные безапелляционные типы вроде меня, конечно, заявили бы: «Старуха», — а я даже сейчас вспоминаю ее без возраста и почти физически ощущаю ее заманивающую, дурманящую магию — она несла в себе мир... когда в «Любви под вязами» спускалась по лестнице на любовное свидание с пасынком, когда в Клеопатре прикладывала к сердцу змею... я это видела!.. Я счастливая!.. Для меня Гилельс впервые сыграл Вагнера... Я была поражена, как громом... если бы я сейчас услышала эти звуки — ох, Абакумов, долго бы я смогла еще сопротивляться вашей кровавой клике без роду, без имени, без отчества... дали бы побродить по лесу босиком... дали бы понюхать, потрогать пармские фиалки, это созданное самим Богом чудо изысканной простоты... послушать Караяна... прикоснуться к Апухтину, Лермонтову... дали бы бумагу и карандаш как наверняка, даете Жемчужиной — я бы написала что-нибудь похлеще «Капитала»... дали бы книги... я ведь даже своих классиков знаю только по школьным урокам... интересно, буду ли я играть свои роли лучше... сыграю ли я когда-нибудь Гамлета... а что Жемчужиной сейчас в передачах приносят диабетическое, все-таки поди сам Молотов собирает передачи... а что бы сейчас съела я... стоп...

Вот и весна ушла — наверное, скоро год, как я сижу в одиночке... в камере стало душно, жарко и во дворе на прогулках в вонючем, каменном мешке тоже... Опять начала кружиться голова... на крышу меня не водят... и хорошо... Там совсем рядом слышны кремлевские куранты и людской гул...

Я не ошиблась. Это не мистика. Мой мир перевернулся: обед вносит сам Макака, как всегда, холодный, жесткий, безразличный и опять без звука: «Не сразу ешьте, будет плохо». Начинаю осторожно есть ши... кашу... на дне миски кусок сливочного масла... собрала себя в комок, чтобы ни слезы не упало в миску, и даже с неприязнью съела две ложки каши, но оставшуюся волю собрала в кулак, чтобы не наброситься на эту кашу, не предать его, он должен знать, что со мной можно ходить в разведку.

Теперь я в дежурство Макаки ем или сладкие, как компот, кислые ши, не знаю, сколько кусков сахара он в них кладет, или кашу с жиром на дне миски...

Так хочется спросить у него, где Нэди. Он знает здесь всё — знает опытом, чутьем, знает, куда выводят, зачем, это его «дважды два», его альма матер, но я не смею заговорить с ним, я его подведу... и когда меня ведут в душ, в этот страшный подвал, в котором Нэди встает передо мной окровавленной, в этих подвалах расстреливают, я, наверное, начинаю метаться, он тогда опять впивается в меня глазами...

Проснулась и ощутила на лице брызги моря... волны накатываются и ласково, спокойно откатываются, и мы сидим босые у кромки воды и брызгаемся... Зайчик, Ядя и я... а потом гудок парохода, и в сердце стучится из глубины веков мое волжское, саратовское, и так сладко, тоскливо... когда было возможно, Зайчишку и Ядю брала с собой... в замерзший в белых ночах Ленинград... в Зимний дворец... в «Давида Гурамишвили»... в Ригу... в Боровое... в Боровом были кони, и я научила Зайца ездить на коне... Зайчонок мой... как ты сейчас живешь между Мамой и Борисом... как тебе... стоп...

Запрещаю себе думать о доме, о еде, о Нэди, о моей стране! Я запрещаю себе думать о том, что может довести меня до неистовства, кричать, биться в двери камеры! Я должна выжить! Я обязательно должна выжить! Я обязана написать своему народу о нашей стране, о том, что творится в ней, я должна поднять го-

лову из холуйства, в которое нас втягивали, подкупали, делали нас такими же, как они сами!

Улыбаться я научилась тоже про себя, совсем невидимо: перед моим арестом было громкое «дело» одного из «этих», какого-то Александрова, члена ЦК по культуре: их поймали где-то на даче, погрязших в разгуле и разврате, и мне сразу представился, только бы сейчас опять не расхохотаться, утонченный разврат этих «вождей»: сняли брюки и, напившись, бегают по даче в кальсонах с развязавшимися тесемками.

Все чаще всплывает образ полковника, сидящего на следствии молча, в углу комнаты... совсем молча... смотрящего мне в лицо... неужели это действительно родной дядя, сводный Мамин брат... перебираю в мозгу все, что запомнилось из детства: тайна знакомства с их семьей только одной Мамы, они переехали из Саратова жить в Москву... жить и работать... когда я стала взрослой, Мама сказала, что дядя работает в органах... Баби разошлась с Дедушкой, когда Мама была совсем маленькой, ее воспитывал отчим... Дедушка тоже женился во второй раз, и родился сын, полковник госбезопасности — ну просто как в плохом детективе... Мама совсем не похожа на Баби — значит, похожа на Дедушку... кто он... я даже не знаю его фамилии... этот полковник, значит, похож на свою маму... он всматривался в меня... искал свои черты...

Это все, что я знаю о своей родословной от Мамы! Безродная! Подкидыш! Будьте прокляты эти революции и наша, сметающие всё человеческое... все лучшее в нации... в отечестве...

О Папиной родне я тоже не знала бы ничего, если бы не Тетя Варя — все было тайной, все скрывалось, чтобы не было беды, неприятностей: их было шестеро — три сестры и три брата, они откуда-то с Запада, из сестер осталась только моя Тетя Варя, а две другие после революции оказались за кардоном, в Литве: одна исчезла бесследно в жерновах революции, и тоже взрослой я узнала от Тети Вари, что другая ее сестра нашлась и живет в Литве, я и приехала после войны, когда Литва опять стала нашей, искать свою вторую Тетю, нашла ее в Паневежисе и оказалась на нее похожей; старший Папин брат как-то где-то погиб, нас с Левушкой никогда не видел, среднего — Папу — перенесло с запада на восток в Саратов, и он женился на Маме и, если верить Соколову, поступил служить в полицию. Дедушка мой был учителем, на каком языке преподавал — на русском, польском или литовском — неизвестно, и все три сестрички тоже стали учительницами, а младшего брата Дядю Вольдемара, когда Дедушка и Бабушка умерли, воспитывал Папа. Дядя Вольдемар ушел на ту первую войну добровольцем, офицером в драгунский полк и вскоре погиб, он успел увидеть меня и Левушку и был от нас в восторге... и это тоже все, что я знаю о родословной Папы.

Интересно, я разучилась говорить... какой у меня теперь голос...

Дождь! Дождь! Будет легче дышать! У меня в голове то свинец, то мозг легкий, как пушинка, и тогда я в своем единственном путешествии за границу... и тогда я в детстве... с Левушкой... какой он был смешной... любимый мой бурбон, мой чемордан, моя шерлохладка... Рождество в Праге... я впервые в католической церкви... сияние белизны... восторг, как в русской церкви... Бухарест... для меня испросили разрешения у королевской семьи осмотреть нежилую часть их замка, королева и молодой король Михай еще не уехали за границу... замок замком, а меня сжигало увидеть своими глазами живых царствующих особ, и я просто так, непонятно почему, проходя по двору, поднимаю глаза и вижу в окне второго этажа прямо на меня смотрящее, улыбающееся, удивительной царственной красоты лицо короля Михая... сердце покапало... смешная история в Югославии: въезжаем в город Мостар, а он совсем не славянский — и дома, и улицы, и кофейни, и женщины в чадрах, и мой переводчик Лалич спрашивает по-сербски у проходящей мимо женщины в чадре, как проехать к гостинице, — чадра спадает, и под ней русское, курносое, румяное, набитое жемчужными зубами, смеющееся лицо, и заболтало залилось восторгом: «Здравствуйте, госпожа Татьяна, как мы все вас ждем, билеты на ваш концерт достать невозможно...» — ее отец из глубины России, крестьянин, был мобилизован в первую войну, попал в плен, женился на мусульманке, и вот теперь перед нами крещенная в двух религиях Маша, она же Зухра... а какая интересная вся Югославия, и сами югославы этого не понимают: на крошечной земле, которую можно пересечь вдоль и поперек, не сходя с машины, несколько прелестных маленьких государств, совсем, совсем разных... красивое большое одеяло, сшитое из разных красивейших кусков: словены, как австрийцы, светлые, с непонятно как возникшим в горах, висящим хрустальной вазой ледяным озером Блэд, с гондолами, с гондольерами, распеваящими словенские певичие песни... я там потеряла свой несуществующий голос... а рядом норовистые хорваты... уже больше похожи на славян... вилла Вайс... профессор, вернувший мне голос и так ненавидящий коммунизм... сербы уже почти как мы... а уж совсем как русские — черногорцы, они, наверное, и названы так потому, что их горы суровые, голые... правительственный обед в мою честь из свекольной ботвы... черногорцы смешали свою кровь с нашим царским родом... Владо... и совсем уже ничего не остается от славян в Боснии... в Герцеговине... восточная медлительность... тяга к помпезности... непростота... в Сараево ночь перед концертом я не сомкнула глаз, в волнении бродила по дворцу: меня поместили в царском дворце, и спала я ни больше ни мень-

ше как в постели монарха... а монастырь в Родопах... настоятель... его благословение... магнолии... в Будапеште нельзя было нигде достать для Гизи Бойер цветы — все разбито войной, инфляция, и моя переводчица догадалась, что единственное место, где возможно найти цветы, — около кладбища, и когда я преподнесла после спектакля Гизи огромные белоснежные хризантемы, она от изумления не могла говорить... Марика Рёкк... в Вене... подошла ко мне после концерта, схватила мои руки, прижала к груди и так взволнованно лепетала что-то по-немецки... а отель «Империял»... а моя фрау и мой пес, и ночное кабаре, и цыганский барон... а очаровательные Джиласы в Белграде: он — второй человек в стране, она — министр культуры, и после приема у Тито они задумали простую вечеринку, дома, совсем как у нас, с картошкой, селедкой, пирогами, с друзьями... кутили до утра...

Боженька! Миленький! Помоги! Помоги мне! Мне же совсем плохо... Макака меня осуждает: отказалась гулять... он не понимает, что я задыхаюсь в этом вонючем колодце, потом мне плохо, не знаю, сколько времени мне плохо, но, кажется, несколько часов... а может быть, так надо, чтобы как можно скорее было совсем плохо... чтобы кончился этот ад... Жемчужина ведь ходит бодро... а я еле таскаю ноги на оправку... там в морозильнике в Лефортовской тюрьме не надо было прыгать, согреваться, они все равно доводят до определенного состояния, и пусть скорее придет эта точка и меня куда-то потащат...

В мозгу молоточком отбивают стихи Апухтина:

Черные мысли, как мухи, всю ночь не дают мне покою:
Жалят, язвят и кружатся над бедной моей головой!
Только прогонишь одну, а уж в сердце впиалась другая, -
Вся вспоминается жизнь, так бесплодно в мечтах прожитая!..
Хочешь забыть, разлюбить, а все любишь сильнее и больше...
Эх, кабы ночь настоящая, вечная ночь, поскорее!

Я счастливая! Я же знакома с Пастернаком... кстати, где Марта... как она восприняла мой арест... я с ней подружилась и общалась до самого ареста... это из-за нее я попала в гости к Пастернакам: у них в посольстве был прием в честь лучшего их поэта Незвала, прилетевшего к нам в гости, Незвал — друг Пастернака, он, конечно, знал об опале и травле, может, поэтому и прилетел и попросил Марту соединить его немедленно по телефону с Пастернаком, Марта прибежала и сказала, что тот рад и ждет его немедленно к себе, меня подхватило как одержимую — попасть к Пастернаку с Незвалом, — я уговариваю Марту опять позвонить Пастернаку, умолить его разрешить приехать и нам, а «мы» — это Борис, я и Валя с Костей, но Марта этого уже сделать не имела пра-

ва, и я кидаюсь к Незвалу, прошу, умоляю, он идет звонить, и мы можем ехать с Незвалом, я же, как всегда, не знала, что Костя и Борис — олицетворение всех этих «кампаний», всей этой травли, и произошло невероятное: Костя отводит Бориса в сторону и что-то с грубым лицом, значит, грубое, начинает ему говорить, у Бориса наливаются затылок, он молча все выслушивает, отводит меня в сторону, начинает нечленораздельно лепетать: ехать к Пастернаку неудобно... нельзя... не нужно... что им с Костей... что они с Костей... я твердо заявила, что поеду одна.

Оказывается, великий поэт Симонов не хочет ехать к плохому поэту Пастернаку! Стыдно перед Незвалом, но Борис все-таки со мной поехал.

Дверь открыла жена Пастернака, но тут же влетел в прихожую сам Пастернак, пьяненький, очаровательный, обхватил Незвала, плачут, целуются, открытые, искренние, на нас совсем не обращают внимания... Пастернак потащил одетого Незвала в комнату, жена гостеприимно нас раздела, входим: на столе еда, бутылки — пир, а за столом Борис Ливанов, теперь обнимаются и целуются втроем, потом этот могикинин увидел меня, обнял так, что хрустнули кости, закружил и своим неповторимым ливановским голосом заревел «звездочка наша, наша прелесть», но оба так и не видят Бориса... я краснею от стыда... они перед ним не заискивают, как другие литераторы... Такой Борис жалкий, этот вождь русской литературы... как же можно любить такого человека... ведь можно же полюбить нелюбимого за его душевную красоту, за его поступки... а дальше я замерла: Ливанов, оказывается, пришел к Пастернаку, чтобы прочесть только-только переведенную Пастернаком главу из «Гамлета», выпили еще и зело пьяные приступили к чтению теперь уже для Незвала...

Такое в жизни бывает раз... гениальное... меня передергивает, когда это понятие употребляется всуе, но здесь это так.

А может быть, Абакумов ждет, чтобы я сошла с ума... а может быть, сыграть сумасшедшую... у Пети Алейникова глаза не просто красивые, не просто очень красивые... они с двойным видением... они здесь на земле, но видят что-то большее... там... Иисусовы... глубокие... и пил он не просто, вот все ничего, все хорошо, вдруг наткнется на что-то вопиющее, несправедливое, омерзительное, и пошло, и поехало, а потом уже запой, и Ольга моя Берггольц... так и у нее было... она познакомила меня с Анной Андреевной Ахматовой, а Анна Андреевна познакомила меня с Михаилом Михайловичем Зощенко, и между нами возникло теплое, добросердечное, а после разгрома Михаила Михайловича я не смела даже ему позвонить, потому что Борис тоже имел ко всему этому отношение... я на коленях умоляла его не ехать в Ленинград на разгромное собрание... поехал Костя.

Сколько Михмих — это я его так прозвала — рассказал мне интересного! Как гадал на картах... он же мне тогда нагадал... нагадал... что у меня после тридцати лет будет катаклизм... вспомнила, где это было, как он это сказал... тихо, мягко, как всегда, каким и сам был, и сказал именно «катаклизм», наверное, боялся меня напугать словом «катастрофа»... помнит ли он об этом... в нем есть мистическое... он видел мир не так, как все... то, что он пишет, совсем не совпадает с этим видением... он рассказал мне, как в гражданскую войну, когда он был офицером Белой армии, они заняли какой-то большой город на севере, кажется Архангельск, и кутили в офицерском собрании, Михмих сидел за карточным столом и вдруг вскочил, выпрыгнул в окно и побежал по саду, через минуту ворвались красные и всех, кто был в собрании, перестреляли...

...ты от бабушки ушел, ты от дедушки ушел, ты от смерти ушел... а вот от советской власти не смог! Его глаза были таинственными, черными... они проникали в душу... и совсем, совсем другими, чем Петины глаза... когда думаю о Пете, всегда всплывает «Континенталь»... была между нами дружба без всяких ухаживаний, а в «Континентале» была совсем не гостиничная, а теплая, домашняя атмосфера... в первый же приезд после войны в Киев я побежала к «Континенталу» — руины, обломки... немцы ли взорвали или мы сами, отступая, неизвестно зачем рванули... я боялась, снимаясь в «Пархоменко», пополнить, а в «Континентале» вообще кормили очень хорошо, но были еще знаменитые эклеры с вкуснейшим кремом, оторваться от них было невозможно, их выпекали к двенадцати часам и, если мы не на съемке, бежали — лифта в гостинице не было — сломя ноги в буфет, чтобы еще теплыми их вкусить... они были маленькими и заглатывались целиком... и Петя! Петя!.. Он во мое спасение вставал против меня и, глотая эти самые эклеры, спокойно, как бы невзначай, говорил: «Да, сегодня этот крем изумительный, зеленоватый, он похож на гной, вынутый из умирающего сифилитика...» Все хохотали, и что бы потом Петя ни придумывал, все равно съедали свои десять эклеров, называя их «гробиками с гноем», и так пошло это и пошло по Киеву... а после очередного, как всегда нелепейшего, награждения наших творцов Петя придумал загадку, и если ее разгадывали, он покупал десять «гробиков с гноем»: «Что такое десять лауреатов в одной постели?» — а в кулаке держал записку с ответом. Ну как тут угадаешь: и Пырьев с Ладыниной, и Герасимов с Макаровой, и Александров с Орловой... а Петя что-то с ответом в кулаке мухлевал и никто никогда не угадывал, и он никогда «гробиков с гноем» не покупал, а мы просто с ума сходили, чтобы его поймать... когда я снималась в Киеве в «Горячих денечках», появился у меня поклонник и был он замес-

титель министра НКВД Украины, и предлагал он положить к моим ногам и партбилет, и карьеру, чтобы я вошла в его дом хозяйкой... и кроме меня был он влюблен еще в авиацию, был хорошим летчиком, и был у него свой самолет, Петя все это знал... а я привезла с собой на съемки Маму с Малюшкой и сняла им под Киевом дачу, но съемки каждый день, и мне приходилось ночью везти им продукты, а утром возвращаться прямо на съемку, и Петя придумал, чтобы этот страстный поклонник сбрасывал с самолета на бреющем полете продукты, и этот летчик с восторгом согласился, дабы доказать мне свою любовь и свою храбрость, и снижался над дачей, летел чуть не по верхушкам деревьев, а крошечная Малюшка, счастливая, ползала на животе под кустами, разыскивая эти дары... и все были счастливы, и счастливее всех Петя... через много лет, будучи уже знаменитым, Юра Тимошенко рассказал мне, как тогда в Киеве мы пригласили его, выпускника Театрального института, к нам в «Континенталь» на ужин, надеть ему было нечего, и Петя достал для него в костюмерной студии костюм и довольно красивые туфли, но почти без подошв — зияли дыры, и счастливый, влюбленный в меня, как он выразился, «по уши» Юра так и танцевал со мной, об этом Петя столько лет не обмолвился ни словом... этот ранимый Жан-Кристоф... ну почему жизнь разводит меня с прекрасными людьми и заставляет жить с неинтересными, ненужными... с чужими... с плохими... я не хочу с ними быть... кто-то мне сказал с упреком: вы придумываете людей, и поэтому у вас разочарования!.. Да, я всегда думаю, что в людях не может не быть интересного... хорошего... веришь... и вдруг оказывается, что ничего этого нет... что он подлец, предатель, провокатор, стукач, вор... это хуже любого горя — горе можно пережить... хуже смерти...

Неужели Борис выдал Марию Прокофьевну?.. Стоп... стоп... стоп... тихо... тихо... надо в сотый раз все продумать... и только факты... только поступки: вот Мария Прокофьевна пришла к нам, Бориса дома нет; вот Мария Прокофьевна знакомится с Мамой, отдает ей письмо, пьют чай; вот Мария Прокофьевна уходит и из первого же почтового отделения дает нам в лагерь условленную телеграмму; вот Мама отдает письмо Борису... если он от меня отказался, он должен его оттолкнуть... но начинается Достоевский, его влечет на место преступления, и он письмо читает... и... или отдает Келлерману, или кладет письмо в стол, где его и находит рыскающий по ящикам Келлерман и несет прямо к Абакумову... такая честь мелкому стукачу, отдать документ самому министру... или сам Борис звонит Абакумову и приносит ему письмо... стоп... стоп... я не смею себе это представить — мне станет плохо... но, не увидев в столе письма... стоп... откуда Абакумов может знать, что была женщина в зеленой кофте с мальчиком... только Мама могла сказать об этом Борису... но хоть капля совести в Борисе должна же быть... ему стыдно идти к Абакумову самому... хотя как члену партии это тоже делает ему честь; вывести врага народа на чистую воду... уф... какой черный день... в камере духота... факт остается фактом: письмо адресовано Борису; лежит на столе Абакумова; а я погибаю здесь... надо было писать это письмо?! Надо! Что бы ни говорил Георгий Маркович — надо... это был последний шанс, последняя надежда помочь всем хоть чем-то... выше уже никаких инстанций нет... верю я, что Сталин не знает ни о чем?... нет... надеюсь... если бы арестовали не меня, а Бориса, бросила бы я его после его клятвы в Перedelкино, на коленях, в луже, «я за вами на край света»?.. бросила бы из-за семьи, но никогда не отказалась бы от него, делала все возможное, чтобы тайно его поддерживать... сколько бы я прожила с Борисом еще, чтобы не разрушать семью... ради Мамы... теперь Зайчишка повзрослела и все поняла бы сама... наша жизнь была терпимой, даже с проблесками радости... даже счастья... это, наверное, потому, что все одиннадцать лет в разъездах... и я незаметно для себя втянулась в нашу семейную жизнь...

Борис все-таки научился каждое утро менять крахмальные сопочки, но меня поражает, как от них с Костей все хорошее отскакивает... как орехи о стены... да и не только от них... от всего поколения, родившегося в революцию, ворвавшегося в жизнь и уничтожавшего то другое, которое все хорошее впитывало в себя... даже у способных, даже у талантливых, даже у добрых, даже с хорошим характером... пустота, интеллект отсутствует... и остальное тоже... манера разговаривать... жесты... все те же грязные ногти, руки... про бывшего министра культуры злые языки сочинили анекдот, очень похожий на быль: министр приезжает впервые в Париж, и горничная, специально к нему приставленная со знанием русского языка, спрашивает, в котором часу приготовить ему ванну, и он отвечает: «В субботу, матушка, в субботу!» Воистину «Не страшен министр культуры — страшна культура министра»... У Козьмы Пруткова есть афоризм: «У людей голова похожа на кишки, чем их набьют, то они и носят»... неужели Борис знал о моем аресте... он так метался по квартире в день моего ареста... он нервничал... он опаздывал в союз... а потом терзал всех домашних бесконечными телефонными звонками с вопросом, какая у меня температура, как я себя чувствую...

Браунинг! Браунинг! Зачем он его повез в Кишинев и выбросил... стоп... стоп... почему в последнее время стал везде со мной ездить... Боровое... Кишинев... почему у Бориса всегда в глазах какая-то настороженность... он не смотрит прямо в глаза... с ним нельзя сесть спокойно поговорить... он весь в делах... в карьере...

Где-то нечаянно услышала, как Борис, не видя меня, убеждал кого-то, что я взбалмошная, вздорная, видимо, сглаживая какое-то мое высказывание, не уместяющееся в этих головах... почему ни у Бориса, ни у Кости не складывались отношения с интеллигентными настоящими писателями... те, наверное, считали их выскочками, журналистами, выплунутыми войной... а действительно, что бы написали и Борис и Костя, если бы не было войны... о чем... и тех, других писателей, конечно, отталкивало печатание книг незаслуженными тиражами... как реагировал на мой арест Костя... последний раз я виделась с ним, когда он принес мне в театр свой рассказ «Ночь над Белградом», основанный на песне из этого фильма, и уговаривал, чтобы именно я его и прочла и спела эту песню... Япония их чем-то сблизила, я это чувствовала... но в доме у нас Костя так и не появлялся... новой квартиры не видел... где мои письма к Борису на фронт — он ими жил... я обращалась к нему в письмах «мой генерал»...

Невыносимо... ах, если бы сейчас тюрьму мог потрясти оркестр... Бетховен... «тебя я, знойный сын эфира, возьму в незвездные края, и будешь ты царицей мира, подруга вечная моя!..» ничего более прекрасного, гениального на Земле быть не может!

Шелчок ключа.

На допрос.

Все. Без вещей. Расстрел. Колени не держат, сползла по стенке, из-под земли старший надзиратель, подхватили под руки.

— Сама пойду!

— Одевайтесь скорей! Скорей!

В щели «намордника» рассвет.

По коридору двенадцать шагов до железной двери на лестницу тюрьмы.

...какой смешной я была маленькой... кто выдумал про бесклассовое общество... чушь какая... я жила в классовом... не своем... чужом... Костя... Борис... Митя... все коммунисты... все вожди... это класс... чужой... мне... моей стране... моему народу... они специально калечат народ... отняли веру... родину... семью... превращают в быдло... почему государством должны управлять рабочие и кухарки... почему не самые умные, талантливые, гениальные?..

До двери девять шагов.

...хорошо, что в нашем государстве расстреливают без суда, без следствия всех подряд... своих... чужих... и в затылок... интересно, что будет со мной, если в лицо... если сам Абакумов... упаду на колени, буду вымаливать не стрелять... нет уж, дудки... еврея ведут на казнь и спрашивают, чего бы ему хотелось в последний раз... спелой вишни... но сейчас зима... ничего, я подожду... что будет с Макакой, когда он догадается, куда меня повели... к Маше подходит профессор, седая мохнатая птица, в голосе его тихом вдруг просыпается медь, он начинает строго: Маша, вам надо учиться, а получается ласково: как вы будете петь... и голуби, голуби, голуби аплодисментов вылетели у зрителей из каждого рукава... стихи плохие, но я их читала с упоением... в фойе какого-то кинотеатра... в Горьком...

Семь шагов.

...красивое платье, сшитое Еньджей... зал взорвался от восторга, когда я появилась на сцене... в Белграде... какая сила занесла меня сюда... Папа... мой прекрасный, гордый, несчастный, единственный, любимый, бедный... Папа... его также вели... и Баби несчастную, талантливую, ясноглазую, домашнюю... ведь она-то никакой не царский офицер... моя шерлохладка, мой бурбон, мой братец, как ты смог вырваться из этого человеческого месива... без права переписки... кем-то гениально придумано... расстрел... Москва бы криком кричала... стонала... а так все непонятно, без права переписки... почему это они столько времени со мной возятся... к стенке, и всё...

Три шага.

...в душе просторно и гулко, как в огромном храме... есть ка-

кая-то схожесть Сталина с Гитлером... за дверью сразу все решится... в подвал — расстрел... прямо к Абакумову... наверх к следователю... к какому следователю, у меня нет следователя... как должны жить на земле убогие, жалкие, глупые, бесталанные... за счет умных, талантливых, сильных... аристократия всего мира появилась из тех, кто догадался умом, талантом обрабатывать землю, умело воевать... узкая тропинка между расстрелянными телами, они еще теплые, шевелятся, я иду по этой тропинке боком, чтобы не касаться тел, их горы, они так высоко, закрывают мне солнце, ноги по шиколотку в теплой крови... Папа, конечно, стоял лицом, и я должна стоять лицом, даже глаза не закрою, пусть стреляют в глаза... говорят, что у некоторых убийц начинают дрожать руки, и они не попадают...

До двери шаг.

Шелчок ключа.

Наверх к следователю.

Жива.

Это не этаж Соколова.

Противный. Противнее Комарова. Разжиревший. Нагло меня рассматривает.

— Почему вы в следственной тюрьме с приговором?

Я не могу говорить, выдавить из себя слова.

— Ну!

— Е... а... ю...

— Все еще продолжаете валять дурака!

— А... А... А...

Я могу говорить! Я просто заикаюсь! Какое счастье! Телефонный звонок. По тому, как эта жирная тварь вскочила, звонок не простой, а может быть, даже «сам»: тварь побелела, вскочила, вытянулась в струнку, мысленно взяла под козырек.

— Рюмин! Извините, сейчас выведут заключенного! — Зажал трубку, заревел: — Убрать ее немедленно!

В «наморднике» совсем рассвело.

Голова разорвется от догадок.

— На выход с вещами.

...расстреливать не поведут с вещами... а могут и повести... едем долго... вносят под руки в комнату, я должна назвать себя, статью, срок, еле выдавливаю буквы, полковник не выдерживает и читает за меня по формуляру, а я киваю головой. От моего несходства с той, какой меня знали, он тоже начал заикаться.

Притащили в большую, светлую камеру, два окна, вместо «намордников» стекла замазаны белой масляной краской, просвечивает солнце, настоящее, слева у стены железные койки, впаянные в пол... зачем?.. это не похоже на Лефортово, это с широкими коридорами довольно симпатичная тюрьма, притащили на второй этаж, надзирательница женщина.

— Ложитесь и если не сможете постучать в дверь, окликните меня, я все слышу.

...Шерстяные одеяла... почти белое белье... уж не сад ли это пыток по Октаву Мирбо... жду, когда на лоб упадет капля воды... заснуть не могу...

Щелчок ключа.

Кто-то в белом халате, женщина, почти приветлива.

— Примите снотворное, поверьте мне, вы столько вытерпели, а теперь можете сломаться.

— Нет. Засну сама.

И пошли по всем пустыням мира верблюды... один... два... тысячи... и Нэди их погоняет...

За окнами темно... ночь или вечер... не будили даже поесть.

И опять эта великая дама — надежда где-то промелькнула тенью.

Меня откармливают больничным питанием, не трогают, дают лежать, спать, вывели под руки на прогулку...

Уже, оказывается, глубокая осень, а меня привезли на Лубянку прошлым летом... прогулочный дворик тоже странный, маленький, только что сколоченный из свежих досок, в углу большого двора... даже скамейка... может быть, меня откармливают, как индейку к Рождеству.

Шелчок ключа.

— На допрос.

Так же стул и столик около входной двери, как на Лубянке, напротив в пандан к тюрьме довольно симпатичный молодой мужчина в военном...

— Здравствуйте! Я полковник юстиции прокурор Кульчицкий, я буду пересматривать ваше дело, вы уже совсем молодцом! А пока вам трудно говорить, попробуйте писать, врачи говорят, у вас простое заикание, можно даже как бы напевать, тогда легче выговаривать слова, у нас вы можете говорить все, вы под защитой прокуратуры. Расскажите мне, какие отношения вас связывают с Абакумовым?

— Н... ка... ие.

— Не волнуйтесь, не надо говорить, мы вам дадим в камеру бумагу и ручку, и вы все напишите. Договорились?

Что же опять происходит? Что же опять делать? Передо мной бумага и ручка, и я могу повторить дословно все, что в письме на столе у Абакумова...

Я совсем сдурела... увидела чистое белье и совсем сдурела, это же опять абакумовский допрос, он хочет знать, сломалась я в одиночке или еще нет... и протоколы, составленные гэбэшниками, не документы, а ведь здесь-то все будет написано моей рукой с моей сознательной подписью... куда мое писание попадет... опять на стол к Абакумову?..

Кульчицкий производит впечатление человека порядочного, но после гэбэшников все военные будут мне теперь казаться интеллектуалами, даже милиционеры.

Писать о письме из лагеря категорически не надо... о пощечине тоже... кроме Георгия Марковича никто о ней не знает... научиться говорить... с утра до вечера и с вечера до утра и во сне тоже повторять буквы, которые заедают.

Написала записку Кульчицкому: «Писать нет сил, подождите, я скоро смогу разговаривать».

Заедает буква «п», будь она неладна...

Меня рвет от больничного яйца и масла, так же было и с Нэди, — не ем, но зато досыта наедаюсь щами не из гнили и кашей. Завтра напишу Кульчицкому, что уже разговариваю, неизвестность мучает...

Лекарств никаких не пью и уколы делать не разрешаю.

Где-то близко мужские голоса, хохот, мат... как это может быть... на Лубянке могильная тишина... в дежурство моей надзирательницы подошла к форточке и сколько есть сил запела: «Кто рядом?» Пауза. «А где ты сидишь?» — «Не знаю». Гогот. «А, в нашей камере сидишь, нас оттуда вышвырнули». — «А где я?» — «В Матросской Тишине».

Шелчок ключа, надзирательница укоризненно смотрит на меня, я ее подвожу, а она меня на плечах притащила из туалета, когда мне стало дурно, не оставила лежать на каменном полу, пока прибежит подмога: она моя поклонница и все шепчет про себя: «За что вас-то». Она знатная ткачиха из Иванова, комсомолка, ее по комсомольской линии мобилизовали, срочно обучили всему этому, она ничего не понимает, в шоке от того, что видит и слышит.

Эта знаменитая уголовная тюрьма... эта надзирательница... почему уголовников переселили... мы, сидящие в этих камерах по одному... кто эти «по одному»... зачем...

Шелчок ключа.

На допрос.

Кульчицкий вежлив, даже приветлив, расспрашивает про Лубянку, про Абакумова, опять о моих с ним взаимоотношениях.

...почему о Лубянке... если он гэбэшник, он же все должен о Лубянке знать... и вдруг о моем нелегальном письме из лагеря, писала ли я такое письмо... откуда он может знать о нем...

Я смертельно устала, а у него, по-моему, от моих песнопений началась адская мигрень, он побледнел и в глазах Иисусова мука.

— У вас есть просьбы?

— Сообщить домой, что я жива, после двух писем из Джек-казгана они ничего обо мне не знают, им в голову не может прийти, что я полтора года сижу в одиночке, рядом с ними, и если я здесь для пересмотра дела, почему опять в одиночке?

Шелчок ключа.

Вводят молодую, хорошенькую женщину, я почему-то ей совсем не обрадовалась... странная она... без конца болтает, уговаривает меня есть, арестована за какой-то анекдот, когда я спросила, почему она в прокурорской тюрьме, сказала, что подала заявление о пересмотре своего дела, и таинственно сообщила, что она любовница Абакумова и что по-настоящему ее арестовали за то, что болтала об этом, «похвалялась», абсолютно неинтеллигентна, «гапка», но аппетитная, крашеная блондинка, не без секса, душка во вкусе военных, и наконец сказала, что на свободе она слышала, что и я была любовницей Абакумова, правда ли это?... для «наседки» она уж слишком глупа.

— А сколько вы сидите?

— Уже год.

Я улыбнулась: темные корни ее крашеных волос не отросли ни на миллиметр и с ногтей только что снят лак.

Написала записку Кульчицкому: «Заберите вашу прекрасную даму, я ее ночью задушу». И дамы не стало...

«Наседка»... зачем... бедная Нэди, ей приходилось годами терпеть таких...

Я опять одна.

Доламывает бессонница. Тысячи верблюдов прошли вдоль и поперек все пустыни мира, но снотворное принимать не буду.

Повалил снег, моя вторая зима в Москве. Спрошу у Кульчицкого, какой год, месяц, день и сколько я уже в Москве...

В камере тепло и сухо...

Щелчок ключа.

На допрос.

Кульчицкий не один, с ним тоже довольно симпатичный пожилой мужчина в генеральской форме.

— Здравствуйте, я Главный военный прокурор Советского Союза, мне надо задать вам несколько вопросов. Вы были близки с Абакумовым?

— Нет.

— И он не посягал на близость?

— Нет.

— Вы писали нелегальное письмо из лагеря?

— Нет.

— По окончании дела зачем вас привезли из Бутырской тюрьмы на несколько суток обратно на Лубянку?

— На допрос.

— Допрашивал Абакумов?

— Да.

— О чем он спрашивал?

— О приеме у Тито.

— В который раз?

— Не помню.

— И потом обратно отвезли в Бутырскую тюрьму?

— Да.

— Сколько раз вас вызывал на допросы Абакумов?

— Не помню.

— Где происходил последний допрос — на том же месте, где и предыдущие? На положенном месте?

— Не помню.

— Кто вас в последний момент не выпустил с театром в Югославию? Из-за вас же театр пригласили в Югославию.

...мог и Берия... мог и «сам», если ему доложили о Тито...

— Не знаю.

— Кто изъял вашу фамилию из списка награжденных югославскими орденами?

— Не знаю.

Увели.

Что происходит теперь... если это пересмотр моего дела, почему опять все об Абакумове... и почему пересмотр... я же в инстанции не писала... как работает эта адская машина... откуда Со-

колов и все они могут знать о пощечине Абакумову... о приеме у маршала Тито... о том, что меня в Югославию не выпустили... и уж тем более что изъяли из списков награжденных... об этом мог знать только Берсенев... я не знала... интересно... знали Борис и Костя... Валя орден получила... значит, до официального дела у них существует какое-то «поддело», в котором есть все обо всех... привычки, вкусы, но нас же двести миллионов... или только на нужных им... выборочно... на несогласных...

Попробовала черенком ложки процарапать дырочку в масляной краске на окне и отшатнулась — краска поддалась, она свежая и прямо передо мной в дырочке дверь из тюрьмы и кусочек прогулочного дворика...

Первой увидела Лину Соломоновну Штерн, еще более постаревшую.

Увидела мужчину в генеральском измятом мундире с оторванными погонами... не знаю его или не узнаю.

Через два дня узнала академика Юдина, знаменитого хирурга Института Склифосовского...

Женщин пока больше нет...

В дырочке появился Абакумов в пальто с меховым воротником, какое счастье, что я ничего о нем опять не написала! И вдруг за ним в двери автоматчик... не может быть, невозможно... я сошла с ума, не могу доползти до кровати, белые халаты, уколы...

В камеру вошел, как мне кажется, начальник тюрьмы, но не тот полковник, который меня принимал, этот и моложе, и по чину ниже, любопытный, нездешний тип, подтянутый, высокий, форма как влитая, живой, размашистый, открытый, совсем не похожий на гэбэшника, он два или три раза заходил в камеру, на Лубянке это невозможно, хвалил меня за то, что я выправляюсь, а один раз зашел и начал рассказывать о вчерашней воскресной охоте с друзьями и вдруг: «Вы обязательно должны испытать эту страсть» — и быстро ушел, а в камере остался запах его вчерашнего веселья и непонятного моего полета неизвестно куда.

Вошел быстро и сел на соседнюю койку, смотрит мне в глаза.

— Татьяна Кирилловна, ну что вы, что опять случилось, вы же были уже совсем молодцом, помните, я рассказывал вам об охоте, так ведь не садист же я, я говорил, чтобы вы поняли, что это будет! Абакумов арестован, сидит в этой же тюрьме, для него она и создана, и вы скоро будете дома, вы столько перенесли и сломаться сейчас, извините, глупо, вы же уже были в порядке, что опять случилось?

...в голове гудит, слова расплываются... я, значит, видела не привидение, а настоящего Абакумова... и мои соседи по камерам незаконно арестованные им люди...

Щелчок ключа.

На допрос.

Кульчицкий и тот же генерал, он ходит, в руках какой-то конверт, подходит ко мне, вынимает из конверта несколько обрывков и кладет их передо мной на столик: обрывки моего письма из лагеря, обрывки знакомых слов... все закружилось...

— Это обрывки вашего письма?

— Да.

— Расскажите, о чем вы в нем писали.

— О том, что я увидела, узнала, поняла.

— Кому было адресовано письмо?

— Горбатову, чтобы он или Симонов передали его товарищу Сталину в руки.

— Как оно попало на стол к Абакумову?

— Не знаю.

— Теперь, чтобы вас не мучать допросами, вы сможете обо всем, что было в письме, написать нам?

— Да.

...что значит «теперь»... значит, начальник тюрьмы мне специально рассказал об аресте Абакумова, чтобы я его не боялась...

— И вспомните, пожалуйста, последний допрос Абакумова, когда вас специально для этого вернули из Бутырской тюрьмы на Лубянку, как он происходил. Он происходил на обычном месте?

— Нет.

...я тогда была удивлена мизансценой: в конце стола для заседаний за спиной Абакумова был то ли какой-то старинный камин, то ли лепная дверь... тогда мне пришло в голову, что на меня оттуда кто-то смотрит или слушает меня... и опять о приеме у маршала Тито, все давно известное до мельчайших подробностей...

— Напишите все подробно с вашими мыслями обо всем этом. Я верю вам, что у вас никаких взаимоотношений с Абакумовым не было, но не верю, что вы с ним до ареста нигде не сталкивались. Вспомните, пожалуйста, и об этом. Желаю вам скорейшей поправки.

И вышел.

Кульчицкий лукаво смотрит на меня.

— Дома знают, что вы живы и здоровы, и вам разрешили продуктовую передачу.

— Не надо еды, я совсем без чулок.

— Ну, чулки вы наденете уже дома новые, и надо было просить из Джекказгана не концертное платье, а чулки. А Зайчик ваш выходит замуж, вы ее и не узнаете, она совсем взрослая, красивая девушка.

Надзирательница не успевает за мной! Лечу! Задыхаюсь от счастья! Свобода! Зайчик — замуж! Ей же только восемнадцать, а я сама?!

Почему, когда я спросила, за кого Заяц выходит, Кульчицкий ответил уклончиво...

В камере на столе корзиночка, перебираю еду, а вдруг где-нибудь записка... икра, масло, Мамины пирожки еще теплые...

Я все написала.

Щелчок ключа.

На вопрос.

Кульчицкий просматривает написанное мной, в некоторых местах не может оторваться...

— Все хорошо. А вам разрешено свидание с дочерью! Только соберите все силы, ни одной слезы, никаких истерик, свидание тут же будет прекращено. И есть разрешение перевести вас в другую камеру к молодой женщине, тоже незаконно арестованной, пока кончится следствие по делу Абакумова. И привезли вам с Лубянки книги.

— Вы в прошлый раз не сказали мне, за кого выходит замуж Зайчик...

Кульчицкий стал фальшивым.

— Да вы его, наверно, знаете...

Тянет, ему не хочется говорить.

— Сын известного гомеопата...

— Дима?

— Дима.

Как горько... известный кутила на отцовские деньги, бабник, бездельник, картежник, ему, наверно, уже за тридцать, по возрасту он ближе ко мне, я была с ним знакома.

— Я хотел вас подготовить и не сказал, что она уже замужем.

Кульчицкому тоже горько.

Завтра свидание. Боже, дай силы пережить радость, горе пережить — пустяк, оно уже позади.

Щелчок ключа.

На вопрос.

Надела все ту же венскую кофточку, причесалась, как смогла.

Вводят...

У стола Кульчицкого сидит Зайчик и рядом стул для меня. Сажусь. Взялись за руки, впились друг в друга, шевельнуться боимся, заговорить боимся, лавиной прорвется страдание. Как выстрел голос Кульчицкого:

— Надо прощаться...

Зайчик зашептала:

— Потерпи еще немного, скоро ты будешь дома, все будет хорошо...

Я встала. Пошла. Твердо.

Щелчок ключа.

— На выход с вещами. Не одевайтесь. Вас переводят в другую камеру.

Совсем молодая женщина, лет двадцати пяти, некрасивая, обыкновенная... неужели была любовницей Абакумова?.. Нет хуже: дочь начальника госбезопасности в Донбассе — Зеленина Нина. Пуста, неглупа, не без искорки, и начинается фантастический рассказ о ее судьбе: отец — чудовище, пьяный избивал ее и мачеху до полусмерти, своей матери не знает, мачеха — красивая женщина, много моложе отца, жили в особняке, с прислугой, дом распирало от благополучия, война, немцы рядом, отец бежал, бросив ее с мачехой; выживаю из фантазий и лжи правдоподобные факты: то ли сами они подались с мачехой в Германию, то ли их силой увезли, но они стали работать на каком-то заводе, мачеха вскоре сошлась с немцем и исчезла, Нина сошлась с пленным, работающим на этом же заводе, они бегут к его родным в Польшу, она в пятнадцать лет вот-вот должна родить, добираются до родителей, и оказывается, это милая, интеллигентная семья, обезумевшая от счастья: единственный сын воскрес из мертвых; в ужасе от Нины, Нина рождает мальчика, мы захватываем Берлин, и выплывает папа, он заместитель начальника СМЕРШа Абакумова — они старые друзья, Абакумова отзывают в Москву, и папа становится начальником, разыскивает Нину, находит, и под особой охраной через все границы и комендантуры ее привозят с ребенком в Берлин к папе; смеясь, рассказывает, что творил в Берлине папа, как контейнерами отправлял наворованное у немцев, как зверствовал над немцами, Нину папа выдает замуж за подчиненного, делает его отцом ребенка, чтобы скрыть все, что произошло с ней, мачеху тоже находит, и всей милой семьей они опять в Донбассе, пленные немцы «отгрохали» им дом, как дворец, «красивше» прежнего, на новоселье прилетел сам Абакумов, и стали жить-поживать, еще добра наживать, да вот пришли и всю семью арестовали, где сын, она не знает, муж исчез, он ненавидел и ее, и ее сына, — и так хорошо они зажили, так хорошо, но посадили их в самолет и привезли сюда.

Ее болтовня отвлекает, ждатель свободу труднее, чем расстрел.

Шелчок ключа.

На допрос.

Странно, ночью, здесь ни разу ночью не вызывали.

Входят. У Кульчицкого на столе горит лампа, он бледен, наверно, мигрень, сидит, закрыв лицо рукой, не здороваются, мой стул не на месте, у двери, а у его стола.

— Садитесь!

Вздрогнула от отвратительного голоса за спиной.

— Не поворачиваться!

Обернулась, в углу налево большой мужчина в коричневом костюме, ступни, как лопасти.

— Я что сказал! Не оборачиваться! Твари! Распустились здесь!

Это надо же так оклеветать министра государственной безопасности! Абакумова! Оклеветать власти! Да вас тут же на месте надо пристрелить!

Бедный Кульчицкий!

Привели в камеру, Нина кидается ко мне, она в ажиотаже, не видит моего лица: ее тоже вызывали и сказали, что они всей семьей скоро будут дома.

Щелчок ключа.

— На выход с вещами.

Опять долго везут, грохот железных ворот Лубянки, железная дверь женской тюрьмы, ведут по коридору... направо камера № 14. Нэди! Направо! Щелчок ключа... камера бездонно пуста... неумолимая истерика, подбрасывает с кровати, кричу, головой все понимаю, сделать с собой ничего не могу, задыхаюсь, кляп, укол.

Сорвалась. Хорошо, что не в Макакино дежурство, я сгорела бы со стыда. Судя по надзирательнице, он дежурит завтра. Конечно, он узнает обо всем, когда будет принимать смену. Как он меня встретит...

Обход, щелчок ключа, входит.

Вот это да! Все такое же железное, но из глаз полыхнул на меня свет. Этот свет не загасишь — это сама жизнь. Как стать такой же, как Макака!..

Привезли обратно на Лубянку, потому что в «Матросской» расстреливать негде... значит, кто-то реабилитировал Абакумова... это мог сделать только «сам» или Берия... обрывки моего письма... значит, Абакумов чувствовал арест и рвал письмо... почему не сжег... почему столько спрашивали об этом то ли камине, то ли двери за спиной Абакумова при последнем допросе... может быть, это комната свиданий... или кто-то видел меня и слушал, как я самолично рассказываю о приеме у Тито...

Щелчок ключа. Ночь.

— На выход с вещами.

На сей раз на фургоне написано «Хлеб». В фургоне — одна. Как хорошо, что все уже знакомо: тот же вой овчарок, те же бесконечные рельсы в районе Ярославского вокзала, так же в свете прожекторов мечется конвой...

Кто-то бросается мне на шею, целует, рыдает — премилое, молодое существо лет двадцати.

Ну и судьба-злодейка: окуневка Люся! Она была из окуневок самой маленькой, и старшие ее ко мне не только не допускали, а требовали еще и мзду за то, что разрешали присутствовать на моих репетициях где-нибудь в последнем ряду зала или идти за ними, провожая меня, а мзду брали, потому что она была «богатой»: дочерью генерала и падчерицей полковника. Вспоминаем, плачем, смеемся...

Люся, оказывается, умудрилась выйти замуж за самого молодого югославского генерала, учившегося у нас в академии, за что и получила десять лет.

Вагон не так набит, и контингент другой, чем в том первом этапе: много блатных и каких-то совсем безликих женщин, курят такое, что «Казбек» Бориса вспоминается как духи «Келькфлер»; общение настолько свободно, что Люся почти полным голосом сообщила мне из соседнего «купе», что везут нас на станцию Ерцево в Каргопольлаг, между Архангельском и Вологдой, что это лесоповальный лагерь, обжитой, «стационарный», созданный еще в начале 30-х годов, считается хорошим, а главное, никаких пересылок и через сутки будем на месте.

...почему меня одну привезли прямо к этапу без пересылки... почему не в абакумовский Джекказган... это сделал Кульчицкий?..

Я плохо, медленно соображаю, потерянна, соседки ко мне относятся как к странноватой. Что дома? Что в Джекказгане? Как связаться с Георгием Марковичем, если слухи до него дошли, что я на свободе и не написала ему, он это мое предательство не переживет... видела сон, что мы с Левушкой, взявшись за руки, хо-

дим как будто по консерватории, но консерватория похожа на дивный дворец, а потом выходим и оказываемся в высоких, сияющих вершинами горах. Где Юрка? Где Ядя?

Очень многое узнала: оказывается, по всей великой лагерной державе работает беспроволочный телеграф, и даже до самых дальних лагерей доходят сведения, где, что, когда, в каком лагере происходит; оказывается, в 58-й политической статье есть пункт 7.35 — «разглашение государственной тайны» с легким сроком, эту статью дают своим стукачам: стали ненужными или что-нибудь не так сработали, и в лагере с этой статьей хорошо расправляются, как и со своими лагерными стукачами, имена их становятся известны, оказывается, главное — дожить до середины срока, а потом сидеть гораздо легче, и где-то подспудно я все-таки начала отсчитывать годы и даже месяцы.

На какой-то длинной стоянке посадили блатных женщин, которые взхлеб на весь вагон рассказывают, как «измолотили» какую-то балерину Горскую за то, что она была на Лубянке «наседкой», и значит, либо сработал тот самый беспроволочный телеграф, либо встретила та несчастная портниха из Смоленска с тремя детьми, которой Горская помогла создать дело и которая уже была Горскую в Бутырской тюрьме: бумеранг вернулся.

Средь бела дня тысячи людей: многих увезли на грузовиках, а мы так и стоим уже несколько часов. Люсю куда-то повели в толпе женщин, и она полными слез глазами молча прощается со мной, а меня с несколькими женщинами сажают в какую-то «кукушку».

Лагпункт № 36, где я теперь должна буду существовать, совсем не похож на Джезказган: большая территория, бараки беспорядочно раскиданы, деревянные трапы, потому что лагерь стоит на болоте, а за зоной деревья! Я их столько лет не видела! И весна! Оказывается, уже начало апреля, здесь еще горы снега, но уже рыхлого, и солнце! Солнце!

Я в больничке. Я плоховата, наверное, сказалось, что фактически, кроме короткой передышки в Джезказгане, была без воздуха в тюрьме, и прав был Соколов, заставляя меня подписывать протоколы: «скорее в лагерь на воздух», а самое главное, что это лагерь сельскохозяйственный и не будет джезказганских каторжных работ. И люди! Господи, за какие заслуги ты мне их посылаешь: первым ворвался в больничку доктор и утешает, и достает из-за пазухи несколько конфет и печений от мужской половины лагерного человечества, и смешно воспеваает мой прекрасный вид: меня, мол, еще вполне можно узнать.

Изя Белецкий — человек с юмором, совсем молодой, еще нет и тридцати, из Киева, схвачен в эпоху «космополитов», симпатичный, даже чересчур интеллигентен, срок тоже десять лет, психиатр, тут же предложил перевести меня в его «сумасшедший дом» в мужской зоне и «кантоваться» там сколько возможно.

Рядом такая же большая мужская зона, в этом лагере существуют так называемые «бесконвойные» — это люди, получившие маленькие сроки или уже досиживающие эти сроки и внушающие доверие начальству, но, конечно, не политические. Эти бесконвойные, как и конвойные в Джезказгане, обслуживают начальство.

У Изи Белецкого, конечно, пропуска нет, но в его профессии есть крайняя необходимость, и начальству он нужен не менее, чем заключенным, поэтому он может в любое время суток снять с вахты автоматчика и с ним шествовать туда, куда его вызывают.

Больничка действительно маленькая, из одной палаты, главный врач — женщина, вольная, тоже молодая, как ее занесло в этот ужас и в эту глушь. Изя не знает. Внешне она со мной как со

всеми, потому что все видно и слышно, но незаметно гладит меня и успевает что-нибудь подsunуть под подушку, даже кусочек сала, который я поливаю слезами, и взяла вынести за зону и отослать вольной почтой, как бы свои, два мои письма: Георгию Марковичу и домой.

И потрясение: мне уже разрешили выходить греться на солнышке около больнички, стали подходить знакомиться, и какая-то совсем простая девушка в бушлате вертится около меня, но не подходит и вдруг в секунду опускает мне что-то в карман моей знаменитой голубой шубы. Письмо!

«Христос воскрес!.. Бог послал Вас сюда к нам! Теперь будет легче дышать! Дожить до свободы! Весь наш комендантский лагпункт приветствует Вас! Все будет хорошо! Скорее поправляйтесь. Мы все о Вас знаем, чем сможем, будем помогать. Я арестован позже Вас, слышал о Вашем аресте, но ушам своим не поверил, как и сейчас еще не верю, что это именно Вы здесь. Я сценарист, москвич, окончил Институт кинематографии; видимо, ваш ровесник. Скорее поправляйтесь. Великий праздник Пасхи через субботу! Вас подойдут поздравить две подруги, две наши русские прибалтийки, подружитесь с ними, они хорошие, очень жду Ваш ответ, а вдруг вы не та, не такая, а плохая и не поймете наше письмо. Иван».

Кинулась отвечать. Здесь писать можно открыто, и как только можно было, не вызывая подозрений, выйти, стоять на солнце, стою с замиранием сердца, жду. Издалека увидела, что из барака вышла та самая девушка в бушлате, проскользнула мимо меня и классическим профессиональным жестом на ходу выхватила из моей дрожащей руки письмо, я опомнилась, когда она была уже у вахты.

Изя знает, что на комендантском сидит москвич, сценарист, вся лагерная интеллигенция, даже разъединенная, знает друг о друге. Мой лагпункт № 36, и таких лагпунктов не менее сорока, это огромный лагерь. «Кукушка», на которой меня привезли, — это лагерная узкоколейка, а дальше «волокуши», и Изя терпеливо объяснял мне этот способ передвижения, пока до меня наконец не дошло; контингент в лагере в основном бытовой, разбавленный блатными; интеллигентных женщин мало и те пожилые: жена маршала Ворожейкина, врачиха и еще несколько человек, а остальные коммунистки, взращенные страной, и советские специалисты — дрянь. Изя, как и Георгий Маркович, не разрешил без его консультаций вступать в какие-либо отношения с кем-либо, кроме прелестных прибалтиек: и русских, и латышек, и литовок, и эстонок, и, как я поняла, Изя толк в них знает, и даже почудилось, что у него роман с одной из таких «прелестных прибалтиек». Работы все-таки тяжелые: копать, сажать, полоть,

окапывать, собирать урожай, все, конечно, как и в Дезказгане, руками, и оказывается, что безликая масса женщин — это крестьянки, обыкновенные крестьянки, вне политики, их арестовывали десятками тысяч по указу Сталина за то, что, желая спасти от голода своих детей, собирали с колхозных полей зернышки и колосья, оставшиеся после уборки урожая, их судили, а в избе оставались мужья с детьми. Чем больше узнаю, тем больше сердце обливается кровью и раскрываются глаза! Как же мы ничего этого не знали в Москве!

Оказывается, есть своя лагерная культбригада, это не профессиональный театр, как в Магадане или в Воркуте, у них нет помешения, они живут в мужской и женской зонах, а репетируют в столовой.

Изя волнуется, возьмут меня в бригаду или нет, «там ведь нет ни одной заслуженной», но начальник политотдела майор — дикий зверюга, самодур, полновластный хозяин этой бригады — влезает во все и так называемым директором бригады назначил «сукиного сына», тоже бывшего гэбэшника, за что-то «погоревшего», а о самом майоре ходят слухи, что его списали с Лубянки за зверства. Ничего себе! Нет уж, лучше копать землю! Но в культбригаде есть милые люди, и Изя так хорошо, с подробностями их описал, что я их уже знаю; художественный руководитель не больше не меньше, как талантливый драматург, поэт, интересный человек, мейерхольдoveц, прославившийся своей пьесой в стихах о девушке-гусаре в войне 1812 года «Давным-давно», — Александр Гладков.

До Пасхи остается четыре дня, попрошу врача выписать меня из больницы, у нее могут быть из-за меня неприятности, здесь выбрасывают из больницы даже с туберкулезом.

Небо весеннее, голубое, утро солнечное, в голове гудят колокола, в бараке торжественно, приподнято, женщины надели все лучшее!

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

Как тогда с Папой, в детстве, когда мы приходили из церкви. Ко мне подходят две женщины! От Ивана! В руках у них крашеное яйцо, кусок белого хлеба, обрезанный, как куличик, а сверху вместо пасхи большая конфета и поздравление от комендантского лагпункта. Жизнь замечательна! А дальше все по джезказганской схеме, видимо, у нас кроме следственного и тюремного существует еще и лагерное дело: начальник нашего лагпункта плюгавенький, серенький лейтенантик, умученный семьей и собственной тупостью, вызывает к себе: «Начинаются полевые работы, тяжелые, в грязи, в ледяной земле, если вы поставите спектакль, я смогу освободить вас от полевых работ, есть аккордеонист, я выдам ему пропуск на все репетиции, а вам разрешу свидание с матерью». Выхожу, на трапах стоят женщины, впились в меня глазами, когда я подошла к ним, вздохнули начали просить, умолять согласиться, скрасить невыносимую жизнь.

Привели милейшего, симпатичнейшего, прехорошенького Бориса Магалифа. Выглядит он почти мальчиком, хотя, как он гордо заявил, ему уже двадцать пять лет, сын дипломата, получил за границей отличное воспитание, умный, с юмором, веселый, как будто бы и не арестант, аккордеонист отличный, поскольку с детства обучался игре на фортепьяно, с абсолютным слухом. Вина его перед страной, в которой он родился, велика: он еврей и сын расстрелянного дипломата — десять лет.

Боря не просто весел, он счастлив, его глаза сияют: он влюблен и теперь сможет видиться с дамой своего сердца, очаровательной, совсем юной эстонкой, арестованной прямо в гимназии. И у Бори презабавный «заскок»: он обожает ужей, улиток, черепах, лягушек и при знакомстве воздержался кого-нибудь принести, а теперь на каждой репетиции таинственно вытаскивает из-за пазу-

хи какое-нибудь чудовище, и я судорожно восторгаюсь, иначе у Бори тут же портится настроение, и еще он махровый антисоветчик и «не моги» ему ни в коем случае возражать, но работать с ним сладко, все понимает с полуслова, все может.

Я, конечно же, решила повторить джезказганский концерт, тем более что теперь у меня были и прибалтийки, и украинки, и молдаванки, и даже грузинки, а Боря как-то обронил, что у них в зоне сидят за воровство двое цыган и так «бацают» чечетку, и так поют, и так играют на гитарах, что артисты театра «Ромэн» могут им позавидовать, и пришла мне в голову идея сделать концерт с вставными мужскими номерами, а как это сделать, я представить себе не могла, Боря тоже, и я пошла на поклон к лейтенанту.

На сей раз лейтенант был прав: впустить в женскую зону мужчин нельзя, среди них есть и убийцы, и бандиты, но он похлопочет у своего начальства, чтобы разрешили женщин впустить на одну репетицию в мужскую зону, и потом можно будет показать этот совместный концерт.

Как я себя кляню! Это оказалось адским трудом: Боря рассказывает мне о достойном, с его точки зрения, мужском номере, хронометрирует его, я влетаю его в канву концерта, и получается, что я должна сделать два концерта: для мужской зоны и для женской.

Как они хороши, эти прибалтийки, даже совсем простые, они женственны, скромны, обучены элементарным правилам общения, они совсем по-другому воспитаны.

Концерт получается непохожим на джезказганский: там наша славянская ширь, певучесть, сердечность, здесь изящество, легкость, кокетство, желание нравиться, и опять я напридумала: «Ночь под Ивана Купалу» с прыганьем через костер, и не знаю, как общими усилиями нам удалось это сделать.

Все смешалось: их прелестные национальные костюмы, и песни, и танцы, и наши русские переплясы, и украинские хороводы, и этот огонь, который в них загорелся, как и в джезказганах, после тяжелых полевых работ по шестнадцать часов. Никакой артист самого большого таланта не может так вдохновенно загореться, гасят ум, умение.

Сама буду петь то же, что и в Джезказгане, только Боря все песни отлично аранжировал.

Перед самой премьерой получила два письма из дома, они полны радости, что я жива и здорова, но из Джезказгана нет никаких известий, нет ответа даже на оплаченные телеграммы: посылалось все с умом, осторожно, командовал связью опытный лагерник Левушка: ни Георгий Маркович, ни Жанна, ни хирург Нина Александровна, ни Пупуля, никто не отозвался, как будто лагерь смели с лица земли.

Дома все здоровы, кроме Бориса: у него был инфаркт, у меня почему-то сердце даже не екнуло. Но тревожно забилося, когда я прочла, что Зайчишка должна скоро рожать!

Левушка! Мой Левушка женился, и получили они наконец со своим другом, тоже архитектором, по две комнаты в четырехкомнатной квартире в центре Минска. На ком, как женился Левушка — пока не пишут, но Мама приедет на свидание, и я все-все подробно узнаю.

Премьера. Лейтенант сам не свой, волнуется, не натворили бы мы какой-нибудь антисоветчины, и счастлив, что вся затея так хорошо для него кончается, а я не свожу с него глаз: если ему хоть что-нибудь не понравится, никакого свидания он, конечно, с Мамой не даст.

Зал кричал, плакал, скандировал, меня и Борю целовали, качали.

Свидание разрешено, и все в голове опять перевернулось, как при свидании с Зайчишкой. Дала им телеграмму, чтобы готовились, и почти тут же получила от них письмо с тысячей вопросов, что везти, как, что можно, чего нельзя, что нужно, и вдруг среди текста как бы невзначай, как бы пустяк: «Борис женился».

Крах. Выскочила из барака и вою: теперь надежда на близкое освобождение рухнула, при таком скандальном аресте возврат возможен только в свой собственный дом, иначе будет двойной скандал, и «они» на это не пойдут. Неужели Борис этого не понимает. Неужели он не мог хотя бы немного еще подождать, зная всю ситуацию с «Матросской тишиной»?

Над моей головой сияет звезда. Молюсь: «Господи! Как же Борис может совершать такие поступки! Что с ним происходит? Что происходит там, в миру? Неужели он всегда был таким? Если он понимает и делает подлости, накажи его!»

Мне торжественно вручают какую-то газетенку: оказывается, в лагере есть своя собственная газета, и в ней отзыв о нашем на 36-м лагпункте отличном концерте и награждении одного лагпункта баяном, а меня свиданием.

И Мама приехала. Весь лагерь волновался не меньше, чем я: бесконвойные узнали, когда прибывает поезд из Москвы, когда отходит «кукушка» к нам, с «кукушки» Маму надо снять, потому что никакой платформы, надо с высоты прыгать на землю, и бесконвойные должны где-то незаметно вертеться вблизи, чтобы к приходу «кукушки» подскочить и снять Маму, все хотят меня приодеть, иду в своей венской кофточке, волосы подвязала ленточкой.

Свидание почему-то не на нашей вахте, а на вахте мужской зоны, и это далеко: надо обойти и нашу зону, и мужскую... как сердце выдержит... по бокам два совсем юных автоматчика...

Мама! Мамочка! Родная! Любимая! Дорогая! Не знаем, что делать, что говорить, целуемся, плачем, хватаемся друг за друга, все в ней такое знакомое, теплое, постарела, располнела, чувствует себя плохо, одышка, курить бросила, но, видимо, уже поздно, курила сорок лет, задыхается от астмы...

Конечно, Мама не писала мне ни о чем главном, чтобы не ранить, но теперь здесь, на вахте, нужно было говорить все, да и скрывать дольше невозможно: теперь я должна писать ей не на наш адрес, а на Калужскую, Борис Маму выгнал! Выгнал из дома! Он ведь весь в политике и знал, что с реабилитацией Абакумова мой возврат домой невозможен.

Сам он все-таки выгнать Маму не посмел из-за своей трусости или, может быть, из-за совести, которая, как я верила, в нем должна быть, и попросил это сделать режиссера Эрмлера — ленинградца, который, приезжая из Ленинграда, пасса у нас неделями, и Мама его кормила и поила. Эрмлер вошел к Маме в комнату и сказал: «Евгения Александровна, вам лучше уехать из дома и переехать опять на Калужскую. Борису намекнули, чтобы фамилии вашей в его доме не было». Это после замечательных отношений Бориса с Мамой, после крахмальных рубашек по утрам... Когда Мама начала рассказывать, как она собиралась, как уезжала на Калужскую и с ней всё тот же ее с Папой свадебный письменный столик, я сдержаться не смогла.

Ну почему же я не могу посмотреть правде в глаза? Почему же я верю наперекор всему, что такого не может быть?! Но Борис ведь так же относился и к своей маме... Что же он такое, кто же он на самом деле?! Не стала спрашивать, на ком он женился, какое это имеет значение, но как возможно при такой любви ко мне вдруг разлюбить... значит, женился без любви, зачем, почему, и, оказывается, тот инфаркт, о котором написала Мама, был легким, а недели две назад его еле спасли от настоящего инфаркта... прошу Маму вспомнить день, когда это случилось, и сама лихорадочно вспоминаю, когда я, получив от Мамы письмо о его женитьбе, выскочила из барака и все свое негодование обратила к сияющей над головой звезде, — день, даже час совпали с инфарктом.

Мама считает, что Костя очень влияет на Бориса. Алименты Маме Борис переводить боится и деньги привозит какой-то человек: ведь у Мамы даже нет пенсии, но с деньгами у нее теперь хорошо, ведь Зайчишка — богатейка.

Зайца, когда она приехала проведать Бориса после инфаркта, новая семья к нему не допустила. Мама думает, что Борис от меня отказался только официально... а неофициально? Никогда за все годы никто, кроме Келлермана, обо мне не спрашивал.

Зайчишка! В какой она семье? Как переносит беременность? Пусть рождает в том же роддоме, в котором я ее родила, — имени Грауэрмана...

За мной пришел конвой. Свидание дали на трое суток. Первые сутки уже нет.

Ведут... знаю до поворота, в окно вахты меня видит Мама, обернуться не смею, вырвусь из-под автоматов, брошусь к ней, пусть стреляют! Знаю, стоит у окна, и ее сердце так же разрывается! На повороте едва заметно повернула голову... стоит, не шевелясь, смотрит.

Зайчишку и других девушек и юношей, даже с золотыми медалями, в МГУ не приняли — у них в семьях есть арестованные. Зайчишка учится в инязе.

Из Джекказгана ни слова.

Как мои волновались, что Левушку снова заберут после моего ареста. Жена у него очень милая, тоже должна вот-вот родить. Левушка приезжал несколько раз, чтобы разговаривать обо мне с глазу на глаз с Мамой, с Борисом говорить не хотел. Его требования: спокойно ждать перемен; как возможно, беречь здоровье и везде, где возможно, писать, писать и писать — написать оригинал, а потом под копирку, и куда угодно, кому угодно, меняя «уважаемый» на «многоуважаемый» в зависимости от ранга, а главное, что Абакумов не на свободе.

Конвой. Остались сутки.

Про Абакумова Левушка выяснил точно у своих знакомых минских гэбэшников.

Ядя получила пять лет и статью 58, пункт 7.35! Якобы за мужа-афганца, уехавшего пятнадцать лет назад.

Юрка получил тоже пять лет, статья 58-10: у него при обыске в его шкафчике в гараже нашли антисоветские стихи.

Моя родная тетя Варенька рвалась вместе с Мамой ехать ко мне на свидание, посмотреть на меня хотя бы издали.

Наташа растет трудной девочкой, плохо учится, и после моего ареста она, еще маленькая, убежала на Калужскую к бабушке Тоне, подняв в доме настоящий переполох, ее вернули, а когда Борис женился, тихонько, ничего никому не сказав, она опять уехала на Калужскую.

Последние сутки.

Мама совсем плохо. Если бы свидание продлили, ни она, ни я не выдержали бы, я не смогла бы больше играть в веселость, во «все — пустяки», в идиотскую бодрость, я еле дотаскиваю ноги до вахты, а Мама видит, слышит все, что творится вокруг, в ее психике все перевернулось, она приготовилась увидеть убийц, подонков, их-то, к ее счастью, она и не увидела, потому что они валяются в бараках, пьют свой «чифир» и ни на какие работы не выходят, а увидела тысячи молодых, приветливых людей. Так получилось, что Маме разрешили ночевать на вахте, и это великое благо, потому что полагается жить в гостинице при станции и приезжать на «кукушке», Мама этого не смогла бы, и Изя выхлопотал ей ночевку на вахте, а меня приводили к ней после конца развода, вот она и видела все и всех в окошко. В первый же день ее потрясли наши женщины: их на работу ведут тоже мимо мужской вахты, и они, проходя рядами под Маминым окошком, все ей кланяются, а из мужской зоны уборщики приносят ей конфеты, печенье и гимны в стихах, воспевающие ее дочь, а сегодня ей прислали распутившуюся веточку.

Говорим, уже сами не понимая о чем, считаем часы до разлуки.

До самого поворота иду лицом к Маме, улыбаюсь, машу рукой, за поворотом села на землю, конвой молчит, ждет, пока приду в себя, в бараке тихо, меня не тревожат.

Хорошо, что концерт в мужской зоне на носу, иначе с тоской, вырывающей душу, справиться не смогла бы.

После концерта я должна выйти с бригадой на общие работы, сажать картошку. На «придурочные» работы не пойду: во-первых, они, эти работы, кем-то заняты и надо этого кого-то согнать с места; во-вторых, они подленькие: нужно заискивать с бригадирами, с конвоем, с начальством, войти в сферу липкого, такой, как была «инструменталка» в Джеккагане, здесь нет.

Боря так волнуется, что и меня наэлектризовал. Отрепетировали еще три мои песни, конечно, без «В бой, славяне, заря впереди» — Боря в лицах нарисовал мне картину всеобщего восстания в лагере после этих слов, да еще спетых политкаторжанкой.

Воскресенье. День ласковый. Мы все разодеты в пух и прах. Конвой прислали полный, как для вывода на работу.

Проходим мужскую вахту, до клуба-столовой метров двести... лагерь пуст, мертвый, ни души, тишина, и только один Боря торжественно выплывает из барака навстречу.

— Вот видите, какая у нас, у мужчин, дисциплина! Это не то что вы, бабенки, — писк, визг! Постановили: ни какого шухера, что в переводе на наш вшивоинтеллигентский жаргон означает ажиотаж!

Счастливый, сияет, выбрит до кожной клетчатки и одет(!!!) в белую крахмальную рубашку! Крахмальную! Где? Когда? Как? Кто смог ему ее достать?

Рев, стон, закидали иван-чаем, какими-то нежными северными крохотными цветочками, все песни пришлось петь по два раза, пела лучше, чем в Джеккагане, все-таки отъелась в «Матросской тишине».

Вдруг с ужасом услышали с Борей выкрик: «Ночь над Белградом», — в первом ряду, как и в Джеккагане, сидит вся гэбэшная свора, и этот майор-зверюга, они не могут не помнить этой песни и слов «в бой, славяне, заря впереди» и могут просто одним мановением руки уничтожить наш праздник. Сделали вид, что не слышали выкрика, я на этих, впереди сидящих уродов, вообще не смотрю и пою в зал.

Праздник кончился. Вышла с бригадой сажать картошку, и здесь уж, будь я гением, будь я семи пядей во лбу, или кто-то должен работать за меня, или недодадут всей бригаде хлеба, и я должна работать в ногу со всеми.

Приташила ноги, упала на нары отдышаться, подбегает незнакомая женщина и шепчет, чтобы я немедленно шла в больничку. Конечно, это Изя. Ждет в сенях за дверью, расцеловались.

— Вызывал майор, расспрашивал о вас, как вы относитесь к советской власти, я сказал: «замечательно»; как к ним, самим, — тоже «замечательно»; у меня такое впечатление, что они вообще перестали что-либо соображать, патологические психопаты, конечно, он зондировал почву, чтобы перевести вас в культбригаду, потерпите еще немного, и умоляю вас нигде, никогда, ни с кем, ни о чем не говорите, лагеря кишат стукачами, большая нет ни секунды, я их краду у любовного свидания. — И растаял, как привидение, а надежда снова прошелестела своим шлейфом.

Даю себе слово завязать свой поганый рот веревкой, чтобы не вырвалось ни остроты, ни шуточки или, не дай Бог, мнения об обворожительной власти, а главное, об ее ярчайших представителях — даже вздоха.

На сей раз за мной прибежала блатная:

— Скорей! Скорей! К запретке! Вас вызывают мужики! Скорей! Бегите за мной, а то попки с вышек могут по ним пухнуть!

За проволокой, в нескольких шагах от запретной зоны, человек десять мужчин, впереди Боря, гаркнули по-солдатски:

— Та-та-ба-бу-шка-по-здра-вля-ем-маль-чик. — И мигом рассеялись, а я в тридцать-то восемь лет танцую! Неужели мне тридцать восемь... невозможно... я же еще не начинала жить...

Почта приходит в мужскую зону, а потом бесконвойные приносят ее к нам, вот к мужчинам и пришла эта телеграмма.

Наша с Иваном девушка в бушлате, только теперь она в кофточке — так и не знаю, как ее имя, а спрашивать здесь не полагается, — принесла мне толстое письмо.

Как все-таки этот лагерь не похож на номерной джезказганский, здесь все как-то проще, жизненнее, здесь даже можно носить свою одежду, и бесконвойные девушки, не знаю, как мужчины, совсем не отличаются, выйдя за зону, от вольных.

Часов в двенадцать дня за мной в поле прислали конвоира, но я не волнуюсь: Изя предупредил, что майор вызовет в его служебное время, а оно с нашим не совпадает, нас снимают с работы в девять вечера, а если бы не предупредил, умерла бы по дороге от волнения.

Вводят в кабинет нашего лейтенанта, майор один. После венского платья на сцене, я в неприглядном виде: в когда-то черном, теперь несколько утерявшем свой первоначальный цвет лагерном платье и в таких же видавших виды, тоже несколько великоватых ботинках в грязи, руки отмыть помогли.

Глаза в темных глубоких ямах, в них топь, это не остекленевшие глаза Соколова, это не втягивающие какой-то страстью глаза Абакумова, это глаза маньяка... его не за зверства списали с Лубянки, там за зверства получают ордена и генеральские звезды, за распутство, глаза полового маньяка. Отвратительно худ, не поджарый, как Макака, а худой, высокий, форма влита, для такой дыры даже шеголевата, лицо обычное, голос необыкновенно красивый, густой, грудной, глубокий, не соответствует телу.

— Вы знаете, что у нас существует культбригада?

— Слышала.

— Почему же вы не подаете заявление?

— Я не знала, что это можно.

...знала, но не хотела, несмотря на уговоры Изя...

— Я решил перевести вас с общих работ в культбригаду, там нет артистки вашего жанра. В культбригаде вашего прихода ждут. Пока придет на вас наряд, можете на общие работы не выходить, а при возможности я вас к культбригаде присоединю.

Конвой отвел меня обратно в поле.

Север величавый, покойный, в меня влился этот покой, мне все равно, куда меня привезут на дрезине, как тучи, тяжелые мысли от меня оторвались... на земле есть рябина, она проплывает большими кущами, красная, налитая, заиндевшая... сейчас, наверное, такая вкусная, тронутая морозцем...

Куда я попаду, как мне там будет, как меня встретят? Но все равно это не картошка, которая мне снится, мои руки ужасны, я делала все, чтобы их спасти.

Все о культбригаде мне рассказал Изя. Культбригада готовит программу на какой-то «Мостовице» — и это их рай: мужчин приводят в женскую зону на репетиции, и у кого-то появляется хоть какая-то личная жизнь. А когда программа готова, их возят по всем лагпунктам — и это их ад: с ближайших лагпунктов их привозят ночевать домой на «Мостовицу», а на дальних они ночуют на вахтах, в столовых, на полу, где попало и как попало, таская на себе весь скарб — костюмы, инструменты, так называемые декорации.

Первой, кто бросился меня целовать, оказалась опять Люся: у нее были на свидании мама и отчим; он фронтовой полковник, как уж он там говорил — чистый с нечистыми, Люсе дали инвалидность, и она в зоне.

От культбригады впечатление тягостное: замученные, несчастные люди, держится более или менее молодежь — хорошенькая девятнадцатилетняя москвичка — певица из московского кафе «Мороженое», что напротив Центрального телеграфа, — и танцевальная пара из сельской самодеятельности, теперь они довольно прилично танцуют, и они фактически муж и жена; есть драматические артисты из разных городов, есть несколько москвичей и ленинградцев, есть хороший певец из Эстонии и несчастное трио слабых музыкантов, а когда я заикнулась о Борисе, Изя замахал на меня руками, чтобы я и рта не смела о нем открыть: май-

ор Бороного имени слышать не может и приходит в такую ярость, что и человека, говорящего о нем, начинает ненавидеть... Представляю, что Борис, с его умом, остроумием, независимостью, мог ему наговорить и что о нем могли наговорить майору. Наговорить! Какое это несчастье: даже под страхом смерти мы — милая интеллигенция — не можем не сплетничать, не завидовать, не устраиваться по-лучше за счет других, и сколько, наверное, уже наговорено небылиц обо мне...

Гладков держится: сильный и духовно, и физически, большой, неуклюжий, уж очень некрасивый, талантливый, без всяких контактов с начальством. Контакты с начальством — это заискивание, подхалимство, все то же, что обязаны проделывать «придурки» за благополучие в зоне.

Вершина всего — начальник культбригады, как Изя и сказал о нем: типичный гэбэшник, что-то не так сработавший и получивший всего три года, грязный человек, не брезгающий даже подачками из посылок, и лучшего надсмотрщика органы никогда не смогли бы над нами поставить, даже если бы очень постарались. Этот изучил все наши внутренности. У меня с ним сразу отношения не сложились: ему зачем-то надо разговаривать со мной, а мне с ним разговаривать не о чем, ему нужно мое почитание, а я даже если бы и захотела такое выразить на своем «личике» — на оном из-под кожи видно подлинное отношение.

Репетирую, что-то делаю, на «Мостовице» много русской интеллигенции, общаюсь, дни бегут, а срок не движется, дожить бы до середины... пять лет... все утверждают, что потом будет легче отсчитывать...

И опять неизвестность, опять все связи с домом оборвались: когда теперь мои получают новый адрес... кем и как обернется «девушка в бушлате» с письмом от Ивана, его письма стали для меня отдушиной, за ними чудится тонкий, талантливый человек, друг, единомыслитель, мужественный, сильный, немного злой и, по-видимому, как и Боря, антисоветчик, а я не понимаю, как можно ненавидеть власть, как можно ненавидеть кого-то, что-то, как можно вообще носить в себе это чувство: иногда у меня вспыхивает острое, жгучее чувство ненависти к безобразному, нечеловеческому, аж дух захватывает, но это мгновенно, а так не могу, не могу возненавидеть нашего директора культбригады с премилой фамилией Филин — я теперь думаю, что имена и фамилии людям присущи — или возненавидеть майора, я понимаю их человеческое свинство, но ведь они в нем воспитаны, они же ничего

другого не знают, они сразу после рождения подкинуты волчице.

Голодно. Все, что привезла Мама, съедено, брать ничего ни у кого не могу, не знаю, как отдам, но милая Люся тихонько подкладывает под мою подушку кусочки сахара.

Ноет сердце, одиноко, потерянность в этих бескрайних лесах, так трудно приживаться к новым чужим людям... Ну почему всех как привозят в один лагерь, так они там и сидят и даже умирают, а у меня получается третий!.. Хочется опять в 36-й лагпункт к своим прибалтийкам или на «комендантский» познакомиться с Иваном.

Завтра выезжаем на первый концерт — куда-то на ближний лагпункт.

Лагпункт мужской, большой, я пою в гробовой тишине, слушают замерев, боясь перевести дыхание, их восторг искренен, и ни одного, ни одного сального взгляда, несмотря на мужской голод. Они подобрели, у меня на душе полегчало, а наши звезды, эти «десять лауреатов в одной постели», рассказывают, что их творчество — это самовыражение — а если самовыражаться нечем? — или что искусство актера прекрасно, потому что в одной жизни можно прожить жизни своих героев — а если и своя одна не интересна! Ни Грета Гарбо, ни Бетт Дэвис не самовыражаются — они творят. В этом, наверное, суть.

Майор сидит в первом ряду, и, не глядя на него, я чувствую его взгляд. Тревожно.

Вот и мне хотели принести радость, а получилось наоборот: мы весь день в ожидании вечернего концерта должны жить в пожарном сарае, нашего стукача-директора с нами нет, а по лагерю для вольных кочует мой фильм «Давид Гурамишвили», и все, рискуя, уговорили киномеханика завернуть на своем драндулете со своей передвижкой к нам в сарай и на простыне показать фильм.

Как я его смотрела, не знаю, но никаких душераздирающих эмоций во мне не возникло, свет зажегся, все бросились ко мне, а я даже из чувства благодарности не могу изобразить радость на лице, так все тихо и разошлись по углам сарая со своими переживаниями.

Концерт почти рядом с комендантским лагпунктом, в котором Иван, и так же, как в 36-м, мимо меня проскользнул какой-то «человек в бушлате». У меня в кармане письмо Ивана, и в нем стихотворение. Иван потихоньку вторгается в мою жизнь.

Т.

Не знаю я ни вашу повесть,
 Ни что есть общего у нас,
 Быть может, общий только поезд,
 Что раздавил меня и вас.

Услышал я, что вам на руки,
В отбросы тыкаясь, ползут
Шенки слепые с мертвой суки,
Которых сплетнями зовут.

Глядят гнилыми ртами лица,
В ухмылки спрятавши боязнь,
Как их вчерашняя царица
Шагает к площади на казнь.

Отнять хотелось вас у черни,
Чтоб с вами вместе в небо взмыть
И на Руси под звон вечерний
На крышу церкви опустить.

Тот, кто любил вас вдохновенно
В расцвете ваших знойных лет,
Тот был для вас одновременно
И укротитель, и поэт.

Не верю я, чтоб вы мужчину
Могли возвесть на пьедестал
За то, что он плечом и чином
Почет и блага вам достал.

Вы были горды и капризны,
И Бог спасал вас много раз,
Чтоб горький дым святой отчизны
Не выедал слезы из вас.

А то, что вы, идя на сцену,
А я, потворствуя пером,
По кирпичу сложили стену,
Ту, за которой мы живем.

...Сижу один глубокой ночью,
Пора кончать... Надзор идет...
Да я боюсь, что многоточье
Со щек небритых упадет...

Гладков рассказал, что его вызвал майор, спросил, была ли я раньше режиссером и не смогла бы поставить оперетту. Что-то он задумывает.

Сегодня концерт в бандитском лагпункте, и бригада волнуется, они уже были здесь, и кончилось это плохо, теперь заключен-

ные будто бы заявили, что если пришлют бригаду с моим участием, то они всем лагерем выйдут на работу.

Конвой дали двойной, нашу хорошенькую юную певицу с улицы Горького на концерт не берут, боятся, что на нее нападут, как, оказывается, где-то уже было, но она так себя вела, что спровоцировала нападение; я тоже волнуюсь, ведь настоящих-то бандитов я еще не видела.

Столовая набита битком, более легкие сидят на плечах у сильных, Гладков боится, что никого, кроме меня, они слушать не будут, но все-таки порешили, как и на всех концертах, выпустить меня последней.

Концерт начался: в зале тишина, никакого хулиганства... певицу-эстонцу скандируют... моя очередь... выхожу, зал грохнул тысячью глоток приветствия, поклонилась, выпрямилась... упала жгучая тишина... спела первую песню, к моим ногам летит камень, сердце ушло в пятки, и еще, еще летит что-то, опускаю глаза — какие-то красивые большие иностранные банки, все песни пою два-три раза, наконец одеяла задернули, концерт окончен, бросились собирать дары и пожирать мексиканские ананасы в литровых банках, кончилось это плохо — всей бригаде пришлось пробыть сутки в больнице: блатные узнали, что в рабочие лагеря, в платные палатки каким-то чудом завезли эти мексиканские ананасы, потребовали и себе тоже.

А в женском лагпункте ко мне подошла девушка и спросила размер моей одежды: «капитан» хочет мне подарить «роскошное кожаное пальто». Вот так-то. И смех, и горе, и ужас.

Начался наш ад. Холод! Ни «кукушка», ни дрезина не отапливаются, а волокуша!.. Иногда приходится передвигаться на ней по часу, а потом невозможно отогреться несколько часов, все внутри дрожит.

Оркестрик наш такой жалкий, такой слабый, что зрители позволяют себе хихикать: какая все-таки дрянь этот майор, ведь Боря — прекрасный аккордеонист, но майор сказал «нет», и теперь перетряхивает многотысячный лагерь, разыскивая другого аккордеониста, иначе дальше работать невозможно. Оказывается, раньше руководил оркестром профессионал-саксофонист, армянин по имени Альберт, но его майор приказал списать, потому что этот саксофонист каким-то образом в каком-то женском лагпункте умудрился завести роман, Филин донес майору, и майор приказал списать саксофониста на лесоповал — ты раб.

Тяжко, но хорошо, что я попала в культбригаду: я никогда не узнала бы, не увидела своими глазами весь лагерь. В Джезказгане отделения были далеко, что на них творилось, мы не знали и узнать не могли, мы были одни в пустыне. Джезказган, наверное, существует именно для того, чтобы изолировать тех, кто связан с большими людьми на свободе да и просто с семьями, могущими все-таки куда-нибудь дописаться и рассказать обо всем, что творится. Я так решила потому, что в Джезказгане оказалась и секретарь Жемчужиной невинная коммунистка Мельник-Соколинская, не разговаривающая с нами, со шпионами и врагами народа, и та красивая купчиха, жена генерала, арестованная при выходе из театра, и медицинская сестра хирурга Юдина, очень милая женщина, и жена генерала Артамонова, начальника академии.

Теперь, когда увидела все вокруг, мой 36-й с моими прибалтийками и картошкой — голыми руками из ледяной грязи — кажется милым курортом. Здесь бескрайние леса и тысячи, десятки тысяч людей валят вручную лес. Голод, холод и сказочная красота Севера! Снег такой голубой белизны, что зажмуриваешься, и солнце! Солнце! Солнце, мягкий мороз, тишина, и вдруг как завоет, застонет, понесет...

Сегодня нас свернули с маршрута и везут в лагерь, в котором заключенные дали обязательство свалить две нормы леса за концерт культбригады с моим участием. Нас уже несколько раз так сворачивали с маршрута. Это переворачивает душу, а Гладков говорит, что гэбэшники терпят, но в конце концов это может плохо для меня кончиться, и вселил в меня дурное предчувствие. Как только нас сбросили с «кукушки», мы услышали в морозной тишине стук топоров, нужно подниматься в гору, и на горе в лесу увидели лесорубов, раздетых до пояса, над ними клубится пар, и по лесу покатило «здра... встуй... те!». Идем, глотая слезы. Никогда в моей жизни таких концертов не будет, слушают не дыша, благодарность их непостижима, если бы им разрешили подходить, они донесли бы меня на руках до Москвы. А в каком-то лагере начали скандировать: «Свободу Окуневской!». Гладков совсем разволновался и теперь уже на всех нагнал тревогу: майор часто приезжает на концерты и все это видит. А Иван прислал взволнованное письмо по этому поводу. Обрастаю легендами.

Если в Джекказгане интеллигенция сконцентрирована, как сгущенка в банке, то здесь она рассеяна по лагпунктам и совсем другая. Не крикливая, не суетная, может быть, более скрытная — все ждут смерти вождя, все убеждены, что тогда придет свобода.

А у меня появилась Софья Карловна — удивительный человек, сохраняющий достоинство, юмор, честность, умница, ленинградка, окончила театральный институт, была ведущей артисткой, маленькая, изящная, белоголовая, играла девчонок и мальчишек, и сейчас похожая на девчонку, немного старше меня, а посему умнее, арестована за мужа, статья моя, срок — семь лет, арестовали ее раньше меня, и она уже все знающая, махровая лагерница. Со мной заговорила сама, откровенно, прямо, и я ей поверила. Такие стукачами быть не могут. В культбригаде Софья Карловна играет сцену с партнером и еще прекрасно читает стихи, и моя изголодавшаяся по стихам душа поет.

С ней можно говорить обо всем, но везде подслушивают, и мы научились так шептаться, что самая сверхчувствительная аппаратура уловить не сможет. Для меня Софуля изобрела еще и код: если у нее вдруг начинается головная боль, которой у нее, к счастью, не бывает, значит, есть свежие сведения со свободы, или если в каком-то общем разговоре я начинаю говорить то, чего говорить нельзя, Софуля начинает лихорадочно причисываться, и я немедленно закрываю рот.

У Софули настоящая, большая любовь. Он эстонец из Таллина, ее партнер по сцене, симпатичный, похож на мужчину. Есть у них даже что-то общее: Софуля родом из Таллина, корнями уходит в Эстонию, похожа на мою Ольгу, и я, как и Ольгу, называю ее «чухной». Они с Эйно освобождаются почти одновременно и

поженятся. И я единственная, кто знает эту тайну. Ни стукачи, ни даже Филин ничего не знают, иначе их разлучат, а я с замирающим сердцем, с восторгом наблюдаю, как они берегут свою любовь: ни взгляда, ни пожатия руки. Их целомудрию могут позавидовать святые.

Сколько мне рассказала Софуля! Она заядлый политик, во всех лагпунктах у нее есть свои люди, они в курсе всех событий в стране, и они, помимо смерти Сталина, ждут какого-то чудо-переворота, и тогда все будет по-другому.

А во мне самой, когда увидела этот лагерь, что-то перевернулось: там, в Джекказгане, действительно ничего вокруг на десятки километров, а здесь город, огромный, разбросанный город торговщиков, трудящихся с утра до ночи, раздетых, голодных, и ничего, кроме надежды на свободу, у них нет. Как же здесь уцелеть психически! Как не превратиться в животное! В лагере добро и зло сконцентрированы, сплющены.

Я испытываю настоящую ностальгию... хочу домой, хочу к Маме, хочу к детям, хочу ходить по своей квартире, хочу лежать в своей постели, не могу понять, как в ней может лежать на Маминых свадебных простынях кто-то другой, хочу музыку, хочу ливень, хочу слушать сказки, хочу бегать босиком по лужам, какую же я пустую, поверхностную ностальгию изображала в спектакле «Семья Ферелли теряет покой», а вот какая она настоящая-то: хватает за горло, бросает под колеса, изводит по ночам, душит.

Софуля говорит, что это из меня выходит одиночка.

Немного отлегло — наконец получила письмо из дома: появился Юрка, он в лагере на Урале, получил пять лет за антисоветскую агитацию, работает шофером. А недавно он приснился мне: мой смешной Юрка во сне был безобразным, внешне похожим на какое-то противное чудище, все время ломился ко мне в дверь...

Софуля потрясена тем, что я ей рассказала о кругах, в которых вращалась после войны. Она совсем не соприкасалась с «вождями», да и интеллигенция вокруг нее была другой: муж — молодой ученый, и, судя по ее рассказам, это люди тоже трагические, но не такие подхалимские. Софуля потрясла меня, знающую, как Сталин пачками уничтожает непотребных ему людей и соратников, вывернула душу, рассказав о гибели в Саратовской тюрьме светлейшего человека, крупнейшего русского ученого, академика Вавилова. Софуля считает, что долго такое государство, как наше, просуществовать не может, а Сталина она считает — помимо того что он психически больной с манией величия и жадной власти, каких полно в сумасшедших домах, — еще и дьяволом, потому что даже в самом плохом человеке не может существовать такой букет античеловеческих, отвратительных черт: трусость, подозрительность, неискренность, холодность, жестокость, садизм, мелочность, скрытность, низость, полное отсутствие морали, чести. А больше всего Софулю выворачивает его глупое лицо. Горбатова она называет не иначе как «ваш подлец», «ваш предатель», а вкупе с Костей — «партийные подонки», «лизоблюды», общаться с которыми невозможно.

А когда я рассказала о моем письме Горбатову и о том, что оно попало на стол Абакумову, что, мол, время разъяснит, как это случилось, Софуля завопила и взвилась чуть не до потолка барака:

— Какое время! Какое! Для кого! Если для вас, то вы должны были лежать в могиле или быть изнасилованной, только не в шикарном особняке Берии, а где-нибудь под лестницей и с кляпом во рту. Арест Абакумова вас спас! Вы так до сих пор ничего не понимаете? Кто вам потом скажет! Что скажет? Кто положил на стол Абакумову письмо? Трус Горбатов? Он никогда письмо не дове-

рил бы стукачу — секретарю Келлерману! Симонов положил?.. Или, может быть, ангел принес его на своих крыльях в кабинет Абакумова и положил ему на стол??? Вы же голых фактов не понимаете и одновременно утверждаете, что о людях надо судить только по фактам: вы говорите, что ваш Борис и ваш Костя — писатели поэты, а вот представьте себе маленькую книжонку стихотворений, изданную в каком-нибудь райцентре, и в ней без подписи «Жди меня», неужели какой-нибудь Белинский, прочтя это «Жди меня», воскликнет, что он открыл настоящего поэта? Вы говорите, что так писать нужно было во время войны и что для несчастных солдат это было поддержкой... Да! Туда же еще можно прибавить и слюнявую «Темную ночь» с детской кроваткой, да, это было нужно для солдат, да, это было прямое попадание, но авторы выполнили этот заказ холодно, неискренне, невдохновенно, ведь даже от Эренбурга отвернулись, когда он написал заказную статью «Убивать немцев»! Борзописцы, вот кто эти ваши Боря и Костя!!!

— Софуля, но ведь каждый идет своей дорогой, у каждого своя цель. Пушкин же тоже не был с декабристами и жил придворной, светской жизнью. У Бори и Кости появилась тяга после Японии к шикарной жизни. В нашей стране без угождений и лицеприятства это невозможно...

Софуля взвыла:

— Из грязи в князи! Но ведь не ценой же жизни Ахматовой и Зошенко! И молчите, не смейте возражать и защищать их. Вы сами себе противоречите: вы говорите, что в лице вся сущность человека видна. — Софуля побледнела. — До конца дней своих не забуду лицо вашего Симонова на этом шабаше разоблачений Ахматовой и Зошенко: холодное, бессердечное, неумолимое, злое! Зверюга ваш Симонов! Его лицо чем-то похоже на личико нашего вождя, и даже не отсутствием интеллекта, которое всех их объединяет, а отсутствием обычных человеческих эмоций — горя, радости, волнений, — лицо истукана, он же видел, что добрый, несчастный Зошенко уже в полуобморочном состоянии, но продолжал его добивать! Палач лучше! Палач раз ударит топором, и покатишься голова...

Пришла волокуша, надо грузиться.

— Дура! Дура! Дура! Что я наделала! Что я наделала! Как я не поняла, не почувствовала, где концерт, — ведь уже при входе в зону меня удивила раскрепощенность нашего конвоя...

Лагерь самый-самый дальний, огромный, пурга метет уже три дня, мы еле добрались, покормили нас не на вахте, а провели в столовую, столовая удивляет чистотой, даже уютом, сцена уже сколочена. Зрители тихо, спокойно входят в зал, выбриты, приодеты.

При моем появлении встали и начали скандировать, и так же мгновенно упала тишина, за окнами воеет вьюга.

Запела, и вдруг две тысячи сердец забились вместе с моим... дышат вместе со мной... у нас одна душа... полет куда-то высоко, высоко... это и есть вдохновение?.. Впервые. Может никогда не повториться, не прийти. Земного такого счастья не бывает...

«Землянка»... У мужчин текут по щекам слезы, тишина жгучая, за окнами ревет пурга... передо мной фронтовики, смотревшие смерти в глаза, сильные, молодые, цвет нации, если открыть ворота, то строем выйдет полк от рядовых до командиров, до полковников: они потребовали, чтобы быть вместе, без уголовников, без блатных, и за это валят по две нормы леса, а я пою и плачу, и смею вместе с ними, затерянными на краю света...

Лежу с открытыми глазами, слушаю пургу... наши спят... а те, ставшие близкими, также, наверное, лежат с открытыми глазами... как же могло случиться, что я перевернула их души... как страшно, когда мужчины плачут... не надо было петь фронтовых песен...

К утру пурга стала утихать, и я увидела в окно вахты, на которой мы ночевали, что заключенных стали выводить на лесоповал, и произошло опять невероятное: все две тысячи человек проходят мимо вахты, повернув головы в нашу сторону, стройными рядами отчеканивая шаг.

Кто-то откуда-то смотрит на меня. Ищу и встречаюсь с удивительным сияющим взглядом, пронзившим меня: в кулисе, напротив, стоит незнакомый человек. Его в бригаде не было. Кто он? Новый аккордеонист? Не могу отвести глаз.

Алексей высок, строен, не худ по-лагерному, лицо интересное, умное, интеллигентное, аккуратен, светлоглазый русак, не профессионал, его в детстве, как и Борю Магалифа, обучали музыке, он инженер-химик, и в его игре есть та грань умения с примесью прекрасного дилетантизма, которая во мне всегда вызывает восторг, в таком искусстве нет холодно заученного, а есть что-то свое, глубокое, он чуть старше меня, наверное, ровесник Владо.

Не понимаю, что делаю, что говорю, бледнею, краснею, как девочка, ночью считаю часы, оставшиеся до репетиции, чтобы увидеть его, быть рядом, смотреть в глаза...

Алексей мужественно молчит: ни слова, ни намек, и только раз одним жестом как бы погладил мне руку...

Что делать? Больше не могу играть в случайных знакомых. Господи, помоги мне! Роман здесь, в лагере, для меня невозможен! Невозможен! Невозможен! Невозможен!!! Я перегрызу себе вены. И я заговорила:

— Я хочу, чтобы вы знали, что наша любовь здесь, в лагере, невозможна, это значит потерять ее, исковеркать, похоронить, потерять все человеческое, скрываться, унижаться где-то, как-то тайно встречаться, а если вы просто возьмете меня за руку, нас тут же разлучат!.. Я люблю вас, жизнь без вас невозможна, не нужна. Я для вас готова на все, кроме того, чтобы превратить нашу любовь в простой, отвратительный лагерный роман... — Голос сорвался.

— Любимая, прекрасная, единственная, я совсем сошел с ума, я не знаю, что делать... все будет, как вы скажете... хотите, я сделаю так, чтобы меня списали на лесоповал... сколько бы ни прошло лет... полуживой, я буду вас ждать... но теперь невероятно прожить без вас один день! Час! Минуту!

— И я буду вас ждать до конца своей жизни!

Алеша бросился ко мне, и я, как ужаленная, отскочила. Мы как будто ходим по раскаленной проволоке босиком. Если что-то случится, не знаю, как буду жить дальше. Сказать Алеше о Софуле и Эйно я не смею, не имею права, да мы с Алешей не выдержим.

После этого разговора жизнь превратилась в пытку, я вижу, как страдает Алеша, и не могу его утешить, а он мучается из-за меня, и Софуля стала для нас добрым ангелом: благодаря ей изредка появляется хрупкая возможность посылать друг другу коротенькие записки, от которых сердце еще больше разрывается. Наша любовь, как ворох сухих осенних листьев: ветер, и они взлетают, шуршат и кружатся, и все кажется безнадежным, ветер улетел, листья затихают и опять ложатся на то же место. Мы измучились.

Репетировать с Алешей больше нельзя, эти чрезмерные репетиции и так уже могли броситься в глаза. Теперь я могу смотреть на него только изредка, в дороге или когда он играет соло, и то мельком, невзначай: Филин, по-моему, стал активнее следить за нами.

Какая счастливая и несчастная наша пара молодых танцоров — они не прячутся, они считаются как бы мужем и женой, но как ужасны их интимные встречи где попало, как попало, фактически на глазах у всех, и не дай Бог ей забеременеть, как только беременность станет заметной, их тут же разлучат: ее отправят в лагпункт «мамок», а такового в этом лагере, оказывается, нет, и значит, неизвестно куда, и бедная девочка будет скрывать беременность и танцевать до самых родов... какой бы был у нас с Алешей малыш?..

Мой успех достиг апогея: и скандируют, и кричат, и бросают восторженные записки, я пою своей любовью, и пою, и пою, и я счастлива.

Нас привезли на «кукушке» днем на концерт, и надо идти до лагеря метров пятьсот. День солнечный, мороз мягкий, и вдруг, как в сказке, повалил снег, да такой, что конвой приказал остановиться, — огромные, неправдоподобные, как в Большом театре, хлопья покрывают все белой пушистой пеленой, не видно даже соседа. Я ловлю губами пушинки, и нежные руки меня обнимают, и горячие губы вместе со снежинками меня целуют, и я тону, и большего счастья на земле нет, сон... рай... между нашими губами рука Софули.

Снег поредел, нас могли увидеть, и бдительная Софуля встала между мной и Алешей. Теперь во мне, как в сказке о мертвой царевне, проснулось что-то мучительное, сладкое.

Я мечтаю о другом Алеше... теплом, страстном, рядом с собой... это не четыре года отсутствия любовных утех, это другое и не такое, как было раньше: с Митей я была еще девочкой, просто влюбленной девочкой... с Владо нас связывала страсть... а к Алеше чувство, которое приходит в зрелости, в расцвете.

У меня в кармане письмо от Ивана, я не знаю, как теперь быть с Алешей. Стихи и письма Ивана — это его сокровенное, личное, и я не имею права показать их Алеше и чувствую себя плохо оттого, что надо что-то от Алеши скрывать. И Ивана жалко. Он же может втянуться в этот эпистолярный роман, да и меня его письма как-то связывают, обязывают, как обручение. Иван так трогательно кладет крошку хлеба, запечатывая конверт, чтобы проверить, читает ли кто-нибудь нашу переписку. В письме новые стихи.

Т.

...Кто, миф столкнув с природою людскою,
Рай на земле голодным посулил,
Кто этот миф палаческой рукою,
В крови создав, в крови и утопил?

И желтый вождь ваяется из глины,
Со лбом, где нет пространства для креста,
Ему на грудь развешают рубины
Из крови вновь распятого Христа.

Хотел бы я, чтоб род мыслителей и бардов
Без низких лбов и низменных идей
Носил меха от диких леопардов,
А не позор дичающих людей...

Как смог бы свет без тени кромешной
Заблудшим путь к спасенью указать?
Как среди глаз бесчисленных и грешных
Сумел бы я вот эти отыскать?

Закат сиреновой тесьмой
Кладет на платье ваше тени...
С московским штемпелем письмо
Рука роняет на колени.

И словно все ушло от вас,
Все, щедро посланное свыше,

С чем были венчаны не раз
Большими буквами афиши...

Сочтется... Бездна теплых рук
Вас вознесет в рукоплесканье,
Средь слез и зависти подруг
И злобных восклицаний.

...И может, я, старик, приду
Продать свои воспоминанья
И всю полученную мзду
Пропить в честь нашего свиданья.

В честь мест, далеких от Москвы,
Где мы соседями прожили,
Где и меня за слезы вы
Когда-то раз благодарили.

Несчастье! Заболела Софуля, серьезно, тяжело, похоже на то, как я болела гнойным плевритом в Джекказгане. Зима распахнула свои объятия, и нас несколько дней назад выкапывали из-под снега часа два, и Софуля очень промерзла. Первый врач сказал — воспаление легких, дал лекарства, антибиотиков не оказалось.

Сегодня у нее температура 39, а главное, мы мучаемся на крохотных вахтах, потому что лагеря подряд мужские, в больницу Софулю положить нельзя, и каждый день ее надо укутывать в одеяла и вести в следующий лагпункт.

Говорю Филину:

— Софью Карловну немедленно дрезиной надо отправить на базу в «Мостовицу» и положить в больницу, сегодня температура 39.

— Вы же знаете, что дрезиной распоряжается только майор.

— Позвоните майору.

Он нагло расхохотался:

— По таким пустякам я тревожить майора не стану, через два дня доберемся до «кукушки».

— Но два дня могут оказаться решающими.

Он ослабился:

— Ничего, выживет!

Я могу убить человека! Филина могу! Зажмурю глаза, отвернусь и выстрелю, чтоб такая гадина не калечила Землю.

А что может сделать Гладков? Такой же раб, его даже не впустили к нам на вахту, и я выскочила к нему. Умоляю Александра Николаевича пойти к начальнику лагпункта и, пользуясь вчерашним успехом в концерте, просить принять меня, не предупреждая о том, что я хочу говорить по телефону с майором. Жду. Присылают конвой. Рассказываю, понимаю, как глупо говорить о том, что человек может погибнуть, и прошу его соединить меня с майором. Он так заволновался, как будто его должны повести на расстрел,

и — наверное, только силой искусства можно объяснить — соединил.

Майор как будто не знает, что Софуля в таком состоянии, сказал, что придет сам, и я струхнула: я даю ему повод быть в кабинете со мной наедине, я его боюсь, он ненормальный, с такими глазами нормальных людей не бывает, и когда он приезжает на концерт, я сама не своя.

Через час за мной присылают конвой и ведут к майору: свежесвыбрит, мундир действительно как на вермахтовском офицере, впился в меня глазами — нет, я его глаз до конца не рассмотрела: в тине, там где-то, глубоко, у затылка мерцают золотным огоньком, как у черта, две змеиные бусинки.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, что случилось?

— Каменская очень больна...

— Знаю. Почему не через Филина?

— Он отказался говорить с вами по такому пустяковому поводу.

Проглотил.

— А почему это вы так взволнованны?

— Не знаю, что вам на такой вопрос ответить. Человек может умереть, и надо его спасти.

— Вы лесбиянки?

— Нет. Мы подруги.

— Это не повод так волноваться за подругу. — Он покрылся красными пятнами.

— Для меня — повод, для меня дружба выше всего...

— Выше любви?

— Да.

Если он сделает шаг ко мне, кричать бессмысленно — никто никогда в дверь не войдет, дрожу от страха, но смотрю в упор в его болотные глаза.

— Вызовите немедленно конвой.

Он шагнул.

— Потом пожалеете, другого такого шанса, как сегодня, у вас не будет! — Он проскочил мимо меня, кулаком распахнул дверь и заревел: — Конвой!

Я все-таки надеюсь и жду, что дрезина придет. Через несколько часов надо собираться на концерт.

Софуля лежит тихо, температура уже 39,6, по секундам даю ей лекарство, сознание она не теряет и только смотрит неотрывно своими большими, лихорадочными глазами в мои, как будто хочет узнать в них свою судьбу.

На воспаление легких не похоже, она совсем не кашляет, что это, инфекция?

Я веселюсь и рассказываю ей байки, анекдоты, и абсолютное чувство юмора заставило Софулю все-таки улыбнуться уголком рта: людоеды — муж и жена — ложатся спать, и муж, задремав, начинает метаться, вскакивать, выкрикивать какие-то слова, жена будит его и укоризненно говорит: «Сколько раз предупреждала тебя не есть интеллектуалов на ночь».

Часы бегут.

У Софули тоже дочь повзрослела без нее, но у чужих людей, очень дальних родственников в Тарту, которые выдали юную семнадцатилетнюю Изольду за сорокапятилетнего вдовца. Изольда ни о чем плохом не пишет, но между строк это по-детски прорывается.

Ждать больше нельзя. Дрезина нет. Посылаю за Филиным:

— Если немедленно Каменскую не отвезут в больницу на «Мостовицу», я петь сегодня в концерте не буду и вообще, пока Каменскую не положат в больницу, петь не буду.

У него вылезли из орбит глаза, побежал. Мужчины все узнали, началась паника, дрезине идти к нам полчаса, жду, что будет.

Дрезина пришла. Погрузили Софулю, а самим надо грузиться на волокушу на концерт.

Написала Люсе на «Мостовицу» записку, чтобы из-под земли достали антибиотики, чего бы это ни стоило, и выходили Софулю. Люся — порядочная девочка и нашего круга. Мы вот-вот должны выбраться к «кукушке», а значит, к «центру», к станции, вокруг которой управление лагерем и женские лагпункты, и один из первых концертов должен быть именно на «Мостовице».

С волнением жду встречи с Алешей: неужели он будет упрекать меня, устроит сцену, повысит голос, он не смеет меня огорчить, он во всем мире самый прекрасный.

Алеша подбегает со слезами на глазах, при всех обнимает, целует:

— Любимая! Прекрасная! Героиня наша! Только бы жертва не была напрасной! Мы все будет молиться за Софулю! Она выживет.

И я счастлива, а я не героиня вовсе, выхода не было, никто же, кроме меня, ничем помочь не смог бы.

Как в критических ситуациях всё проверяется, какими все на волокуше стали близкими, солидарными, как все волнуются за Софулю, за меня, и, оказывается, все давно знали о нашей с Алешей любви и смеются, потому что сияние от нас исходит на километры.

Что может быть со мной: высылка в другой лагерь; страшный БУР — барак усиленного режима, это фактически лагерная тюрьма, ужасная, там политических нет, там царят уголовницы, бандитки, грязь, вонь, холод, голод, но оттуда можно за взятку выкупить: оказывается, взятки берут не только свои в зоне, а и начальство, вплоть до высшего. Или могут создать второй срок, чуть ли не за поднятие бунта, если наши немедленно ни кликнут клич по лагпунктам, чтобы заключенные молчали, ни гугу, чтобы не покатила волна возмущения, тем более протеста против моего изъятия из бригады. И последний, самый невероятный вариант — простят, сделают вид, что ничего и не было.

Тайну лагерного телеграфа не могу постичь: как из Магадана, сюда, на запад, приходят известия? Как в Ассирии или Вавилоне? Из уст в уста? Но как здесь?! Ночью, уже к середине концерта, мы узнали, что Софуля в больнице, воспаление легких, достали антибиотики... ведь бесконвойные ночью не имеют права передвигаться... значит, через конвой... тоже за взятки?

А мы с Алешей целуемся напропалую, а ну его, этого майора, к дьяволу, к чертям собачьим, Филина с нами нет, никто оскорбить не может, а наши такие смешные: чтобы на нас не смотреть, смотрят в потолок, больше смотреть-то ведь некуда, и я ласкаю Алешины волосы, трогаю глаза, губы, я счастлива, я опять женщина, и уж так мы с Алешей выступили, что даже наши аплодируют, а на волокуше сидим рядом, как сиамские близнецы, и длился бы, длился бы этот путь в бесконечность...

У вахты дрезина. Майор? За мной конвой: на выход с вещами.

Алеша! А он уже бежит как безумный, соскальзывает с трапа, увязает в снегу, рыдания заглушают слова, упал на колени, целует ноги, за ним бегут все мужчины, женщины тоже выскочили, нас оторвали друг от друга.

...чьи это поверх моих такие знакомые, большие, такие красивые теплые варежки... не знаю... дрезина катится, мороз трещит, под сорок, небо из сажи, звезды — бриллиантовая россыпь, луна сияющая, желтая, с полнеба, елки тоже сияют, как рождественские... ноги закутаны в казенное одеяло, за него же кого-то посадят в карцер... что же Алеша и мужчины сошли с ума... бежали ко мне по зоне после отбоя, в них могли стрелять с вышки... жить не хочу... не хочу жить... конец... Мама... девочки... Алеша... клятва написать книгу... все это уже по ту сторону добра и зла...

— Не дури!

Я вздрогнула, я забыла: напротив меня конвоир, в тулупе с поднятым воротником, и голос раздался оттуда, из тулупа, лица не видно совсем, голос прокуренный, уставший, немолодой.

— Чай не девочка!

Говорит на «о» — или волжанин, или вологжанин, на севере, кажется, все говорят на «о»...

— Выдюжишь!

Обдало горячей волной.

— Пела вчера хорошо, душевно, как у нас в деревне, такие долго живут!

Во мне буря, ломает, переворачивает: откуда, как этот темный деревенский мужик может чувствовать, что я на краю... что это... я сама... там напротив в тулупе... это моя кровь... моя исконная родина... мой народ...

— Не волнуйся, к поезду тебя везу.

Лермонтов... Джинджер и Фредо... Вагнер... Тютчев... Хемингуэй... Обухова... Бунин... Девушка с соболем... Грета Гарбо... моя любовь... все кружится, поет! Жить! Стерпеть и выжить.

Ни Джекказган, ни 36-й, ни культбригада — ничто. Вот он, настоящий лагерь: это тоже Каргопольлаг, но меня отвезли в отделение еще дальше на север, километров на двести — Пуксо-озеро.

Совсем на болоте, говорят, что летом, когда идешь по трапам, они колышутся. Голо. Пусто. Ни деревца. Здесь раньше был лесоповал, а теперь все вырубил, и лес где-то за пять километров, и никаких волокуш — пешком. Под честное слово мне сказали, что на моем деле сверху крупными буквами написано: «Использовать только на общих работах», а работы здесь — лесоповал и заготовка торфа, ах, майор, когда-нибудь вас увековечат в мраморном памятнике.

Женский лагерь на всей Пуксе единственный, а ближние мужские за несколько километров; в войну женщин здесь не было, и голод такой, что мало кто выжил, хоронить было некому, и умерших и полуживых сбрасывали в ямы около лагпунктов, и мне показали это место, и я никогда не смогу опомниться от всего этого. 58-я статья здесь не разбросана, а живет в отдельном бараке: длинном, с низким потолком, сыром, полутемном, полуразвалившемся, с двухэтажными нарами, в полу провалились доски. Обитательницы запуганы, забиты: профессор из Ленинграда... поэтесса... инженер... Меня встретили как явление Христа народу, но тут же чуть не бегом заставляют сдать в каптерку мою походящую виды голубую шубу, иначе я ее больше никогда не увижу. Рядом, стена в стену, барак 59-й статьи: «убийство, бандитизм». Остальные — просто женщины, работающие до изнеможения, до больницы от непосильного для женщин труда, мужчинам все-таки легче, они от природы больше подходят для физической работы.

Я на лесоповале. И опять все тот же беспроволочный, лагерный телеграф: все уже знают, что со мной произошло в Ерцеве и, как на 36-м, чуть ли не на коленях умоляют

поставить концерт, но это физически невозможно, меня из леса притаскивают под руки, я как-то умудряюсь заползти на свои верхние нары, но сил уже нет снять бушлат, я валюсь и засыпаю одетая. Конечно, если бы слово, пол-слова от Алеши, я соскочила бы, доползла.

Как хорошо, что Алеша освобождается раньше меня, он будет ждать меня, куда бы меня ни занесло, жить в собачьей конуре, голодать, такой жертвы любви даже мифология придумать не сумела бы, а у меня 13 декабря половина срока, говорят, будет легче, пять лет... пять лет... даже не верится... пережить бы зиму, весной будет легче, а уж летом вообще пустяк! Терзает, что с домом опять потеряна связь; а думая о Софуле, утешаю себя тем, что плохие вести приходят быстро, об этом плохом даже думать не могу, познакомилась с нашей медсестрой, она тоже заключенная, бывший врач, рассказала ей все про Софулю, и, может быть, удастся что-нибудь узнать о ней по линии медпунктов.

Узнала от своих женщин на лесоповале, что связаться с Ерцевом можно только через «59-й» барак — не пойду. А они сами и пожаловали ко мне делегацией, вызвали из барака: по их «закону» так просто они в «58-й» барак не заходят, а когда надо обворовать, врываются, но последнее время не врываются, потому что начальник осмеливается сажать их за такие деяния всем баракком на карцерный режим, и за это они съели его любимую красавицу овчарку, достали еще и выпивку и устроили такой шабаш, что лагерь заперся в бараках на все возможное и сидел не дыша, нюхая разносящийся по всей зоне запах шашлыка, сам же начальник пил вмертвую несколько дней, а потом их жестоко наказал без всякого закона, а здесь его, этого закона, и в помине нет. А кроме того, каждую весну, как только солнце начинает пригревать, по его распоряжению весь «59-й» выгоняют автоматами на трапы и заставляют вычищать барак, иначе все и вся в нем давно сгнило бы: идет война как война, и если «59-й» даже и не прикончит начальника, то кудри ему отстригут. Сейчас у него тоже красавица овчарка, в которой он души не чает, которая разорвет, если к нему подойти не с добром.

Любопытный тип этот начальник, чем-то напомнил мне того лейтенанта в «Матросской тишине», который все утешал меня: я его увидела, когда он метался по зоне в распахнутой шинели, несмотря на мороз, возбужденный, под хмелем, большой, быстрый, довольно интересный, размашистый, лет тридцати; рассказали, что у него ослепитель-

ная шапка золотых кудрей, но поскольку он меня не вызывает, кудрей этих я еще не видела.

Делегация из «59-го» пришла из пяти человек, просят устроить концерт и выступить, сами они участвовать в лагерной самодеятельности, по их «закону», не имеют права, но «ух, как обожают искусство»: они-то уж, конечно, знали о моих событиях в Ерцеве первыми и добавили, что сделают все возможное, чтобы облегчить мою участь на лесоповале, и действительно, еще чаще стали подходить какие-то незнакомые женщины и вставать вместо меня под бревно.

А я понемногу отхожу: во-первых, все реже стала бушевать пурга и заметать дорогу, а по гладкой дороге эти пять километров кажутся пустяком; во-вторых, я уже на нижних нарах, и напротив меня милая, интеллигентная, та самая инженер, она кажется порядочным человеком, и с ней можно хотя бы просто разговаривать, а то я совсем одичаю; в-третьих, я перестала спать, как идиотка, сутками: раньше я в субботу после бани доползала до своих нар и спала до подъема в понедельник.

Я потихоньку начала репетировать.

Скоро День Советской Армии, и я придумала «военный концерт». Придумала еще и потому, что во всем лагере ни у кого не оказалось ни национальных костюмов, ни просто приличных платьев, и пришла мне идея взять у вохровцев гимнастерки.

Конечно, о моей идее тут же донесли, и меня вызывает начальник; действительно, таких кудрей не смог бы создать даже самый талантливый театральный парикмахер; он более чем в курсе моих событий в Ерцеве, умный, как всегда, «на взводе», и, глядя мне прямо в глаза, говорит; что пока ничем помочь мне не может — приказ начальства, а он «козьявка» — так и сказал «козьявка», — и все, что он может для меня сделать, это приказать создать бригаду из участников концерта, чтобы она первой уходила с лесоповала и чтобы в столовой уже стояли миски с рыбным супом, и тогда у нас до отбоя будет час на репетицию, а гимнастерки и все, что мне нужно, он распорядится доставить... Вылетела из кабинета окрыленная — уже сил нет делать что-то впустую, что-то преодолевать, вытаскивать палки из колес.

До премьеры остается три недели, мои «звезды», как и в Джеккагане, стоя засыпают перед выходом на сцену, но спектакль все-таки слаживается: я придумала ночь, поляну, звезды, и на пеньках, на земле около елочки сидят бойцы... и танцы, и стихи про Теркина, и песни, и написала связующий текст, чтобы был как бы спектакль.

Какие же и здесь нашлись голоса, танцоры! Запела одна западная украинка-«бандеровка», у меня забегали мурашки — голос

сильный, чистый, грудного тембра, красоты чарующей, дух захватывает. Решилась и дала ей спеть соловьево-седовских «Соловьев», и теперь, как только эта Аня запеваёт, я улыбаюсь, но слезы сами катятся, не знаю уж, как это будет в спектакле, — зал будет рыдать; самое трудное с аккордеонисткой, она совсем плоха, но другого, из мужского лагеря, говорят, очень хорошего, начальник не может дать, а елку и пеньки приказал вохровцам самим притащить из леса и принести новые или трогательно выстиранные ими же гимнастерки. Трудно со звездами: их делать не из чего, но зато я под этим предлогом всколыхнула наш барак, все забегали, что-то выдумывают, чтобы не ударить лицом в грязь, и когда показали мне, я глазам своим не поверила, оказывается, они дежурили у КВЧ, где раздают посылки, и выпрашивали фольгу, даже вошли в контакт с «59-м», а главная выдумка — стекляшки от ампул, и когда направили на звезды единственный прожектор, они засияли, как настоящие; сама петь еще не смогу, сил нет.

Около меня вертится маленькая, смешная, прехорошенькая татарочка Рэнка, ей лет семнадцать, она воровка, а по чину «59-го» «шестерка», она искренне хочет мне чем-нибудь помочь. И я ее прошу бегать в КВЧ, узнавать, нет ли для меня письма, сегодня она извертелась вокруг меня, и наконец я нахожу в кармане маленький сверточек — разворачиваю: кусочек сала, а в бараке я краем уха слышала, что у моей соседки по нарам слева (кстати, препротивной женщины, дышавшей мне в лицо гнилым ртом и храпящей так, что качается и когда-нибудь рухнет от звуковой волны барак) украли сало, и я поняла, что это именно соседкин кусочек сала, и тогда я значительным, назидательным тоном говорю Рэнке, что сало украдено у моей соседки и ай-ай-ай, как нехорошо... Рэнка мгновенно исчезает и появляется с кусочком копченой колбасы, шепча, что колбаса эта из их барака.

— Украла?!

Молчание, и вдруг Рэнка засмушалась, потупила свои черные сльвы и одними губами сказала:

— Взяла... возьмите, у вас же не будет сил репетировать!

Сердце сжимается тоской, когда гляжу на маленького, чудесного, но изуродованного ребенка Рэнку, похожую на выброшенного котенка, ей же ничего, кроме материнской любви, не надо!

Я присматриваюсь к «59-му» бараку — мне действительно страшно и непостижимо стоять рядом с человеком, который своими руками задушил мать, быть рядом со сроками двадцать, двадцать пять и еще несколько раз по двадцать пять лет за тяжчайшие преступления, совершенные даже уже здесь, в лагере, я всматриваюсь в их лица... они обыкновенные, если их привести в божеский вид, они будут такими же, как наши, и я поняла, что этих

людей изуродовали мы сами: окружение, семья, воспитание, наш пример, сама жизнь, а те, другие, откровенно дегенеративные, жуткие, нечеловеческие лица, их не так уж и много, они действительно ужасны, и правильно делали в Древнем Риме, уничтожая новорожденных уродов.

Рэнка прыгает у самой вахты и, сияя своими угольками, кричит не своим голосом на весь мир, что мне есть письмо.

Из дома! И я тоже хочу кричать от радости: дома все хорошо, малыша назвали Александром, Заяц, как только бросит кормить, приедет ко мне на свидание, думает, что это будет уже скоро, молока мало, привет от всех друзей.

А вскоре Рэнка опять завертелась вокруг меня бесенком, лезу в карман, какая-то маленькая, скрученная, заклеенная трубочка, бегу в туалет, разрываю — Иван: они уже знают все обо мне, подбадривают. Но ведь Иван бесконвойный, бывает даже в управлении... А Алеша! Как может узнать обо мне Алеша?!

Решаюсь.

— Рэнка! Если нельзя, то не говори. Как попала ко мне эта записка?

— Вам скажу. Но если капитанша узнает, мне оторвут голову.

— Рэнка, а возможно мне послать записку в Ерево?

— Поговорю.

Премьера на носу, волнуясь за поведение вохровцев на спектакле, они почти всегда пьяные, даже на вахте, они вологодские, говорят, что вологодский конвой самый тупой и самый жестокий! А какими же им быть: звериная жизнь, хуже, чем в зоне: грязный поселок, контингент женщин из тех, кто освободился и кому или некуда ехать, или нет выезда отсюда, они с ними сходятся, те их спаивают неизвестно чем, были случаи отравления, и так изо дня в день — кольцо. Вся надежда на начальника, все-таки его боятся, когда он расшвыряет.

Рэнка опять танцует на вахте — посылка. Все-таки как же жалок человек! Ему нужна вкусная еда, удобная постель, нужно плавать в удовольствиях, наслаждениях, веселье... И мы с соседкой тоже кутим, блаженствуем, завариваем какао, макаем в него белые сухари, и так трудно остановиться, а надо, надо, потому что петь в спектакле все-таки придется и нельзя по-свински объедаться и заболеть, как это было после мексиканских ананасов.

Моя соседка справа с римским именем Клавдия попросила меня не называть ее по-деревенски Клавой, и я придумала ей имя Лави. Лави умная, она уже состоявшийся, почитаемый инженер по каким-то машинам, махровая антисоветчица, о чем с гордостью и заявляет: про Сталина и про партию при ней нельзя упоминать — краснеет, начинает нервничать, говорить, что арестована правильно, только жалеет, что мало сделала: она еще в инсти-

туте создала группу студентов, и они довольно долго просуществовали, пока их всех не арестовали; тридцать восемь лет, интересная, светлая, большая, с красивой фигурой, у нее хороший русский язык, интеллигентная, с большой культурой, чувствуется духовность. В лагере живет припеваючи, премило и довольно легко, отложив до будущих времен свои принципы: она работает за зоной в конторе лагеря и так великолепно крутит делами, что фактически не она зависит от начальства, а оно от нее. У нее свой конвой, который отводит ее в контору и приводит обратно. Кроме того, ее «полный болван» начальник — еще и ее любовник.

В воскресенье премьеры. С сердцем плохо — приступ за приступом.

Ни о какой генеральной репетиции речи быть не может. Премьеру назначила на воскресенье, чтобы мои артистки смогли хотя бы немного отоспаться — и я в том числе.

Мой бесенок вертится около меня и мимоходом бросает, чтобы я написала записку в Ерцево и положила в карман. Профессионализм Рэнки приводит в восторг: через минуту записки в моем кармане уже не было. Рэнка сказала, что записки перевозит машинист железной дороги — «бывший их».

Есть одна посылка — вешевая: теплые носки, варежки, платок и постельное белье! Мама! Мамочка! Только ты могла это послать: на двух белоснежных простынях и наволочке вышита Маминой рукой монограмма такими же ярко-синими нитками, тем же рисунком и такая же, как была на ее свадебном белье, только вместо буквы «Е», теперь «Т»; и поздравление с днем рождения... как же я могла забыть... действительно совсем скоро — третьего марта.

Лежу на нарах, через тридцать минут начало спектакля. У меня все готово, но в голове бездонная пустота. Невозможно представить себе, чтобы в таком помещении уместилось столько народа: стоят вплотную.

И как все пошло хорошо, как я благодарна моим артисткам, какие они талантливые, преданные тому, что делают, с горящими, как звезды, глазами. Когда голос Ани залился серебром над тайгой: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат», — дыхание остановилось у всех! Я спела «Землянку» и «Давай закурим». Кажется, успех еще больший, чем предыдущие, успех у всех, у всего спектакля, меня просто принесли в барак на руках. Лави создала на тумбочке иллюзию праздничного стола, от волнения не может рассказать о спектакле и только целует мне руки. Меня это очень смущает...

Вызывает начальник.

— Ну, молодец! Ну, здорово! Ну, на большой палец! Ну, не ожидал! Ну и талант! Ну, спасибо!

Конечно, говорит он грубо, как всегда, под хмельком, и такой «могутный», несразимый: это такие затевали на Руси кулачные бои, это такие шли в бой с открытым забралом; смотрю на него, ну действительно диво: ни сивуха, ни ужас этой жизни, ни окружение, ни потаскушка-жена его свалить не могут. Лави рассказала, как он, застав жену с кем-то, так ее избил, что в больнице еле отходили, а потом, не дав зайти домой, приказал отправиться прямо к поезду — и навсегда, теперь живет один, но злые языки говорят, что дневальная, которую приводят из лагеря убирать его квартиру, простая, некрасивая, старше его женщина, нежно его любит, и он с ней спокоен, а с этим его псом — удивительная дружба.

— А не могли бы вы все повторить для наших, весь поселок уже знает о спектакле, и просили меня поговорить с вами и даже могут что-нибудь принести, многие из них вообще никогда не видели живых артистов! — И смотрит на меня в упор.

— Нет, для них не могу.

— Ну и правильно — только вы ходите по проволоке. Вам надо из Каргополя исчезнуть, от нас этапов не бывает, а если вдруг будет, то вас все равно не возьмут. За вами следят и все докладывают оперу, а опер докладывал мне: как вас укладывают на бревнах, когда вам плохо с сердцем, и как вместо вас встают под бревна. У вас есть деньги?

— Есть.

— Купите сердечные лекарства, эта сволочь опер вместе со своей б... «сарой» спекулирует лекарствами, и покупайте не те, которые назовет «сара», ей может захотеться вас отравить, а спросите у старика доктора Иванова. Больше я вам ничем, ничем, — и так ударил кулаком по столу, что стол чисто случайно не развалился на куски, — помочь не могу! До свидания.

Я пошла.

— Да. Еще! С «59-м» не связывайтесь, это зверье и гады, они продадут за пачку чая, они вам ничего не обещали?

— Нет.

— И ничего не вымогали?

— Нет.

— До свидания. Хорошая вы баба! Молодец!

Обсуждаем с Лави день рождения: осторожная Лави решается пронести в зону спиртное, ее на вахте фактически давно уже не обыскивают, и она ничем не рискует. Еда еще есть из посылки. А я мечтаю застелить в этот день Мамино белоснежное белье и, заснув, увидеть дом, всех своих, как будто я среди них и Алеша тоже.

Весь лагерь знает о дне моего рождения, потому что когда посылку вскрыли, чтобы начать потрошить, сверху крупными буквами было написано поздравление.

Алеша ни секунды не выходит из головы; все-таки физическая усталость хороша, иначе я не уснула бы ни одной ночи, высчитывая часы, когда от него придет ответ, а с Лави просто неприлично — так много она знает обо всем на свете, что я без конца пристаю к ней с вопросами, и Лави начинает рассказывать, но уже на третьем слове я становлюсь сопящей нимфой.

Самое трудное, где и как устроить день рождения: барак весь просматривается, и дело даже не в спиртном — его можно пить из кружек, как чай, — а в еде, почти весь барак голодные люди, и запах тушенки приведет их в отчаяние.

С Алешей близость мистическая, его глаза все время со мной, ни оторваться, ни вырваться, они втягивают, вбирают, ослепительно сияют, разговаривают со мной... магия... были ведь сумасшедшие увлечения, а с Алешей ни на что, ни на кого не похоже... у нас одна душа... тело... желания... мысли... мечты... а как будет потом... без жилья, без денег... какой нужен такт, талант, ум, хороший характер, полная отдача... иначе любовь улетит... какой Алеша... многое зависит от мужчины... а если он разрушит любовь... если он хоть раз солжет... я люблю... я любима... награда за два брака с чужими, ненужными, бездуховными людьми... а когда родится маленький Алеша или маленькая Танечка... Господи! Сделай так, чтобы вырваться из-за проволоки и побе-

жать друг другу навстречу! Сделай что-нибудь! Сделай так, чтобы умер Сталин!

Видела сон: как будто белые пушистые облака, а все небо голубое, голубое, и из облаков медленно выплывает ввысь сказочной красоты дворец... башни... зубчатые стены, и все это сияет и выплывает все больше и больше в голубое небо... а вдруг родить будет уже поздно... мне через неделю тридцать девять лет... Господи, поторопись. Софуля и Эйно освобождаются в конце года, тогда, в начале так называемого второго заезда зверских расправ, еще давали по семь лет... а Алеша освобождается летом 54-го... куда он ко мне придет... где я буду... мне уже будет тридцать девять с половиной... а вдруг меня закроют в тюрьму... не могу об этом думать... а если Алеша не выдержит четырехлетнего ожидания... если все это вообще неправда... стоп!

В столовой вдруг подходит ко мне заведующая КВЧ — «дама весьма неприятная во всех отношениях» — и тоже вдруг предлагает отпраздновать день рождения в ее особняке на курьих ножках. Она — наша заключенная — сидит за крупное государственное хищение, а в лагерях почему-то к такому преступлению относятся благосклонно — врожденное, подспудное чувство, что у государства воровать не стыдно; конечно, стукачка, препротивное существо: маленький узелок, в котором хитрость, беспринципность, подхалимство, подлость; а домик действительно на курьих ножках: в одну комнату, с одним окном, в стороне и от вахты, и от столовой, и от барачков, и надзиратели туда вообще не заходят для проверки.

Лави уговаривает: ведь другой возможности в лагере нет и быть не может, и не такая уж эта кавэчиха противная, можно и потерпеть, и не таких терпим!..

Надо уйти в КВЧ до отбоя, изобразив в бараке свои тела под одеялами, а при первом ударе подъема проскользнуть в барак, одеться в бушлаты и прямо на вахту, а еще кавэчиха разрешила пригласить двух милых женщин из нашего барака, а это уже бал, и тогда сама кавэчиха не будет среди нас видна; а еще самый главный довод всезнающей Лави: кавэчиха, конечно, сделала это с чьего-то согласия и, наверное, даже с согласия нашего буйного начальника... Злешний карцер я уже не выдержу, он не отапливается, и спать надо на ледяном полу, а за такой бал режим и опер дадут не менее трех суток, от пола меня придется отрывать вместе с примерзшим бушлатом, и Алеше некого будет дожидаться.

Стою, обрубаю сучья, и вдруг какая-то тревога в бригаде. Бегут явно ко мне. Что случилось! Неужели кто-то уже

донес о дне рождения... За мной прислали конвой... Значит, событие чрезвычайное! Зашагали. Догоняет девушка из бригады:

— Не волнуйтесь! У вас радость! К вам приехала на свидание дочь!

Я так и села в снег. Конвоир молчит, ждет, а я встать не могу; подбежали, стали меня поднимать, поздравлять, очнулась, но бежать не могу и просто быстро идти не могу... сердце... вот он трап перед вахтой... длинный... а в конце у вахты Зайчик...

— Девочка мой!

И побежала к ней, и она бежит ко мне...

Какая она красивая! Совсем другая, чем там, в Матросской Тишине: раскованная, теплая, болтаем, и фото стоят на столике, много, много Сашенькиных: ему уже семь месяцев и девятнадцать дней, и он тоже неописуемо хорош, и день пролетает, как мгновение, всё, как с Мамой, начали считать часы, десятки минут, минуты, и я смотрю с вахты на ее удаляющуюся, рыдающую спину, а я уже сдерживаться не могу, вою волчицей.

Теперь у меня после свидания с Зайчишкой страстное желание побыть одной, пусть даже как в одиночке на Лубянке, чтобы меня никто не трогал, — ничего не слышать, быть только с собой.

От Алеши ничего.

Волнуемся, трусим, как бы незаметно надеваем все лучшее, я, конечно, свою белую венскую кофточку, и, конечно, весь барак видит это и делает вид, что не видит ничего, и по одной начинаем ускользать в КВЧ.

Эту всегда грязную, тесную избушку узнать нельзя: вымыто, стол уже накрыт, натоплено, скатерть, вместо кружек — стаканы, вместо мисок — тарелки, букет прекрасно сделанных чьими-то руками бумажных цветов и подарки, и вместо тридцати девяти — две зажженные свечи... Сколько во всем этом души, трогательной благодарности, любви... И все это за спектакль.

Сели за стол — такой счастливой ночи ни на приеме у президента, даже у королевы никогда у меня не будет: пьем наилучшей марки французское шампанское, правда, на свободе его почему-то называют «бормотухой»! Едим тушенку с макаронами! С макаронами! Пьем душистый желудевый кофе! И читаем стихи! И поем! И хохочем! Хохочем! Спасибо тебе стукачка-кавэчиха за такую ночь!

Одна мечта, чтобы все-таки не раздался стук в дверь и мы не оказались в карцере.

Ровно в полночь все встали и торжественно меня поздравили: Лави уговорила начать праздник не третьего после отбоя, а второго — во-первых, если даже надзиратели ворвутся, у нас останется третье число, во-вторых, и это главное, третьего дежурит Степанишев, а это особая фигура в лагере: единственный непьющий во всем поселке, он занят деланием детей, говорят, что их у него чуть ли не пятеро, а ему нет и тридцати, красивый, большущий, грубый, беспощадный, почти все карцеры от Степанишева; по сравнению с другими надзирателями интеллеktуал — читает газеты, но когда он дежурит при выдаче посылок, то половины из посылки ты уже не увидишь — до смешного: абсолютно хорошие консервы выбрасываются как вспученные, сало как протухшее, печенье как заплесневевшее, и все это остается у

Степанишева. Они с начальником чем-то схожи, может быть, это тип северян, пришедших сюда еще тогда, при Петре или еще раньше, чуть не босиком по снегу... варяги... норманны... Мы рассуждаем о пуде соли, который якобы надо съесть, а ведь если человек и рта еще не раскрыл и одет невесть во что — уже видно, русак ли это, немец, еврей, француз, киргиз, южанин, даже если он светлой масти, видно по складу лица, телу, походке... Интересная это наука...

Прошла половина ночи, а мы пируем, и, к нашему счастью, начала подвывать пурга, пока еще чуть-чуть, но к утру может разыграться, и тогда еще один подарок: нас не поведут в лес!

Сколько историй, рассказов, говорим взахлеб. Меня заставили петь Вертинского! «На солнечном пляже в июле, в своих голубых пижама...», «Послушай, о как это было давно, такое же море и то же вино...»

Как Золушки, вскочили, услышав команду «подъем», и по одной разбегаемся.

Пурга разыгралась, и свет прожекторов выхватывает из темноты неясное, меня кто-то хватает за голубой рукав моей шубы — Степанишев.

— Думаешь, не знал, где вы все, я же заступил в ночь и слушал под дверью, а чегой-то ты этих песен не пела в спектакле, хорошие, да не бойся, не доложу.

Вот и еще подарок, если, конечно, уже не «доложил».

Сквозь свист ветра из единственного репродуктора долетают ключья разорванных слов, я вросла в трап, ноги отнялись: «...здоров... Иосиф... Виссар... ухудши...» Лави бежит ко мне: выиграла жизнь. Царский подарок к третьему марта.

Пятое. Объявляют о смерти вождя. На митинг не вывели. Чего-то побоялись. Торжество в лагере настоящее: где открытое, где тайное, поздравляют друг друга. «59-й» барак вывалился на трап, бросают шапки в воздух, проорали: «Ура»... Странно — они-то ведь действительно убивали и грабили и к вождю относились даже как бы хорошо. Или это тоже всеобщее, всепоглощающее вранье? Лагерь бытовой, чему же этим людям радоваться? Все это интересно и страшновато.

Вместо митинга стали ходить по баракам, вваливаются и к нам, вся банда: начальник, опер, режим, надзиратели — встали в проходе у дверей.

— Встать!

Все встают. Я не встаю. Лежу. Они еще не видят что кто-то лежит. Начальник в тяжком похмелье, глаза красные,

как у кролика, говорит заученные слова, оперу шепнули, что кто-то лежит, — метнулся к нарам: все стоят в центральном проходе у своих нар, и между нарами просматривается все пространство до конца барака, и вдруг заорал не своим голосом:

— Встать немедленно!

Лежу. Все повернулись ко мне. Лави похожа на покойницу. Лежу на боку лицом к ним, с открытыми глазами, чтобы не подумали, что я так крепко сплю, смотрю на них.

— Встать, я приказал!

Лежу. Жуткая тишина. Сама не встану.

...мне должны отрубить голову, на площади у эшафота тьма народа, народ знает, что я умираю за честь и справедливость, поднимается какой-то не князь, а похожий на члена нашего правительства и, издеваясь, говорит, чтобы я поцеловала палачу руку, не поцелую...

— Встать нем..ед...!

У него на истеричном взвизге срывается голос. Кто-то хихикнул, и банда выскочила. Ждем конвоя за мной.

А я, как последняя слюняйка, размокла: ко всему можно привыкнуть, кроме человечности! Что же это такое: на моих нарах бушлат той самой профессорши из Ленинграда, он подшит оренбургским платком... валенки... теплый платок!

Ждем. Тишина. Конвоя нет.

Садиться на снег во время подсчета при возвращении в зону нельзя, я падаю от усталости, и меня держат под руки, вдруг замечаю скачущую по ту сторону ворот Рэнку! Алеша!

— Как только войдете в барак, сразу же выходите в сторону нашего барака, а к вам навстречу из нашего выйдет сама капитанша, она ждет вас.

Одновременно вышли из своих барачков и пошли на сближение, как Наполеон с Кутузовым, всю мою усталость будто ветром сдуло, сошлись, на меня пахнуло в чистом морозном воздухе ужасающей вонью немытого женского тела, лицо, наверное, даже интересное: жгучая брюнетка с большими черными в черных кругах отталкивающими глазами, лицо белое, как у привидения, тяжелое, с таким лицом можно спокойно перерезать горло, ведьма, получеловек, полуживотное, глаза блуждают, явно под чифиром.

— Да не бойтесь, я просто так не кусаюсь.

Голос отвратительный и хриплый, прокуренный.

— Ответ мне надо отдать сегодня же ночью. Сможете?

— Да! Да! Да! Конечно!

Она жутковато улыбнулась.

— Да не засыпьте и не засвистите в карцер!

Алеша прекрасный, изумительный, таких писем на свете не бывает; Софуля жива, но еще поправляется на «Мостовице», через несколько дней ее присоединят к бригаде; бригада была с концертом на «комендантском», там Алеша и Иван познакомились; а потом — P.S. : они только что узнали, что я не встала в день смерти вождя. Алеша и плачет, оттого что теперь меня могут загнать в Тмутаракань и мы можем надолго потеряться, и в восторге от меня! В Алеше какое-то всепоглощающее, потрясающее обаяние.

Встретились на том же месте между бараками, и я передала капитанше огромное письмо для Алеши, а для Софули оставшуюся от дня рождения плитку шоколада и еще оставшиеся от приезда Зайчика деньги для Алеши и Софули. Лави стенает от моей глупости, но я знаю, что после спектакля капитанша у меня ничего не украдет.

Весна! Метели бывают редко, редко и солнце! Вот оно какое северное солнце, не похожее ни на какие другие солнца, — радостное, чистое, почти не заходит, и я, не поклонница белых ночей, часто теперь мысленно брожу по своему любимому Ленинграду...

Вызывают к начальнику.

Он старается говорить тихо, чтобы не подслушивали, но это у него не получается. В своем кабинетике, во всем этом домишке он похож на большого льва, мятушегося в маленькой клетке.

— Ну вот что! Вам надо из Каргополя уматывать. После этого номера с лежанием пятого марта вас здесь добьют. Как выбраться — не знаю. Этапов у нас не бывает, да и не буду я из-за вас терять еще одну звездочку, вас в этап отправлять запрещено — «использовать только на общих работах». Остается только закрытка — знаете, что это такое?

— Знаю — БУР, мне все о нем рассказали.

— Блатные вам теперь не страшны, они к вам после ваших номеров относятся хорошо, помогут вам в закрытке, вы же спец по номерам, выкиньте что-нибудь эдакое, и я вас смогу отправить в закрытку полегче. С мужиками-то вообще договориться можно, а вот бабы у них...

Он стиснул зубы, бедняга, ему так трудно разговаривать со мной без мата, он числится в этом жанре мастером высочайшего класса, даже блатные от восторга раскрывают рты.

— Но выхода нет! Попробуйте поговорить с вольным врачом стариком Ивановым. Он хорошо к вам относится, он человек, взятки с зеков не берет, бобыль, один во всем свете, кошка у него, может быть, он постепенно, осторожно сможет подвести вас под инвалидность, вы и сейчас уже похожи на инвалида. А наши-то в Ерцеве, когда опомнятся, могут, если захотят, вам и второй срок за пятое число намотать — бунт, восстание! А пока видели за зоной горку, там у нас овощное поле для вольных, а обрабатывают его ээки, там уже стаял снег, и скоро надо пахать, я вас поставлю пахарем, это полегче, чем лесоповал. — И громко, грубо выкрикнул: — Идите!

И пошла. Что делать? Начальник, конечно, все понимает и, наверно, ко мне хорошо относится, если завел такой разговор... А если он просто боится за свои звездочки и хочет избавиться от меня? Страшнее БУРа уже нет ничего, в нем всех «не своих» превращают в нелюдей, страшно на это решиться... как сейчас мне нужен Алеша...

Рэнка вертится у вахты: или ответ из Ерцева, или наконец письмо от Мамаы. Странно: последние два письма — от Зайца, и мне что-то тревожно, почему Мама не пишет сама.

Письмо опять от Зайца. Вскрыла и, оказывается, выскочила из барака в чем была, побежала по трапу, сшибая людей, сорвалась в грязь, меня догнали, привели обратно в барак — ничего этого я не помню. Мама умерла, Мамаы нет, вместить в себя, понять это невозможно, воспоминания доводят до безумия, вот я маленькая, вот я большая, вот вся наша невеселая жизнь, вот Папа, вот Баби, срываюсь с нар, бегаю по бараку босиком, чтобы никого не тревожить, ложусь на нары, целую Мамину монограмму, вышитую еще совсем недавно ее руками. Мама, прощай.

Заяц два месяца не писала, а Мама умерла вслед за Сталиным, Заяц кричала Маме: «Бабуля, бабуля, поправляйся. Мама скоро будет дома, Сталин умер», — но было уже поздно. Мамочка уже не слышала, не понимала Зайца. Как я буду жить без Мамаы?

Как-то мы в очередной раз шли с Борисом по нашему бульвару, и именно ко мне прицепилась с гаданием цыганка — смотрит на меня и вдруг говорит: «А ты потеряешь свой дом». Тогда это выглядело дурачеством, а теперь у меня не стало дома, мне некуда вернуться, дом на Калужской последней ниточкой держала Мама, теперь там осталась Тетя Тоня, Бабина младшая сестра, старая, беспомощная, потерянная после гибели единственной дочери в ашхабадском землетрясении, внучку мы у нее забрали на Беговую, в чужой, новой семье Зайца я жить никогда не буду, не смогу... какая же бездонная торба человек, сколько в него может вместиться горя...

Моя карьера пахаря заканчивается глупо и смешно: это же не лесоповал, все пахари здесь на виду, помочь мне никто не может, нормы невыносимые, силушка нужна о-го-го какая: воткнуть плуг в каменную землю, а потом эту же землю разрезать тупым плугом, и на поле посылают самых крупных, я среди них дистрофик, силы мои тают, только бы не заболеть, тогда вообще конец. Всю зиму обтиралась снегом, а сейчас поливаюсь ледяной водой, так делал

Папа. Да что там мы! Лошади заезжены, грязные, голодные, у них еще меньше сил, чем у нас, моя Маша идет, идет и вдруг падает, и так все лошади, их начинают бить заранее приготовленными батогами, чтобы они встали и пошли, а я не могу бить Машу, не могу, я сажусь у ее морды, смотрю ей в глаза и уговариваю: «Ну, Маша, ну, Машенька, ну, встань, ну, понемногу, знаешь, сколько нам еще борозд осталось», — и она встает, а потом я покрываюсь холодным потом, мне дурно, и я сажусь на землю, и тогда Маша смотрит мне в глаза, и я поднимаюсь, и так всю смену, а в конце Машу тащит конвоир, а я держусь за Машин хвост; зато на нашем поле иногда попадаются не совсем сгнившие, невыкопанные с прошлого года морковки, и мы с Машей съедаем их, чтобы совсем не пропали зубы, хоть все и смеялись надо мной, но я жевала хвою, и я за пять лет еще не потеряла ни одного зуба, а здесь даже молодые от авитаминоза вынимают зубы руками.

Чувствую себя сиротой, и с каждым днем мне все хуже и хуже, стало плохо на пашне, очнулась, а Маша теплыми губами шарит по моему лицу, медлить больше с «номером» нельзя, свалюсь, тогда конец, еще немного жду совета Алеши и пойду к начальнику за консультацией, когда и какой номер выкидывать, так, чтобы не получить второй срок, а попасть в БУР.

Лави приносит из поселка обрывочные, непонятные, неутешительные разноречивые слухи, в этом медвежьем углу знают еще меньше, чем мы в зоне. После так ожидаемой амнистии из всего нашего барака ушли на свободу две девочки: эстонка, ей было семнадцать, когда ее арестовали, и дочь какого-то коммуниста, арестованная в неполные восемнадцать, потом политическим уже не давали маленькие сроки; а вот из соседнего «59-го» ушла чуть ли не половина барака, и ушла моя Рэнка. Как я ее умоляла не возвращаться на прежнюю стезю и появиться у меня в Москве, но до нас дошли слухи, что контингент «59-х» барачников ринулся в большие города, и там бушует уголовщина.

Жду вестей о Яде и Юрке, они должны появиться в Москве, у них же по пять лет.

Амнистия всколыхнула лагерь, а теперь опять уныние...

Вот так, наверное, бывает при первом толчке перед землетрясением.

Лагерь как безумный.

Этап.

Инвалидный.

Бегу к начальнику.

Он ничего для меня сделать не может, опять посылает к доктору Иванову, или, если есть большие деньги, «сара» их не упустит.

Нет у меня больших денег, уже никаких нет. А доктор Иванов сам все знает, все понимает, но что может сделать!

Оказывается, Каргопольлаг задыхается от инвалидов, и этап за пределы лагеря, куда — толком никто не знает, а какая мне разница, лишь бы вырваться из Каргополя.

Понесли на носилках тех, кто давно двигаться самостоятельно не может, стоят пять телег, кладут людей друг на друга, больше телег нет. Пошли первые ряды калек, которые еще могут двигаться, смотрю на все это из-за проволоки, и отчаяние схватило за горло. Лави вцепилась мне в руку, чтоб я не бросилась на проволоку.

Господи, спаси!

Этап тронулся.

К вахте, задыхаясь, бежит доктор Иванов, о чем-то спорит с начальником конвоя, что-то всунул ему в руки, и за мной подбегает конвоир, я в беспамятстве. Иванов шепчет: «Держитесь за телегу. Если упадете, вас вернут. Встретимся в Москве. Спаси вас Бог!»

Нас везут в Ерцево, этап полностью будет формироваться там.

Женский комендантский лагпункт. Приняли меня трогательно, сердечно, столько москвичек, нашлись даже знакомые, но теперь главное, чтобы никто из начальства не дознался, что я в этапе. тогда провал. Сколько будет формироваться этап, куда — узнать не удастся. Долго скрыть мое присутствие будет невозможно, кругом полно стукачек.

Люся, моя маленькая, милая «окуневка». Люся, ее тоже при-

везли из «Мостовицы» в этап, ей удалось сделать инвалидность, она рядом со мной, я с жадностью расспрашиваю о культбригаде: Софуля поправилась, всю болезнь Люся от нее не отходила, получили мое письмо, но шоколад и деньги, увы, не получили, все-таки капитанша их ukrала, «блажен, кто верует», да, я верую и буду веровать, но опять же какая половинчатая честность: письмо она доставила, а вот дальше... ну как это понять... она же не голодает, у нее все есть, просто не может не воровать.

Софуля месяц как в бригаде, и вдруг лицо Люси становится прехитрющим, и она как бы между прочим бросает: «Познакомилась в культбригаде с инженером-аккордеонистом Алексеем» — и смотрит на меня, а у меня отнялся язык. Культбригада была у них с концертом, и Софуля шепнула Люсе, чтобы она присмотрелась к Алексею, эта маленькая хитрушка сразу все смекнула и вцепилась в Алешу когтями, тем более что тема у них была одна и та же, и теперь Люся высыпает из рога изобилия эти великие дары: и какой он изумительный, и что такой любви на свете не бывает, и что он может хоть сейчас положить голову на рельсы, только чтобы мне было легче...

От всего этого я совсем очумела.

А завтра в зону по какой-то командировке придет на десять минут Иван.

Иван вошел в зону и медленно пошел к конторе, я должна идти поодаль, но так, чтобы мы слышали друг друга.

— Все-таки встретились! Здравствуйте! Мы с Алексеем послали вам по письму, но они уже вас на Пуксе не застанут, и мои влюбленные стихи будут бродить по зоне. Мы все про вас знаем. Вы прекрасно выглядите — я думал, хуже. Вас везут в Литву в инвалидный лагерь, это самый лучший вариант из возможных, со здоровым климатом. Я напишу вашему Зайчику, чтобы ждала новый адрес и не испугалась. Если ваше дело вынут из списка на отправку, я сумею его вложить обратно, я именно этими списками и занимаюсь, не волнуйтесь. Этап отправляют срочно, может быть, даже ночью, этап большой, повезут вместе с уголовниками, их видимо-невидимо, со всего Каргополя. Они на той пересылке, из которой я узнал, что вас привезли сюда. Куда-нибудь спрячьтесь и по зоне не ходите, чтобы вас никто не видел. Помогите вам Бог!

Я от волнения и рассмотреть-то Ивана не смогла: молодой мужчина, высокий, светлый и все, но, несмотря на письма, которые нас связывали и по которым он как бы в меня влюблен, у него, оказывается, здесь в зоне роман, и эта женщина воспылала ко мне ревностью, даже рвалась со мной поговорить, и все это за сутки, о чем они думают, что творят, что делают, чем живут...

Меня спрятали в какой-то «придурочной кабинке», и я пишу

Алеше, путаюсь, волнуясь, невозможно так наспех сказать о любви, я ведь никому еще о любви не говорила: я пронесу свою любовь через годы, века, она даже над могилой не угаснет. Вы моя вера, которую невозможно разрушить... я с вами могу пережить все, на сколько мы сейчас теряемся, не знаем, но я знаю, что хоть на конце планеты, хоть перед входом в ад, хоть перед входом в рай в подвенечных нарядах — мы будем опять вместе...

— На выход с вещами.

Прожектора, собаки, нас тьма-тьмушая, с Люсей держимся за руки, удивительно, что мы сейчас встретились на том же месте, и теперь опять стоим, как будто не произошли события, не ушло навсегда время; понесли носилки с теми, кто не может ходить, у этих людей на лице счастье, они узнали, что в новом лагере их будут комиссовать и отпускать домой: но пока их сваливают, как трупы, на нары, сколоченные в телячьих вагонах, а нас выкрикивают по алфавиту, и Люсю от меня уже забрали...

Я впервые в телячьем вагоне, те, раньше, с отгороженными отделениями, с решетками, туалетом, кажутся теперь международными вагонами, здесь грязь, вонь, параша, блатные, они рядом со мной.

Тронулись, а я все не верю, я комок нервов, натянутая струна: остановят весь состав, найдут меня и вернут обратно в Каргополь.

Здесь опять-таки все по-другому. Каждый лагерь — свой мир, да, целый мир, отдельный город, отдельная страна: здесь граница, русских до этого этапа было несколько человек, а теперь прибыли мы и не в лучшем качестве; я попала в барак к интеллигентным людям, но многие совсем не только не говорят по-русски, но даже не понимают, а все, весь лагерь и начальство говорят с таким акцентом, что трудно сдерживать улыбку, так они умудряются произносить русские слова.

Не успела я развязать свой мешок, как меня вызывают к начальнику культурно-воспитательной части.

Здесь это вольный, совсем молодой, лет двадцати пяти, лейтенант, светлый, типичный прибалт, издали его можно принять за немецкого офицера, так лихо он носит мундир, говорит со смешным акцентом:

— Здравствуйте, а мы уже знали, что вас везут в этап, и обрадовались, скоро Новый год, и мы просим вас поставить концерт, у нас есть свои приличные артисты, хоть и не профессионалы, но есть два профессионала, правда, плохо говорят по-русски, но вы сможете с этим справиться. У нас недавно был фильм с вашим участием, правда, в титрах вашей фамилии не было. Обживайтесь, и тогда мы с вами поговорим.

Ну что же, посмотрим, сразу отказываться, ссориться глупо, а главное, у меня замечательное настроение! Да, милые, мои дорогие каргопольские убийцы, да, дорогой майор, в нашей с вами битве победила я, а ведь могло быть и наоборот, как говорит лейтенант, с которым я только что познакомилась, правда, при обследовании в медсанчасти мне предложили тут же лечь в больничку — видимо, «таки да», плоховато, но в больничку не лягу, боюсь «слечь» психологически.

Барак, как на Пуксе, длиннющий, но много окон, светлый, чистый, и нет над головой верхних нар. Молодежи

нет — ушли по амнистии, а остальные сидят за все: за веру, за погрязшее отечество, за честь, за справедливость, и мне кажется, если у нас сажают за то, что ты не похож на «них» и не поешь вместе с «ними» в общем хоре гимны, то здесь сажают всех, за все, а попросту уничтожают нацию.

А самое главное — нет убивающих, до одури изнуряющих работ: «сельхоз» только для нужд самого лагеря, и заготовка дров на зиму — тоже только для лагеря, работы эти закончены, и людей фактически за зону не выводят, для меня это так невероятно, что я все поглядываю на ворота, нет ли там развода. Здесь, в Шилуте, — одно-единственное отделение. Мужская зона рядом.

Люся оказалась в соседнем бараке, и теперь я волнуюсь, кто же мои соседки по обе стороны. Слева — эстонка, чистюля, сидит за веру, ни слова по-русски, и мы с ней налаживаем общение при помощи жестов, а справа через проход — любопытный тип — Этя, литовская еврейка из Вильнюса, тоже смешно говорящая по-русски, вернее, не говорящая, а смешно и талантливо сочиняющая невероятные русские слова из смеси литовского, еврейского, древнееврейского, немецкого, польского, цыганского, и все, кто понимает по-русски, взрываются смехом от ее опусов, как вдруг она отворачивает рукав — на руке номер знаменитого Освенцимского лагеря...

— Это правда?!

Она рассмеялась.

— Это правда.

Я держу в своих руках маленькую смуглую руку с выжженным номером! И мир помутился: зачем нас согнали сюда, обмотали колючей проволокой, стерегут вполне нормальные, молодые, здоровые мужчины? Потому что мы не так думаем, как они? Зачем уничтожают нации, народы, друг друга? Зачем воюют, ломают и крушат сотворенное человеческим вдохновением, а потом снова создают? Это и есть стержень жизни? Зачем мы столько плодимся?! Чтобы из этого месива семени появилось то, что можно назвать человеком, — создаем публичные дома, насилуем пятилетних девочек? И все это происходит не среди людоедов, поедающих себе подобных, а в сердце цивилизации, гуманности. Бессмыслица. Жить, чтобы есть, пить и производить себе подобных? Не хочу! Не буду!!!

Господи, вразуми меня! Помоги моей глупой голове понять, осознать, что происходит в мире: ведь не мог же ты создать весь этот нечеловеческий ад на Земле?! А с тобой, Господи, что происходит? Люди и из-за тебя умудряются

убивать друг друга: убивают, требуя молиться сидя на полу, на скамейках, стоя, тремя пальцами, двумя, сложив руки, разомкнув, не придумали только молиться стоя на голове, безумие...

— Что с вами?

— Нет, нет ничего... так... задумалась...

Этя привлекательна, в ней есть женский шарм, она хошенькая, ей тридцать пять лет, маленькая, с красивой фигурой, упитанная, что для лагеря нонсенс, веселая хохотушка, глаза черные-черные, с искоркой, совсем смуглая кожа, черные как смоль прямые волосы теперь уже с сильной проседью, маленький прямой носик, что делает ее непохожей на еврейку, а все остальное создает тип цыганки, это и спасло ее от смерти. Они с мужем и двумя детьми благополучно жили, война, они не успели бежать от немцев, мужа на ее глазах расстреляли, а она, одевшись цыганкой и оставив детей у соседей, ходила из селения в селение, гадала, пока немцы не начали уничтожать и цыган, ее выдали, и она очутилась в Освенциме. Об Освенциме рассказывает сдержанно и совсем вскользь о том, что спаслась только потому, что, как я поняла, была бригадиром. Вернувшись в Вильнюс, узнала, что дети тоже погибли, а наши ее арестовали и привезли сюда — вот и вся жизнь, вместившаяся в десять минут рассказа. Полное древнееврейское имя ни выговорить, ни запомнить невозможно. Этя умна, умнее даже Софули, или, может быть, не умнее, а хитрее: она слово нечаянно не обронит, эмоции просчитывает, с юмором, и она, конечно, человек непростой, жизнь ее хорошо обкатала, она, оказывается, и по-русски говорит прекрасно, но ее еврейский акцент... как с таким акцентом, на любом языке, немцы могли принять ее за цыганку? Чем-то необъяснимым Этя — далекий мне человек.

Здесь совсем невозможно узнать, что происходит на свободе, здесь все к нашему государству безразличны, как если бы ты попал в Африку. Еще в Ерцеве Люся знала, что будто бы произошел какой-то переворот, что будто бы расстреляли Берию, что идет свалка в борьбе за власть, про нас вообще забыли, и пока возможно, я должна себя восстановить без всяких больничек: хожу часами по зоне, обливаюсь ледяной водой, делаю гимнастику и, конечно, должна взяться за концерт, это облегчит существование. В этом лагере есть еще одна прелесть: здесь меня никто не знает, в буржуазной Литве советские фильмы не шли, и это, оказывается, так замечательно, когда тебя никто не знает, ты принадлежишь себе, никто в твою жизнь не лезет, никому ты не ин-

тересна, ни перед кем ничем ты не обязана, и никто тебя не умоляет ставить концерт...

Иду к лейтенанту.

Такой же аккуратный, подтянутый, встал навстречу.

— Ну, я жду ответа. Что вы решили?

— Поставить концерт.

Он искренно обрадовался.

— Давайте обсуждать, что и как, я, правда, никогда этим не занимался, и, разрешите, я дам телеграмму вашим родным, а то письма долго будут идти.

Невероятно! Уж не сошла ли я окончательно с ума?!

Я приготовилась сопротивляться этому аду, теперь надо вести себя по-другому и снова появилась надежда.

Бегу к Эте узнать все про этот лагерь, не может же быть, чтобы вот такой ангел-лейтенант с белоснежными крыльями поджаривал нас в аду на сковороде.

Жду вызова к лейтенанту и, захлебываясь, глотаю свежий воздух. В этапе весь месяц даже не умывались, не говоря уже о свежем воздухе — никакого, лесоповал — это замечательно, уж чего-чего, а воздуха там хоть отбавляй, бараки здесь не проветривают, и когда входят, тут же захлопывают за собой дверь.

В голове наглая мысль попросить лейтенанта отправить письма в Джекказган, Каргополь, на Пуксу... ну что ему стоит... Алеша, Софуля, Иван, Изя, мой «Бетховен» Боря Магалиф, Лави, бешеный пуксинский начальник, он все-таки помогал мне выжить, Георгий Маркович, Зайчик, Наташа... Как они все далеки от меня... хорошо, что бараки обращены к лагерной линейке дверями и никто не видит, как я бегаю туда-сюда, туда-сюда, то улыбаюсь, то шагаю огромными шагами, разговариваю сама с собой, смеюсь, пою, танцую... что, если Алеша не такой, как в моем сердце... что, если я его придумала... как мы встретимся... вот он стоит не рядом, а впереди, на расстоянии... не побегу к нему... пойду медленно навстречу... и буду читать в его глазах о нашей любви, о том, что было с ним без меня... дотронусь до лица... а что, если Алеша не будет ждать меня столько лет... неужели Алеша и Иван не найдут ко мне сюда пути, они же знают, куда ушел этап... скоро юбилей моего сидения... пять лет... говорят, вторую половину сидеть легче... и еще скоро два праздника: Новый год и Татьянин день... а самое здесь главное — можно думать!.. сколько угодно!.. сколько хочется!.. это такое счастье!.. думать!.. Все-таки правильно Ленин, или Гитлер, или кто-то еще создали лагерь с каторжным трудом... для думания не остается ни сил, ни времени... в одиночке мысли душат... Лубянка... моя ошалелость... от первого лагеря... тогда хотелось бежать, разбиться головой о стену, кричать, все разнести... теперь хочу понять, постичь, уви-

деть своими глазами... чудовище майор в Ерцеве... конвоир в тупе на дрезине... он спас мне жизнь... я могла сгоряча натверить что угодно... Бандитки на Пуксе... Рэнка... где она сейчас, моя бедная, одинокая Рэнка... она же привязалась ко мне, как приبلудный пес, и могла на воле выкинуть что-нибудь, не отходя от лагеря, чтобы вернуться к теплу... а что Борис... Костя... где-нибудь пьют, веселятся... едят раков... какая дама возлежит на моем белье в моей постели... кто воспитывает Наташу... Заяц ушла в другой дом... Наташа всем чужая... Тетя Тоня совсем старая, чтобы ездить к внучке на Беговую... ездит ли Наташа к ней на Калужскую... после смерти Мамы в комнатах на Калужской пусто... холодно... знать, за что же я сижу... я что же была госпожой де Сталь?... ведь нет... чем же я им так помешала... а что такое вообще человек... могла же я пить воду с пивяками из лужи... могла есть рыбу с червями... могла взваливать на себя бревна... хватать грязный снег, чтобы обтереться... могу голодать, но не мыться не могу, это страдание... если бы вообще я могла не работать, я бы с утра до ночи из воды не вылезала — смешно, но я по зодиаку рыба... а может быть, в прежней инкарнации я была русалкой... и что же, теперь надо умереть, потому что нет ванны... и что сейчас заставляет меня на потеху всего лагеря прыгать на одной ноге... солагерницы считают меня с тараканом в голове... и очень хорошо, что считают, будут меньше приставать... и все это... чтобы спастись, чтобы выжить... значит, разум выше физиологии... и что, если я своими концертами служу дьяволу...

И спросит Бог: «Никем не ставший.
Зачем ты жил, что смех твой значит?»
«Я утешал рабов уставших», — отвечу я.
И Бог заплачет!

Откуда, как черви на солнце, вылезли из моей дуреющей головы эти утешительные строки?

— На вахту.

Лейтенант. Вместо автоматчика обыкновенная надзирательница, и начальник режима — вот я его и увидела, мы люто, мгновенно возненавидели друг друга до искр из глаз. Казалось бы, обыкновенный русский мужик, но... хам, полное отсутствие на лице хоть чего-нибудь человеческого, речь четырехклассника, полный хозяин над всем и вся, хотя тоже лейтенант, постарше моего, и не коммунист — нет! Фашист! Я все меньше и меньше вижу между ними разницу. Как его занесло сюда, в Литву?..

Глазам своим не верю! Не столовая, а клуб, построенный как настоящий маленький, уютный театр, настоящие колосники, настоящие кулисы, прожектор, два софита, в зале не скамейки, а стулья...

Хожу по настоящей сцене... Кулисы... Присела к настоящему гримировочному столику, и неожиданно схватило внутри до физической дурноты...

Гоголь... Колосники... Черт... Он может перелетать из страны в страну...

А дальше все как в сказке: есть первоклассный профессиональный акробат, уголовник — в этом лагере им почему-то не запрещается участвовать в самодеятельности; великолепная пожилая ленинградская художница Коэнте — она из французов, осевших двести лет назад на Руси, за что и получила свои десять лет; пожилой милый человек Басовский, бывший председатель нашего профсоюза работников искусств, который взялся быть моим шефом и помогать во всем; он нашел настоящего заведующего постановочной частью, и они с Коэнте задумывают невероятное. И моя маленькая Люся! Она оказалась таким одаренным человеком, что может делать практически все, все ловит и понимает на лету, интуитивно чувствует, где что надо, действенна и, боясь, что я могу что-нибудь придуманное забыть, ходит за мной и записывает мои «гениальные» мысли — «скрипт гёрл».

Скомпоновали с ней все задумки то ли в пьесу, то ли в сценарий; она же разыскала какого-то полусумасшедшего композитора-латыша.

Работа закружилась, и самое невероятное: разыскали для нас настоящего директора Нину, на воле она была администратором левых концертов, за что и сидит. Нина знает все: где что достать, как достать, как обойти все препятствия. Она киевская еврейка, именно киевская, потому что Киев славится этими красавицами: есть, конечно, провинциальная местечковость, но голубые огромные глаза, темная блондинка, точеный нос. Была, видимо, и красивая фигура, стройные ноги. Ей, наверное, лет тридцать,

но какая-то трагедия с позвоночником, и теперь она ходит полусогнутая. Нина тут же нашла общий язык с лейтенантом и вытаскивает из него все возможное и невозможное. Достала трико и канат для Черта, достала краски, и весь лагерь похож на средневековое мистическое действо: где-то кто-то тихонечко окрашивает тряпки, надзиратели делают вид, что не видят, и все, что мне приходит в голову непостижимым, невероятным, непонятным способом, достается. До Нового года 36 дней.

Черт должен быть подвыпившим и легкомысленным, эдаким дьяволенком, он летает по всему миру и подглядывает в чужие окна, видит страны и события, и вместе с ним — мы. Мой уголовник в трико и в гриме оказался именно таким чертом — смелый, подвешенный к колосникам, выделывает трюки, так что дух захватывает. Правда, текст я ему не дала — мог выйти конфуз: у него на одно обычное слово три матерных. Но случилось чудо: он влюбился в меня и теперь, когда начинает со мной разговаривать, от напряжения наливается кровью, чтобы не вырвалось ни одного матерного слова, — трудно удержаться от смеха. И это не все: он приносит мне всякие вкусности, украденные из посылок, поссориться с ним перед премьерой не могу, беру, а Басовский возвращает дары владельцам, но если мой Черт узнает об этом — все кончено, он разнесет и театр, и лагерь.

Дни бегут. Работаю с утра до ночи и с ночи до утра, но там внутри болит, стонет от неизвестности: что с близкими? Лейтенант уже дважды отсылал мои письма в три лагеря.

Первой пришла телеграмма от моей Тети Вари! Милая, родная, дорогая! Она всегда была для меня второй матерью, а теперь, после смерти Мама, осталась единственной. А лейтенант! Он прибежал на репетицию запыхавшийся, счастливый, сел, как всегда, рядом со мной и подложил мне под пьесу невидимо для всех телеграмму... Тетя Варя едет ко мне! А мой бурбон, мой братик, так открыто и подписался: «Целую, Лев Ры!» Теперь я могу вступить в битву со всей лагерной державой! Но где Алеша? Что с ним?

Начались прогоны, до премьеры десять дней. Сама буду петь новые песни: мексиканскую «О голубка моя», аргентинское танго и румбу — мой Черт как бы прилетел в Южную Америку. Лейтенант дал телеграмму, чтобы Заяц выслала, если оно еще живо, мое алое, как кровь, панбархатное платье, в котором я танцевала с Тито в «Метрополе»!

А для лейтенанта я придумала маленький подарок: как только он вошел в зал, я громко сказала: «Лаба дена, понас лейтенанте, виси даливая юс свейкина!», что по-русски значит: «Добрый день, господин лейтенант, все участники вас приветствуют!» Он был в восторге и всю репетицию допытывался, почему я так сво-

бодно, без акцента сказала, на что я ему поведала про гены бабушки-литовки и что Тетя Варя, которая приедет, еще помнит литовский язык и что в Паневежисе живет другая моя Тетя.

Интересные, необычные складываются у меня отношения с лейтенантом. Нет, он не влюблен в меня, я это чувствую всегда. неужели дружба? Настоящая, необычная, редкая дружба женщины и мужчины, такая дружба была у меня только с Яшей. но я знала, что Яша в меня влюблен, и обходила острые углы, чтобы не потерять дружбу. Что же здесь? И моя маленькая хитрушка Люся узнала о его тайне: он юрист по образованию, его первую любовь арестовали в семнадцать лет за связь с партизанами — «лесными братьями», и, если этот Ромео из-за любви пришел в эту систему, он прекрасный человек и настоящий мужчина, и теперь я вижу, когда «она» выходит на сцену, мой лейтенант начинает светиться, а «она», Альдона, прехорошенькое юное существо, конечно, все делает на сцене только для него.

Мое костлявое тело потеряло еще килограмма два.

30 декабря, первая и единственная генеральная репетиция.

Не может быть, что это великолепие сотворила я! Не может быть! Настоящий мюзикл: смешно, весело, профессионально! Да, это профессионально, я их вымуштровала! Люся! Она оказалась блестящим помрежем — ни одной накладки! Она и артисткой оказалась отличной! А Коэнте! Из этих крашенных тряпок получились ошеломляющие своей яркостью костюмы. А завпост! Наш Чертенюк мог выделывать все, что хочет! И он выделывает! А декорации! За моей спиной была живая Южная Америка!

Доташилась до нар. На подушке положенное Этей письмо: «Милая, родная, дорогая, прекрасная любовь моя, я счастлив, большего счастья, радости уже в жизни не может быть. Плачу открыто, не стыдясь, кричу от счастья, друзья утверждают, что я сошел с ума, а я и сошел, мы же скоро увидимся. В лагерях начались бунты с требованием освобождения пятьдесят восьмой статьи, и на Урале бывший полковник поднял бунт, и весь лагерь, не один лагерник, а весь лагерь, десятки тысяч не выходят на работу. Такие слухи и про ваш Джекказган. Как мы с Вами заживем, Вы не хотите жить в одной конуре, построим две конуры, построим третью для наших детей. Вы будете великой артисткой, Вы сыграете лучшие роли мирового репертуара, я буду около Вас тихим ученым. Поздравляю Вас с Новым годом, годом нашего счастья, любви, свободы! Вечно, до гроба Ваш». И я тоже реву!

Если правда с Джекказганом, как же там мой доктор... Старенький, больной... Почему же здесь полная тишина... Это что, заграница?.. Недаром у лейтенанта проскакивает слово «оккупация»... Если заграница, то расправятся с нами здесь жестоко...

31 декабря. Премьера. Лагерь торжественен, притих, готовит-

ся, волнуется. А потом кричат, прыгают, бросают в воздух вещи, целуют, благодарят, на сцену летят конфеты, печенье — это высший знак благодарности, как если бы на свободе бросали бриллианты, меня качают!

Вот и Новый год.

Сыграли еще четыре спектакля — для женской зоны, и я увидела, что внешне-то все спокойно, а оказывается, как и везде, мы в мышеловке, которую отлично стерегут: появилось чуть ли не войско с автоматами, чтобы привести женщин на спектакль в мужскую зону и охранять театр; как вообще разрешили такое, мы должны были играть у себя в зоне, в столовой, ведь в нашем этапе привезли не только бандиток, а и бандитов, и здесь это событие, ранее никогда не виденное, и этот контингент действительно может сделать все что угодно, воспользовавшись спектаклем; третий спектакль мы играли как в настоящем театре, зал был полон, сидели хорошо одетые женщины из лагерного поселка, а четвертый спектакль сыграли по просьбе и под клятву этих самых блатных, точнее, под клятву знаменитого вора в законе, красивого грузина Сосо, здешнего вожака: оказывается, когда шел первый спектакль, их заперли в бараке, и теперь этот самый Сосо дал клятву честного бандита, что ничего не произойдет и волоса ни у кого с головы не упадет. Все эти чудовища обожают искусство, а тем более что в главной роли их коллега, и они уж так себя идеально вели, что боялись даже громко смеяться, меня опять закидали конфетами и печеньем.

И опять бездна.

Ничего не хочу. Часами лежу на нарах. Этя выхаживает меня, как больную. Хотя бы письмо от Алеши.

Видела сон: я падаю с высокой скалы в пропасть и не разбиваюсь, а попадаю в грязь, в тину. Что это, спасение от смерти или грядущие неприятности?

В барак ворвалась согбенная Нина с газетой в руке, с криком: «Сдох ваш Горбатов, сдох!» Некролог. Что же это? Ему сорок пять лет, жить бы ему и поживать и ордена наживать, есть раков, пить, курить, кутить, посещать свои толстопопые «огневые точки», как он называл своих дам, срываться по ночам по вызову ЦК или по звонку Кости руководить русской литературой... так что же это... совесть... неужели она в нем бушевала или хотя бы тлела... я знала, когда я войду в дом, посмотрю ему в глаза, он умрет... мне кажется, Костя задавил его своей жестокостью, жесткостью, отсутствием морали... Борис мягче, человечнее... когда у них возникла дружба... при мне это были служебные идеологические отношения... что будет с Наташей... ее же выгонят... почему-то все вокруг меня, в каком бы лагере я ни была, и хотя ни разу нигде и ничего не сказала о Борисе — не только плохого, вообще не упоминала, — воспринимают его как предателя.

Проснулась от диких криков, визгов, выстрелов; в зону через стену прорвались те самые бандиты во главе с Сосо и, конечно, не для убийств, а совсем наоборот, на секунду стало жутко, но только на секунду, я почему-то уверена, что меня они не тронут. Этя бьет как в лихорадке, мои наивные литовки приставляют к дверям два стола и скамейки.

Прислушиваюсь: все страсти кипят в бараке бандиток, Сосо решил навестить своих подруг, их барак от нас через один, наш барак с краю, у нас только политические, а рядом барак смешанный. Там Люся, там все мои артистки, там Альдона, и сквозь весь этот ужас слышу тихие, страшные мужские голоса под их дверью! Решаю, если они в барак ворвутся, выйду к ним, не знаю, что буду делать, умолять, плакать, убеждать... Они все под чифи-

рем... Ломают соседнюю дверь, уже и под нашей дверью тот же жуткий шепот! И, как гром небесный, автоматная очередь, и какой-то звук... Выскакиваю, зажжены все прожектора, в их свете мечутся автоматчики, стрелять не могут, бандиты держат в объятиях своих женщин, остальные бандитки спрятались в своем бараке. Бешеная, сияющая струя вырывается из брандспойта, между всем этим мѣтушийся, как дьявол, начальник режима, смотреть невозможно, как люди покрываются льдом!

Теперь начальник режима ходит героем-победителем, издевается над литовками, под предлогом бунта учиняет повальные обыски, а я провезла через пересылки стихи Ивана, и я должна их сохранить во что бы то ни стало. Этя посоветовала положить стихи на спину между лопатками, сверху бушлат, прижаться к стене, надзиратели ощупают спереди, а по спине могут руками не провести, другой возможности сохранить стихи нет. Вошли, приказали встать и начали ворочать: разворотили постели, сумки, начали личный обыск, «сам» стоит в дверях и любитесь этим погромом. Идут ко мне, у меня от волнения пропал голос, надзирательница обшарила меня спереди... мгновение... и, не дотронувшись до спины, отошла, а я готова кричать от боли: так получилось, что я встала к печи, а она раскаленная, бушлат прогорел, мне обжигает спину, и главное, что пошел запах гари! Обыскивают последних. Ушли. Все кинулись ко мне, на спине ожог, первые страницы стихов обгорели, но стихи целы и в моих руках.

Телеграмма от Зайчика: поздравление с Татьяниным днем. Написано открыто: «Скоро увидимся, потерпи еще совсем немного». С Наташей все хорошо, она пока в нашем доме, а если что — то Заяц о ней позаботится; Тетя Варя вот-вот выезжает ко мне с вещами, едой, письмами.

Татьянин день! Какие трогательные подарки преподнесли мне мои артистки, да и весь лагерь, даже блатные: вышивки, мешочки, я была без расчески, так со свободы в передаче мне прислали в подарок расческу, крошечных вязаных куколок, амулеты — какие прибалтийки искусницы! Вспомнился Джек-казган, когда я умирала в больнице — отдышали дырочку в окне ото льда и показали вот такого связанного из ниток чертенка, он дергался... при-танцовывал...

А мои литовки устроили к обеду для меня пир: кусочки сала, несколько орехов, домашний сыр — и все это светится теплотой!

А сами мы задумали пир вечером, по примеру Пуксы, в КВЧ. Это огромная комната в бараке с засохшей неизвестно когда, как и зачем завезенной большой пальмой в большом ящике, два стола, скамейки, а справа отгорожена маленькая комната и теперь это обитель Нины: по линии заключенных после концерта ее назначили кавэчихой, здесь печь, большой стол и даже стулья, тут-то мы и задумали кутнуть не без ведома лейтенанта. Сам он пронес в зону и подарил мне бутылку домашней водки и сказал, что двадцать пятого числа у нас будет знаменитый зажаренный литовский гусь. Решили сразу после лагерного ужина пойти одеться по-праздничному и как бы невзначай прийти в КВЧ, находиться там можно до отбоя. Я придумала смешные приглашения: «Разрешите вас пригласить на торжественный прием по случаю тезоименитства в помещении КВЧ, после ужина в лагерной столовой. Форма одежды вечерняя, пожалуйста, захватите железную кружку и алюминиевую вилку. Рада вас видеть». Коэнте их красиво разрисовала, а на случай, если приглашение попадет не в руки лейтенанта, а в руки начальника режима, непонятная подпись. Только мы начали собираться, как влетела бледная Люся, она стояла на «атасе»: начальник режима с надзирательницами идут сюда.

На столе белая простыня, в середине стоит гусь, расставлены кружки, рядом с ними вилки, букет искусственных цветов, оставшихся от спектакля, — все это карцеру не подлежит, но волка! Она стоит под стулом в замороженном виде, а это уже карцер, а

карцер здесь ого-го какой, продувной сарай с каменным полом, без печи. Спрятать водку некуда, все КВЧ просматривается. Быстро принимаю решение все взять на себя, мол, о водке никто и не знает! Но откуда у меня гусь! С лейтенанта эта дрянь режим может снять звездочку, его девушка бледнее смерти! Нина мгновенно хватает бутылку и бежит к пальме, остаются минуты, общими усилиями вытаскиваем засохшую пальму с окаменевшей землей, кладем на дно бутылку, пальма на месте, в секунду руками, ногами заматаем следы, дверь открывается.

Начальник возбужден, у него победно блестят глаза, это может быть еще одна звездочка на погонах, а главное, подловить, скомпрометировать, уничтожить всю эту вонючую интеллигенцию, вознесенную начальством после спектакля, — все это написано на его лице.

Без слов, как великий Нерон, кивком головы приказывает начать обыск, надзирательницы, кстати, очень смущенные, начали осматривать столы, лавки, стулья, но бутылки нигде нет и вдруг команда «Печь!». Только из-за трагической ситуации мы удержались от смеха: притащили парашу, выгребают угли, осколков бутылки нет, он начинает звереть. Он же понимает, что бутылка здесь, ведь никто из барака выскочить не успел! Такой ругани даже представить невозможно, оскорбления, угрозы, и с пеной у рта заревел: «Вон отсюда!» Мы схватили гуся и побежали.

Как же ему в голову не пришло выяснять, откуда гусь, я уже тоже все решила: местным иногда разрешают делать передачи, вот мне и сделали такую передачу, кто — не знаю, наверное, за спектакль, и всё тут, и пусть повесят. Но как же такой подлый чекистский ублюдок не догадался про пальму?! Это чудо.

Пришли в барак с этим еще теплым, пахучим гусем и теперь, потрясенные не случившимся, а чьим-то предательством, молча, глотая слезы, всем баракком жуем этого гуся, тем более что в расчете на одного никто к лагерному ужину не прикоснулся. Предательство мелкое, гнусное, не во спасение жизни, а за больничное питание: ведь режим уже с утра знал о нашей затее, ведь по вечерам никого из начальства в зоне не бывает, и теперь, стуча зубами, следим, не догадается ли он сейчас про пальму.

Сколько прошло времени в этом невыносимом напряжении... Наконец вся банда вышла из КВЧ, и Нина вешает замок.

Вот тебе, бабушка, и Татьянин день.

Этап... этап... шелестит в ухе голос Люси... сон... этап... этап... проснитесь, сейчас узнала, куда-то далеко на восток, вы и я в списке, и исчезла как наваждение.

Подъем, бегу к их бараку, а Люся уже бежит навстречу: «Лейтенант передал, все, что он знает, надо ждать».

Только часам к одиннадцати узнали, что действительно начали готовить этап, бедный лейтенант вертится, подойти не может — все и вся на виду, и только к вечеру Альдона сказала: действительно этап на восток, куда пока неизвестно, да какое это теперь имеет значение — катастрофа! Свобода, дом, все эти восстания, протесты, бунты — ерунда, все по-прежнему, я опять теряю связь с домом, я ведь не успела получить ни одного письма, только телеграмма, ни одной посылки. Тетя Варя! Она, может быть, уже выехала сюда, что будет с ней...

Тетя Варя приехать не успела, мы уже проходим карантин, в этап вывозят всех политических и всех бандитов, нас сюда завезли по ошибке, здесь рядом граница, нам здесь не место, а может быть, испугались налета Сосо, а может быть, а может быть... Тайны Мадридского двора, никто не должен знать, и уж тем более понимать сие, кроме высокого разума, высокого начальства, смертным это не доступно. Проводы с плачем, тяжелым рыданием, разлучают матерей с дочерьми, отцов с сыновьями, с братьями, с сестрами.

Разрешили на дорогу передачи, а мы с Люсей пустые и при воспоминании об этапном хлебе, о селедке и кружке ледяной воды уже становятся плохо.

Когда начали строить для вывода за зону, я стала искать глазами лейтенанта, его нет, а он обязан присутствовать, и меня что-то сорвало с места: бегу к его кабинету, вижу в окно, он сидит за столом, закрыв лицо руками, ворвалась, мы обнялись, плачем.

— Храни вас и Альдону Бог!

— И вас тоже!

Меня провожает весь лагерь, мои литовки из барака и Этя режут белугами, а из-за проволоки мужской зоны прощальные пре-

красные слова: «держитесь», «скоро все будем дома», «не отчаивайтесь»!

Режим лютует, орет, мечется, мы с Люсей должны были попасть в закрытый грузовик, но он нарочно приказал пересадить нас в открытый. Самое тяжкое — за зоной: оказывается, недалеко от дороги, в лесу, довольно большой поселок, конечно, это лагерная обслуга; конечно, это они сидели приодетыми на спектакле и вот теперь вышли проводить хотя бы издали, смахивают слезы, незаметно из-под полы пальто машут рукой и не отрывают от меня глаз, пока мы не скрылись за поворотом! Ну как же они-то остались людьми? Что, все та же граница? Австрийцы, чехи, венгры — такие же, как эти... что же сделали с нами? Мы как цепные псы! Спасибо тебе, начальник режима, за открытый грузовик.

— Танечка! Танечка! Танечка!

По лесной тропинке бежит, падая, задыхаясь, Тетя Варя.

— Стреляйте в меня, стреляйте, убийцы! — Метнулась к борту выпрыгнуть на ходу, меня схватили, грузовик остановился, подползла к борту, перегнулась, схватила подбежавшую маленькую, худенькую, побелевшую как лунь Тетю Вареньку. Целую, целую. «Родная моя, маленькая, любимая Тетя Варенька, ты стала так похожа на Папу, кровинушка моя», — а она только шепчет: «Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо», — грузовик тронулся, я выпустила Тетю Варю из рук, мы счастливы, мы увиделись.

Потом мне рассказали, как все было, сама я ничего не видела, не понимала: оказывается, начальник режима был в головной машине и ничего предпринять не успел, молодой офицер в нашем грузовике отвернулся и делал вид, что ничего не видит, и приказал автоматчику взять тети Варины сумки и обыскать их, меня держали за ноги, чтобы я не перевалилась из грузовика.

— Это не положено! Это нельзя! — Мы забыли про автоматчика, а он стоит с флаконом «Шипра» и смущенно повторяет: — Нельзя этого! Не положено!

Я взяла флакон и разбрызгала одеколон по всему грузовику, теперь и автоматчик, и офицер тоже будут пахнуть «Шипром».

Только в аду, наверное, страшнее.

Товарный вагон, на нижних нарах возможно еще сидеть, на верхних — или лежать, или присесть, скрючив голову. Блатные с гиком и хохотом захватили нижние нары, сбросили всех, кто нечаянно успел их занять, мы полезли наверх, старушек пришлось втаскивать.

Ехать месяц, два, три...

Страшное там, внизу, людьми их уже не назовешь: дикое, темное, отупевшее, с изуродованной психикой, без всякой морали, даже большевистской; подо мной маленькая, истеричная, похожая на крысу воровка, раскrojившая матери голову топором за то, что та не дала ей надеть свою кофточку.

Как только поезд тронулся, они начали что-то пить, глотать, звереть, шалеть, начались танцы, песни, мат, раздевание, любовь на глазах у всех прикрывшись тряпками, потом начали впадать то ли в сон, то ли в обморок, потом страшное пробуждение, их рвет, они не сходят с параша, если занято, они отталкивают друг друга или делают все на пол, и вспомнилась мне академик Лина Соломоновна Штерн, которую мне приходилось усаживать на парашу... Как все-таки присудили нам в том высшем суде физиологические отправления: есть, выбрасывать остатки, дышать, продолжать человеческий род... А возможно, где-то там, в космосе, есть совсем другое... царство высокого разума... Какое счастье, что с нами нет Альдоны, эта чистая, юная девочка, увидев все, сошла бы с ума... Что будет с лейтенантом?.. Какой ценой он ее отстоял? Может быть, потеряет не звездочку на погонах, а весь погон... Он прекрасен, этот лейтенант! Где они сейчас, что с ними... А потом началось: воровки, конечно, селедку есть не захотели, и вот та воровка, похожая на крысу, и еще одна полезли с двух сторон к нам наверх, бедная трусишка Люся вне себя от страха, но воровки пошептались с крайними женщинами, те полезли в мешки,

что-то им отдали, и воровки спустились вниз. Потом воровки стали отнимать и вещи: снимают хорошие пальто и взамен оставляют свои грязные бушлаты.

Едем по Литве, на остановках доносятся обрывки литовской речи. Мы с Люсей в середине нар, воровки уже совсем близко подползают к нам, все из сумок тети Вари мы давно съели, там было мало, большего тетя донести не смогла, а посылка, если ее не украдут, уйдет обратно домой. Съели и Люсину еду, съели и то, что дала Этя в дорогу.

Люся от страха в полубессознательном состоянии, голос срыгается:

— Я умоляю вас спуститься к капитанше, она же с вами так заигрывает, она хочет с вами только поговорить на глазах у всех для своего авторитета, иначе вашу голубую австралийскую шубу вы больше никогда не увидите, а их страшный бушлат вы не наденете, что же вы будете голой на морозе!.. Умоляю вас!.. Спуститесь к капитанше!.. Только пойдите к ней!.. Попросите!.. Умоляю!..

— Нет, Люся, я сделать этого не смогу, вот просто не смогу, мне Бог послал увидеть все это, такое ведь даже присниться не сможет, придумать такое тоже невозможно, но общаться с ними из-за шубы я не буду. Дайте мне честное слово, что вы рта не откроете и отдадите все, что она захочет, вы же умница, вы понимаете, как неумно в этой ситуации кричать, требовать, а тем более упрашивать, умолять, это может плохо кончиться; в аду Абрамовича вводят в бассейн с дерьмом, люди в нем стоят на цыпочках, задрав головы, дерьмо доходит до губ. «Послушайте, Абрамович, спускайтесь очень тихо, не делайте волну». Люся, обладая абсолютным чувством юмора, даже не улыбнулась.

В полутьме рядом с моим лицом возникло действительно страшное лицо, видимо, воровка во время кутежа ударилась, и теперь вместо лица распухшее, синее месиво, я от страха онемела, смотрю ей в глаза, секунда, она улыбнулась тоже страшной улыбкой и поползла к моим ногам, вежливо перелезла через меня и Люсю, и тут же раздался крик, плач, разбудивший всех, литовки не отдавали воровке свое последнее.

— Вот так-то, Люсенька! Вот на ком надо проверять волшебную силу искусства!

— Вы все шутите, но в следующий раз приползет другая, не поддавшаяся обаянию искусства, и нет вашей шубы!..

Слезы, мольбы раздирают душу, помочь ничем нельзя, воровки совсем обнаглели, весь наш верх обворован.

Попробовали с Люсей перелезть лицом к стене вагона, там

все-таки пробиваются струйки свежего воздуха, но это оказалось невозможным, мы хоть поворачиваемся не по команде, но лежим как кильки в банке, и пришлось опять повернуться головами к центру и видеть все, что творится внизу. Интересно, что любовные сцены вызывают во мне физическое отвращение, а Люся начинает волноваться, покрываться красными пятнами, ее это волнует... Мне очень плохо, держусь перед Люсей, чтобы она не увидела этого. То, что курят воровки, не поддается никакому описанию, наш верх плавает в вонючем дыму.

Скорее бы, скорее бы пересылка, скорее бы! Алеша, возьми меня на руки, вынеси из этого ада, и потом вместе умрем!

— Выходи с вещами!

Вышли, и я упала в обморок от свежего воздуха, в санчасти объяснила, отчего случился обморок, и меня привели в камеру.

Люся бросилась мне навстречу — я очень боялась ее потерять, блатных мало, только 58-я статья; как и в Свердловской пересылке, они прошли унижительный осмотр, к счастью, ни половых, ни просто вшей не оказалось, и их не брили, а меня, как и в Свердловске, спас от этой отвратительной процедуры обморок.

Огромная, старинная Вильнюсская тюрьма... где-то здесь я металась по городу, чтобы узнать, как попасть в Паневежис к Тете и Дяде, я же видела эту тюрьму, я запомнила ее, живы ли они, чувствуют ли, что я близко от них.

Камера открылась, и надзирательницы внесли украденные пальто, забрав в обмен воровские бушлаты.

И наконец-то открылось окошечко в двери, пахнуло горячими щами, и в великом упоении, молча, захлебываясь, едим щи, и уж совсем неслышно предложили добавку, которую мы также мгновенно уничтожили, ничего более вкусного никто из нас в своей жизни не ел, как выяснилось, щи были из подгнившей капусты.

Моя «лагерная слава» перелетает через заборы других лагерей: как только начали выводить на прогулку, откуда-то снизу многоголосо скандируют «спасибо» и требуют моей свободы, а потом неожиданно открылось окошечко в двери и стали влетать конфеты, печенье, записки с добрыми пожеланиями, а один раз влетело очищенное яйцо, аккуратно завернутое в бумагу, — больничное питание, у нас покатались слезы.

Вывели на прогулку, и в нижнем этаже тюрьмы оказались блатные мужчины, Люся тут же наладила с ними контакт и попросила узнать все об этапе, а на следующий день вышла мыть пол в тюрьме и вернулась с ворохом новостей:

восстания действительно в лагерях происходят, а так как сидят миллионы и их реабилитировать сразу невозможно, то на места выезжают комиссии, пересматривают дела с маленькими сроками и отпускают домой; нас везут куда-то за Киров, на границу с Коми, лесоповал, лагерь такой же, как Каргополь, один из первых созданных советской властью — Вятлаг. В свете этих событий, зачем же нас везут куда-то на край света, понять, узнать, угадать невозможно, везут и все, где и когда следующая пересылка, узнать не удалось.

Опять ночь, опять прожектора, опять рвутся и воют овчарки, на сей раз где-то в другом конце колонны раздался выстрел, наверное, в воздух.

И счастье: вагоны, а не теплушки, в нашем вагоне только маленькая горстка блатных, и теперь они ниже травы и тише воды, и Люся попала со мной в одно купе, и также по коридору мимо наших клеток расхаживает автоматчик, и Люся нашла контакт с одним из них, и в следующее его дежурство он скажет, где очередная пересылка, и подтвердит, Вятлаг ли.

Ленинград. Знаменитые «Кресты».

Ольга, моя Ольга! Не могу взять себя в руки. Как дать ей знать о себе?! Как?! Как?!

Из всех тюрем, которые я узнала, — самая мрачная, сырая, холодная, камера огромная, блатные опять заняли нижние нары.

Единственная возможность с кем-то найти контакт — выйти Люсе на работу по тюрьме.

Здесь на работу не выводят.

Утром обход. Входит молодая, интересная женщина-офицер, отошла от двери, чего делать не полагается, и идет вдоль нар, явно кого-то ищет, смотрит на меня:

— Вы просились к врачу?

Люся, зная мой идиотизм, мгновенно отвечает:

— Да.

— Вас вызывают в санчасть. Спускайтесь.

Вышли в пустой коридор.

— Я увидела вашу фамилию в списках, что я могу сделать для вас, чем вам помочь, все это невероятно, я совсем недавно видела ваш фильм, вашей фамилии в титрах нет, говорите скорей...

— От Ольги Берггольц... Передачу... Я совсем плоха от голода. Неизвестно, сколько будет идти этап.

— Найду ее из-под земли. Ваш этап уже завтра отправляется.

Она быстрым, профессиональным жестом открыла камеру и почти втолкнула меня.

Я громко снизу сказала Люсе:

— Дали принять таблетку от головной боли.

Ольга, моя Ольга, она придет, она спасет, выручит, она в тюрьму прибежит даже ночью, мне бы ее только увидеть, хотя бы издалека, тогда я смогу еще долго продержаться...

Ждем событий. Отбой

Подъем.

— На выход с вещами.

Не может быть... Этого не может быть... Прошли сутки... С Ольгой что-то случилось.

Следующая пересылка в Кирове. Едем в том же вагоне. Голод одолевает. Люся совсем плоха, ей двадцать три года, она нежна, болезненна, в таком возрасте туберкулез пожирает, выменять на вещи еду невозможно — даже мою голубую шубу: все, у кого есть еда, понимают, что это жизнь, и ничего ни на что не меняют, поддерживаю Люсю надеждами, мечтами, вру напропалую.

Весна рвется в щели, в зарешеченные окна коридора... Шестая весна моей неволи...

Удалось выменять из последней Маминой посылки простыню с моей монограммой, вышитой Маминой рукой, на дневной паек хлеба, отрезать монограмму эта женщина не разрешила.

А я задыхаюсь от мыслей. Раньше я не замечала, что стук колес утешает, побеждает мысли, чувства... спасение...

Самое тяжкое, когда кто-нибудь начинает есть, все равно что — хлеб, сухари; в бараке это можно сделать тихонько, здесь у того, кто ест, кусок застревает в горле — вокруг все глотают слюну.

Перестала считать сутки... зачем... слушаю стук колес... с Ольгой что-то случилось... могла же эта женщина-офицер как-то сказать об Ольге... А если эта женщина-офицер просто дрянь и даже и не искала Ольгу... нет, не может быть... В Свердловске на пересылке была уже такая история: меня, больную, еле стоящую на ногах, вызывают, ведут в какой-то кабинет в тюрьме, взволнованный человек говорит, что он знаком с Борисом по Свердловску же, когда Борис был там спецкором «Правды», чем он может мне помочь, он может связаться с Борисом. Я попросила сказать Борису, что я жива, и сообщить адрес моего будущего лагеря. Тогда я обвинила этого прокурора, что он трус и ничего не сделал, но потом-то я узнала, что Борис от меня отказался.

С Ольгой этого быть не может.

В вагоне какое-то невидимое волнение, оказывается, в следующее воскресенье Пасха, совпадающая с католической, и мои литовки молча молятся...

Они уже поднаторели в великой русской речи, но очень смешно, когда набожная старушка с ясным и чистым лицом влетает в свою речь матерные слова, не понимая, что говорит, и теперь мы с

Люсей пытаемся их обучать великому русскому языку без матерных слов.

Довольно приличный конвой, состоящий в основном из ровесников Люси, в Кирове с нами прощается и не знает, что с нами будет дальше, но направление — Вятлаг.

Двоих вынесли из этапа на носилках, а мы с Люсей, поддерживая друг друга, довольно бодро сами пошли к «воронкам».

День ослепительный, тепло, солнце! Какие мы, наверное, красавицы в сиянии светила!

Пересылка необычная — нет жуткой тюрьмы, а стоят, как в лагере, довольно симпатичные, свежавыкрашенные, длинные, чистенькие бараки, внутри коридор тоже удивляет чистотой, и уже совсем невероятное — параша стоит у камер, это все равно, если бы увидеть параша в Лувре; камера просто уютная, тоже чистенькая; надзирательница разговаривает человеческим голосом! Не может быть!!!

Уступили нижние нары пожилым, еле вскарабкались наверх и рухнули в сон.

Христос воскрес! Пасха!

Подъем.

Все приодеты в то, что осталось неукраденным; торжественные и светлые.

Мы с Люсей проспали шестнадцать часов, нас пытались разбудить к ужину, но мы не очнулись... Издалека, из нереальности, я слышала церковное пение, молитвы, я стала какой-то отупевшей...

Отглядываю камеру: нас, малоприятных русских, восемь человек, остальные литовки, с которыми мы ехали в этапе, а из коридора в наше благое лице врезаются такие знакомые визги, хохот, мат, выкрики, «цыганочка»: напротив в камерах — блатные, для них параша в коридоре не стоят.

Кто же этот человек, сотворивший разумное и человеческое...

Камера открылась, и надзирательница внесла огромный чайник с горячим чаем, сахар, хлеб и все эти дары положила на стол, и только мы хотели накинуться на эти дары, как камера снова открылась и быстро вошла маленькая женщина в ватнике и шали, с прекрасным от доброты лицом, быстро подошла к столу, села и стала выкладывать из мешка сушки, белый хлеб, сахар, крашенные яйца и одним дыханием произнесла: «Христос воскрес!» Мы губами ответили: «Воистину воскрес!»

У двери она повернулась и также беззвучно сказала: «Потерпите еще немного, до лагеря меньше суток» — и исчезла.

Грузят в «воронки».

Где же этот человек, творящий добро...

Я увидела его уже из «воронка»: стоял высокий, статный, худой старик, полковник, с белой как лунь головой, так похожий на моего Дяколя, тоже голубоглазый — стояло русское офицерство.

Едем куда-то внутрь планеты. Резко на север. Ни станций, ни поселков... Иногда мелькает колючая проволока.

Здесь, видимо, был лес, но теперь его вырубил заключенные.

Грязный, крошечный полустанок. Конец ветки, надпись черной краской на стене: «Лесное».

Погнали по глубокой грязи, далеко, лагеря не видно, мы с Люсей идем, а многие сели в грязь, идти не могут, их согнали в кучку, посадили в грязь и поставили автоматчиков.

В лагере все так же, как и в предыдущих, но стоит он весело: на пригорке, а там солнце высушило грязь.

Понять, почему нас завезли в эту глушь, невозможно. Мы столько в этапе узнали: действительно 58-я освобождается; действительно в лагерях восстания, что же случилось именно с нами? Что нечаянно, вот так просто, прихватили в эту Тмутаракань вместе с бандитами? Бандиты в центре Европы действительно ни к чему, да и политических лучше держать от границ подальше... Тем более с Германией... Лагерь Левушки вывезли из Карелии чуть не в двадцать четыре часа на Печору, как только началась война...

Люся со мной не согласна. Тогда почему же? Зачем?

Что, если Алеша уже на свободе?! Его срок считается маленьким, до десяти лет сроки маленькие! Может быть, он мечется, ищет меня! Может быть, приехал в Шелуте! Может быть, встретился с лейтенантом!

Отсюда, чтобы связаться, нужны месяцы. Вызывают из карантина к начальнику, что же это еще за экспонат? Моего поколения, лет тридцать пять, майор, кабинет в приличном состоянии, сам тоже аккуратен, интересный, светлый, открытый, мужественный, высокий, видимо, занимается спортом, почему-то взволнован.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Садитесь.

Выдавить из себя «спасибо» не могу.

— Знал о вашей судьбе, но представить себе не мог, что увижу вас здесь. У вас плохое состояние, может быть, вас положить в больницу подлечиться, это отсюда километров пять, у нас нет даже больничного питания.

— Я уже отошла.

— Карантин у вас уже кончается, барака для пятьдесят восьмой у нас нет, но есть бытовой, он чистый и светлый, там вам будет сносно...

От человеческого разговора нестерпимо больно.

— Какие-нибудь просьбы у вас есть?

— Связать меня с домом как можно скорее.

— С Горбатовым?

— Он от меня отказался.

Майор онемел.

— Из-за карьеры? О его любви к вам даже до нас дошли слухи. Кроме связи с домом больше ничего не нужно?

— Больше ничего из того, что вы можете сделать.

Вызвал надзирательницу.

Он, наверное, фронтовик, видел все мои фильмы, а ведь гэбэшники в кино не ходят, или он, наверное, как все, ходил на любую дрянь по нескольку раз и, конечно, смотрел «Ночь над Белградом», мой поклонник, знает обо мне сплетни, может быть, я была с Горбатовым в его части на фронте, ошалело смотрел на меня, не отрывая глаз.

Кто-то из греков сказал, что красота должна быть богатой, иначе она становится предметом продажи. А свободной? Иначе она становится подневольной... Даже если она не такая уж и красота...

Я должна испить чашу до дна — это 58-я, хорошая или плохая; бандитки — это бандитки, это огромный барак животных страстей: бытовички, сидящие за какую-нибудь мелочь, крестьянки, молоденькие девушки, отсиживающие срок по приказу Сталина об опоздании на завод на десять минут, все это смешано в клубок: и если это голод, то один открыто, жадно ест, а другой, голодный, не отрывая глаз, также открыто, унизительно подбирает крошки; если это холод, неудобства, то один в тепле и удобстве, а другому холодно, неудобно, а самое отвратительное половые страсти: половина барака лесбиянки, до тошноты открытые, те, что в бантиках, изображающие из себя жен или любовниц, называются «ковырялками», а изображающие мужчин выглядят безобразно, стрижены почти наголо, в мужской одежде, носят имена Васек, Ванек, Костик, называются «коблами», худы до костей, потому что работают за себя и своих дам, говорят визгливым басом.

Какая же я идиотка, я только теперь поняла, почему никак не получалась дружба с Жанной там, в Джезказгане, — она, конечно, лесбиянка: один раз, когда меня в бараке совсем заели клопы и жара, Жанна предложила мне переночевать у них, в комнате врачей. Я, счастливая, завалилась вместе с ней в кровать и заснула мертвым сном, при подъеме я почувствовала какую-то странную атмосферу: Жанна, не заснувшая ни на минуту, с блестящими глазами и красным лицом, и четверо врачей, делающих вид, что они спят... Неужели же не только эти дикари, но интеллигентная Жанна могла себе позволить близость на глазах у всех... Неужели и Жанна с Нэди... Там, на Лубянке... Нет, нет и нет, Нэди этого не может... Клуб лесбиянок в Праге, куда меня повели специально посмотреть на них, — там меня ничто не шокировало, одеты элегантно, ни малейшего намека на их взаимоотношения...

Смотреть на все это не могу. С какой-то молодой девушкой, у которой от удивления вылезли из орбит глаза, обменяла свое нижнее место на верхнее. Конечно, теперь я для всего барака сумасшедшая, по-моему, и для Люси тоже, она осталась внизу, тем более что отдала за это место свою лучшую кофточку.

Открываю глаза, у моего лица — глаза в глаза — женщина лет тридцати, лицо обыкновенное, даже приличное, «кобел».

— Здорово, красючка, тебя приписали в мою бригаду, не трепыхайся, работенка не бей лежачего, буду давать кантоваться, посмотрела в конторе твою карту, по физике-то работала, была на лесоповале, у меня полегче, не тушуйся, девки в бригаде клевые...

Как выдержала до конца этот разговор, не понимаю, вылетела из барака, рыдания душат, вырываются потоком — это не истерика, истерика когда-то где-то была! Гнев! Протест! Восстание! Расстрел лучше! Папа! Баби! Хорошо, что вас расстреляли, вас бы убило это унижение, уничтожение души! Этот психический выродок, упырь, он командует нацией — дьявол! Гитлер уничтожил евреев и коммунистов, Сталин уничтожает целые народы, интеллигенцию. Интеллигенция — мозг нации, без мозга народ задохнется! И этот дьявол сам задохнется без интеллигенции.

Люся трясет меня за плечи, кричит:

— Очнитесь! Очнитесь!

— А?! Что?!

— С вами никогда такого не было! Вы же так погибнете!

Бунт! Восстание души! Душа не тело, она не дает себя убить! Она живет на девятый, на сороковой день, потом вечно! Как хорошо, что меня посадили: где бы когда бы в каком сне это могло присниться! Иван Грозный, Петр делали зло для добра, для процветания, а этот делает все для уничтожения! Арестованных миллионы и охранников миллионы, они вернутся в деревни с изуродованной душой! Крестьяне, рабочие вернутся домой по закопаным трупам родных, близких, любимых — не людьми! Папа! Он же все это знал, он берег меня от понимания катастрофы! Все рухнет, но поздно! Уже четыре поколения станут отупевшими, не видящими, не слышащими, не понимающими! А блатные?.. Ведь их тоже изуродовали, их уже нельзя выпустить в мир, они понесут свою заразу детям, внукам, правнукам!

— Вы же должны беречь себя! Вы же дали слово написать книгу! А Алеша! А дети!

— Да, действительно должна.

Я рассмеялась.

— Все, оказывается, так просто — «должна».

Работа действительно выносимая. Выкапывать и корчевать пни. Но дорога! Всем дорогам дорога: из лагеря в низину, где, как в аду, месиво из грязи по колено, но теперь и она кажется пустяком — после дороги на Пуксе, по грудь в снегу, дороги по раскаленному песку в Джезказгане.

Идем. Через несколько шагов пот заливает лицо и не потому, что мы с Люсей совсем ослабли, и закаленные, идущие рядом, дышат, как паровозы.

Бригадир Толик, она же в жизни Инесса, пока снисходительна к нам с Люсей, видя, что мы совсем слабы, но я потихоньку осваиваюсь, и к моим профессиям грузчика и лесоповальщика прибавляется землекоп и корчевщик. Лихо.

Люся узнала все о лагере: мы на границе с Коми, лагерь огромный, созданный по типу Каргополя и также давно, но в Каргополе железная дорога, «кукушка», а здесь глухомань, люди загнаны в бескрайние леса, 58-я тоже рассеяна по лесам, только над головой все то же солнце, голубое небо, русский Север, о котором я столько слышала, а теперь и знаю.

Подсохло, и по дороге можно думать.

Изводят мысли о Наташе: Зайца теперь в доме нет, Бориса тоже теперь нет, он Наташу любил, что будет с ней, не выгнали бы они ее из дома.

Как Тетя Варя перенесла наше свидание в лесу на грузовике.

Где Алеша, со мной его улыбка, руки, губы, глаза, полыхающие любовью, походка. Как он стоит на сцене, как играет... Вдруг я его потеряю! От этой мысли начинают тихонько, про себя подвывать...

Как куклы из ящика шарманщика, около меня возникает 58-я. Культбригады ни в лагере, ни на лагпункте нет, по праздникам блатные «бацают чечетку» и поют воровские песни, что мы с Люсей и узрели в столовой в День Победы и ахнули, когда майор торжественно объявил, держа в руках телеграмму, что нашему лагерю присуждено переходящее Красное знамя за выполнение государственного плана — столько лет отсидев, мы и не знали, что выполняем государственный план.

Вызывают к майору.

Вхожу. Чистота, стол накрыт скатертью, завален едой, бутылки.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я решил пригласить вас к праздничному столу! Присаживайтесь! Ешьте! Что вы пьете?

— Спасибо, я не хочу.

— Ну уж прямо так и не хотите! Лиха беда начало! Есть даже горт! Домашний!

Молчу. Как он похож на Абакумова тогда на Лубянке, в его кабинете!

— Неужто не хотите! Вот уж прямо так! Этого не может быть!

Молчу. Майор уже в столовой был под хмельком.

— Вы что, боитесь меня? Я ведь это так! Из добрых побуждений.

Молчу. Подкатило к горлу — невыносимая, безобразная сцена. Пылающий страстью майор глуп, фальшив, жалок.

— С удовольствием съела бы все, что на столе, но только если бы я не нравилась вам.

Встала и ушла.

Только мы в очередной раз вступили с Люсей в «социальный спор», как к нам направилась Толик, и я очень расстроилась: Люся не из самохранения, а убежденно работать на «них» не хочет и вообще работать не любит, воспитана балованной, и как только Толик отворачивается, Люся садится и отдыхает и очень сердится на меня и даже скандалит, что я «вкальваю» на «них», а я считаю, что я обязана работать для нас, чтобы за меня и на меня никто не работал, и, конечно, Толик все эти Люсины проделки видит, и сейчас придется выслушать унижительную сцену с наставлениями и попреками.

— Ну здорово! Поговорить надо, отойдем в сторонку! Ксиву я тебе принесла, прочла, конечно, а то с вами, контриками, за просто ни за что ни про что еще один срок намотают! Говорят, ты знаменитой артисткой была, в кино играла...

— Была артисткой.

— Да ты не бойсь! Баба ты, видать, хорошая, я смотрю за тобой, ко мне ты плохо относишься напрасно, я ведь здесь уже семнадцать лет, я немного младше тебя, первый срок десять лет за воровство, отец пил, мать блядовала, я убежала из дома, а второй срок досаживаю — приложила надзирателя за то, что надсмехнулся надо мной, а я еще девкой была, дали еще десять лет, вот досаживаю, и с Нэлей — наверное, тебе невдомек, а я ее люблю — освободимся, выберем мужика покрепче, Нэля родит, и будем мы жить семьей, а что пишут в ксиве ты не отказывайся,

он тут главный по праздникам, его к нам в зону два раза приводили заниматься с нами, он тоже вроде из кино, я-то ведь в кино была два раза, еще в деревне, у меня ведь нет никого на свете, кроме Нэли, а в театре-то я вообще никогда не была, да на, читай ксиву-то, что непонятно, объясню.

Сердце мое разрывается от жалости, от бессилия помочь: Нэля эта — дрянь, я видела, как она вылавливает картошку из супа и съедает, чтобы Толик не увидела! Потаскуха, которая, выйдя за зону, сойдется с любым безносым сифилитиком! Что же тогда будет с Толиком!

«Здравствуйте! С печальным прибытием в наше лесное царство! Подтвердите, вы ли это действительно, потому что уйма сплетен, и я усомнился. Если это вы, не падайте духом, на общих работах мы вас не оставим.

*Ваши коллеги и я индивидуально
Владимир Агатюв».*

Боже ты мой, а я и не знала, что и его арестовали, сама я с ним по работе не сталкивалась, но он из луковской команды, это он написал для Лукова «Темную ночь», «Шаланды, полные кефали» и считается хорошим поэтом-песенником, его шлягеры гуляют по городам и весям.

В бригаде паника — на пригорке появился верхом на коне майор. Толик раскрыла рот — никогда еще этого не было.

— Неужто чего-то на нас донесли!

Все кинулись валить пень в два человеческих роста, корни были уже откопаны.

Толик что-то прокричала диким голосом, и все вдруг от пня кинулись в стороны: оказывается, если пень не валится, то падает обратно на землю, и если не успеваешь отскочить, он тебя накрывает, я этого еще не знала, отскочить не успела и увидела над головой эту махину из грязи, которая валится мне на голову, вдруг чья-то рука схватила меня за шиворот и рванула из-под корня, который пролетел перед моим носом и шлепнулся в грязь: меня держит за шиворот майор на коне, а вся бригада так и стоит с раскрытыми ртами.

— Бригадир, что же ты не объясняешь новеньким, как себя вести!

Бедняга майор, он влюбился, он фронтовик, похож на человека, и мне его жалко, он начнет творить безрассудства.

Он и начал их творить: Володя добился, чтобы меня назначили художественным руководителем культбригады, с тем чтобы бригада начала работать, а майор меня не отдает, потому что я уплыву из-под его власти: культбригада репетирует на мужском лагпункте, и туда уводят на целый день, а может быть, и из ревности, не влюблюсь ли я в кого-нибудь, и только после приказа начальника политотдела лагеря майор сдался.

Мужской лагерь находится близко от полустанка, на который нас привезли, он комендантский, но управление всем лагерем и кагэбэшный жилой поселок где-то дальше.

Конвоиры с любопытством меня рассматривают — наверное, тоже показывали какой-нибудь мой фильм.

Иду сама не своя, волнуясь, как тогда, девочкой, выходя на сцену, в памяти обрывки воспоминаний, что же опять наделала, нужно было отказаться, придется ведь создавать театр с профессионалами — они ждут «заслуженную», за что схватиться, Охлопков, Берснев, Соболищников-Самарин, Станиславский... Уже вводят на вахту.

Перед вахтой вся бригада, Володя впереди, совсем не изменился, кинулись друг к другу, в голове туман, какая-то жуткая иллюзия той настоящей, человеческой жизни, все целуют руки, потом двинулись по трапу, заключенные расступаются, и я иду, как королева по высланной дорожке. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». Это стало традицией, сложившейся в лагерях, другой возможности показать свое уважение нет.

И закружилось, и завертелось! Сколько людей, не потерявших на картотеке идей, таланта, профессионализма, какие артисты и какие люди!

Решаем сделать два спектакля: для драматических артистов спектакль «Огненный мост» Ромашова; для певцов и танцоров концерт-спектакль к празднованию юбилея воссоединения Украины с Россией.

Голова кругом: наш пленительный, пятидесятивосьмилетний музыкальный руководитель, полный, большой, седой профессор, декан Таллинской консерватории — Хейно Юлиусович заявил, что ему нужен хор, он задумал финал «Воссоединения» закончить хором из «Ивана Сусанина» «Славься, русский народ», волнуется, рассказывает на своем немыслимом русском языке, как и что он сделает —

интересно, талантливо. Но Володя, наш директор, он же администратор, он же завлит, он же связной с полковником, он же блюститель нравов в бригаде, отрезал: о хоре не может быть и речи, мы не имеем статуса театра, как в Воркуте или Магадане, а в культбригады 58-я допускается трудно, индивидуально, по распоряжению полковника, где же и как он сможет разыскать для нас в этих дремучих чашах соловьев и главное когда, а если даже и найдет, то ведь их надо переводить на наш лагпункт.

И все-таки всемогущий Володя добыл пропуска на наш и на сельхозный лагпункты, отобрал поющих девушек и привел к нам. У Хейно Юлиусовича началась сердечный приступ: проститутки, просто девки, да не просто, а приукрасившиеся до всех возможных пределов, чтобы произвести впечатление.

Как прекрасны вообще талантливые люди, а Хейно Юлиусович!.. Прослушав всех, он подходит ко мне и восторженно говорит, что есть голоса, слух, только просит меня вмешаться, чтобы его певицы не курили махорку, перестали так безобразно краситься, ругаться русским матом и не поднимали юбки выше колен, повернулся к Володе и серьезно сказал:

— Спасибо, Володя!

Все взорвалось смехом, аплодисментами.

А какой балетмейстер! Премьер Днепропетровского театра, в отличной форме, да еще и украинец, знает украинские танцы, хороводы; а скрипач Алексей Кузьмич — первая скрипка Театра Советской Армии; а пианист с хорошим аккордеоном; а Володя, который может достать все из-под земли, он сразу каким-то таинственным путем отослал Зайцу телеграмму и каким-то чудом задумал сделать мою фотографию; а художник — москвич, молодой, талантливый! Ну чем не театр!

И вершина всего — полковник, начальник политотдела лагеря, то, что рассказывает о нем Володя, неправдоподобно: интеллигентный старик, обожает искусство, делает все возможное и невозможное, чтобы нам помочь, кадровый офицер, воевал, ранен, очень больной, у него есть общее с тем полковником в Кировской пересылке — оба они похожи не на гэбэшников, а на настоящих офицеров.

Этот лагерь опять другой, и как я думаю, сюда загоняют не слишком усердных кагэбэшных начальников, да и их жены тоже другие: одна даже глазами поздоровалась со мной, когда нас проводили мимо.

Я думаю, что в этот лагерь загоняют арестованных, работавших при немцах.

Нет Люси, как она мне сейчас нужна, как мне тоскливо и пусто без нее. Оторван еще один кусок от сердца.

Наверное, бригадир, видя, как Люся работает, попросила Люсю из бригады списать, и ее отправили на какой-то далекий лагпункт. Володя хлопотал, чтобы ее перевести в культбригаду, но когда меня привели в лагерь, Люсино место пустое — горько, больно.

Тяжко и противно, я, оказывается, шуткой, пустяком могла все разрушить — жара адовая, я объявляю перерыв, чтобы все подышали воздухом, а лагпункт-то этот «ссученый», это значит, что воров в законе здесь нет и живут здесь обычной жизнью, выходят на работу, никакой поножовщины, заводят романы. Мы с Володей стоим у барака, и вдруг вижу, что по зоне ходят женщины, только какие-то странные, театральные, уж не знаю, какими словами возможно описать их смешное безобразие: здоровенные мужчины в платьицах до колен, перешитых из лагерной робы, на выбритой волосатой груди большое каре, заросшие мускулистые кривые ноги в носочках и тапочках, такие же руки из коротких рукавов, волосы заплетены в косички с лентой, просвечивают лысины, глаза, рот, брови, щеки покрашены немислимыми красками на фоне иссиня выбритых лиц, я не успела, к счастью, хихикнуть, как Володя сжал мою руку до боли и зашипел:

— Уберите улыбку, сделайте вид, что разговариваете со мной! Мне надо вам объяснить. Дело в том, что вы со своим незнанием, непониманием можете все развалить: что бы вы ни увидели, вы должны делать вид, что не видите; что бы ни услышали, не слышать и уж тем более не реагировать, это же мужской бандитский лагерь, они запросто, если вы им не понравитесь чем-нибудь, могут приговорить вас к смерти, и я вас не пугаю, такое уже было на моих глазах, и это не все — я вижу, как вы закрываете глаза на страстишки среди наших, а ведь если это дойдет до начальника режима, а он не такой, как полковник, нас всех разгонят, и я не хочу отвечать за вас перед людьми, перед человечеством, вы наивно, до детскости, не понимаете, что здесь совсем не шуточки, если вам неудобно делать нашим замечания, говорите мне...

Мне стало смешно.

— Сделаться вашей стукачкой?!

— Да! Чтобы мы вместе не полетели в тартарары! Я ведь все вижу, и там, где они не выходят за рамки возможного, я их не трогаю, вы же вообще закрываете глаза, и, когда меня нет, они распоясываются.

— Побойтесь Бога, Володя! Что они делают? Ну целуются! Да, сидят рядом! Но они же любят друг друга!

— Бросьте вы! Просто под нарами... — Я быстро отошла от него, но он бросил вдогонку: — А нас с вами за это из бригады выкинут!

Гнус. У самого ведь такой же роман под нарами!

А что, если Алеша был бы рядом... нет... нет... и нет!

Чувствую себя все хуже и хуже. Слабость, домой доводят под руки, как на Пуксе с лесоповала, бессонница, верблюды не помогают. Не могу понять, почему я одна во всем мире. Пустота и шевелящееся болото. Где все, уже июнь, от Зайца ничего, где Георгий Маркович, Лави, где Жанна, Софуля, Люся ведь где-то рядом, а я этого не чувствую. Я худа до безобразия, хотя оба лагеря меня подкармливают. Скоро генеральная репетиция, все как будто хорошо, полковник как только поправится, придет посмотреть. В нашей глухомани полная тишина, а всезнающий Володя куда-то пишет, говорит, что многие уже освободились, и он тоже скоро освободится. Где Алеша... Володя солгал, что послал телеграмму Зайцу, здесь неоткуда ее послать. В театре все замечательно — театр-то ведь возник, спектакль волнует, восхищает, и как все в жизни интересно: Хейно Юлиусовича нельзя узнать, помолодел, ему прислали из дома настоящий фрак, его певицы молятся на него, как на Бога, скромны, перестали краситься, курить, ругаться, они волосу не дадут упасть с его головы, ну как так может быть? Богдан Хмельницкий — удивительный, похож, нарочно такого не сыщешь, премьер Минского театра, красивый, талантливый, настоящая балетная труппа, гопак так отплясывают, что придется бисировать не раз; художник из ничего создал задник с изображением великого Киева, а когда хор запел «Славься, русский народ», сдавило горло, вся труппа из-за кулис поет вместе с хором...

Господи! Ты столько раз спасал меня! Спаси, помоги, укрепи мою веру, мою надежду, любовь, волю!

Еще из-за ворот лагерной вахты кричат, машут телеграммой: «Поздравляем ты еще раз бабушка мальчик Володя ждем тебя домой посылку высылаем до скорой встречи любим целуем Заяц» — только бы не умереть от счастья.

Полковника не будет, он, оказывается, не просто болеет, а тяжело болеет, ему на фронте после ранения ампутировали ногу. Если бы это было возможно, я бы его расцеловала, он сделал столько добра.

В лагере, как выяснилось, две тысячи человек, и играть будем три спектакля.

Почему на свободе невозможен такой оглушительный успех: ко второму спектаклю вызвали чуть не полк вохровцев, чтобы окружить столовую, в которую рвалась вторая смена зрителей и все те, кто уже видел спектакль; для интеллигенции Володя выпросил у полковника третий спектакль, как будет, не знаю, но все-таки почему же вот такого восторга не может быть на свободе? Люди почерствели? По-другому относятся к искусству? Да, наверное. К тому же еще и разбор, разнос, разгром, выковыривание критикой несуществующего, навязывание «хороших вкусов». А как же было в Риме, в Греции, где десятки тысяч зрителей — и одно дыхание, одно восприятие...

Попросила Володю первый выездной спектакль сделать на Люсином лагунке, она, наверное, ждет, знает, что творится на свободе: болтовню Володи о том, что все уже дома, не слушаю, здесь мертвое болото.

Начали репетировать «Огненный мост» — совсем уж трудно и играть, и ставить, но артисты действительно отличные, и все мне помогают, жара стоит несусветная, заедает мошкара, мне совсем плохо, сердце мне не подчиняется, дорога к нашему лагерю по открытому полю — невыносимо.

Влетает бледный как смерть Володя, на лице сто двадцать две эмоции, захлебывается:

— За вами на вахте конвой!!!

Внутри оборвалось, ничего не чувствую; целуют, обнимают, плачут; вышли в поле два автоматчика и я, идти дальше не могу, села на раскаленную землю, встала, пошатнулась. Смешной рыжий мальчик-конвоир шепчет:

— Татьяна Кирилловна, теперь-то ведь все будет в порядке!

Хлынули слезы, я их слизывают, они соленые.

У вахты майор, толпа солдагнерниц, тоже целуют, тоже обнимают, майор приглашает в кабинет.

— Я знал, что вас провожу на свободу, вас вызывают в Москву для пересмотра дела, я понимаю, что вам не до меня, но мне жалко вас отпускать, я никогда не был так влюблен и не пред-

ставляю, как я не буду видеть вас каждый день, разрешите мне только приехать к вам в гости в Москву, вот теперь-то мы с вами и пригубим шампанское!

Трогательно и смешно — в бараке, на моих нарах лежит все, что я раздала соседкам: от Зайца пришла первая после смерти Мамаы посылка, и в ней были туфли на высоком каблуке, кружевная кофточка, еще что-то, что здесь понадобится не может, я все раздала. А в лагере закон — ничего из твоих вещей оставаться не должно, даже булавка, иначе вернешься, вот они и принесли все обратно, не хочу верить в приметы, не хочу, снова все раздала.

Типичный повтор этапа из Джекказгана: двое конвоиров, четырехместное купе, окно замазано, а что, если опять одиночка или что-то еще худшее. Меня ведь тогда тоже везли на свободу: где теперь после всех переворотов Абакумов, действительно ли расстреляли Берию?.. Курят невыносимые папиросы и махорку... и храпят... три ночи не сплю. На какой-то станции вошла врачиха, выслушала, надавала сердечные лекарства:

— Продержитесь еще немного, вы уже за Волгой.

Остановка, говор, смех, поцелуи, поезд в большом городе, выходит много народу.

Открывается дверь купе, носилки, меня на них кладут и куда-то уносят...

Крохотная одиночка, врачи, неужели инфаркт... Узнаю, что я в Горьковской тюрьме, жизнь понеслась, закружилась... замечательный город, замечательный театр, который тогда, в тридцать восьмом, спас меня, вытащил из отчаяния... Соболюшков-Самарин... жив ли он... ему должно быть под девяносто, он был великим артистом еще в XIX веке... жива ли его дочь... я только потом узнала, что арестовали его зятя, и дочь висела на волоске... он горько познал жизнь... мелькают сыгранные роли... друзья... покерные бдения... стихи в фойе кинотеатра перед моим фильмом «Последняя ночь» — «и голуби, голуби, голуби аплодисментов вылетели у зрителей из каждого рукава»... стоп! Нэди!.. ее жуткие рассказы о Горьковской тюрьме: в Горький была эвакуирована Лубянка, голод, холод, грязь, возврат обратно на Лубянку как в рай — тепло, чисто, ши и перловая каша... а если Нэди так и сидит еще в камере № 14... умом понимаю, что этого быть не может, что ее расстреляли хотя бы за то, что она узнала о нашей стране... изучила Лубянку как свои пять пальцев...

Предынфарктное состояние! Замечательно! «Еще Польша не згинэла, пуки мы жиемы!», милый Папа, это его победный клич. Глупо же вот так умереть в Горьковской тюрьме, тем более что мне уже лучше, нашла способ предотвращать приступы, отъелась на больничном питании, это яйцо от жадности хамкаю целиком, силы прибавилось...

Куда меня привезут в Москве?..

Майор и лейтенант сажают в легковую машину, садятся по бокам, на переднем сиденье — женщина в штатском, видимо, врач, наблюдает за мной в зеркальце водителя — все, как при аресте...

За закрытыми занавесками — Москва, неужели я когда-нибудь пойду по ее улицам... играю полное спокойствие... загремели железные ворота, проглотившие миллионы: в четвертый раз Лубянка... арест, в лефортовский холодильник и обратно... в Бутырскую пересылку и обратно — отчий дом.

Тот же начальник санчасти полковник «Тайрон Пауэр», с теми же ресницами и глазами садиста, только теперь он не прячется, а сам выслушивает меня.

Камера № 10, направо наша с Нэди № 14, только Нэди там нет.

В четвертый раз встречаюсь с Макакой, в его глазах — моя судьба, хотя раз он и ошибся: когда меня вернули из Бутырской тюрьмы, он думал — на свободу, он же не мог знать, что его величество Абакумов захочет лицезреть меня еще раз, а потом, увидев запись в тюремной книге, вообще ничего не понял — такого не бывало...

Дежурит ли он... здесь ли он еще... за шесть лет столько воды утекло...

Тюрьма не набита, как в сорок восьмом, но свято место пусто не бывает — слышу шаги во всех камерах, чувствую дыхание людей за дверями. Странно непривычная тишина, по ночам никого не вызывают на допросы.

Обход.

Макака.

Какой свет, огонь надежды, счастья полыхнул на меня. Господи! Что же это такое... чужой человек, роднее родных, твоя вторая половина, как же такое может быть: чекист, убийца, с мышлением гориллы... что же это... великий, человеческий талант жить, он может все, он вечен, от него жизнь на Земле...

Щелчок ключа.

— На вопрос.

Передо мной в легкой, белой рубашке плотный большой мужчина с человеческим лицом и человеческими глазами — необычно, не соответствует кабинету.

— Полковник Рублев Иван Федорович. Вас вызвали для пересмотра дела. Я ваш следователь. Как вы себя чувствуете и почему вас сняли с поезда в Горьком?

Входит еще полковник. Здравается!

— Познакомьтесь, это ваш прокурор, он будет наблюдать за пересмотром дела.

Тюрьма другая, чужая, такими, наверное, и должны быть тюрьмы: если страну можно узнать по вокзалам, то уж по тюрьмам — безошибочно... что происходит там, за стенами... что изменилось... мне почти открыто говорят о свободе, но ведь тогда в «Магросской» я была тоже почти дома... во второй раз этого не пережить... как теперь себя вести, чтобы не навредить... Рублев не в мундире, не из-за адской жары, а, может быть, чтобы не пугать меня... что же он такой тонкий... изучил меня... или это опять какой-то подход... «на сей раз обязательно пейте лекарства», значит, в том, в каком-то тюремном деле есть и про это... или говорил с «Тайроном Пауэром» после моего осмотра... если бы было возможно поговорить с Макакой... с Рублевым... узнать, в чем настоящая суть моего дела... за что я действительно сижу, здесь подводят кого угодно под какую угодно статью... моя 58.10 — нейтральная, ее дают всем, у кого нет настоящего дела... я сижу за то, что не вписывалась в их среду... мыслила не так, как они... вела себя независимо... когда в очередной раз перед каким-то мероприятием или награждением передо мной опустился шлагбаум, один мой друг сказал: «Вы слишком засияли на довольно тусклом небосводе, им это не нужно и не нравится...»

Рублев... ничего себе: гэбэшник — однофамилец монаха... странно, что здесь все Сидоровы, Николаевы, Ивановы... что это — псевдонимы?... ни одной еврейской или иностранной фамилии...

Хоть и не бдим по ночам, но часами сидим с Рублевым: перед ним том сочиненных Соколовым протоколов, и теперь Рублев, как червь, копошится в них, сверяет мои подписи, «сказала — не сказала», «говорила — не говорила», «думала — не думала». «подразумевала — не подразумевала» — бессмыслица. Мне становится плохо, из-под земли появляется врач с лекарством, и тогда Рублев отпускает меня в камеру.

Камера в полдень — раскаленная сковорода, пекло, и мне разрешили в эти часы ложиться на прохладный пол. Только у Рублева в кабинете можно дышать, нет солнца, сквозняк, а если Рублева нет, то меня сажают в комнате перед его кабинетом, он начальник какого-то большого отдела, там сидят две женщины, очень корректные, которые делают вид, что меня в этой комнате нет...

Сколько же это будет длиться теперь: опять одиночка, опять все та же тюрьма, свобода — призрак, проплывающий мимо, не могу обнять детей, Алешу, одиноко... пустота...

— Татьяна Кирилловна, что с вами происходит, и дело не в сердце! Вы таете на глазах! Что я могу сделать, чем поддержать вас? Потерпите еще немного, вы столько терпели, я должен очистить вас от всего, дело ваше должно быть без сучка без задоринки,

мало ли что может опять случиться, вы же не знаете, что это опять целый процесс, я должен найти свидетелей, сделать очные ставки...

Рублев зашагал по кабинету.

— Ваш учитель Охлопков знает вас с семнадцати лет, болеет, покрыт какой-то коростой, а когда я его попросил рассказать, какой вы были в семнадцать лет, он сказал, что «она уже тогда была с какими-то антисоветскими тенденциями», и это теперь, когда бояться уже нечего, когда и Русланова, и другие на свободе, и тогда я задал ему вопрос: «Зная это, вы не побоялись пригласить ее, уже взрослой, вторично в свой театр?» — он заволновался: «У меня не было героини, она яркая, нравится публике, ее любят».

...как в яблочко в тире, в самое сердце. Как же Охлопков смел так оболгать меня, никогда в жизни я с ним слова не сказала помимо работы, как же он посмотрит мне в глаза...

— А этот первый ваш режиссер кино — Садкович! Знаете, кем он стал?! Выяснилось, что он белорус, и теперь он министр культуры в Минске, хитрый, увертливый, осторожный — вертелся, боясь сказать и за вас, и против.

...зачем Рублеву копать в моих семнадцати годах...

— Что, и очные ставки будут?

— К сожалению, я только боялся вам об этом сказать, огорчить вас!

...а я рада, я хочу знать, я должна знать все про человеческую подлость. И теперь я знаю, что своих профессиональных стукачей под кличками они не разоблачают, и с ними очных ставок быть не может, придут стукачи-непрофессионалы, которые за столом пили, ели, а возвращаясь домой, писали доносы...

— Жаль, что умер Берсенев, он-то был настоящим царедворцем, он мог бы многое высветить — и кто вас не выпустил в Югославию, и кто лишил ордена, кто заставил вызвать из Вены на репетиции. Какие же все-таки у вас в искусстве и в литературе говнюки...

Рублев смутился.

...надо быть очень внимательной, чтобы не пропустить сказанное Рублевым между строк, недосказанное... умер Берсенев, он ведь совсем не старый...

— Не говоря уже о том, что до них не доберешься!.. Больны!.. Великие!..

...а как же мой Собольшиков-Самарин, если бы ему дали говорить, он ведь меня бы сравнил с Божьей матерью... что происходит с нашим поколением... откуда мы такие...

Жара спала. Легче. Приступы реже.

Рублев в упор спрашивает:

— Могли бы вы где-то на встрече Нового года поднять тост за всех, кто погибает в Сибири?

Я смутилась, прошептала:

— Могла.

— Где?

— Везде. Я всегда в эту ночь поднимала тост за тех, кто погибает в лагерях.

— А конкретно не могли бы вы припомнить о таком тосте на встрече Нового года под Веной, в Бадене в особняке маршала Конева?

...помню...

Отвечаю:

— Нет!

— Но могли бы в присутствии всего генералитета сказать его?

— Могла бы, не на весь зал, но соседям могла.

— Ну и характер же у вас, к нему еще и язык, и непокорность! Почему вы не слушались Горбатова, десять лет он старался сделать вас другой.

— Вы хотите, чтобы я была похожей на него, на них?

Молчит.

— Ну хотя бы на очных ставках не восстанавливайте сразу против себя.

Молчу.

— Так вот виновник торжества умирает в больнице в двадцать девять лет, это он написал об этом тосте, прямо там же в Бадене, и очная ставка с ним невозможна, а именно он необходим для этого протокола, это из-за него я мучаю вас здесь: он вот-вот должен был выписаться из больницы, но сегодня я говорил с главным врачом, и врач сказал, что он никогда уже из больницы не выйдет, и теперь я должен добиваться встречи со свидетелями, а свидетели — ваши поклонники, тогда генералы Желтов и Якубовский — Якубовский теперь маршал, — на них-то у меня вся надежда, потому что они не признаются, что слышали тост, и не донесли, а тот подонок-жид в больнице, с наглым уродливым лицом, взял еще и псевдоним — и теперь он мой однофамилец. Вы помните такого Жоржа Рублева?

Я ахнула: это же я, я сама уговорила пригласить его и его соавтора Мишу на встречу Нового года; это же я сама пригласила их ехать со мной в машине, которую мне прислал маршал Конев, из Праги в Вену; это же я сама попросила маршала положить его в генеральский госпиталь, когда он в нашей катастрофе под Веной разбил себе лицо, так вот, значит, откуда протокол, составленный Соколовым о «кипучей и могучей», — это же я пригласила его с Мишей домой, по их просьбе, они принесли песни, написанные для моего исполнения; это же он выгуливал собаку Тамары

Макаровой в Праге, афишировал дружбу с ней, а потом о ней сплетничал!

— А Миша Вершинин?

— Миша — порядочный человек и тоже сидит, и тоже по доносу Рублева.

Ну почему я опять доверяю этому Рублеву, у нас складываются почти человеческие отношения, верю ему, я верю, что он хочет вытащить меня отсюда, а если все опять не так... у него доброе лицо, довольно симпатичное, теплые глаза, не мог такой человек бить ремнем или мокрым жгутом по лицу, по глазам. Не мог.

— Поздравляю! Сегодня добрался до «высших», и оба, и Желтов, и Якубовский, сказали, не сговариваясь, что такого тоста от вас не слышали и что вы от них целый вечер не отходили. Теперь готовьтесь к очной ставке: вы снимались в картине «Сказка о царе Салтане», на которой вас и арестовали, у вас был директор фильма Колодный Осип Григорьевич, незадолго до ареста вы снимали какую-то сцену на студии Довженко в Киеве, и ваш вечный поклонник, Луков, будучи худруком объединения, в котором числилась ваша «Сказка о царе Салтане», задумал посмотреть снятый материал и прибыл в Киев, прихватив с собой директора студии, так было?

— Да.

— Они были целую смену на съемке, а потом все решили пойти в кафе на Прорезной, в том числе и Колодный, и в этом кафе вы сказали: «Все коммунисты — лживые и нечестные люди».

— Нет, я не помню такого протокола, там стоит моя подпись?

— Да.

— Я могла его подписать только в беспамятстве, я же понимала, где я нахожусь.

— Колодный подтверждает свои показания, и поэтому должна состояться очная ставка, наверное, это будет завтра во второй половине дня.

Щелчок ключа.

— На вопрос.

Вводят. Рублев и прокурор в мундирах. Рублеву очень идет мундир, он весел. Прокурор, как всегда, спокоен. Сажусь на свой арестантский стул у двери и вижу Колодного...

...какая невероятная сила — совесть, даже у подлеца... внешне он такой же, но внутри у него буря, он тонет, он вне себя, глаз на меня не поднимает, не поздоровался, как-то вдавился в кресло, стал маленьким, сутулым, без кровинки в лице, руки дрожат, жалкий, скрюченный старичишка... если бы люди знали, как придется расплачиваться за доносы, не писали бы их...

Я до удивления спокойна, видимо, от отвращения к Колодному. Прокурор обратился ко мне:

— Вы узнаете человека перед вами?

— С трудом, я думаю, что если бы этого человека привести в чувство, то, наверное, он стал бы похожим на моего директора фильма «Сказка о царе Салтане».

Рублев метнул на меня огненный взгляд, у прокурора промелькнула подкожная улыбка.

— Товарищ Колодный утверждает, что в Киеве, в кафе на Прорезной улице, вы ругали коммунистов, называя их лживыми и нечестными людьми. Было это?

— Нет. Вся студия знала о моих пикировках с Луковым, и когда Луков в очередной раз сказал что-то грубое и личное, я опять с ним начала ссориться, и если я что-то и сказала, это могло относиться только к Лукову.

— Как, по-вашему, товарищ Колодный, почему же Луков тоже утверждает, что если такой разговор и был, то он мог касаться только лично его, Лукова.

— Нет, это было не так, она сказала вообще про коммунистов! А скажите, Иван Федорович и товарищ прокурор, если бы при вас сказали такое про коммунистов, вы бы не написали об этом куда следует?

— Несомненно! Вы правы, конечно, написали бы, но не считаете ли вы, что если слова эти даже и были сказаны, то шесть лет тюрьмы за них — достаточно?

Колодный охрип.

— Но я, как коммунист, не могу отказаться от своих слов, тем более что они действительно были сказаны.

Эта мука невыносима, Колодный в таком состоянии, его вот-вот вырвет.

— Я прошу прервать очную ставку, мне плохо с сердцем.

Меня увели. Почти тут же снова на допрос. Рублев так же весел.

— Как вы себя чувствуете?

— Мне не было плохо, дальше было бессмысленно продолжать очную ставку.

— Какое впечатление она произвела на вас?

— Ужасающее! Я решила никогда не писать доносы!

Рублев рассмеялся.

— Но я был удивлен, как вы выкрутились, что это — прозрение свыше?

— Чувство самосохранения, вспомнила, что я тогда за столом действительно в очередной раз поссорилась с Луковым.

...странно... Рублев совсем другой без прокурора... друг... единомышленник... как бы оправдываясь, рассказал, что до работы в органах он был первым человеком на заводе, рабочим, мастером, секретарем парткома, по этой линии его и мобилизовали в

госбезопасность... и надзирательница в Матросской Тишине, знатная ткачиха... наверное, и мой Макака... и, наверное, этих людей, выросших в простых, добропорядочных русских семьях, умеющих красиво трудиться, власть и подхватывает, чтобы разбавить свое грязное болото... хочется рассказать Рублеву, что у меня есть здесь еще и Макака, но нельзя...

— Вам осталось потерпеть еще немного. Я скоро заканчиваю дело.

Зайчик! Наташа! Алеша! Друзья! Неужели я смогу прикоснуться к вам, обнять... Дом! А где же он... Ничего! Все будет! Все сделаем с Алешей! Я верю, что так будет!

Щелчок ключа.

— На вопрос.

Рублев все в том же приподнятом настроении.

— Ну вот! Дело сдано, решение будет вынесено днями, и мне надо знать, куда вас доставить: вашего Зайчика в Москве нет, она с мужем на юге, так вот вызывать их встречать вас?

— Нет, нет и нет! Дни уже ничего не решают, я Зайчика подожду, сама очнусь, отвезите меня в наш первый с Борисом семейный дом на Калужскую, там умерла Мама, там живет Тетя Тоня, моя двоюродная бабушка, только обязательно предупредите ее — она очень старенькая, только телефона там у нас не было...

— Не волнуйтесь, обо всем этом я позабочусь, но должен вас огорчить: вы обязательно должны появиться на Беговой и оставить в своей комнате ну хотя бы свой лагерьный мешок.

— Нет.

— Я так и думал, но тогда это должен сделать офицер, который будет вас сопровождать.

— Я не хочу офицера, я никого не хочу, я хочу домой!

— Прошу вас успокойтесь, вы отстали от жизни, положитесь на меня.

Еще одна пятница... еще мучительнее, чем тогда в одиночке... пятница с пяти часов вечера, суббота, воскресенье, раньше одиннадцати Рублев в понедельник не вызывает... Боженька, дай терпение...

Слушаю тюрьму — неинтересно, знаю наизусть; пересчитала все шаги, во всех камерах лишних арестованных нет, нет Жемчужиной, нет отца с дочерью, новых книг тоже нет, это значит — меньше стали арестовывать обладателей библиотек «Academia»... повторно книги, которые читала после ареста, читать не могу, сразу вспоминается арест, в содержание, как и тогда, вникнуть не могу; жду каждые четвертые сутки дежурства Макаки.

И на прогулке не слышно автомобильных гудков, гула, город замер, вымер, умер; и думаю, думаю, думаю, и мечусь, мечусь, мечусь, как тигрица в клетке, и хожу, хожу, хожу до изнеможения; в тюрьме могильная тишина, ни истерик, ни кляпов, ни криков...

Щелчок ключа.

— На допрос.

Суббота! Что опять могло со мной случиться?! Единственный вызов в тюрьме в субботу.

Рублев и прокурор, в мундирах, приказывают встать, встают тоже.

— Выслушайте решение суда по вашему делу: «Именем Советской...» — Голос Рублева звенит в голове, бьется птицей... те же слова в Бутырской тюрьме и в конце: «к десяти годам исправительно-трудовых лагерей».

Вечность...

Почему ни одному доброму человеку не пришло в голову читать приговоры с конца, можно умереть, недослушав решения.

— «...освободить из-под стражи за отсутствием состава преступления».

Схватили руки,жимают, поздравляют, позвали к своему столу...

— Но сегодня суббота, и никого из тюремной администрации,

которая должна оформить ваше освобождение, нет, начальнику уехал на охоту, дома не оказалось никого. Мы бросились к высшему начальству, и нам приказали отправить вас домой с полуоформленными документами.

— Что значит полуоформленными?

— Потом вам придется приехать к нам за своими вещами и документами.

— Нет. Во сколько начинает работать ваша тюрьма?

— В восемь утра.

— Я дождусь понедельника.

— Но по закону мы не имеем права держать вас, свободного человека, в тюрьме!

— Есть анекдот: Рувим бегаёт с головной болью по комнате оттого, что не может сегодня отдать долг соседу напротив, тогда жена подбегает к окну, открывает форточку и кричит соседу: «Хаим! Рувим тебе сегодня долг не отдаст!» — Поворачивается к мужу: «Пусть теперь у него болит голова!»

Хохочут.

— Хорошо, мы берём ответственность на себя, потому что и высшего начальства мы сегодня нигде не найдём, но вы подтвердите свое решение распиской?

— Да.

Что я опять наделала!.. Но теперь все равно уже не вернуть!.. Что может случиться за тридцать шесть часов!..

Да и не хочу! В понедельник дежурство Макаки, я с ним должна попрощаться!

Настроение! Когда в глазок не наблюдают, танцую, мурлыкаю, даже тихонько пою, составила план освобождения, все продумала, а за козырьком уже и вечер настал!

Подъем! Щелчок ключа в восьмую камеру... в девятую... сейчас ко мне... нет, в одиннадцатую... в двенадцатую...

Щелчок ключа.

Макака!

Глаза!.. В его лице даже и сейчас ничего не дрогнуло, но глаза!.. Из глаз льется на меня счастливое сияние! Господи, какой же этот Макака сейчас красивый!

— На выход с вещами.

Голос все-таки дрогнул.

Я засовываю в мешок какие-то свои вещички, тапочки, руки дрожат, не слушаются. Макака подлетел и в секунду все запрятал. Идем. Решилась, беззвучно одними губами:

— Я вас никогда, никогда не забуду.

И последний раз за мной захлопнулась проклятая тюремная дверь, поднимаемся куда-то на лифте, ослепительное солнце, нет козырьков. Я здесь, по-моему, когда-то была, маленький, белый, уютный карцер, мой лагерный мешок, в нем есть ленточка, губная помада, тушь для ресниц, причесалась, завязала волосы ленточкой, только начала красить ресницы, влетел Макака, вырвал тушь, зашипел: «скорей», исчез, и опять щелчок его ключа.

— На выход, без вещей, к начальнику тюрьмы.

Бедный Макака, он-то все знает, что творится и что может здесь твориться, он волнуется, спешит выбросить меня из тюрьмы...

Вот откуда я знаю этот коридор: Мамин крик, моя истерика, кляп, вызов к начальнику тюрьмы, маленькому, пузатенькому паучку.

Навстречу из-за стола поднимается молодой, высокий, симпа-

тичный офицер! Тот! Из «Матросской тишины»! Который ездил на охоту и потом утешал меня, что я скоро буду дома!

Бросился ко мне, схватил руку, не выпускает.

— Поздравляю! Помните, я вас все утешал, что вы скоро будете дома! Счастливой вам жизни! Радости!

Схватил обе руки.

— В счастливую, свободную жизнь!

Вниз на лифте. Знакомый двор. Машина. И вдруг ливень! Как из ведра! Из голубого неба! На солнце сияет бриллиантами! Грибной дождь! И также вдруг кончился! Раздвигаются знаменитые ворота. В машине на сиденье цветы. Со мной рядом садится на сей раз майор с очень смешной фигурой: туловище почти нормальное, но чуть тонковатые ноги, на груди мундир как будто накачали воздухом. От этого майор похож на головастика.

Кузнецкий мост! Тоже сияющий, омытый, вниз рекой несется вода. Попросила остановить машину у водосточной решетки, жаль, что у меня нет орденов: выбросила свои только что возвращенные медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Восьмьсотлетие Москвы», еще какие-то. У майора полезли глаза на лоб.

Тетя Варенька, Левушка, Алеша, дети, их у меня теперь уже четверо! Какие они, мои внуки, по фотографии красивые, умные, талантливые!

— Татьяна Кирилловна! Беговая. Мы уже подъезжаем к вашему дому. Полковник приказал доставить ваши вещи в вашу квартиру, а если вы будете сопротивляться, то приказал закрыть вас в машине. В вашей квартире живут: ее фамилия Архипова, его — Менглет, она числится артисткой в Театре сатиры, он тоже. Где находится ваша комната?

— Прямо напротив входной двери.

Скорее бы, скорее в квартиру Зайчика, там все об Алеше, все письма, телеграммы, телефонные звонки... а может, есть и печальное, Зайчик и Мама умышленно скрыли от меня, чтобы не огорчать. Может быть, хоть что-то о Георгии Марковиче...

Быстро идет обратно полковник, бледный, взволнованный, в руках несет мой лагерьный мешок.

— Вам придется въезжать в свою квартиру через суд! Архипова и Менглет рассчитывали, что вы никогда не вернетесь.

Все равно мы с Алешей там никогда бы и не жили, это только для обмена.

Калужская!

Влетаю в подъезд, сверху на всю лестницу родной голос:

— Танечка!!! Танечка!!! Танечка!!!

Схватила Тетю Тоню на руки, плачем, целуемся, не можем оторваться друг от друга. Головастик смешно мельтешит около нас и вдруг расстегивает мундир и вынимает спрятанную на груди бу-

тылку вина и два бокала. Так вот почему он головастик! Никакая сила, даже страх расстрела, удержать от смеха меня не смогла бы: майор спокойно разливает вино в бокалы.

— С освобождением вас!

Пути твои, КГБ, неисповедимы: что за бутылка спрятана на груди, почему уже кем-то опита, кто приказал, почему два бокала; почему стоя в прихожей, кто, зачем этот майор?! Может быть, и мой дядя-гэбэшник, тот, который приходил на допросы к Соколову и сидел часами, тоже вот такой же, как этот майор, и не бил, и не калечил людей.

Тетя Тоня крошечная, совсем старенькая, милая, белая как лунь, голос ее льется тихий, дрожащий, сумерки, свет не зажигаем.

Мы в нашей с Борисом комнате, я на тахте, это было наше первое приобретение, мы купили тогда эту тахту, стол и два стула, а потом Борис привез с финской войны большой заграничный приемник, и он стоял на полу, и мы лежали на этой тахте и упивались Европой, музыкой, Би-би-си...

В сумерках голова Тети Тони серебряная!.. Когда Баби рожала Маму, Тетя Тоня была еще совсем юной, и когда из спальни раздался Мамин первый крик, Тете Тоне стало дурно от волнения, она была младшей в семье, ее воспитала Баби, Баби была старшей... Потом Баби перетащила Тетю Тоню из Саратова в Москву, муж Тети Тони тоже был офицером царской армии, его, как и всех, расстреляли там же в Саратове, и Тетя Тоня с маленькой Мариной пробилась через ужасы гражданской войны к нам в Москву, а потом Мама родила меня, а Марина Наташу... Из родильного дома я принимала Наташу сама, потому что муж от Марины ушел... Потом — Наташа на пороге нашей квартиры на Беговой, в окровавленной рубашонке, привезенная Карменом из Ашхабада после землетрясения, в его куртке... после моего ареста и пока Борис еще не выгнал Маму из дома, Наташа была веселой, когда Мама уехала с Беговой, Наташа два раза убежала из дома и приезжала сюда. Когда Борис женился, Наташа приехала один раз, а после смерти Бориса не была ни разу... Голос Тети Тони стал тихим, совсем замер, я знаю, что она беззвучно плачет... Что я теперь могу сделать для Наташи... ни кола ни двора... Конечно, мы с Алешей возьмем ее к себе, но она так уже привыкла к хорошей жизни... ей столько же лет, сколько было Зайцу, когда меня арестовали... И снова, и снова, и снова о Маме, хочу еще и еще раз слушать уже рассказанное Тетей Тоней... Зайца не было с Мамой в последние минуты, у нее было какое-то важное соревнование по волейболу, был Дима, он мне все расскажет...

Проснулась, в лицо лунный свет... где я... не бред ли все это... заботливо укрыта пледом... отвыкла от тахты — неудобно.

Первый день свободы!

Утро солнечное! Пока еще ни понять, ни ощутить не могу, что я не в камере, а в квартире.

Жду папу и маму Димы, они должны вот-вот приехать, поздравить меня и привезти ключи от квартиры Зайца.

Соседи здесь не те, что были тогда, видимо, сплетники узнали меня и сгорают от любопытства: откуда я свалилась на их голову.

Звонок.

На пороге Митя!.. Да, Митя! Разодетый! С цветами! Сели. Заикаясь, волнуясь, предлагает мне руку и сердце, говорит, что теперь он другой, изменился, образумился, смотрю на него, и мне за него неудобно, жалко его, он, конечно, не светоч мысли, но неужели он не понимает всю нелепость своего предложения, и все-таки его чувство трогает, и тут же всплывают его поступки, его поход в партком с раскаянием, что не разглядел врагов народа, его кража Зайца, его бесконечные сцены, как хорошо, что я с ним разошлась, как хорошо, что у меня хватило сил разойтись, взять Зайца на руки и уйти в никуда. Не знаю, хватило ли бы, если бы не мой прекрасный Папа. Чтобы Митю не обидеть, я мягко сказала, что теперь уже поздно, что я люблю другого человека.

Интересно, если бы я простила Бориса? Женился бы он на мне во второй раз?

Звонок.

Это звонят мои новые родственники. Какие они? Мне, может быть, придется прожить с ними жизнь.

Открываю.

Передо мной элегантно одетая пара, ослепительные цветы, мягкость, вежливость, поздравления!

Обсудили дальнейший ход событий: Заяц и Дима прилетают через четыре дня, они уже знают, что я дома, Анна Эммануиловна и Теодор Михайлович говорили с ними по телефону, у меня в руках ключ от квартиры Зайца, конверт

с деньгами и приглашение на обед, как только я приду в себя.

Пошла попрощаться с Маминой и Тети Тониной комнатой... Куда еще нас с Алешей может занести жизнь... может быть, я и артисткой уже не буду, а буду пасти козу, которая будет нас кормить.

Ласкаю Мамин свадебный зеркальный шкаф, Папин письменный столик, я выросла с этими вещами. Нет только кровати, на которой я родилась, так она и стоит у кого-то, не уместившись в нашу девятиметровую комнату на Никитском бульваре... жизнь вещей... умирают владельцы, умирают поколения, проходят века, а они путешествуют по миру... молчаливые свидетели эпохи... Попрощалась и поехала к Зайцу.

Все так странно в незнакомой квартире, пусто, смешно, но я Маугли: я боюсь телефона, газа, ключей от квартиры, как, оказывается, легко от всего этого отвыкнуть.

Две телеграммы, письмо, а от Софули и Алеши — ничего.

Телефон: звонит Анна Эммануиловна, спрашивает, все ли у меня в порядке, еще раз предлагает привезти с дачи внуков, но я опять отказалась — жалко их тревожить из-за каких-то нескольких дней, но желание увидеть их пожирает меня.

Телеграмма от Лави, она уже дома, в Ленинграде.

Телефон: Жанна! Она несколько дней на свободе.

Умер Георгий Маркович в Дзезказгане вскоре после того, как меня забрали в этап.

У Софули нет дома телефона, а заказ Тарту с вызовом на почту приняли только назавтра, послала отчаянную телеграмму в Каргопольлаг.

Телефон! Полковник Рублев, от неожиданности не могу сразу собраться, поздравляет, спрашивает, чем он может быть полезен, что мне надо, видела ли я внуков, хорошо ли меня доставили к Тете Тоне, знает про квартиру на Беговой и говорит, чтобы я не беспокоилась, меня туда обязательно пропишут, они проследят за этим, но придется пройти эту малоприятную процедуру с судом, но это пустяк, какие у меня планы... странный звонок.

Междугородный звонок, бросаюсь к телефону: из Ленинграда Лави, плачем, говорить не можем.

Почему не звонит Наташа, почему ее нет здесь, что творится в ее маленьком, разорванном сердце, неужели ее так ожесточили, неужели она была дома, когда приходил майор, и спокойно пережила эту сцену, может быть, ее не пус-

кают ко мне... а что, если она сама не хочет... но я же ее вырастила, она меня так любила... хочется прижать ее, встряхнуть, успокоить... почему она к родной бабушке не приезжает...

Телеграмма из Каргополя... разрываю... где же Софуля и Алеша, что случилось... Алеша бросил меня... нет, нет, нет, нет, это невозможно... этого не может быть... тогда конец... потерять веру в людей, в любовь, в жизнь, тогда жить не надо... телеграмма от Ивана, он тоже скоро будет в Москве.

Междугородный звонок: Заяц и Дима, я узнала его голос через столько лет, поздравляют, от волнения говорить тоже не можем, они через три дня вылетают.

И сегодня от Алеши и Софули нет ничего, сейчас придет Жанна, мы с ней приглашены на обед к сватам.

Междугородный звонок: Левушка! Братец мой! Левушка, ура! Мы победили! Ты и я! Мы выжили! Тетя Варенька! Кричим! Плачем! Ничего толком сказать не можем! Поняла только, что у Левушки родилась дочь, очень похожая на меня! Прокричали и проплакали всю Левушкину месячную зарплату.

Жанна такая же, почти не изменилась, рассказала, что Георгий Маркович умер у нее на руках, что любил меня, как родную дочь, он очень горевал, когда меня забрали в этап, но потом стал веселее, он был уверен, что я дома, что я скоро дам о себе знать, и вдруг умер от сердечного приступа у постели больного. С моей души свалился камень: Георгия Марковича я никогда бы себе не простила — я знала, что если он не дождется от меня весточки, решит, что я его предала, и от этого умрет; он же иностранец, он же не знает нашей страны, ему никогда и в голову не могло бы прийти, что можно вот так просто, ни с того ни с сего взять и закрыть человека на год в одиночку.

С Жанной дружба вторично не получается, теперь, когда я догадалась, что она лесбиянка, она где-то подспудно мне неприятна, появилась какая-то брезгливость, теперь я вижу, что она и внешне похожа на лесбиянку: манера говорить, держаться, одежда.

Жанна и ее сестра Женевьева освободились раньше всех, потому что они не потеряли французское подданство, и Жанна смогла дописаться до французского посольства.

От Алеши нет ничего.

Теодор Михайлович, мой сват, считается хорошим врачом-гомеопатом, и я рассказала ему о своих бедах со здоровьем, он тут же захотел меня выслушать, мне стыдно при-

знать, что я стесняюсь раздеться при мужчине, стиснула зубы.

Выслушав, Теодор Михайлович усадил меня и очень серьезно заговорил:

— Положение ваше плохое, разрушено фактически все: печень вылезает из-под ребер, у вас даже не крайняя степень истощения, а самая настоящая дистрофия, предынфарктное состояние, и вам сегодня нельзя есть все, что приготовила Анна Эммануиловна, она у нас искусница — ваш желудок переварить такую пищу не сможет...

— А родить я еще смогу?

— А тяжести вы поднимали?

— Ого-го какие!

— Тогда вы плод не доносите. Для полного диагноза мне необходимы кардиограмма и анализ крови — думаю, что у вас предельное отсутствие гемоглобина.

— Что мне делать?

— Ни в коем случае не лечиться у врачей, и даже я не возьму вас как свою больную: любое лекарство, даже наши гомеопатические микродозы причинят вам только вред, организм будет воспринимать их как яд.

— Что же делать?

— Минимум на месяц уехать в глухую деревню, чтобы не было даже репродуктора, бродить, отдыхать, парное молоко прямо из-под козы, творог, сметана, сливки, яйца теплые, прямо из-под курицы, деревенские овощи, колодезная вода, и я дам вам травы, надо восстановиться, а потом уже будем лечиться, но, повторяю, мне срочно нужны кардиограмма и анализ крови.

...А если и у Алеши такое же состояние здоровья?.. Что же мы будем делать?.. На какие деньги жить?.. А если он и здоров, как я его брошу на месяц?.. Ничего, мы с Алешей все продумаем, все разрешим... Абрамовича ведут на казнь, он спрашивает у конвоя: «Какой сегодня день?» Ему отвечают: «Понедельник». — «Ничего себе начинается неделя».

Обед царский, деликатесы, все диковинное, всего попробовала по капельке, ах, как вкусно! До слез трудно удержаться себя, но Теодор Михайлович не спускает с меня глаз. Поблагодарили, распрощались и скорей домой — заказ на Тарту.

Схватила телефонную трубку.

— Алло! Алло! Алло! — Что-то говорят по-эстонски, потом с акцентом: «Ваш абонент на станцию не явился».

Тихо, тихо, спокойствие, никакого отчаяния: может быть, Софуля живет совсем по другому адресу, со своим

мужем-эстонцем; может быть, она болеет; может быть, она еще не освободилась, но где Алеша! Почему ни одной весточки? Я же ничего о нем не знаю, кроме его души. Нет! Нет! Нет! Алеша не может предать, обмануть, бросить!

На рассвете междугородный звонок, подбегаю... голос такой родной... далекий... Софуля... совсем плохо слышно.

— Поздравляю с освобождением.

— И вас тоже. Вы давно освободились?

— Алло! Алло! Месяц.

— Почему от вас и от Алеши ничего нет? Ни слова? Где Алеша?... Алло! Алло! Бросил меня?

— Нет.

— Что же?

— Алеша умер.

— Алло! Где? Когда? Алло! У вас есть деньги продлить разговор? Где вы живете? Как вас вызвать?

— Сейчас я в Таллине. Алло! Я живу у дочери в Тарту, я не замужем, у мужа оказалась семья, о которой он мне не говорил, он ушел к семье.

— Алло! Алло! Алло! Алеша умер для меня?.. Алло! Алло! Алло! Софуля, кричите! Вас совсем не слышно!

— Его нет совсем.

— Алло! Где он похоронен!

— Я его похоронила...

— Алло!

И уже совсем неслышно:

— Алло! У себя здесь, рядом с домом, на русском кладбище в Тарту. Алло! Он умер с вашим именем.

— Алло! Алло! — Я кричу, я рыдаю. — Алло! Алло! Алло!

Ту-ту, ту-ту, ту-ту, ту-ту...

העמותה לקליטת עליה בחיפה

רח'י ל פרוץ 20 חיפה 33041

ספרייה

3944

מס'

Сию в автобусе, мчащемся по какой-то стране, которая называется Эстония. Красота необыкновенная — озера, куши, монастыри, роши, а сердце в Тарту, на русском кладбище. Рядом Софуля, она положила свою руку на мою, лежащую на сидении, душе теплее.

Вдруг с невероятной ясностью понимаю: ей еще хуже, чем мне ведь Алеша умер, а ее муж жив, здесь, где-то рядом, в другой семье, предал ее, предал любовь, предал жизнь, бррр! Это страшнее смерти!

Хихикая, пытаюсь острить:

— А что, если я, назло вам возьму да и повешусь или выпью какую-нибудь гадость...

Софуля как-то странно икнула, не повернулась, жалобно, нежно улыбнулась, ей совсем плохо, я накрыла ее руку своей, теперь ее душе теплее.

Едем долго. Успеть бы до сумерек на кладбище...

Бежим к русскому, православному участку в дальнем конце кладбища.

Останавливаюсь как вкопанная перед большим деревянным русским крестом.

Поверить, что Алеша здесь, не могу. Его голос тихий... мягкий: «Здравствуй, любимая! Прекрасная! Единственная! Я ждал тебя! Я знал, что ты придешь!»

Алеша стоит за крестом, руки положил на поперечье; ясное, живое лицо, необыкновенное, из глаз сияние...

— Не огорчайся, что я умер... это даже хорошо... что было бы с нами... с нашей любовью... вечной... глубокой... светлой... живи ради меня... мы встретимся... иди, любовь моя... иди... уже темно...

Я рождаюсь во второй раз, только теперь у меня нет крова над головой, нет ни кола ни двора, существовать не на что, мне сорок лет, подкошенная трава, бьющегося сердца рядом нет... Говорят, что раскапризничавшийся ребенок затихает у груди мате-

ри, потому что слышит стук ее сердца, к которому он так привык за девять месяцев...

Заяц с Димой настояли, чтобы сделала для Теодора Михайловича кардиограмму: стенокардия, предынфарктное состояние, аритмия, ишемия, гемоглобин неприлично мал, кислотность нулевая... Теодор Михайлович настаивает на молоке из-под коровы и ни в коем случае не идти к врачам. Куда податься? Нельзя же, как брошенный шенок, бежать за всеми, кто ласково на тебя посмотрит, а жить... в собачьей конуре, но только не у детей... я не смею взваливать на их плечи себя, свои беды, свою судьбу, они будут за это презирать, не любить...

Что же ты наделал, Алеша, задел сияющим крылом и исчез, и унес с собой свет...

Почему не звонят Ядя, Юрка, Наташа, Костя... неужели все еще боятся?

С улицы возвращаюсь с разорванным сердцем — прямо на меня идут как бы бывшие друзья: жили, ели, приходили, как в свой дом. Идут, поленившись даже отвести глаза, как сквозь призрак... сквозь пустоту... и вдруг кто-то, совсем чужой, бросается, обнимает, целует, рыдает на плече и убегает, так и не сказав от волнения ни слова... для меня остается тайной, за что меня любят зрители, я же ничего интересного не сыграла... это тайна кинематографа: зрители тебя соединяют с образом твоей героини... для меня ведь тоже Грета Гарбо таинственная королева... и сама Москва... совсем не та, совсем не похожа на ту, из которой меня вырвали — пьянство, грязь... на тротуаре валялся пьяный, прилично одетый мужчина и, еле ворочая языком, пытался петь гимн, еще страннее, что все бежали мимо, обходя его... грубость, мат беспросветный, гиперболический при детях и стариках... в языке появился жаргон... неужели все это приползло сюда из лагерей... все как будто куда-то валится... неужели это видно только мне, отсутствовавшей шесть лет... почему народ так изменился... вороватый, жадный, завистливый, наглый... когда была маленькой, я мечтала стать царицей, чтобы сделать всех богатыми, добрыми, честными, и, если бы у меня в руках был волшебный микрофон, я бы закричала на всю Россию, пусть бы меня услышали все и тот, валявшийся на тротуаре: народ мой, русские, опомнитесь, гибнет нация, перестаньте воровать, пресмыкаться, перестаньте заливать душу водкой, перестаньте лгать, кривить душой, верьте во что угодно, даже в вашу коммунистическую партию, в которую вы вступаете за блага, верьте искренно, истинно, без веры человек ничто, былинка, у вас же золотые руки, талантливые головы, диву даешься, как вы до всего можете дойти своей смекалкой, изберите лучших, достойных в правительство, будьте вместе, будьте едины, и вы опять станете могущественной,

красивой нацией, вы же ею были, верните свой красивейший в мире язык, нация без языка уже не нация...

Слава Богу рассвет...

Прав ли был Папа, воспитывая меня в презрении к политике, скрывая от меня свое все плохое... и теперь, в сорок лет, я должна все постигать сама... что происходит в стране... что творится в мире... в душах, в умах...

Междугородный звонок.

Зайчик! Горло сдавило. Говорить не можем. Завтра они прилетают. Сегодня ко мне привезут внуков.

Я шагаю в свою вторую жизнь.

Какой она будет?!

Татьяна Кирилловна Окуневская
Татьянин день

РЕДАКТОР

И.С. Гайдамович

МЛАДШИЙ РЕДАКТОР

Е.А. Моргунова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

О.Г. Дмитриева

ТЕХНОЛОГ

М.С. Белоусова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

И.В. Соколова

ЗАВ. КОРРЕКТОРСКОЙ

А.Ю. Минаева

ЗАМ. ЗАВ. КОРРЕКТОРСКОЙ

Н.Ш. Таласбаева

КОРРЕКТОРЫ

В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Издательская лицензия

№ 101053

от 4 апреля 1997 года.

Подписано в печать

04.11.97.

Формат 60 × 90/16.

Гарнитура Таймс.

Печать офсетная.

Объем 28 печ. л.

Тираж 15 000 экз.

Изд. № 421.

Заказ № 556.

Издательство «ВАГРИУС»

103064, Москва, ул. Казакова, 18

Интернет/Home page —

<http://www.vagrius.com>

Электронная почта (E-Mail) —

vagrius@mail.sitek.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в Государственном

ордена Октябрьской Революции,

ордена Трудового Красного Знамени

Московском предприятии

«Первая Образцовая типография»

Государственного комитета РФ

по печати

113054, Москва, Валовая, 28.

OCR Давид Типлевский, август 2021 г., Хајфа

Татьяна Окуневская

№20
век

Татьянин ДЕНЬ



Татьяна Окуневская

Татьянин ДЕНЬ

Татьяна Окуневская

№20
век

У нее было все, о чем только могла мечтать молодая женщина. Фильмы с ее участием покоряли сердца миллионов кинозрителей.

“Сильные мира сего” дарили ее своим вниманием, намекая и на большее...

И вдруг в одночасье все рухнуло. Окуневская попала под жернова сталинских репрессий: сфабрикованное обвинение в шпионаже, лагерь и после – долгие, мучительные годы забвения.

Но жизнь не сломала актрису. И вот на страницах воспоминаний она рассказывает о своей трудной, неоднозначной судьбе, сопрягая ее с судьбами тех, на чью долю выпало жить в то драматическое время.

Татьяна Кирилловна Окуневская родилась в Подмоскowie (станция Завидово) в 1914 году. В 1935 году поступила в труппу

Реалистического театра под руководством Н.П.Охлопкова, а с 1943 года работала в Московском театре им. Ленинского комсомола.

Первая работа в кино – фильм М.Ромма “Пышка”. Снималась в фильмах, ставших классикой нашего кино: “Горячие денечки”, “Последняя ночь”, “Это было в Донбассе”, “Майская ночь”, “Александр Пархоменко”, “Давид Гурамишвили”, “Ночной патруль”, “Звезда балета” и других.


ВАГРИУС


ВАГРИУС

ISBN 5-7027-0



785702 704203


ВАГРИУС


ВАГРИУС